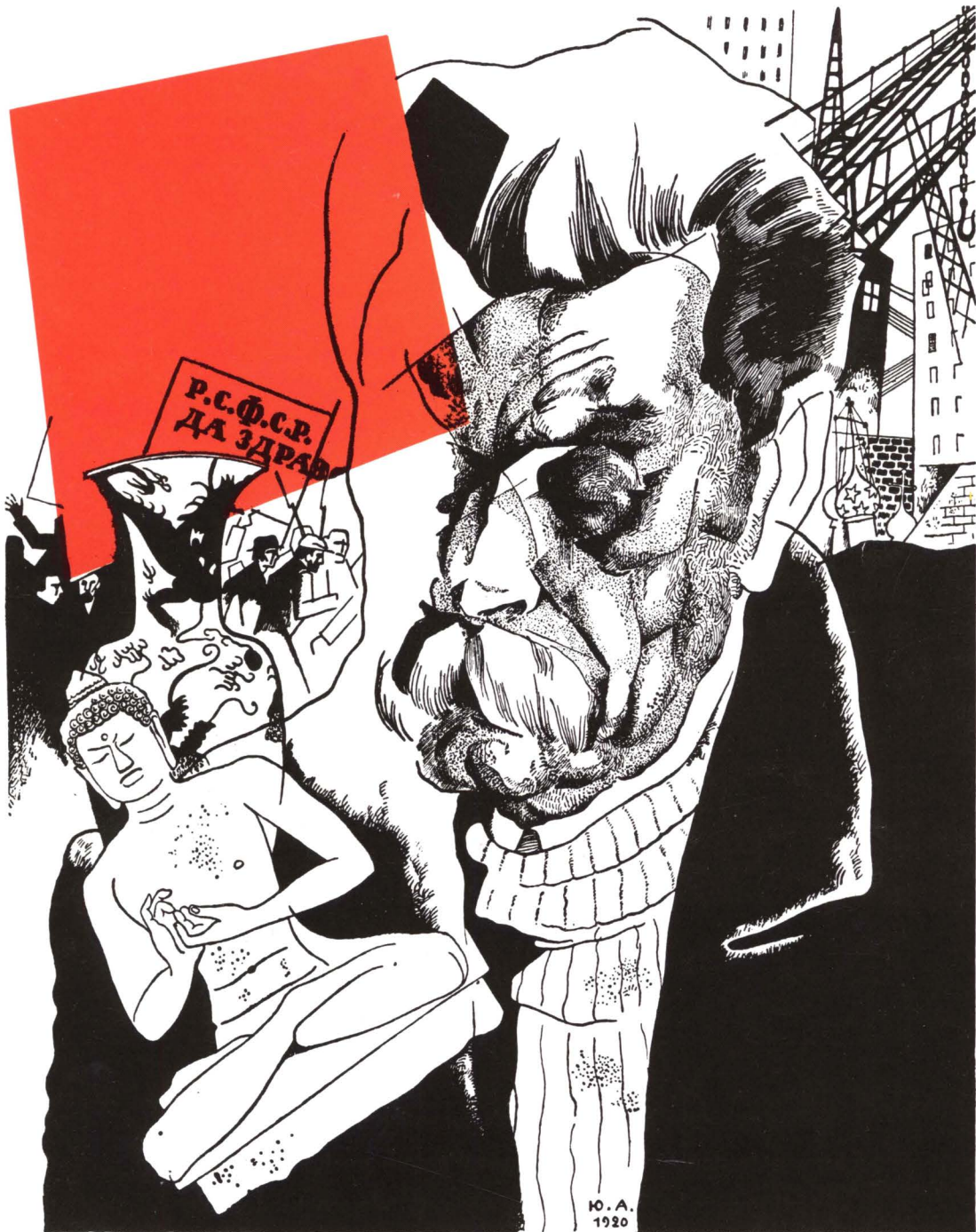


Наше Статусное

III 1988



Наше Наследие

II · 1988
Выходит шесть раз в год

Общественно-политический
и научно-популярный иллюстрированный
журнал Советского фонда культуры
и Госкомиздата СССР

Главный редактор В. П. ЕНИШЕРЛОВ

Редакционная
коллегия

С. С. АВЕРИНЦЕВ
А. Е. БАСМАНОВ,
редактор отдела искусства
Ю. В. БОНДАРЕВ
Т. П. БУАЧИДЗЕ
В. В. БЫКОВ
Д. А. ГРАНИН
Ю. А. ЗАРУБИН,
ответственный секретарь
И. Я. ЗИЕДОНИС
Д. К. ИВАНОВ,
заместитель главного редактора
В. Я. ЛАЗАРЕВ,
редактор отдела литературы
Д. С. ЛИХАЧЕВ
Д. Ф. МАМЛЕЕВ
Г. В. МЯСНИКОВ
Е. Е. НЕСТЕРЕНКО
Б. И. ОЛЕЙНИК
С. Н. РАЗГОНОВ
А. А. РЮМИН,
главный художник
Т. САДЫКОВ
Г. В. СВИРИДОВ
С. О. ШМИДТ
Э. Ю. ЮСУПОВ
С. В. ЯМЩИКОВ
В. Л. ЯНИН

Художественное оформление и макет
А. Ф. Быкова, А. А. Рюмина
при участии Н. Л. Неретиной,
Т. М. Зверевой

© Журнал "Наше наследие", 1988
119121, Москва, 1-й Неопалимовский пер., 4
Телефон: 244-00-12
Москва, Издательство "Искусство"
Сдано в набор 15.06.88. Подписано в печать 10.05.88. А06531
Формат 60 x 90 1/8. Усл. печ. л. 20 Уч.-изд. л. 28,24. Офсет
Тираж 200 000 экз.

Журнал печатается
на полиграфической базе
корпорации "Максвелл комьюникейшн корпорейшн"
Великобритания
Magazine is printed
by Maxwell Communication Corporation
Great Britain

На первой обложке:
Ю. Анненков
Портрет Максима Горького. 1920
(К 120-летию со дня рождения)

Огромную роль в социалистическом обновлении нашего общества призваны сыграть деятели советской культуры. Консолидация творческих сил на платформе перестройки стала практической задачей партии в послеапрельский период. Мы сегодня можем констатировать, что уходят в прошлое администрирование в руководстве культурой, наказы и поучения в адрес художников. В духовной сфере постепенно складывается атмосфера соревновательности, свободного творческого поиска, основанного на гражданской ответственности художника перед своим социалистическим обществом.

Художественная культура несет в себе живую связь и преемственность поколений, помогает человеку ощутить родство со своим народом, его историей и надеждами на будущее, положить в основу любой практической деятельности высокие нравственные идеалы.

В нашей публицистике, художественных и научных изданиях идет небывалый по масштабу, откровенности, интеллектуальной насыщенности разговор о путях обновления социализма, об истории и современности. И это замечательно. Партия высоко ценит нарастающий вклад интеллигенции в реализацию перестройки. Мы приветствуем активизацию общественной, политической деятельности представителей науки, образования, культуры. Мы ждем от них новых творческих открытий, глубокого прорыва во всех сферах мысли и духа.

Таким образом, в целом процессы в сфере культуры развиваются на здоровой основе. Но мы допустили бы необъективность, погрешили против истины, если бы сказали, что они идут без противоречий, без издержек, которые иногда выходят за рамки социалистических ценностей. Как в обществе в целом, так и среди интеллигенции проявляются и консерватизм, неприятие новизны, есть и легковесность в оценке происходящих событий и даже безответственность в подходах к сложным проблемам нашего развития.

К сожалению, иногда приходится наблюдать, что некоторые товарищи даже в это судьбоносное для страны время так и не могут отрешиться от междоусобной борьбы, групповых страстей и личных амбиций. Немало таких, кто с раздражением воспринимает творческие поиски, а нарастающее многообразие принимает за отклонение от принципов социалистического искусства. Это понятно: слишком долго одинаковость, монотонное однообразие, серость выдавались за эталоны прогресса. Нет у нас еще и привычки к дискуссиям, к инакомыслию, к свободной состязательности. Не хотелось бы драматизировать положение. Да для этого и нет особых оснований. Но не замечать такие явления, проходить мимо них было бы неразумно.

Если говорить о главном направлении политики в области науки, образования и культуры в период перестройки, то оно видится как возврат к ленинским принципам, поворот к человеку, к духовному обогащению народа. Партия видит свою задачу в том, чтобы наращивать усилия во имя этой гуманной цели.

**Из доклада Генерального секретаря
ЦК КПСС М. С. ГОРБАЧЕВА
на XIX Всесоюзной конференции КПСС
"О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ
XXVII СЪЕЗДА КПСС И ЗАДАЧАХ
ПО УГЛУБЛЕНИЮ ПЕРЕСТРОЙКИ"**

НАПРАВЛЕНИЕ— К ЧЕЛОВЕКУ

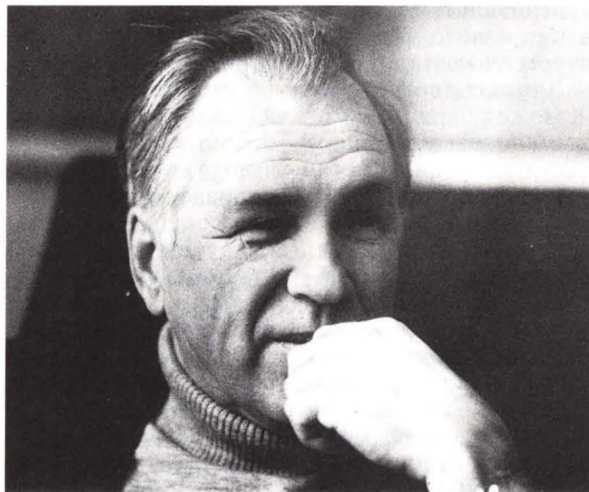
Сегодня все сильнее утверждается мысль, что нависшая над человечеством смертельная угроза может быть отведена путем обращения к разуму и его величайшему порождению — культуре. Единой и многообразной, как и мир, в котором мы живем. Гуманистической по самой сути своей, утверждающей человека как “самоцель” истории и “меру всех вещей”.

М.С.Горбачев в беседе с деятелями мировой культуры — участниками Иссык-Кульского форума сказал: “Когда я вижу прорывы технологии, которые сопровождаются огромными человеческими потерями, и не только духовными, но и тем, что человек, как таковой, исключается из процесса и политического, и общественного, уж не говоря об экономическом, я считаю, что эта система должна быть, как минимум, подвергнута большому сомнению.

Так вот сейчас, по-моему, очень важно соединить научно-технический прогресс с интересами человеческого сообщества таким образом, чтобы не только не растворился человеческий фактор, личность, ее достоинство не были бы унижены и подавлены, а, наоборот, чтобы человек больше чувствовал себя действительно творцом, настоящим активным творцом, ибо он — источник этого движения вперед, самое великое творение природы”.

Здесь ясно выражена мысль о единстве человеческой цивилизации, но таком единстве, средоточие которого — человек: творческий, активный, граждански достойный, человек-личность, и потому неповторимый, не сводимый к безликой массе, аморфной толпе. И в то же время он — человек мира — центрирует мир, “взаимосвязанный, взаимозависимый, хотя и противоречивый, но целостный”. Мир, стоящий на краю всеистребляющей военной гибели. Именно поэтому приоритет “общечеловеческой ценности над всеми другими, к которым привержены те или иные люди... над интересами того или иного класса”, — говорит М.С.Горбачев, — должен стать существенной составляющей нового мышления, укрепляющего целостность и единство общечеловеческой культуры, обосновывающего это единство на философско-социологическом, мировоззренческом уровне.

Культура (и в ней — наука и техника) всечеловечески гуманистична. В этом — фундаментальное основание считать культуру всечеловеческим, планетарным яв-



ИВАН ФРОЛОВ,
академик

нием, и потому — единой; единой уже сейчас, и даже в прошлом, не говоря уже о будущем, “когда народы, распри позабыв...” Таким образом, мы утверждаем единство культуры в ее общечеловеческих устремлениях, своеобразии культуры в ее индивидуально-человеческих характеристиках. Ведь творят ее люди в одиночку, но и сообща: в общительном творческом собеседовании-состязании друг с другом. Если сказать точнее, то надо бы так: речь идет о единстве и единственности культуры. Только о диалектическом соотношении этих фундаментальных характеристик культуры может идти речь. При этом гуманистическая основа культуры — залог того и

другого: целостного многоцветия и многозвучия культуры. Перспективы современного культурного строительства в нашей стране нашли свое теоретическое, нацеленное на практику воплощение в материалах XXVII съезда КПСС. В Политическом докладе ЦК КПСС съезду читаем: “Повышать степень зрелости общества, строить коммунизм — это значит неуклонно повышать зрелость сознания, обогащать духовный мир человека”. Но зрелость сознания — это сначала зрелость самосознания. Обогащение духовного мира человека — это сначала личное творчество, самообогащение духовного мира человека как субъекта культуры, как ее творца. И тогда “перестройка” “человеческого фактора” — не санкционированный призыв, а личное побуждение человека, формирующего самого себя, начинающего с себя; нахождение каждым в себе самом личного стимула на пути к новому мышлению в новой ситуации единства человечества и единства человеческой культуры перед лицом термоядерной смерти. Но ситуации, проживаемой и переживаемой в личном существовании каждого как исторически памятной, нравственно полноценной, культурно всесторонней личности.

Безусловно: одним из важнейших событий в культурной жизни нашего народа стало создание Советского фонда культуры. На первый взгляд это фонд национальной памяти: исторической, культурной, нравственно-духовной. И охрана “генетического кода” исторической памяти нашего народа — первейшее дело этой общественной организации. И тут есть что охранять: 250 тысяч памятников истории, археологии, градостроительства и архитектуры, монументального искусства. Но взяты на учет только 190 тысяч из них.

При этом люди отлично знают, как осуществляется этот учет и эта охрана: порой безответственно, если не сказать – преступно. В музейных фондах страны имеется 48 миллионов единиц хранения произведений художественного и декоративного искусства; 3250 государственных архивов хранят 300 миллионов единиц подлинных документов истории, культуры и науки народов СССР. Я не говорю уже о многих миллионах книг, имеющихся в сотнях тысяч библиотек и книгохранилищ страны.

Сохранение памяти – бережное и нежное – дело важное. Реставрация разрушенного или разрушающегося – тоже. Возвращение национальных культурных богатств нашей Родины не менее важно. Но куда продуктивней и содержательней ценней воспитание историей, воспитание культурой, формирование нового человека живой и открытой памятью культуры, по самой своей сути принципиально не музейной, не экспонатной, не раритетной. И здесь мы подходим, может быть, к самому существенному – к человечески общительной природе культуры. Советский фонд культуры обязан на организационном и содержательном уровне проработать и эту сторону дела. Взять хотя бы самое очевидное – возврат культурных ценностей в страну их сотворения: безвозмездные приношения ценнейших экспонатов, сделанные американским бизнесменом Арманом Хаммером, французской художницей Надеждой Леже, Святославом Рерихом, Федором Федоровичем Шаляпиным – сыном великого певца... Примечательные страницы “воссоединительной” миссии культуры, ее центростремительной потенции. Но здесь же и другое: культура – для всех. Она не только едина, но и, напротив, множественна – национальна. Советский фонд культуры – фонд многонациональной, поликультурной страны. Он призван как бы моделировать эту уникальнейшую ситуацию единства и единственности культур. Общественное осознание этой возможности – важнейший момент интернационализации сознания при сохранности почтительного и вместе с тем всепримимо открытого уважения к национально иному, лично иному, человечески иному; в конечном счете уважения к таланту как всенародному достоянию. Всечеловеческая мечта о мире, в котором будут жить народы, позабывшие распри, начинает себя осуществлять не в последнюю очередь именно с этого – с сохранения национальных созданий фольклора в их живой, и не только этнографической, культурной действительности. Всем этим может и должен заниматься Советский фонд культуры.

“Развитие богатства человеческой природы как самоцель” – вот та гуманистическая ориентация, которая еще в прошлом веке была выдвинута К.Марксом и которая в наши дни во все большей степени демонстрирует свою истинность. Это означает развитие человека как личности в процессе его материальной и духовной деятельности, общения с другими людьми, обучения, образования и воспитания как освоения и воспроизведения социокультурного опыта человечества, прогресса социальных отношений и образа жизни, сознания и самосознания, нравственного совершенствования.

Тем самым в понимание общественного развития вносятся высокие гуманные цели, на которые должны быть ориентированы и материальное производство, и социальные отношения, и культура общества в целом.

Как это соотносится с развитием культуры, которая на рубеже XX и XXI веков подвергается решающему испытанию: способна ли к развитию, которое открывало бы будущее перед человечеством, либо она зашла в тупик и не может спасти человечество, удержать его пред бездной термоядерного самоуничтожения? Ни

одна концепция развития не может обойти этот трагический гамлетовский вопрос – быть или не быть.

Культура, как известно, внутренне связана со всеми другими сторонами и сферами общественной жизни и в первую очередь с экономикой и политикой. Культура существует, функционирует и развивается только в определенных социально-экономических условиях, в определенной политической и идейной атмосфере. Понятно также, что на практике культурное развитие как отдельной страны, так и целых регионов представляет собой исторически определенную форму единства, взаимосвязи и взаимопроникновения множества элементов. Но их связь и взаимодействие носят далеко не однозначный, а весьма сложный и внутренне противоречивый характер.

Диалектика, присущая развитию культуры в целом, относится и к науке, содержащей внутри себя глубокие противоречия, острота которых проявляется наиболее наглядно в ее общественном функционировании, в отношении к человеку. Мы знаем, что современная наука, вызывая ощутимые изменения в сфере материального производства, становится одним из решающих факторов социальных преобразований, роста образования и культуры общества. Она оказывается силой, способствующей развитию самого человека, его творческих задатков и дарований. Однако современная наука не имеет решающего значения в жизни большинства людей мира, включая и население многих промышленно развитых стран. Известно: миллиард людей в современном мире (подумать только – каждый пятый!) частично или полностью неграмотны. И тогда чистый свет науки сияет на фоне темени невежества стольких людей. Наука во многих случаях не только не сокращает, но, напротив, углубляет “человеческий разрыв”, о котором так много говорят и пишут сегодня философы разных стран. Наука, способствуя росту знания, приводит странным образом к еще большему отчуждению человека. Но самое главное в том, что наука на службе милитаризма способствует убийственной гонке вооружений, ведущей мир к бездне термоядерной необратимой катастрофы.

Что же произошло в общественном сознании? Безоглядная вера в науку как панацею от всех социально-экономических болезней сменяется безоглядным отрицанием гуманистической сущности научного прогресса. Равновесие “человек – наука – гуманизм” оказалось нарушенным. Стало общим местом утверждение, что цели и устремления науки и общества не только разделились, но и обнаружили свою, казалось бы, неустраиваемую противоречивость. Выстраивается целая система доказательств того, что этические принципы и нормы современной науки едва ли не противоположны социально-этическим и гуманистическим нормам и принципам, что научный поиск давно вышел из-под контроля совести и тогда сократовская максима “знание и добродетель неразрывны” – не что иное, как архивный раритет.

Можно ли, вопрошают сторонники таких взглядов, говорить о социально-нравственной роли науки, когда ее достижения используются для создания средств массового уничтожения? Посмотрите, говорят они – каждый год миллионы людей умирают от голода! Разве можно говорить о всечеловеческой нравственности ученого – ведь чем глубже он проникает в тайны природы, то есть чем он честнее в своей работе, тем страшнее могут быть результаты его работы? Разве можно говорить о благе науки для человека, если именно наука, ее достижения создали основу того общества, где конкретная человеческая личность отчуждена, подавлена, а ее

цели и ее ценность приносятся в жертву погоне за прибылью?

Так поставленные вопросы игнорируют конкретную социальную почву своего возникновения. Речь идет о гуманизме вообще, о человеке вообще, о науке вообще. Но и человек, и общество, и наука развиваются не в безвоздушном пространстве. И научно-техническая революция – категория не внесоциальная. Она – не математическая формула, годная для всех.

На вопросы только что заданные марксистская философия отвечает: можно! Можно говорить о нравственной роли науки, несмотря на то, что ее открытия порой используются для создания средств массового уничтожения. Можно говорить о нравственности ученого, несмотря на то, что результаты его исследований порой могут использоваться против человека. Можно говорить о необходимости науки для блага человека, несмотря на то, что ее достижения порой используются в механизмах отчуждения человека от человека, человека от общества.

Марксистская философия, ориентирующаяся на реальный гуманизм, не затушевывает противоречия в современном развитии, не закрывает глаза на негативные проявления научно-технического прогресса. Она осознает, – может быть, наиболее ясно осознает, – что они могут привести к катастрофическим последствиям для судеб человечества. Но в своей оценке современных процессов в развитии цивилизации она исходит из диалектической взаимосвязи всех составляющих этих процессов. Поэтому мы обязаны видеть не только трудности и опасности современного развития, но различать ясно обозначившиеся позитивные тенденции, вселяющие надежду.

Тенденции гуманизации науки, ее подчинения целям человека и общества, соединения исследовательских и ценностных подходов, развития ее социально-этических основ, ее органического включения в общую систему гуманистической культуры в современном мировом научном обществе очевидны. При этом социальная, этическая и гуманистическая ответственность ученых не является альтернативой свободы научного поиска. “Человеческое измерение” науки должно быть восстановлено и в исследованиях, и в применениях их результатов.

Таким образом, гуманистическая направленность человеческой культуры в целом, включая и науку, все более утверждается именно сегодня – в самоопределении через свое отношение к человеку, возможностям его личностно-неповторимого развития в современном мире. Как внутренние факторы развития культуры, выражающиеся в ее интенсивной гуманизации, так и внешние для нее социально-экономические процессы, развивающиеся в сторону интернационализации, свидетельствуют об ускоряющемся взаимодействии культур, их взаимообогащении. Это не противоречит суверенности, самобытности каждой из них. Более того. Процессы взаимодействия культур могут при соответствующих социальных уровнях способствовать этому – развитию суверенности каждой из них. Стратегия культурного развития должна строиться с учетом взаимовлияния многих разнонаправленных процессов и факторов на гуманистической основе жизни культуры в современном мире. Это развитие, ориентированное на человека, не является просто стороной или аспектом общего прогресса. Оно составляет его сущностную основу, объединяющую все другие факторы и стимулы прогресса.

Человечество приближается к рубежу третьего тысячелетия в условиях расцвета гуманистической куль-

туры, всеохватывающего научно-технического прогресса и вместе с тем обострения глобальных проблем, угрозы термоядерной катастрофы. Как все это отражается на современном человеке, его сознании и самосознании, его нравственно-гуманистических принципах и идеалах? Наблюдаем ли мы и здесь соответствующий прогресс, или, может быть, возникли опасные “ножницы” между ростом технического могущества человека, проявляющимся также в его увеличивающейся способности к самоуничтожению, и нравственно-гуманистическими качествами, которые могли бы сдерживать этот опасный разгул бездуховной силы? Какие мировоззренческие, социально-философские и нравственные ценности необходимы сегодня, чтобы научно-техническое развитие шло человеку во благо, а не во вред? К чему мы должны стремиться, скажем, в связи со стремительным развитием новой технологии – микроэлектроники, информатики, биотехнологии?

Вопросы эти не надуманные. Они все чаще тревожат всех, кто размышляет о завтрашнем дне человечества, о самой возможности и формах его существования. Может быть, они-то и составляют основу как современной, так и дальнеперспективной стратегии. К этим вопросам обращаются сегодня не только философы и проповедники, но и далекие от морализирования государственные деятели, ученые, увидевшие опасность бесконтрольного использования результатов своей деятельности. Необходимость новых подходов к их решению остра как никогда именно сегодня.

“Высокое соприкосновение” – ключевая метафора самосознания культуры кануна третьего тысячелетия: драматическое перекрестие “бездушной” новейшей технологии и гуманистической подосновы культурного самосозидания, укорененного в многовековой традиции. Новому уровню технологии производства должна соответствовать более высокая степень развития общества и самого человека в их взаимодействии с природой. “Высокое соприкосновение” предполагает высокий уровень культуры, высокую степень выявления сущностных, творческих сил человека в их целостном, гармоническом виде. Именно от нее, от этой метафоры, должна начаться новая “шкала ценностей”, гуманистически субординированная, исходящая из нового понимания смысла человеческой жизни и новой оценки всего, включая самую новую технологию. Жизнь человека в человечестве как самоцель истории.

Возникают острейшие социальные человеческие проблемы, относящиеся к коадаптации новой технологии с развитием самого человека как личности, пониманию и способности реализовать ее новые возможности и не утратить смысла своего уникального человеческого существования в мире роботов, все более “вытесняющих” человека из непосредственного участия в производстве, освобождающих его не только от рутинных, утомительных трудовых операций, но и таких, которые попросту машина делает лучше, чем человек. Это становится зачастую предметом мысленных социально-философских экспериментов, перед которыми бледнеет фантазия даже автора самого понятия “роботы” – Карела Чапека. (Вспомним его драму “RUR” – “Рассумовские универсальные роботы”.) Сегодня в ход идут и антиутопии и новейшие мифы, призванные либо запугать человека, растерянного и отчужденного, не понимающего не только значения новой технологии, но и смысла прогресса в целом, либо вселить в него иллюзорные надежды, вогнав их в глухое пространство безмерного потребительства. Так, вслед за М.Маклюэном, говорят о “гибели гуманизма”. При этом “масс-медиа” характеризуются как средства, производящие глу-

бокие изменения в самой человеческой природе. “Медиа” и технология рассматриваются как физическая, овеществленная реальность культуры, а идеология – как “официальный мундир”, в который рядится “медиа” в Компьютерланде. Грезят о возможностях “медиа” изменять даже человеческую физиологию. В новых формах, с использованием абстрактных возможностей микроэлектроники и биотехнологии (в частности, геной инженерии), возрождаются новоевгенические идеи о “фабрикуемом человеке”.

И все это, несмотря ни на что, на обнадеживающем фоне необходимости “высокого соприкосновения” новой технологии с человеком как носителем гуманистических ценностей нового типа. У многих проницательных ученых как на Востоке, так и на Западе растет убеждение, что экономические модели не могут охватить ситуацию во всей ее сложности, что модель нового типа должна включать не только нематериальный информационный сектор, но и другие нематериальные стороны человеческой деятельности, взаимодействие ее с окружающей средой. На это обращает внимание, в частности, А.Тэффлер в книге “Третья волна”. Особенно выразительно это указанное смещение акцентов в понимании научно-технического прогресса представлено в докладе Римскому клубу “Микроэлектроника и общество”, авторы которого понимают, что наряду с нарисованной ими “прекрасной Утопией” существует сомнение, сможет ли человек как существо творческое и дальше развиваться и противостоять вырождению без борьбы за существование посредством собственного труда. Но труд, по их мнению, в связи с роботизацией производства окажется “привилегией избранных”. Это и в самом деле утопия, хотя и не такая прекрасная, как думают авторы, если учесть реальности капиталистического общества, которое якобы само собой перерастает в “информационное”, основанное на микроэлектронной технологии. И только глубокие социальные преобразования его в направлении “истинно человеческого” (К.Маркс) – коммунистического – общества могут решить гуманистические проблемы, обостряющиеся в связи с широким внедрением в производство новейших технологий.

Человек в этом обществе вступает в “век человека”, и он не вытесняется из производства как ненужный его элемент, пополняя армию безработных, а получает все большую возможность творчески включаться в него и в подлинном смысле подчинять его своим материальным и духовным потребностям, развивать свои способности, в том числе и за непосредственными пределами производства, переходящего на сторону машин. Такая творческая деятельность целостного, гармонически развитого человека позволит ему сполна осуществить “высокое соприкосновение” с любой наинovelшей – еще неизвестной – технологией. Творческая деятельность человека культуры обеспечит также “высокое сопри-

косновение” нового человека и с природной средой. И в этом его поддержит та же новая технология, в том числе и технология нынешнего дня – микроэлектроника, информатика и в особенности биотехнология.

Сказанное выше не является лишь футурологическим постулатом. Это – перспектива развивающегося социализма, его гуманистического обновления на путях революционной перестройки. В докладе на XIX Всесоюзной партконференции отмечалось, что “социализм мы видим как строй подлинного, реального гуманизма, при котором человек на деле выступает “мерой всех вещей”. Все развитие общества, начиная с его экономики и кончая духовно-идеологической сферой, направлено на удовлетворение потребностей человека, на его всестороннее развитие. Причем все это делается трудом, творчеством, энергией самих людей... Именно такой демократический, гуманный облик социализма мы имеем в виду, говоря о качественно новом состоянии нашего общества как важной ступени в движении к коммунизму”.

В культурно значимой и гуманистически высветленной метафоре “высокое соприкосновение” акцентируются культурные аспекты научно-технического развития. В более широком смысле это означает необходимость коадаптации разума и гуманности как фундаментальное условие существования и развития человека и человечества сегодня и в будущем в единстве и своеобразии его культурного существования.

В своеобразии и единстве... Единство различного – наисущественное содержательное свойство культуры.

“Возьмите весь мир – мы все разные... – говорил участникам Исык-Кульского форума М.С.Горбачев. – Это – реальность. Значит, надо научиться жить в этом многообразии, уважать выбор каждого народа...”

Разве мы должны стрелять друг в друга из-за того, что мы разные? Мы должны пользоваться этим и из этой разности получать новое, обогащать друг друга”. И далее: “...политика должна питаться всем тем, что включает в себе интеллектуальное богатство каждой нации и всей человеческой цивилизации”. Обратите внимание: даже политика!

Многообразие национальных образов мира, стилей, жанров, человеческих неповторимостей, уважение к которым зиждится все на том же неистребимом гуманизме, – “физиологический раствор” культуры, ее единственно возможное бытие. Бытие культуры – бытие каждого культурно значимого жеста в ней.

Таким образом, гуманистическое обоснование культуры определяет не только единство культуры как явления планетарного, всечеловеческого, но с не меньшей убедительностью определяет и ее единственность, исторически уникальную ее неповторимость, равно как и жизнь человека культуры, живущего в ней собственной, лично неповторимой человеческой жизнью.

ЛИК

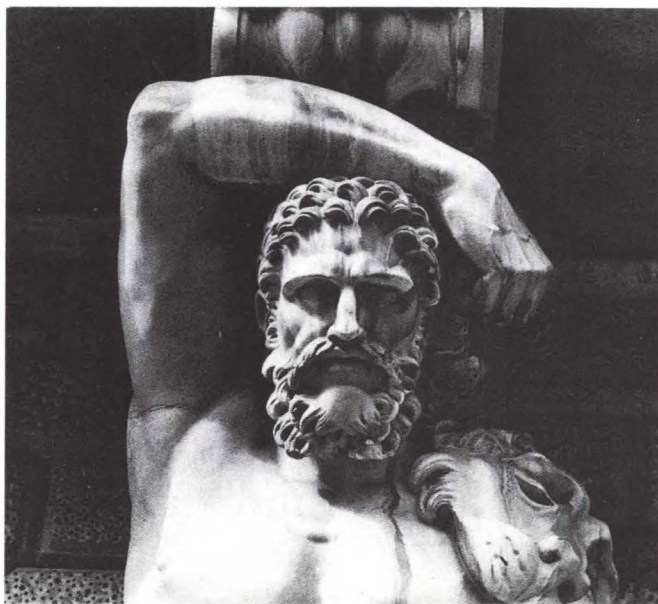
ДОВЕРИЕ ОБЯЗЫВАЕТ

МИХАИЛ ТАЛАЛАЙ, фото СЕРГЕЯ ВЕТРОВА

По средам, поздним вечером окна здания "Серебряных рядов" на Невском ярко освещены, двери ленинградского отделения Советского фонда культуры, несмотря на неприступный час, открыты. В солидном приемном зале несколько необычное общество: школьницы и известные ученые, ветераны войны и длинноволосые юнцы, которых привычнее видеть в кафе, называемом ленинградцами "Сайгон", архитекторы-профессионалы и домохозяйки. В одном углу отчаянно спорят, из другого долетают взрывы хохота, по рукам ходят очередные воззвания с непереносимым сбором подписей. "Неформальные среды" имеют вполне формальное название: заседания Совета по экологии культуры.

Откуда появились эти люди, наделенные не очень принятым ими определением "неформалы"? Чего хотят? Почему их штаб-квартира – в Фонде культуры?

Поверхностному взгляду покажется, что года полтора назад их не было. Действительно, для ленинградцев "явление неформалов" состоялось в марте прошлого года, во время их активных действий на Исаакиевской площади. Многие считают пикеты у "Англетера" отправной точкой нового общественного движения, но это не совсем так. События на Исаакиевской были вполне закономерны, и не будь "Англетера", была бы "Лиговка" или "Разночинная" или любой другой тревожный ленинградский адрес. Эта закономерность была определена отсутствием гласности в градостроительстве, несовершенством системы охраны памятников и их реставрации, тугим узлом экономических, юридических и технических проблем. Противоречия и напряженность в этой области нарастали долго и исподволь. Так же внешне незаметно



копилась социальная энергия и, быть может, эта энергия осталась бы, как раньше, легкой зыбью на поверхности общества, рассеявшись по привычным подвалам, кафетериям и кочегаркам. Но настали новые времена. Государство обратилось к людям, главным образом к молодежи и к "невыстроенным обществам", с призывом быть смелее, инициативнее, искреннее.

Словно в комнате открыли окно, и в нее хлынул свежий воздух и загулял ветер. Этот ветер можно считать нежелательным сквозняком, как некоторые и оценили англетеровские события.

А можно – целительным озоном, который к тому же защищает все живое от губительного ультрафиолета. Не секрет, что года три тому назад так называемые "стихийные выступления молодежи на Исаакиевской" были бы просто немыслимы. Но считать, что экологокультурное движение, то есть движение в защиту культурного наследия, возникло именно на обломках "Англетера", было бы ошибкой. Все началось значительно раньше.

Люди, стоявшие у истоков ВООПИИКа (Общества охраны памятников истории и культуры), утверждают, что в шестидесятых они тоже были "неформалами". Наверняка они правы. Но постепенно пагубная монополия на эту область общественной жизни заформализовалась, "зачиновила" ВООПИИК. Сказались и "долгие" семидесятые с их официальным равнодушием к судьбам памятников культуры. Новая волна общественного движения поднялась в начале восьмидесятых годов. Первыми неформалами в Ленинграде стали добровольцы-реставраторы. Настоящие подвижники культуры, они, отчаявшись в надежде на государственные реставрационные службы, пришли к

заброшенным памятникам и "взялись за лопаты". Несанкционированные субботники были непривычны, вызывали удивление, порой насмешку, но особых препятствий они в своей деятельности не испытывали. Не пьют, не хулиганят люди – ну и ладно. Геолог С. Николаев, имевший многолетний опыт добровольческих работ на любимом им и его друзьями Валааме, сумел организовать группу единомышленников, получившую статус любительского объединения "Мир".

Разные причины приводили людей в это объединение: одни не могли спокойно видеть гибнущую красоту, другие утверждали бескорыстной работой принципы духовности, доброты, нестяжательства, третьим совместный труд дарил "роскошь человеческого общения". Добровольческое движение ширилось и множилось. В недрах объединения "Мир" вызрела и позднее отделилась группа "Новый мир", представляющая скорее сообщество духовно близких людей. Руководитель группы, философ и мечтатель В. Вертеников считает са-

Активисты группы "Спасение"



мым важным для группы общение во время работы и после нее, когда так хорошо вместе обсудить идеи Достоевского, Федорова, Вернадского или самые последние события на "культурно-демократическом фронте". Вокруг многих неблагополучных памятников стали складываться свои "спасательские отряды". Некоторые группы считают лишним бюрократизироваться и оформлять свой статус. Их существование, как правило, зиждется на энтузиазме и деловитости самоотверженных подвижников. Таких, например, как инженер В. Исаченко, оставивший свою ленинградскую службу и поступивший на работу в совхоз "Балтика" с одной целью – возродить разрушенную усадьбу в Гостилицах. Вот уже несколько лет к нему на субботники по выходным и в отпуске приезжают ленинградцы разных возрастов, часто со своими детьми. Свои помощники нашлись и у заброшенного ропшинского дворца. Добровольные работы этих энтузиастов – они называют себя "друзья Ропши" – возглавил строитель В. Веселовский.



Жители Колпинского района Ленинграда, в основном работники одного научно-исследовательского института, оформились в любительское объединение "Невская битва". Перед этим объединением одна, но трудная и благородная цель: поднять из руин к 1990 году, к 750-летию Невской битвы, мемориальный памятник, старинную Александро-Невскую церковь. Еще несколько лет назад попытки общественности начать восстановление церковного здания расценивались как блажь. Теперь настойчивость объединения, проявленная не только на субботниках, но и в приемных ответственных организаций, увенчалась успехом – ленинградцы получили официальные гарантии своевременной реставрации памятника.

Еще одна точка приложения неформальных общественных сил – усадьба Рериха в Изваре. Работавшая там прошлым летом семейно-трудовая коммуна "Поиск" выбрала это место не случайно: рериховские концепции гармоничного мира близки ее членам, поставившим своей

Один из лидеров "неформалов" Алексей Ковалев



главной целью оздоровление семейных устоев нашего общества.

Но, увы, реальный мир не так прекрасен и радужен, как хотелось бы, и еще далек от своего спасения красотой. Слишком часто "идеалисты с лопатами" сталкиваются с ханжеством, непониманием, а порой и с непорядочностью.

В. Веретенников, работавший со своей группой в мемориальной квартире Пушкина на Мойке, 12, с горечью назвал себя и своих друзей добровольными помощниками... бесхозности. Добровольцы с ненужным тщанием разбирали кладку восемнадцатого века, позднее выброшенную, старательно сбивали старую, но качественную гидроизоляцию, усердно готовили новодел, выкидывая пушкинские стены квартиры.

Один из добровольцев выразил свои настроения так:

"Нас несправедливо называют добровольными помощниками реставраторов, чаще всего мы работаем там, где нога реставратора вовсе не ступала".

В новых, хозрасчетных усло-



виях некоторых людей начинают посещать и такие мысли: а кто получит деньги и прочие дивиденды за этот неоплаченный труд? Ведь многое из того, что делают энтузиасты, заложено в реставрационные сметы и как-то оприходуется. Так, постепенно сама жизнь приводит членов объединения "Мир" и других добро-

вольческих групп к пониманию того, что они, "спасая красоту", зачастую борются со следствиями, упускаемая из виду причина. И хотя им, в основном, присуща позиция невмешательства в социально-экономические и политические проблемы, некоторые на время "откладывают лопаты" и начинают распутывать хитросплетения

ведомственных, бюрократических и иных структур, губящих эту красоту. Именно такую задачу – разработать новый подход к реставрации поставила перед собой группа "Спасение". Одно из важных направлений ее деятельности – возрождение не столько памятников, сколько духа великого города на Неве, традиций

бережной любви горожан к своему общему дому. Отсюда внимание к памяти о великих земляках, в первую очередь о Достоевском. Группа следит за мемориальными домами Достоевского на Владимирском проспекте и улице Гоголя, которые пришли в состояние крайнего упадка, на грань разрушения. Она же начала кампа-



нию за установку памятника "самому петербургскому писателю".

Успехи ленинградского эколого-культурного движения во многом – следствие социалистического плюрализма, множественности этого движения, результат возникновения разных групп, клубов, занимающихся какой-то определенной сфе-

рой культурного наследия. Так, в марте прошлого года образовалось университетское общество "Петербург", малочисленная, но весьма активная группа, поставившая своей целью разрешение многих "проклятых" вопросов, связанных с альма матер. Студенты из "Петербурга" поставили задачи пересмотра решения о выводе гу-

манитарных факультетов за пределы города, отмены указа о присвоении университету имени Жданова, приведения в порядок могил университетских преподавателей и много других вполне конкретных дел. Еще одна группа, "Памятник", начала свой путь, казалось бы, с сомнительного для дилетантов намерения: уста-

новить в Ленинграде памятник Чайковскому. Но шаг за шагом группе удалось привлечь внимание общественности к своей идее, заинтересовать ею Союз композиторов и Фонд культуры. Сейчас в Ленинграде объявлен конкурс на памятник Чайковскому. Ведь через три года 150-летие великого композитора.





Группа энтузиастов, ревнителей исторической топонимии, развила бурную деятельность по выяснению общественного мнения относительно целесообразности восстановления ряда наименований, например, Галерная, Почтамтская, Малая Посадская, Ланское шоссе. Кстати, подавляющее большинство жителей этих улиц высказалось за возвращение прежних названий. Группа проводила свои необычные опросы – листы просто опускались в почтовые ящики – в тесном сотрудничестве с “формальными” организациями: Союзом писателей, Обществом охраны памятников, Фондом культуры. Кампания увенчалась успехом: сейчас исполком подготавливает решение о возвращении некоторым улицам старых имен. Большинство групп поддерживают между собой связи, информируют друг друга о своих замыслах и “акциях”. Форму этого общения неформалы нашли достаточно быстро, создав Совет по экологии культуры, информационный и координационный центр, выпускающий специальный бюллетень – “Вестник”, собирающий представителей групп на свои заседания. Регистрация этого центра при Фонде культуры позволила неформалам значительно продвинуться вперед в своем общественном развитии. Они получили возможность участвовать в формировании и осуществлении программ Фонда, направленных, так же как и их деятельность, на сохранение и приумножение культурной среды. Содружество фонда культуры и неформалов – явление вполне закономерное. Академик Д.С.Лихачев поддерживал неформальное движение в самые тяжелые для него, “англетеровские” времена. Он так сформировал кредо Фонда культуры по отношению к новым эколого-культурным группам: “Им необходимо доверие”. Доверие обязывает – неформалы осознают ответственность за свое новое положение в качестве актива Фонда культуры.

Под письмом против сноса “Англетера” подписалось более 20 тысяч ленинградцев

К одному из стариннейших в России роду Мещерских принадлежит Екатерина Александровна Мещерская, родившаяся княжной, пережившая войны, революции, разруху, голод, аресты, но сохранившая память, ясный ум, высоту духа, способность прощать и понимать.

Она трудилась с самых юных лет и не чересчур сетовала на то, что, скажем, мести двор, владея двумя иностранными языками, не вполне целесообразно.

Правда, переводчицей Мещерская все-таки успела поработать.

Как и художницей, и концертмейстером, а также мотальщицей, штопальщицей, учетчицей...

Да мало ли еще других самых разных работ выполняла

Екатерина Александровна.

Всю свою такую долгую жизнь она пишет записки о событиях, которым была свидетелем, об отце, гордившемся знакомством с Лермонтовым и Брюлловым, о матери, мужественно и стойко прошедшей великие потрясения и научившей этому мужеству свою дочь.

Записки, в свое время заинтересовавшие Твардовского, опубликованы в 1988 году в журнале "Новый мир".

"... Не забывая слов мудрого дедушки Крылова "а наши предки Рим спасли", я считаю, что слава моих предков ни в коей мере не распространяется на меня.

Я горжусь не тем, что среди Мещерских были герои, а тем, что среди героев моей Родины были и Мещерские. Их много".

В конце прошлого года Екатерина Александровна передала Советскому фонду культуры серьги семьи Гончаровых.

"Прежде всего считаю себя обязанной подтвердить двойное родство Мещерских с Гончаровыми.

Мой отец писал:

"... в десяти верстах от нас жили очень приятные соседи в местечке Яропольце:

граф Чернышев-Кругликов

и Гончаров, женатый на Наталье Ивановне Загрязской, младшая дочь которых вышла замуж за нашего незабвенного поэта Пушкина, а младший из сыновей сделался впоследствии моим дядей,

женившись на младшей сестре моего отца, той самой лотошинской красавице, которая была зачинщицей всех удовольствий среди этого избранного и веселого общества.

Эти два крупные землевладельца граф Чернышев-Кругликов и Гончаров, имения которых до сих пор сохранились в их роде, проживали в своих барских каменных усадьбах, имеющих вид древних замков, в расстоянии не более версты одна от другой, что в нашей русской деревне довольно редко встречается"

Серьги Гончаровых



Я же могу добавить, что последней владелицей Яропольца и Полотняного Завода была Елена Борисовна Гончарова, до брака княжна Мещерская – дочь Бориса, старшего из девяти братьев моего отца".
Серьги Гончаровых находятся теперь в экспозиции музея Пушкина на Арбате.
Этих индийских рубинов, осыпанных бриллиантовой крошкой, возможно, касалась рука Натальи Николаевны Пушкиной.
Драгоценные камни всегда дороги, а эти, вероятно, бесценны, и нет нужды объяснять отчего.
И потому, как не испытывать чувства благодарности к тому человеку, кто, несмотря на все трудности, сберег их для нас.

Л. ЛУКЬЯНОВА



К.С.Петров-Водкин
Женщина с ребенком на фоне города. 1924
Собрание В.А.Дудакова

Образ

русской женщины

ЕКАТЕРИНА ДЕГОТЬ



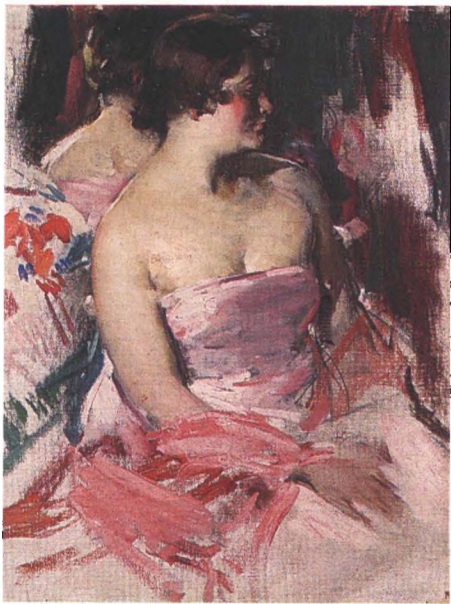
И. П. Аргунов
 Портрет А. П. Шереметевой. 1768
 Собрание музея В. А. Тропинина

В Москве прошла выставка "Образ русской женщины", явившаяся одним из первых деяний клуба коллекционеров, созданного при Советском фонде культуры. Инициатором и автором ее концепции стал первый заместитель председателя клуба В. А. Дудаков. С помощью коллекционеров Ю. С. Торсуева и А. И. Шлепянова ему удалось развернуть обширную и тщательно продуманную экспозицию, куда вошли работы из московских и ленинградских собраний. На выставке была представлена русская иконопись, более 60 живописных полотен XVIII–XX веков, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Экспонировались работы таких крупнейших мастеров, как Рокотов, Боровиковский, Серов, Коровин, Машков, Петров-Водкин, Серебрякова, и других. Посетители выставки смогли увидеть, как на протяжении столетий менялось отношение к внутреннему миру женщины и к портретному жанру в России в целом. Тема эта, которой посвящен предлагаемый очерк, одна из самых благодатных и красивых в искусстве и одна из самых благодарных в искусствознании

ФОТО А. ВИКТОРОВА



В. А. Серов
 Портрет П. А. Мамонтовой. 1889. Фрагмент
 Собрание М. В. и М. Н. Соколовых.



А.Е. Архипов
Портрет В.А. Львовской-Иоффе. 1910-е годы
Собрание В.Я. Андрушева

“Разве есть какое-нибудь единство между выставленными портретами, какой-нибудь общий тип? Ведь это натяжка, вызванная историческими сувенирами, музейными впечатлениями, которые иногда совершенно превратно создают такие “типы эпохи”, объяснимые более всего тождеством покровов и требованиями моды...” – писал в 1909 году Александр Бенуа. Сомнения его не чужды и мне. У портретной живописи есть ряд ответвлений, за перипетиями существования которых так увлекательно следить: это автопортрет, двойной портрет, костюмированный портрет... Но изображения женщин – есть ли у них своя специфика? Кто-то станет искать здесь “лики красоты”. Впрочем, термин этот в пору разве что салонным живописцам. Нет, чтобы преодолеть кажущуюся необязательность темы этой впечатляющей выставки, отнесемся внимательнее к самой судьбе женского портрета и женского образа в русском искусстве.

Дамы XVIII века полны очарования. “Вск галантных празднеств” многое в культуре ориентирует на женщину. В послепетровской России XVIII века с этим духом игривости спорит серьезность портретных задач – порой несколько наивная. В “Портрете неизвестной” И.Вишнякова (?) (собр. А. Кропивницкого) изящество – но и скованность; красота – но и прямота объективности. В первых русских фамильных галереях изображения женщин висят рядом с мужскими, они как бы не дифференцированы: так и у Рокотова, но, кажется, все-таки именно женский портрет определяет его манеру, стиль – женственность черт проступает и в мужских лицах. И у Боровиковского мы сразу вспоминаем его героиню, а не героев. Эволюция творчества художника идет через женские образы: от сентиментальных мечтательниц и грациозных ветрениц к добродетельным гражданкам своего отечества.

Есть диссонанс между мужскими и женскими образами и у Кипренского: в его работах мужской образ как будто глух к женскому, не откликается на него. Именно героини портретов Кипренского, особенно в его раннем творчестве, нередко воплощают важнейшие стороны его духовного идеала, они глубже и сложнее многих из его героев.

В женском портрете содержалась возможность не только углубления образа, но и



З.Е. Серебрякова
Портрет О.И. Лансере. 1906
Собрание семьи Лансере

уплощения его, не только идеала, но и внешней идеальности, которой щедро дан отдал Карл Брюллов; и именно в женском портрете первой трети XIX века на фоне нарастающего психологизма мужских образов все сильнее противоположная тенденция: изображения женщин перестают быть портретами. Они превращаются в тропинки “кружевниц” и “девушек с розами”, обаяние которых тем цельнее, что не отягощено никаким содержанием. И рядом – федотовская “Вдовушка”, не портрет, но подлинная героиня картины. Отсюда идет в русской живописи середины и второй половины века образ женщины, угнетаемой обстоятельствами, будь то вдовушка или утопленница, гувернантка или та бедная девушка, для которой, как в наброске Федотова, “краса – смертная коса”.

Но это в картинах. А собственно портрет второй половины века? Вот важнейшее на нашем пути “белое пятно”: женские портреты 60-х–70-х годов, за редкими исключениями, как-то фатально неудачны, отмечены странными провалами вкуса. Для передвижников это была опаснейшая тема: как раз тут они “падали в объятия” ненавистного академизма. К нему звал сам жанр “головок”, “украинок у плетня” и “дам с веерами”. Пыльным цветом расцветает здесь идея внешне понятой “красоты”. А вот поэтическое начало в женщине как бы иссякает – не случайно женщин нет среди стеленных многочисленных крестьянских портретов. Судьба женских портретов разделяет тут судьбу портретов детских. Но вот и те, и другие появляются вновь – в атмосфере пленэрной картины: в репинской “На дерновой скамье” и абрамцевских портретах, в портретах жены и дочерей 80-х годов. Это было уже время “отрадного”, к которому стремился молодой Валентин Серов и воплотил его в “Девочке с персиками” и “Девушке, освещенной солнцем”. Близок к ним и показанный на выставке “Портрет П.А. Мамонтовой” (собр. М.Н. Соколова).

Наконец, эпоха рубежа веков порождает целую галерею особенных женских типов: “девушки” Нестерова и сомовские дамы, купчихи Кустодиева и “женщины забытых усадеб” Борисова-Мусатова... Это целые темы искусства, в полном смысле слова образы, соединяющие неповторимую, только им присущую внешность с широким “содержанием”, символами которого они, по сути дела, становятся. Искусство этого времени склонно оперировать такими символически-



П.Е. Заболотский
Портрет молодой женщины. Середина XIX века
Собрание В.В. Мясникова

ми героинями – и мифологизировать образ реальной женщины, как делали это Брюллов и Блок в поэзии. Конкретные модели портретов Сомова, Мусатова, Врубеля внутренне, а иногда и внешне связаны с их же художественными мирами, они продолжают как бы в реальности. Образцам и вправду подражали, живя выдуманными судьбами, заставляя жить ими других. Поэты вынуждали ту, что была для них Прекрасной Дамой и зримым воплощением Вечной Жены, видеть себя только в зеркале их строк.

“Миф о женщине” в искусстве рубежа веков включает в себя мотивы любви и смерти. Эпоха любила сопрягать эти слова, любила видеть символ в обыденной сцене. Врубелевская “Девочка на фоне персидского ковра” не дочь владельца ссудной кассы, какой она была в действительности, а обреченная жертва, в руках которой роза и кинжал – знаки красоты и гибели. Женскому образу отданы важнейшие смыслы в культурном сознании – мужские поспорить с ними не могут. Но эти смыслы изначально двойственны: женщина есть Добро и Зло, Ева и демоническая Лилит, как писал замечательный искусствовед Н.Н. Врангель – “смесь зла и невинности, подростка и старушки, больной, оранжерейный цветок в оправе Лалика, странное и острое слияние непонятого и знакомого, невинности и греха...” Красота может быть “от дьявола” и “от Бога”:

“Красота страшна”, – Вам скажут, –
Вы накинете лениво
Шаль испанскую на плечи,
Красный розан – в волосах.

“Красота проста”, – Вам скажут, –
Пестрой шалью неумело
Вы укроете ребенка,
Красный розан – на полу.

(А. Блок)

Но и та и другая красота – подлинны, и тот и другой образ можно выстроить самым обликом модели – “стильным” (“шаль испанская”) или “бесстыльным”, когда условные атрибуты опадают.

Костюм XVIII века делает из женщины подобие куклы. К пышному платью как будто приставлены лицо и руки, и это порой придает облику нотки хрупкости, как в портрете Сары Фермор кисти Вишнякова. Но



В.М.Ходасевич
Портрет неизвестной. 1916
Собрание А.И.Шлеянова



И. Я. Вишняков
Портрет неизвестной. 1-я половина XVIII века
Собрание Л. Е. и Г. Д. Кропивницких



L. BAKST

Paris 1895

Л.С.Бакст
Портрет неизвестной. 1885
Собрание В.А.Дудакова



Н. В. Синеzubов
Женщина в красном. 1919
Собрание Т. В. Рубинштейн



В.А.Тропинин
Девушка с горшком роз. 1850
Собрание музея В.А.Тропинина



Ф.А.Малевич
Портрет русской женщины в шали. 1910-е годы
Собрание В.Я.Андреева



В.А.Тропинин
Портрет Е.И.Карзинкиной в русском наряде.
После 1838. Собрание музея В.А.Тропинина

эта хрупкость не имеет эмоционального наполнения, она не становится еще образом модели. Все дело в искусственности сочетания, в котором заложена возможность вставить в раму богатого наряда любое лицо. Эпоха не находит ничего комического в том, что старухи носят декольтированные туалеты, как на портретах Антропова. Костюм рококо исполнен чувственности, но чувственность эта как-то обязательна, рутинна; костюм есть некий долг, хотя он же – и удовольствие, и очень характерно, что они слиты. Тема портрета – “женщина при дворе”, частного существования искусство середины XVIII века почти не знает, почти не может выразить, вся жизнь идет “напоказ”, и в ней соединяются атмосфера праздника (вся одежда в какой-то мере парадна!) и “службы”. Позы дам свободны, но одновременно и застылы. Таковы и юные девушки, и старухи. Идеал времени не молодость и грация, но некая полнота качеств, будь то красота или важность, здоровье или пышность наряда, и все в портрете обычно звучит в полную силу: цвет, узор платья... Красавицы Аргунова, такие, как А.П.Шереметева на портрете из собрания Ф.Е.Вишневого (ныне в музее В.А.Тропинина), пышут здоровьем и цветением, но не живым и хрупким, за которым наступает увядание, а прочным и постоянным.

И так не похожи ордена с лентами на груди антроповских придворных дам на живые цветы, шелковые банты и жемчужины, украшающие героиню Рокотова. Тяжелые золотом шитые ткани сменяются неопределенными, волнующимися. Рокотов размывает физические качества и самой модели, смягчает, видимо, как особенно яркую красоту, так и некрасивость. Левицкий – более конкретен: его знаменитых “смолянок”, воспитанниц Смольного института, запечатленных им в парадных портретах, называли “очаровательными дурнушками”, но они дурнушки именно потому, что нет единого канона красоты. Улыбки их откровеннее, чем у рокотовских женщин, масса волос – объемнее, излюбленная ткань – блестящий атлас. Под материальными покровами чувствуется материальность тела, руки уже не просто приставлены к платью. Женское тело и костюм не составляют теперь такого целого – механистического, как у Вишнякова, или поэтически еди-

ного, как у Рокотова. Не случайно в нарядах смолянок мало индивидуального; они своим цветом причисляют их к тому или иному “возрасту” – институтскому классу. Вначале это – воспитанницы определенных лет, а уж потом – поименованные художником барышни.

Итак, общее, за ним индивидуальное; такой “порядок” образа сохраняется и у Боровиковского, с тем только, что на это общее, как на известный канон, образ сознательно художником ориентирован. Те платья, что носят его героини, принадлежат единому стилю. Вот перед нами момент, когда стиль начинает избирать для своего воплощения именно женский образ.

Ведь мода и стиль – понятия одного рода, а мода на протяжении XIX века становится достоянием преимущественно женского платья (раньше это было совсем не так!). Облик мужчины XIX века все проще и все прозрачнее, не случайно фрак становится тем символом мешанской прозы, перед которым, как писал Герцен, в отчаянии остановится художник. Распадение общности женского и мужского костюма, до того строившихся по сходным правилам, происходит именно в эпоху Боровиковского, в предромантизме, в конце XVIII века. Общество разделилось на две группы – “одни в белом, как невесты, другие в черном, как сироты” (А. де Мюссе). Романтический герой уже не будет носить вышитых камзолов, его костюм прост и темен. Женский наряд избавлен от широких юбок и париков, от затянутых корсетов – вместо них легчайшее платье, лентой схваченное под грудью, простая прическа, полубогаженность в античном духе; женщина высвободилась из вороха тканей, однако образ, ее облекающий, стал более условен.

Боровиковский не только вводит в портрет черты стиля как сознательно употребленного единства форм, но и впервые в русском искусстве сознательно выстраивает “миф женщины”. Два последовательных мифа, причем античный стиль одежды сумел безболезненно вместить и тот и другой. Ранние портреты Боровиковского проникнуты руссоистским идеалом близости к природе, но

этот идеал окрашен в мифологические тона: его Арсеньева не просто пастушка в соломенной шляпе, но Афродита, принявшая яблоко от Париса. Его героини юны, их кокетство столь прямодушно, что вполне добродетельно. Они позируют, но естественно и непринужденно, как сама природа, на фоне которой их пишет художник. Женщина близка к природе, и, как почувствует романтическая эстетика, она сама есть природа: “мужчина минерален, женщина – растительна” (Новалис).

Но вот уже портрет Лабзиной с воспитанницей, созданный в начале нового века, делит двух героинь: юная воспитанница, которая охарактеризована как существо “чувствительное”, помещена на фоне пейзажа; но ее гордо выпрямившаяся приемная мать отделена от пейзажа торжественным занавесом. Побеждает идеал порядка и долга. Фигура уподобляется колонне, складки ткани – античным драпировкам, вместо воздушных накидок – тяжелая ампирная шаль, которой украшает себя зрелая матрона, – отныне таковы героини художника. Женский образ воплощает типологическое, устойчивое.

В 1830-е годы “типом” романтической женщины становится “неземное создание”. Герой гоголевского “Портрета” писал красавицу “со всей грацией... красоты воздушной, легкой, очаровательной, чудесной, подобной мотылькам, порхающим по весенним цветкам”. Это совпадает и с новой дамской модой: тончайшая талия, очень пышные рукава, спущенные куда-то много ниже плеч, и воздушная юбка. Так одета и “Неизвестная” на портрете П.Заболоцкого (собр. В.Мясниковой). Характерно эклектичным соединением образа “мотылька” с другим романтическим штампом – женщиной-“беззаконной кометой” – является брюлловская “Всадница”, смело укрощающая коня, не натягивая повода и не нарушая гармонии своего кукольного лица. Так женский портрет начинает сознательно ориентироваться на красоту, вначале как на нечто исключительное, выделяющее героиню из числа других; но красота, как и экзотика (леопардовые шкуры и пальмы в антураже портрета), мгновенно становится общедоступной и обязательной. Салонный портрет второй половины столетия пользуется всеми штампами предыдущей эпохи. Женский портрет этого времени спо-



И. И. Машков
Этюд. 1905–1907 годы
Собрание В. А. Дудакова



А. К. Богомазов
Портрет жены. 1915
Собрание А. И. Шлепянова



А. В. Лентулов
Девушка с концертино. 1913
Собрание В. С. Семёнова

собен принести удачу художнику, когда облик модели прост и строг, и так было в портретах женщин “новой формации” – прогрессисток. Но даже и передвижники в восьмидесятые годы испытывают потребность создать некие “символы красоты”. Такова “Неизвестная” Крамского, в которой художник, очевидно, хотел выразить представление о красоте “по ту сторону добра и зла”.

“Стиль модерн, который был почти сконструирован художниками разных стран в конце XIX века, конструкцию свою распространил на все. “Стиль” относится теперь не только к платью: “Недостаточно, чтобы ваш пиджак, сюртук или фрак только были надежны на вас; необходимо, чтобы они составляли вместе с вами нечто целое”, – писал журнал “Столица и усадьба” в 1914 году. “Стильная” женщина модерна стройна, платье ее обладает плавными извивами контуров, в ней хрупкость и изысканность, у нее длинные змеящиеся волосы, распущенные или заколотые в тяжелую, богатую прическу. И сам стиль модерн в своей формальной основе как будто обладает женственным характером, отдавая предпочтение изогнутым линиям, вытянутым формам, изящной графичности. Такие качества стиля, как склонность к никнущим, опадающим линиям, свобода форм и их внутренняя связь с природой, чувственные акценты – мифологизируются как качества женственные. Таковы серовские портреты 1900-х годов, в которых он не налагает властно свой стиль на натуру, но всякий раз заново извлекает его из модели, эстетизируя ее не “извне”, а исходя из нее самой. И все-таки натура и стиль не совпадают, между ними есть зазор, который может принять пусть легкий, но драматический оттенок.

Ида Рубинштейн в знаменитом портрете, может быть, не “оживший ассирийский барельеф”, как говорил Серов, но, скорее, “застывающий барельеф”. Она глядит на нас через плечо с некоторым усилием, поза ее напряжена, и кажется, сейчас она окончательно повернется в профиль, станет барельефом – самостоятельной стилистической формулой. В такой формуле уже не будет драматизма дистанции между человеком и стилем. Здесь модель словно уложена в футляр модного стиля современности, но ей могут быть с той или иной мерой деликатности навязаны и качества некоего “старинного” стиля. Одним из таких качеств является старинный

костюм, другим, дающим возможность провести более тонкую игру, – поза. Так Сомов в своих ранних портретах усаживал дам (А.К. Бенуа, А.П. Остроумову, М.В. Семичеву) в однотипные позы – рука на подлокотнике дивана, голова чуть наклонена. Поза одновременно демонстративная и непринужденная, напряженная и свободная – поза “в стиле XVIII века”. После выставки портрета в Таврическом дворце в 1905 году, когда впервые были широко показаны русские портреты этого времени, попробовал писать женщин в духе старинного портрета и Серов. Но безграничную власть стилизатора над своей моделью проявляли неоакадемисты – Яковлев и Шухаев. Модель в старинном платье не похожа на куклу, как это было в XVIII веке, а становится куклой.

Стилизованный портрет, в котором личность модели подавлена, – это почти исключительно портрет женский. Что же все-таки говорит нам женский портрет и образ женщины о личности человека?

Что-то похожее на личность встречаем мы в портретах Рокотова. Они нацелены на внутреннее, но это внутреннее “вообще”. Тональность его образов не то чтобы тайна, но, скорее, неразвернутость. Она – в его многочисленных юношеских портретах, юношеских в самой их “невывраженности”, в нежной живописи и нежном существе человека. Но вот различие между мужским и женским портретом, оно очень ярко выступает здесь: для выражения, особенно сильного, этого неопределенно-внутреннего в мужском портрете нужен образ юности; в женском не девический образ, но более зрелый. Княгиня Е.А. Голицына на портрете Рокотова (дар Ф.Е. Вишневого музею Тропинина) совсем не молода. Но даже юные, как нам известно, женщины у Рокотова выглядят душевно и жизненно зрелыми, потому что это – залог внутреннего опыта. В мужском портрете художник должен избежать излишней четкости, омертвления душевного мира; в женском – обозначить жизнь души.

Героини раннего Боровиковского, напротив, женщины молодые, поскольку “жизнь души” приобретает у него более конкретный характер: это чувствительность сердца. Идеал художника – мир личности. Но личность эта находится в полной гармонии с окружающим миром – в ранних портретах это природа, позднее – общество. Залог этой гармонии – известная непроявленность личности, дре-

мота индивидуальности, преобладание общего над частным.

Все иначе у Кипренского: в его раннем творчестве женские образы – это индивидуальности. Пожалуй, в большей мере его мужчины, офицеры двенадцатого года, запечатленные в рисунке, воплощают в себе некое братство. Во всех них есть нечто общее, женщины же нередко одиноки, брошены на самих себя. Романтизм лишает личность гармонии с миром. Пафос мужского портрета нередко – в борении, самопроявлении, что как бы вымывает из образа часть его внутреннего существа. “Женская” же дисгармония со средой – это одиночество, покорность судьбе, может быть, разочарованность. И глубокая душевная жизнь. Таков портрет Ростопчиной. Как бы внезапно портрет лишается чувственных акцентов, как лишен их и сам женский наряд: простота и ненамеренность позы, скромность в изображении тканей. Глаза модели устремлены вверх, к иному и высшему. Идеал женственности “напоказ” сменяется идеалом внутренней женственности. Руки Ростопчиной срезаны нижним краем холста, они не видны, но в их положении есть нечто скованное. Но это и заостряет внутреннюю силу образа. Напротив, руки в портрете Хвостовой открыты. Они сложены подчеркнуто пассивно, устало, и это лейтмотив всего образа. Так же подчеркнуто безвольны и руки Авдулиной. Не случайны черные платья Хвостовой и Авдулиной – само их бытование в качестве модной одежды выдавало скрыто драматический характер идеала времени, реализованный у Кипренского. Авдулина в портрете уподоблена облетающему цветку на окне – подобно ему, она наклонена вперед, устремлена вдаль. Стебель обронил одно из своих соцветий. Рука героини, слабо сжимающая веер, грозит разжаться.

Женский образ тут окрашен явно страдательным колоритом, но все-таки это страдательный субъект романтизма, именно в нем, а не в окружающих обстоятельствах – романтический конфликт. В тех же романтических штампах, о которых уже шла речь, человек становится романтическим объектом, предметом, продуктом соответствующей атмосферы, костюма, моды.

Сложная жизнь души в этих ранних женских портретах Кипренского – скорее исключение для своего времени. Индивидуальность, личность – категории, проходящие



К.А.Коровин
Портрет неизвестной. 1912
Собрание А.Я.Абрамяна

мимо женского образа. Отнюдь не только мимо тропинских “девушек” и “украинок”, мимо одинаково миловидных героинь брюлловских портретов: так и у Венецианова, художника куда более глубокого и поэтического. И этой поэзии он достигает именно на пути отхода от индивидуального начала, точнее даже, неприкосновения к нему. Его героини, крестьянки, не портретны даже в произведениях, по форме напоминающих портрет; но в этом качестве, можно сказать, неведение, счастливое незнание излишней конкретности, а не сознательный отход от нее, не прямая идеализация. Это образы “до” портрета, а не “после” него, как во “Всаднице” Брюллова. Что же, если не конкретная индивидуальность, наполняет образы Венецианова? Их содержание – внутренняя цельность. И это не мало. Они не хрупкие сосуды, внутри которых тайная жизнь, но и не пустые внутри куколки. Эти женщины классически скульптурны, но без холодности: они словно отлиты из какого-то цельного вещества, скрытая душевная жизнь им неизвестна, но душа как целостность им дана изначально – не как тяжелая ноша, а как благо, с рождения и во всей полноте.

Так же, как мы видели, и в импрессионизме на русской почве, но все-таки и иначе. Взглянем на “Женский портрет” К.Коровина (собр. А.Абрамяна). У Коровина человеческая фигура, что прежде всего бросается в глаза, не обладает “отдельностью” персонажей Венецианова. Человек принадлежит целостности мира, он в нем растворен, хотя, конечно, и не до конца. Женщина прочнее привязана к миру, чем мужчина, она больше связана с его повторяемостью, движением, ее образ, как и образ ребенка, больше раскрыт в будущее (хотя и в прошлое тоже) и меньше сконцентрирован на самом себе.

Знаменитый репинский этюд Стрелетовой написан тоже в восьмидесятые годы, и в нем тоже огромная целостность и единство. Но здесь модель не растворена. Перед нами мятущаяся, противоречивая, как будто “неприбранная” человеческая душа, неповторимая индивидуальность. Но она же тут говорит за каждую человеческую душу. Самое потаенное и личное, как вкус чернослива, припомнившийся умирающему Ивану Ильичу, и есть то, что причисляет человека к огромному сообществу, где каждый когда-то

переживал это как свое. Восьмидесятые годы отмечены сильнейшим интересом к “общечеловеческой” проблематике в портрете. Но всеобщее говорит тут устами отдельной личности, так щедро, так смело раскрывающей себя. Это обосновано тем пониманием женского образа, которое ведет свое происхождение от романтизма: как воплощение природного начала, как олицетворение свободы и “стихий”. Образ женщины, долгие годы во второй половине XIX века оставшийся весьма условным, вдруг обнаруживает свои возможности, представляя за человеческое вообще.

И живопись, и сам женский образ в искусстве рубежа веков редко бывают непосредственными. На модель может быть наложена стилистическая схема, заранее данная идея образа, просто старинное платье, как в “Даме в голубом” Сомова – портрете художницы Мартыновой. Ее губы горестно сжаты, но взгляд и жест бесловесно красноречивы, устремлены к нам. Многим лицам портретов рубежа веков присуща особая “пустота” и непроницаемость. Но ошибкой было бы видеть в этом реальную характеристику людей того времени. Художник видит, как всегда, то, что хочет видеть.

И Серов, и Сомов писали Елену Олив, но эти два образа мало что связывает. Лицо женщины на портрете Серова одухотворено каким-то неясным чувством, колеблется от его волн. Рука поднесена к лицу, рот полуоткрыт – перед нами ситуация высказывания, свободного излияния личности. То же лицо в портрете кисти Сомова – замкнуто в своей оболочке, абсолютно лишено выражения. У этого лица как бы нет черт, а только внешний контур. Сомов изображает лицо выцветшим, смытым; у нас на глазах исчезают, расплываясь, губы, уничтожая самую возможность слова. Героиня изъясняется только позой и жестами, как фарфоровые статуэтки рядом с ней. Замок, в который сплетены пальцы Олив, замыкает ее уста. И в портретах, и в “галантных жанрах” Сомова у людей плотно, “в ниточку”, сомкнуты губы. Дамы его улыбаются не разжимая рта, как будто речь, как и душа, им неизвестна.

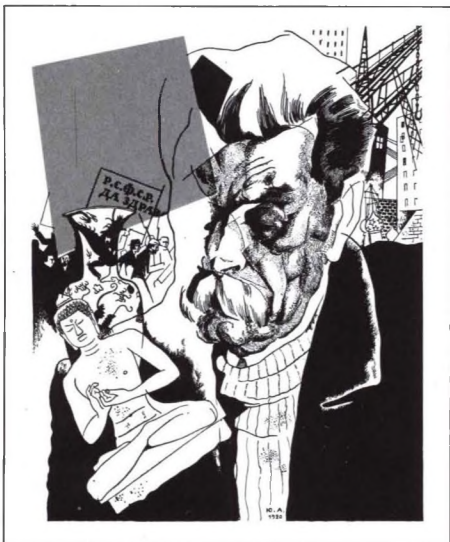
Героини Борисова-Мусатова, будь то реальные женщины или поэтические символы, тоже одеты в старинные платья, тоже живут в особом, далеком от реальности мире. Но этот мир не раздираем, как у Сомо-

ва, на праздничное лицо и трагическую изнанку жизни. У Мусатова есть своя “Дама в голубом”; она, как и сомовская, молчит; но она не только сжимает губы, но смежает и веки, опускает безвольно руки. Все растворяется в общей атмосфере зачарованного сна, в котором слово не нужно, из которого не нужно освобождаться, и драма немoty уступает место светлой тишине.

Образы Мусатова растворены в общей мифологической ситуации своеобразного “золотого века”. Но и в искусстве рубежа веков женщина могла принять на себя весь миф, все его содержание. “Миф о женщине” в особенности часто сопрягался с “мифом о России”. И та и другая виделись загадкой, неким таинственным сфинксом. Лицо-маска, скрывающее тайну, – этот мотив русского модерна объединяет столь далекие друг от друга образы, как лицо героини “Сирени” Врубеля, как бессмысленные личики сомовских шариков, как лица малявкинских баб, чьи глаза-щелочки тоже устремлены в собственное доисторическое “нутро”. Бесчисленные бабы Малявина – это его Россия во всей ее сложности, противоречивости, ее юное, свежее, но одновременно и тупое, застывшее лицо. Это образы-символы. Даже в таких натуральных работах, как выставившиеся рисунки из собрания В.Андреева, видно, что в русских бабах и девках дремлет как будто сила созидательная, плодоносящая, но и безоглядно разрушительная: яркая цветовая стихия сливается с глухой чернотой.

Петров-Водкин возвращает женскому образу внутреннюю полноту и цельность, утраченные, может быть, со времен Венецианова. Но само его бытование в картине лишено идиллического характера. Женщина Петрова-Водкина чиста и свободна. Образ ее прост и вечен – это образ Матери. В десятые годы мы видим ее на берегу реки и в крестьянской избе (“Мать”), в двадцатые – в тревожном, изломанном пространстве города (“Петроград. 1918 год”). Художник возводит свою героиню к самым высоким, иконописным первоисточникам. Но этим он и возлагает на нее трагическое звание, предчувствие грядущих страданий и нисходящую к людям любовь. В ошеломляюще новом мире, мире, пожалуй, “мужском”, этот женский голос не вливается в общий хор. Но он говорит за всех и просит за каждого.

ОБЛОЖКА НОМЕРА



В 1918 году в Петрограде в издательстве “Алконост”, возглавляемом С.М.Алянским, вышла в 250 экземплярах поэма А.Блока “Двенадцать” с иллюстрациями Юрия Анненкова. Эта работа давно уже стала классической, иллюстрации Ю.Анненкова к “Двенадцати” слились с поэмой Блока.

Юрий Павлович Анненков был великолепным книжным иллюстратором, выдающимся портретистом, интересным живописцем, театральным и кинематографическим художником, режиссером, поэтом и прозаиком. И в России, и позже, в эмиграции, Ю.Анненков создал целую галерею превосходных, острых, психологически точных портретов. В одном из номеров “Нашего наследия” мы подробно расскажем о жизни и творчестве Юрия Анненкова, художника, чей своеобразный талант так высоко оценил требовательный Александр Блок. А на обложке этого номера, выходящего в год 120-летия А.М.Горького, публикуется выполненный Ю.Анненковым в 1920 году в Петрограде портрет писателя.

Приведем небольшой отрывок из воспоминаний Ю.П.Анненкова, относящийся к тому времени, когда портрет создавался. “Комитет “Союза деятелей искусств”, основанного еще при Временном правительстве и

возглавлявшегося Горьким, назначил в его квартире встречу с представителями новой власти. Но утром этого дня Горький заболел, и его температура поднялась до 39°. Забывав к нему в полдень, я предложил отсрочить заседание, Горький не согласился: – Веселее будет лежать!

Горького лихорадило, лицо его потемнело. Он кашлял, сводя брови и закрывая глаза. Ему нужен был отдых, никакого “веселья” он, конечно, не предвидел. Но его личные потребности тотчас отступали на последний план, когда дело касалось искусства, науки, книги: культуру Горький любил до самозабвения. Когда по окончании заседания “власти” уехали, Горький сказал, протягивая в пространство сухую, гипсово-белую руку: – Начинается грандиозный опыт. Одному черту известно, во что это выльется. Будем посмотреть. Во всяком случае, будущее всегда интереснее пройденного. Только вот что: прошлое необходимо охранять, как величайшую драгоценность, так как в природе ничто не повторяется, и никакая реконструкция, никакая копия не могут заменить оригинала. Да...

Вскоре Горький основал “Комиссию по охране памятников искусств и старины”.

В.В.

Джордж Сорос на Гоголевском бульваре



отложить. Надо было зарабатывать на жизнь. Я занялся бизнесом. На практике проверял свои идеи, которые позже удалось изложить и на бумаге... Познакомьтесь с моей "Алхимией финансов", – посоветовал Сорос. По словам бизнесмена, книга эта – дело всей его жизни.

Я держала в руках это фундаментальное исследование, читала. Весьма возможно, что прагматически настроенная часть американских читателей была разочарована.

"Мне бы хотелось подчеркнуть, что книга эта вовсе не предназначена быть справочником или пособием для тех,

"Микеланджело, Ренуаром и Бетховеном Уолл-стрита, соединенными в одном лице", называют в США финансиста Джорджа СОРОСА.

Он владеет международным инвестиционным фондом с основным капиталом около двух миллиардов долларов – фондом, признанным в деловых кругах самым преуспевающим в мире. Сорос известен на Западе и как ученый-экономист, автор книги "Алхимия финансов". Мы знаем его как бизнесмена нового типа, наладившего сотрудничество с Советским фондом культуры. Здесь, на Гоголевском бульваре, 6, с ним и встретилась наш корреспондент Татьяна ОКУЛОВА.

Сорос вел беседу как деловой человек, который дорожит каждой минутой. (В США, я слышала, минута, уделенная собеседнику бизнесменом типа Рокфеллера, оценивается в десятки тысяч долларов.) Ответы нашего гостя из Нью-Йорка были телеграфно сжаты и предельно динамичны.

– Я родился в Венгрии. В 1947 году – мне было в ту пору семнадцать лет – уехал учиться в Лондонскую школу экономических наук. В юности на меня очень большое впечатление производили философские взгляды Карла Поппера. Вообще увлекался философией. К сожалению, потом занятия ею пришлось

Фото В. НЕКРАСОВА



кто хочет быстро разбогатеть на бирже, – пишет автор. – Большая часть того, что я знаю, в ней содержится в теоретической форме. Я ничего сознательно не скрывал. Но логика изложения работает в обратном направлении: я не пытаюсь объяснить, как сделать деньги, скорее, я использую свой опыт работы на финансовых рынках для изучения исторического процесса в целом и настоящего момента в частности...” Действительно, “Алхимия финансов” не похожа на сугубо деловой трактат, это вещь философская, своеобразная исповедь. Она затрагивает, как говорит Сорос, многие из его постоянных интересов. От экономики через философию и психологию он переходит к размышлению о жизни, о смерти... Книга полемична, но автор и не претендует на истину в последней инстанции. Он справедливо считает, что никто не должен навязывать другому свою точку зрения. Каждый человек имеет право думать так, как хочет. Эту его мысль можно рассматривать как приглашение к диалогу, к мирному соревнованию идей. Сорос прямо говорит о своем стремлении к предельной искренности. О критическом отношении и к себе и к жизненным явлениям вообще. Взять, к примеру, его рассуждения о бюрократическом мышлении, к которому Сорос испытывает “инстинктивное отвращение”, потому что оно убивает живое в человеке. По его мнению, отличительная черта бюрократии – ее тяга к увековечиванию своего положения. Или вот наблюдения о некоторых социальных последствиях научно-технического прогресса. Автор полагает, что крен в сторону материальных ценностей, материальных благ в американском обществе достиг предела в ущерб духовности. “Если бы я хотел суммировать свой жизненный опыт, я сказал бы лишь одно слово – выживание. Когда я был подростком, вторая мировая война дала мне урок, который я запомнил навсегда”, – пишет Сорос, вспоминая и о горьком опыте своего отца, пережившего еще первую мировую войну. Сегодня, когда все мы ходим под дамочным мечом ядерной катастрофы, эта мысль о выживании особенно близка и понятна нам. Тем более что автор связывает ее с практическими поисками взаимопонимания, сотрудничеством народов. Именно поэтому мы можем сидеть и говорить с этим энергичным, общительным человеком в центре Москвы, на Гоголевском бульваре... Здесь же его жена Сьюзен – молодая красивая женщина с длинными светлыми волосами. Кстати, “Алхимия финансов” посвящена как раз “Сьюзен, без которой эта книга появилась бы много раньше”. Американский финансист считает, что иметь деньги и не вкладывать их в благое дело было бы непростительной ошибкой. Он охотно рассказывает о создании в 1984 году совместного благотворительного комитета на своей родине, в Венгрии. По его убеждению,

общество должно становиться более многогранным, предоставлять своим гражданам широкие возможности. Фонд призван эти возможности увеличить, помочь людям творчески проявить себя. Поддержать новые идеи, начинания в области культуры в широком смысле этого слова.

Подобный комитет организован был затем в Китае. И вот теперь Советский фонд культуры стал для Сороса партнером для диалога. После нескольких визитов в СССР бизнесмен решил создать в Нью-Йорке благотворительную организацию “Фонд Сороса – Советский Союз”. Между ней и СФК осенью прошлого года было заключено соглашение о сотрудничестве. Учрежден совместный комитет.

– Я бы назвал наш комитет неправительственным источником материальной поддержки инициатив общественности. Звучит несколько тяжело, но в этом – его суть, – поясняет журналистам финансист.

Сопредседателями новой организации стали с американской стороны – Джордж Сорос, с советской – Георг Мясников. В состав комитета вошли ученые и писатели Татьяна Заславская, Валентин Распутин, Борис Раушенбах, Даниил Гранин, Юрий Афанасьев, Григорий Бакланов, Тенгиз Буачидзе. Начал комитет с годового бюджета около миллиона долларов и свыше миллиона рублей. В его обязанности входит рассмотрение предложений, проектов общественности и решение, каким из них оказывать финансовую поддержку. А реализовывать идеи будут их инициаторы. При подобного рода отношениях между комитетом и общественностью нет нужды в традиционном бюрократическом аппарате. Необходимая техническая работа под силу секретариату из пяти-семи человек, который, используя компьютеры, может обеспечить рассмотрение десятков тысяч предложений. Понятен интерес прессы к деятельности комитета, основанной на принципах гласности и открытости.

Планы очень интересные. Уже начались поездки советских деятелей науки и культуры за рубеж с лекциями, будут стажировки студентов и аспирантов в колледжах Новой Англии и Оксфорде. “Миссия к планете Земля” – довольно необычно названа одна из программ комитета. Благодаря ей советские и американские ученые могут участвовать в совместных экологических, археологических, этнографических экспедициях. Все мы – граждане Земли, и потому – все заинтересованы в этих исследованиях. Нам нужно защитить жизнь, сохранить все многообразие планеты, а сделать это можно только сообща. Программа “Миссия к планете Земля” полностью согласуется с духом провозглашенного ООН “Всемирного десятилетия развития культуры”. “Экология человека”, “Милосердие” – рабочие варианты названия еще одной программы. Недаром говорят, что страдание примешано ко всем добродетелям, которыми обладает человек. Душают в комитете и о том, как усовер-

шенствовать, модернизировать материальную базу культурной и научной деятельности в СССР. Планируется также создание видеокурса современного русского языка и еще многое другое. Содружество активно развивается. Полгода работы комитета показали, что необходимы более совершенные методы финансирования. С этой целью в мае нынешнего года между Советским фондом культуры, Фондом Сороса и Советским фондом мира было заключено соглашение о создании совместного советско-американского фонда “Культурная инициатива”, который повысит эффективность использования средств – как в рублях, так и в долларах. В нем могут принять участие и другие советские и зарубежные организации.

В моем разговоре с Соросом речь зашла и о нашем журнале, о возможном сотрудничестве с ним. Бизнесмен смотрит на это весьма благожелательно.

– Говорят, что легче отказаться от выгоды, чем от страстей. У вас они тоже, наверно, есть, господин Сорос? Литература, живопись? – спросила я.

– Конечно, у меня есть какие-то привязанности, но давайте не будем сегодня их касаться. Иначе между нами может возникнуть недопонимание: ведь не они определяют основные направления нашей совместной деятельности.

Внимание и доброжелательность нашел Джордж Сорос во время своих поездок в СССР. Он был принят членом Политбюро ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР А.А.Громыко, членом Политбюро ЦК КПСС, секретарем ЦК КПСС А.Н.Яковлевым. Обсуждались важные проблемы деловых и культурных связей между СССР и США.

Вспомнились слова А.А.Громыко, обращенные к бизнесмену из Нью-Йорка: “Хорошо, что вы вносите практический вклад в развитие советско-американских отношений. Сейчас можно сказать, что в политической плотине, которая разделяет наши страны, появились отверстия, и мы надеемся, что плотина эта будет еще больше размываться”.

– Знаете, – говорит Сорос, – когда я впервые был у вас, мне было гораздо труднее находить контакт с советским обществом. Сейчас – много легче. Я вижу, как растет в ваших людях самосознание. Идет переоценка ценностей. Идея нового мышления очень близка моему представлению о том, какие отношения должны быть между людьми. Я – за новое мышление, и если бы хотел дать ему определение, то сказал бы: это – когда людей поощряют мыслить, но не говорят им, что именно они должны думать. Здесь, собственно, причина создания нашей организации, – подчеркнул Сорос, добавив, что никакой экономической выгоды извлекать отсюда он не собирается.

– Я просто человек. Чувствую себя членом человеческого сообщества, меня тревожит его судьба. И я не могу не сознавать, что будущее его в громадной степени зависит от вашей страны, от ее будущего.

библиотеки:

Библиотечная проблема – одна из острых и болезненных в современной культурной жизни нашей страны. Эта проблема – многообразна. Прежде всего – пришедшие или приходящие в непригодность помещения, включая и многие крупнейшие книгохранилища страны. Жизнь библиотеки в аварийном состоянии – немыслимая по существу – стала, к сожалению, в последнее время почти привычной. Гигантская трещина пронизала девятнадцать этажей основного здания первой национальной библиотеки – Государственной библиотеки СССР имени В.И.Ленина. Трагедия в Ленинграде – пожар в Библиотеке Академии наук СССР принес огромный ущерб нашей культуре. Государственная Историческая библиотека в Москве, буквально задыхающаяся от недостатка площадей, не выходит из аварийного состояния, можно сказать, чудом пока избегает

того, что произошло в Ленинграде... Пожары, затопления, обвалы и т.д. и т.п. постоянно угрожают многим библиотекам по всей стране. Мы как бы забываем, что книга – одно из основополагающих явлений человеческой культуры. А между тем наши книгохранилища уже не в силах выдерживать набегающего книжного вала, освоить его. Техническая оснащенность даже крупнейших библиотек отстает от необходимого современного уровня, от американских и европейских, более чем на полвека. Библиотечные работники имеют очень низкую зарплату, оценка их труда зависит от количества выданных книг по той или иной тематике – отсюда приписки, обман, равнодушное отношение к своему труду. Библиотечное дело – один из показателей состояния культурной жизни общества. И у нас оно требует конструктивных перемен. В те-

чение многих лет в стране не было съезда библиотекарей, хотя давно назрела необходимость созыва такого съезда и открытого, нелицеприятного, широко освещаемого прессой профессионального разговора. Назрела острейшая необходимость создания Всесоюзной ассоциации библиотечных работников. Но Министерство культуры СССР как бы не слышит этих бед. Неповоротливость ведомств в решении крупнейшей культурной проблемы паразитична. За разговорами и решениями не видим дела, тревожные сигналы наших главных книгохранилищ как бы висают в воздухе, а уж голоса областных, городских, районных библиотек из глубины страны и вовсе не долетают до министерского уха. Журнал “Наше наследие” и Советский фонд культуры провели широкое обсуждение библиотечного дела в стране. В нем

приняли участие представители московских и ленинградских библиотек, работники Фонда культуры, журналисты. Собравшиеся просмотрели документальный фильм “Дым отечества” (киностудия ЛСДФ, режиссер В.Ф.Семенюк), запечатлевший Ленинградскую библиотеку Академии наук СССР в дни бедствия. Вели заседание главный редактор журнала В.П.Енишерлов и член редколлегии, редактор отдела литературы В.Я.Лазарев. В результате этой встречи создан специальный Совет по содействию библиотечному делу при Советском фонде культуры, в который вошли крупные специалисты – библиотекари, ученые, писатели, журналисты. Возглавил Совет член-корреспондент Академии наук СССР, директор Института востоковедения М.С.Капица. Публикуем выступления участников встречи.

В.П.ЕНИШЕРЛОВ: Дорогие товарищи! Мы очень благодарны за то, что вы откликнулись на призыв журнала “Наше наследие” и Советского фонда культуры и пришли сюда обсудить проблему, которая существовала давно, но о которой заговорили в полный голос после трагических событий в Ленинграде. Состояние библиотечного дела всех нас очень заботит, и не случайно первую свою встречу с культурной общественностью новый журнал проводит с вами – представителями крупнейших библиотек страны.

Для того чтобы болезнь лечить, нужно искать ее причины. Для того чтобы наши потомки жили в стране, где имеются хорошие библиотеки и просторные читальные залы, нужно кроме призывов о помощи выявить проблемы и наметить пути их разрешения.

В.Я.ЛАЗАРЕВ: Здесь сейчас достаточно представительное собрание: сотрудники главной библиотеки страны – Государственной библиотеки СССР имени В.И.Ленина, Государственной публичной исторической библиотеки, Ленинградской библиотеки Академии наук СССР, библиотек имени Некрасова, Жуковского, библиотеки МГУ, библиотеки ИМЛИ АН СССР. Хотелось бы, чтобы сегодняшний наш разговор не был бесплодным перелопачиванием воздуха. Мы должны обсудить и принять конструктивные решения.

Каждый человек должен сознавать, что без книжного и рукописного фондов вообще немыслима живая культура, ведь это архив нашей памяти.

Н.П.КОПАНЕВА (Библиотека Академии наук СССР): Мы видели документальный фильм “Дым Отечества” о пожаре в нашей библиотеке в ночь с 14 на 15 февраля, и я благодарна его создателям.

К тем словам, которые говорил академик Д.С.Лихачев в фильме, трудно что-либо добавить. Уточню лишь, что сгорело 204 тысячи единиц хранения, из них 188 тысяч – из фонда Бэра, 3,5 миллиона единиц хранения пострадали от воды.

Могу с полной ответственностью говорить о том, что как издательские единицы эти книги восполнимы. Как историко-культурные ценности – нет, ведь многие погибшие книги из частных библиотек видных деятелей петровской эпохи, с надписями и экслибрисами, из Аптекарского приказа...

Кроме того, нанесен и еще один ущерб – моральный. Отношением к библиотеке, приведшим к катастрофе, оскроблены и сотрудники БАН, и читатели, и миллионы советских людей, которым безразлично наше национальное достояние.

Нам предстоит реставрация высушенных изданий. Президиум Академии наук СССР выделил на эти цели значительную сумму; 50 тысяч рублей внес Международный фонд за выживание и развитие человечества. Перед нами стоит весьма сложная задача не только высушить пострадавшие издания, – но и оптимально сберечь уникальность каждой старинной книги. Конечно, хотелось бы сохранить, скажем, переплеты, которые делались в свое время голландскими мастерами по образцам Петра I. Но сделать это непросто, многое зависит от способа сушки. Библиотечные работники знают, что, например, формалин вреден для кожи... Сегодня эта проблема решается.

В нашу библиотеку ныне идут дары: ценные книги XVII века предлагают ленинградцы, откликнулись люди со всей страны: например, из Петрозаводска, Петропавловска-на-Камчатке пришлют нам старые газеты.

После случившегося штат библиотеки увеличен на 32 человека. 70 сотрудников получают дополнительную зарплату. Но даже если не принимать во внимание ликвидацию последствий пожара, а нормальное функционирование библиотеки, то 32 штатные единицы очень мало дадут, поэтому надеемся на договорную работу с реставраторами и высококвалифицированными библиотечными работниками-пенсионерами.

Сейчас большая проблема – помещения. Она не решена.

беды и перспективы

Еще в 30-х годах стало очень тесно, получили еще около 30 тысяч квадратных метров площади, но всего этого давно недостаточно.

Сейчас для того чтобы мы могли нормально приступить к восполнению утраченных фондов и оборудованию реставрационных мест (70 человек нужно где-то рассадить), необходимо новое помещение. Однако проблемы культуры в Ленинграде пытаются решить за счет самой культуры, предлагая библиотеке дополнительные площади за счет Русского музея и Эрмитажа, которые сами задыхаются от тесноты. Нам нужно временно еще хотя бы 10 тысяч квадратных метров. И мы благодарны Дмитрию Сергеевичу Лихачеву за то, что он первым открыто предложил передать БАНу здание Академии тыла и транспорта. Оно продолжает здание нашей библиотеки, имеет с ним общую стену. Д.С.Лихачев обратился с письмом в Президиум АН СССР, чтобы войти с ходатайством в Министерство обороны о передаче здания.

Думается, общей бедой библиотек является размещение фондов в разных концах города. Как известно, в Ленинграде академические институты сосредоточены на Васильевском острове, и для нас не выход из положения – вывоз фонда из центра города, скажем, в Шувалово.

Еще одна важная для нас проблема – крайне слабое материально-техническое обеспечение. Нам приходится объяснять многочисленным советским и иностранным читателям, почему посетитель в один раз не может ксерокопировать более 20 страниц. Люди stanовятся в очередь в 7 часов утра, и удача в этом случае ждет не каждого. Мыслимо ли такое положение дел?

В.Я.ЛАЗАРЕВ: Насколько ситуация с вашей библиотекой характерна для других ленинградских книгохранилищ?

Н.П.КОПАНЕВА: Пожар угрожает и другим библиотекам города. После того как служба надзора побывала, например, в библиотеке Пушкинского дома, подготовлен акт о закрытии ее. В плачевном состоянии библиотека и Института истории естествознания и техники.

В.Я.ЛАЗАРЕВ: Предлагали библиотеке международную помощь?

Н.П.КОПАНЕВА: Да, мы получили много телеграмм, в частности от Библиотечной ассоциации США, от директоров библиотек из Хельсинки и Токио. Международный фонд за выживание и развитие человечества направил к нам трех реставраторов. Директор Библиотеки Конгресса США Д.Биллингтон тоже обещал всяческую поддержку и помощь.

В.П.ЕНИШЕРЛОВ: Сколько времени потребуется библиотеке для составления списка потерь и утрат?

Н.П.КОПАНЕВА: Помимо названного уже фонда академика Бэра сейчас можно сказать, что пострадали отечественные издания 1955–1968 годов и 1984–1988 годов, подшивки отечественных газет 1918–1957 годов и 1979–1987 годов, иностранных газет 1970–1988 годов (кроме 1984 года). Подробные списки составляем.

В.Я.ЛАЗАРЕВ: Многое из того, что поведала Н.П.Копанева, как мне представляется, имеет прямое отношение и к московским библиотечным проблемам. Сколько энергии, старания приложила общественность к тому, например, чтобы Библиотека имени В.И.Ленина вышла из кризисного состояния!.. Мне очень памятна два собрания интеллигенции в Центральном Доме литераторов на эту тему, рабочие заседания, проводимые в библиотеке совместно с ее руководством, открытые письма деятелей культуры, статьи. Судя по всему, от того, как комплексно будет решена проблема нашей главной национальной библиотеки, зависит и развитие всего библиотечного дела в стране, его коренное, принципиальное изменение или всего лишь видимость такого изменения...

Ю.А.ГРИХАНОВ (Государственная библиотека имени В.И.Ленина): Сердце сжималось, когда я смотрел кадры о пожаре в библиотеке АН СССР. Тревожное чувство охватывает и тогда, когда думаешь о нашей собственной библиотеке.

Приняты три постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о реконструкции Библиотеки имени В.И.Ленина. Подает голос и пресса: постоянные публикации на страницах многих газет. А дело не движется. Почему?

Не строятся запланированные новые корпуса. В прошлом году для этой цели были уже приглашены иностранные фирмы, но вопрос не подготовлен, а они ждать больше не желают. Остались только финская и югославская: сейчас идет

между ними своеобразное состязание: кто представит лучший и более дешевый проект.

Еще одна проблема – некуда эвакуировать 10 миллионов томов для того, чтобы осуществить реконструкцию основного хранилища. Моссовет ведет себя странно: дает помещение одновременно нам и Музею изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, предлагает гаражи в Нагатини или стеклянный павильон в Сокольниках, на достройку которого потребуется два миллиона рублей. Эта карусель с предоставлением помещения продолжается уже более трех лет.

Какая картина с валютными ассигнованиями? Совет Министров СССР выделил 500 тысяч инвалютных рублей в год на приобретение необходимого оборудования, но эти ассигнования были получены только один раз. В дальнейшем Министерство культуры СССР почему-то просрочило подписание необходимых документов, хотя мы неоднократно об этом напоминали, и валюту отдали фирме “Мелодия” для покупки звукозаписывающего оборудования...

Вот так обстоит дело с реконструкцией нашей библиотеки. Присоединяюсь к словам ученого секретаря БАН: у нас тоже нет в достаточном количестве ксероксов, такие же очереди на получение заветного талончика. Добыть еще хотя бы два ксерокопировальных аппарата невозможно.

Наши коллеги в Латвии, Литве и Эстонии ведут микрофильмирование всех национальных фондов библиотек. Страховой фонд хранится отдельно от других в помещении, удаленном от основных на случай стихийных бедствий. Это нужно ввести по всей стране.

Была в свое время попытка подготовить специальные правительственные решения о техническом перевооружении библиотек и других органов культуры. Но попытку тогда торпедировали незаинтересованные ведомства, заявив, что производство оборудования для библиотек (стеллажи, шкафы, ксероксы и т.д.) не укладывается в программу отраслевых министерств. Одно только Министерство культуры мало что решит. Этим должны заниматься и промышленные министерства.

Надо сказать с полной определенностью: в стране нет еще глубокого понимания значения библиотек в жизни нации. Библиотека Конгресса США выдает 1/5 или даже 1/10 часть того, что выдает Ленинская библиотека, а штат, помещение, бюджет у американцев в три раза больше, чем у нас. Эти данные из справочника “Библиотеки мира”.

В.Я.ЛАЗАРЕВ: Важна была бы в этом смысле активная общественная деятельность наших творческих союзов. Но, к великому сожалению, творческие союзы, и в частности Союз писателей СССР, секретариат его Правления не принял к сердцу библиотечных забот, не выступил с инициативами по перестройке библиотечного дела. А ведь именно писательская организация первой должна была ударить в колокол. Просветить, растолковать насущную значимость библиотек в жизни общества. Когда я на одном из представительных писательских собраний несколько лет назад огласил список закрытых за десятилетие московских библиотек, меня обвинили в клевете, в попытке взбудоражить писательскую общественность. Тогда еще многое из того, что сейчас стало известным, было скрываемо... Ясно, что библиотечное дело требует не просто улучшения, но коренного преобразования. Надо восстановить в правах такое высокое общественное понятие, как библиотека. И перво-наперво требуется основательно подготовить и созвать всесоюзный съезд библиотекарей.

В.П.ЕНИШЕРЛОВ: Все говорит за то, что Советский фонд культуры должен показать пример глубокого понимания состояния библиотечного дела в стране, помочь ему плодотворно перестроиться, дать необходимый импульс этой перестройке, то есть взять на себя то, что не взяли раньше другие организации. Именно Фонд может начать дело материального перевооружения библиотек, оснащения их современной копировальной и иной техникой.

Ю.А.ГРИХАНОВ: Поддерживаю мысль о том, что пора собрать съезд библиотекарей. Но мы говорили об этом в Министерстве культуры СССР и получили ответ, что нам нечего обсуждать. Между тем такие съезды и конференции проходили даже в дореволюционное время, а после революции их инициатором была Н.К.Крупская, и они на много лет вперед определяли состояние библиотечного дела. Сейчас не хватает стратегической линии формирования фондов, обеспе-

чения их сохранности. И такую линию может выработать только всесоюзный съезд, только коллективное, всестороннее рассмотрение этой проблемы.

О.И.КАРПУХИН (заместитель председателя правления СФК): Существует ли в настоящее время серьезная программа, координирующая действия библиотек Советского Союза?

Ю.А.ГРИХАНОВ: В свое время было принято Положение о библиотечном деле в СССР. В положении заложены прогрессивные идеи: единство библиотечной системы в масштабе страны и единство библиотечного фонда, но пока эти идеи не претворяются в жизнь.

А.Ф.ПАНЦА (библиотека МГУ): Полностью присоединяюсь к тому, что при отсутствии определенной централизованной программы мы будем оставаться на задворках библиотечного дела. Нельзя уповать только на самоотверженность библиотечкарей и призывать к ней. Необходимо повысить им заработную плату – соответствующее постановление остановилось где-то в верхах. Видимо, эти вопросы следует обсудить на съезде. К сожалению, решить их на уровне Министерства культуры СССР в настоящее время не представляется возможным, здесь необходим уровень правительства.

В.Я.ЛАЗАРЕВ: Недавно создано Бюро Совета Министров СССР по социальному развитию. Полагаю, что библиотечное дело входит в круг забот, которыми призвано заниматься Бюро, но инициатива опять-таки должна идти от нас. Само собой сверху ничего не делается...

В.П.ЕНИШЕРЛОВ: Для того чтобы правильно ставить задачи и как следует решать их, нужно чаще обращаться к опыту наших ветеранов. Думаю, что в высшей степени полезно будет выслушать мнение Маргариты Ивановны Рудомино, основателя и первого директора Всесоюзной Государственной библиотеки иностранной литературы.

М.И.РУДОМИНО: Давно замечаю, что слово “библиотека” медленно, но верно исчезает из нашего лексикона. Например, в перечне учреждений культуры наименование “библиотека” как самостоятельный титул выпадает. Считается, что библиотеки входят в общее название “культурно-просветительные учреждения”. Многие библиотеки и крупные, и небольшие, переименовываются: или в “институт”, как это было с фундаментальной библиотекой общественных наук (ФБОН), или в “Бюро информации”, “Центр информации”, “Лаборатория” и др., как это стало возможным в сети научно-технических библиотек. Скорее всего, переименования делаются с благими намерениями – повышение зарплаты библиотечкарям. Как известно, библиотечные работники имеют чуть ли не самые низкие зарплаты в стране, о чем недавно громко сказал министр культуры СССР. Однако, думаю, не надо забывать и о моральном ущербе. Ведь в результате всех этих преобразований за последние годы снизился престиж библиотек, их значение, теряется уважение к ним в первую очередь у чиновников. Если так будет продолжаться и дальше, то мы можем потерять древнее святое слово “библиотека” и с ним ее благородную роль в деле развития культуры. Наверное, многие помнят присказку средневековья: “У королей всегда на первом месте библиотекарь, самый образованный человек в стране, и он же главный советчик”...

Вернемся к нам и нашему времени.

Напомню, что в ночь после победы революции 25 октября 1917 года первая беседа Ленина с Луначарским была о книгах и библиотеках. Об отношении Ленина к библиотекам известно всему миру. Недаром конгресс ИФЛА (Международной библиотечной организации) в год столетия со дня рождения Ленина посвятил специальное пленарное заседание теме: “Ленин и библиотека”. Представители библиотек Англии, Франции, ГДР, ФРГ, Швейцарии, Швеции, Чехословакии, Финляндии и других государств подробно рассказывали, как Ленин работал в их библиотеках. Мы знаем, что Надежда Константиновна Крупская с первых дней Советской власти занималась и непосредственно руководила массовыми библиотеками. Первым заведующим Отделом научных библиотек Наркомпроса РСФСР был назначен известный поэт Валерий Брюсов, образованнейший и авторитетнейший в культуре человек. Этот отдел находился в составе Главнауки, куда входили все научные учреждения страны, в том числе и крупные научные библиотеки, как Библиотека имени В.И.Ленина, ГПБ в Ленинграде, Политехническая библиотека, Историческая библиотека, Всесоюзная книжная палата и

только начинавшая тогда свое развитие Библиотека иностранной литературы.

До войны работники научных библиотек пользовались правами сотрудников научных учреждений – звания, зарплата, отпуск, укороченный рабочий день и даже стакан молока при вредных условиях работы. Само собой разумеется, что в составе кадров научных библиотек насчитывалось немало больших ученых. К сожалению, в 1944 году права сотрудников научных институтов с научных библиотек были сняты.

Такие изменения, конечно, не могли не отразиться на качестве кадров, особенно в крупных библиотеках. Лишь в 60-х – начале 70-х годов несколько крупнейших библиотек СССР получили статус научно-исследовательских институтов.

Что же случилось?

А то, что мы, и это не секрет, отстали от современного состояния библиотечного дела в мире на много-много лет.

Бывая часто за рубежом, я наблюдала, как начиная с 60-х годов, коллеги из США, Канады, ФРГ, Англии, скандинавских и многих других стран вводили в своих библиотеках автоматизацию и механизацию и сейчас широко пользуются современнейшими компьютерами. Мы видим их успехи. Например, библиотека Конгресса в США с 1980 года вообще отказалась от ведения старых традиционных карточных каталогов и полностью перешла на компьютеры. Уже много лет всю информацию о книгах читатели многих зарубежных библиотек получают с помощью ЭВМ.

А у нас?

Мы только еще говорим и мечтаем, что те крохи в области автоматизации и механизации, которые за последние годы введены в некоторых наших библиотеках, являются уже достижением, хотя мы знаем, что это лишь иллюзия.

В.Я.ЛАЗАРЕВ: Нельзя ни в коем случае забывать того, что многие наши издания по качеству самой бумаги рассчитаны не более чем на сто лет. Это весьма символично. Книги прекратят существование, как бы рассыпятся. Поэтому проблема с введением ЭВМ в библиотечное дело сейчас более чем актуальна.

М.И.РУДОМИНО: Мы отстаем не только в новых формах работ, но и в научных исследованиях в области библиотековедения и информации; мы отстали в подготовке квалифицированных кадров для разных категорий библиотек; у нас нет общества библиотечкарей, нет своей ассоциации, где можно было бы обменяться мыслями, установить взаимные связи и дружеские отношения с коллегами. Парадокс состоит в том, что мы входим в Международную библиотечную организацию, не имея внутри своей отечественной... У нас нет материальной базы для строительства, оборудования и снабжения инвентарем; у библиотек нет валюты для пополнения новейшей зарубежной литературой и т.д.

Почти все перечисленные негативные явления мы своими силами изменить не можем. Эти проблемы должны решить государственные органы.

В.И.ГУЛЬЧИНСКИЙ (Государственная библиотека имени В.И.Ленина): Если сегодня взглянуть в целом на состояние библиотечной сферы, то можно назвать ее кризисной.

В прошлом году мы готовили очередной доклад о состоянии дел в нашей стране и за рубежом. В нашей библиотеке слышались две цифры: в среднем на библиотеку в СССР приходится два стола, а в США два компьютера.

Кризисная ситуация захватила все библиотеки, от универсальных до массовых. Мы сегодня о последних не говорили, а они всего ближе к читателю. В критическом состоянии находятся и научно-технические библиотеки.

После введения закона о предприятии многие трудовые коллективы проголосовали за закрытие библиотек. 50 процентов работников в нашей стране не читают книг и не записаны ни в одну библиотеку.

Всесоюзный съезд библиотечкарей, разумеется, нужен, но следует помнить, что останавливаться на этом нельзя. Думается, необходим постоянно действующий общественный орган – либо Библиотечная ассоциация, либо Союз библиотечных работников, как во всех цивилизованных странах мира.

Почему я об этом говорю? Только что я был в Пензе, где спросил местных работников, кто из них видел “Основные направления развития библиотечного дела”. Оказалось – ни один. Кому же тогда они нужны? И почему Министерство культуры не пришло в голову их опубликовать? Сейчас Мини-

стерво разработало программу перестройки библиотек, и опять-таки этот проект нельзя достать даже в самой Библиотеке имени В.И.Ленина.

Надо резко менять положение дел.

М.И.РУДОМИНО: Вспомним старую русскую поговорку: “Пока гром не грянет, мужик не перекрестится”. Недавно гром грянул – пожар в библиотеке Академии наук СССР в Ленинграде, принесший непоправимое бедствие культуре. Оно вызвало массу вопросов в печати, по радио, телевидению, среди деятелей культуры и науки. Министерства, ведомства, в ведении которых находятся библиотеки, тоже всполошились. Первое – испуг: кто виноват? А дальше – почти единое мнение: бесхозяйственность, беспечность, халатность самих библиотек. Виноваты сами библиотеки – ну и пусть сами выбирают из беды.

В большинстве государств имеются специальные законы о библиотеках. В нашем государстве его нет. Хорошо, что в 1984 году вышло новое Положение о библиотечном деле в СССР, утвержденное Указом Президиума Верховного Совета СССР. Но Положение еще не Закон. Нам нужен большой разрывной закон по библиотечному делу СССР, из которого было бы ясно, кто за что отвечает.

Н.П.ИГУМНОВА (Всесоюзная государственная библиотека иностранной литературы): Думается, остаточное финансирование культуры еще долго будет влиять на состояние наших библиотек, которое остается плачевным.

Мы знаем мировую практику, но используем ее мало и плохо. Во всем мире существует программа обеспечения сохранности фондов и уникальных материалов и документов, которой располагают государственные хранилища. Например, во Франции весь библиотечный фонд был переведен в 1970-х годах на микрофильмы. В США тоже очень много сделано в этом направлении.

Мы еще действуем дедовскими методами – и в этом я полностью согласна с М.И.Рудомино. При огромнейших масштабах и объемах нашей информации это становится совершенно неприемлемым. Из-за того, что наши фонды не переведены на машинные носители, мы лишены возможности обмена банком данных с ведущими хранилищами за рубежом. Поэтому хочется использовать нашу встречу для того, чтобы привлечь всех к этой еще не разрешенной и очень серьезной проблеме. Поддерживаю идею созыва съезда. Именно на этом съезде может быть высказано очень много практических предложений.

Именно через этот съезд возможно привлечение общества и государства для решения насущных вопросов библиотечного дела.

Н.И.ТЮЛИНА (Государственная библиотека СССР имени В.И.Ленина): Мне представляется, что многие наши беды упираются в саму форму библиотечного дела. Около ста ведомств имеют библиотеки, но не все они в них заинтересованы.

Нужен координационный орган, который имел бы решающий голос, а не рекомендательный: хочу – приму, не хочу – не приму решения; а потом все ведомства расходятся в разные стороны и ничего не делают.

Как нужно решать чисто технически все вопросы? Я наблюдала перестройку библиотечного дела в США. Это было десятилетие, когда они совершили огромный рывок в увеличении своей материально-технической базы. Сила и причина их успеха заключается в том, что они все делали централизованно. У нас Библиотека имени В.И.Ленина занимается своими автоматизированными программами, а другие библиотеки – своими. Идет распыление не только сил, но и опыта. В США раз в год устраивается выставка книжного и технического оборудования, на которую съезжаются до десяти тысяч библиотечкарей. Конкурирующие фирмы стараются заинтересовать заказчика: показывают новые стеллажи для хранения книг, журналов, газет и т.д. То есть все существующее оборудование собирается в одном месте, где библиотекари могут посмотреть, что лучше.

И еще один момент – социальный статус нашей библиотечной профессии. Он позорно низок. Я не говорю сейчас о зарплате, которая, безусловно, является ярким показателем, но у нас нет своего вуза, готовящего библиотечных работников; существующий ныне Институт культуры готовит их совместно с руководителями самодеятельных клубов. При всем моем ува-

жении к последним считаю, что это неправильно. У нас нет также своей специализации, и мы защищаем диссертации на соискание ученых степеней кандидата и доктора педагогических наук. Мы все время делаем крен в сторону информации, а не культуры наших библиотек, маленькими дозами вводятся новые технические средства.

И.А.ГУЗЕЕВА (Государственная публичная историческая библиотека): Долготерпение, о котором говорила Н.И.Тюлина, должно быть одним из качеств каждого из нас, посвятивших себя библиотечному делу. Глядя фильм о пожаре в Ленинграде, я все вспоминала пожар в Исторической библиотеке, который мы пережили в 1980 году. И я до сих пор чувствую на себе вину, потому что ничего не смогла сделать, чтобы противодействовать тем силам, которые пытались скрыть тот пожар. Мы должны наконец дать себе полный отчет в том, что же представляют собой те ведомства и те люди, в руках которых находится по сей день библиотечное дело. Я думаю, немалое количество библиотек прошло через свои пожары. Мы не знаем всех истинных потерь. Многие десятилетия мы молчали.

Мы должны найти с себе силы организовать по-настоящему гласный и демократический съезд. Самое главное, чтобы на нем присутствовали не одни администраторы, но и люди, выдвинутые самими коллективами, знающие дело и не боящиеся обнаруживать болевые проблемы.

М.И.РУДОМИНО: Безусловно поддерживаю идею съезда. Совершенно непонятно, почему у нас за 70 лет Советской власти нет Общества библиотечкарей. Еще в 1908 году в Петербурге было организовано Общество библиотечкаведения. В 1910–1915 годах Общество издавало журнал “Библиотечкарей”. В 1911 году Общество организовало и провело Всероссийский библиотечный съезд. В 1916 году было организовано Библиотечное общество в Москве.

В наше время попытки организовать общество, объединяющее библиотечкарей, неоднократно срывались. Помню, что на первом библиотечном съезде РСФСР, созванном в 1924 году в Москве, а также на конференциях научных библиотек в 1924 году в Москве и в 1926 году в Ленинграде уже ставился вопрос об объединении библиотечкарей.

До войны активно работала комиссия секции научных работников при ЦК Союза работников просвещения. Комиссия регулярно проводила конференции библиотечкарей по жгучим вопросам библиотечного дела, конференции проходили при переполненных залах в Москве, Ленинграде, Харькове, Минске и других городах Советского Союза. В середине 30-х годов по инициативе и при поддержке Н.К.Крупской была организована ассоциация библиотек по отдельным отраслям наук при Библиотеке имени В.И.Ленина. К сожалению, после войны оба эти хорошие начинания, в какой-то части заменивших Общество, работу свою не возобновили.

В энциклопедическом словаре “Книговедение”, изданном в 1982 году, читаем: “В СССР функции Советской библиотечной ассоциации выполняет Библиотечный совет Министерства культуры СССР”. Однако мы, библиотечкари, знаем, что Совет министерства по своей структуре и положению не может выполнять функции Общества библиотечкарей как общественного добровольного объединения, содействующего развитию библиотечного дела. А нам сейчас, во время перестройки, такое Общество совершенно необходимо.

В.Я.ЛАЗАРЕВ: В высшей степени актуально и повышение значимости самой личности библиотечкаря. Необходимо появление людей, подобных “идеальному библиотечкарию” Николаю Федоровичу Федорову. Созыв Всесоюзного съезда библиотечкарей – таким, каким он видится присутствующим на этой встрече, – дело серьезнейшее и весьма трудоемкое. Необходимо в этом помочь широкой прессе, телевидению, многих общественных организаций. Для того чтобы аккумулировать живые силы, необходимые для организации желаемого съезда, а затем Общества или ассоциации библиотечных работников. Очевидно, полезным будет и создание Совета по содействию библиотечному делу при Советском фонде культуры.

В обмене мнениями приняли также участие главный редактор журнала “Советская библиография” Э.С.Нуриджанов, директор библиотеки ИМЛИ АН СССР В.В.Пироговская, заместитель директора библиотеки Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского Л.Б.Санаквич, сотрудница ГПИБ В.З.Григорьева, работник СФК И.Г.Яковенко.

„...апокалипсис дивный“



10 декабря 1987 года в советском посольстве в Вашингтоне
Армяно-американская община
во главе с президентом Всеармянского благотворительного союза Алексом
Манукяном передала члену Президиума правления
Советского фонда культуры Раисе Максимовне Горбачевой
для возвращения на родину
русскую рукописную книгу XVII века и картину И.К. Айвазовского
“Петербург. Вид на стрельку Васильевского острова”.
Рукописная книга –
лицевой “Апокалипсис со словом Палладия мниха” –
дар советскому народу супругов Согоян.

Русские читатели XVII века знали “Апокалипсис” по печатным изданиям и рукописным книгам, но печатных экземпляров было очень мало, и это произведение распространялось преимущественно в рукописной форме. Одной из таких рукописных книг и является “Апокалипсис”, подаренный Советскому фонду культуры. Книга написана двумя русскими писцами, каждый пронумеровал свою часть славяно-русскими цифрами. Как большинство средневековых рукописных книг, “Апокалипсис” украшен затейливым красочным орнаментом. Заставки, инициалы, цветы на полях, выполненные в стиле русского барокко, крупнотравной и мелкотравной манере, в плавном ритме идут по книжным листам. Алая вязь заглавий гармонично дополняет орнаментальный узор этой книги. В рукописи девятнадцать миниатюр. Семьдесят три из них иллюстрируют текст “Апокалипсиса”, двадцать три относятся к “Слову Палладия мниха” – сочинению,

повествующему о конце мира и Страшном суде, и нередко сопровождаемому списки “Апокалипсиса”. Книга вложена в жесткий переплет, изготовленный из досок, обтянутых коричневой кожей с тиснением по образцу XVII века. Переплет закрывается на застежки из кожи, с фигурными медными крючками и петлями. Рукописный “Апокалипсис” прожил долгую жизнь, и на его листах остались рукотворные пометы времени: запись одного из писцов рукописи с мольбой к читателю о снисхождении к его ошибкам (“понеже забвение и неразумие надо всеми нами хвалится”), запись о продаже книги в 1705 году служителем подполковника Петра Андреевича Немецкого – Василием Федоровым, заметка-отзыв о книге читателя конца XVII века Якова Михайлова сына Северюгина (“сию душеполезную книгу читал... Поистине книга духовная апокалипсис дивный...”) и, наконец, дарственная Советскому фонду культуры запись, возвращающая книгу на ее родину.

Л.М.КОСТЮХИНА,
кандидат исторических наук.
Е.И.СЕРЕБРЯКОВА,
заведующая отделом рукописей
Государственного исторического музея

*Без зачатков положительного и прекрасного
нельзя выходить человеку в жизнь из детства;
без зачатков положительного и прекрасного
нельзя пускать поколение в путь*
Ф. М. Достоевский



В ранних сумерках январского дня серебрятся зеленые шторы и стены небольшой столовой. Справа – многоцветный, выразительный “Портрет Веригиных” Кончаловского, слева – “Зеленый натюрморт” Трояновской.

За большим накрытым скатертью овальным столом – Святослав Рихтер.

Предотъездное настроение – впереди Вена – мешает заниматься. Молчат рояли, сложены в стопки ноты, которые составят основную часть багажа, заполняют единственный чемодан: лежат на скатерти в праздности прекрасные руки.

– Нужно окончательно отобрать мои пастели для Тура. – говорит Святослав Теофилович. – Десять или двенадцать. Хотите посмотреть?

Мы проходим через зал – два рояля, кушетка, несколько кресел, торшеры, попиטר с постоянно сменяющимися друг друга раскрытыми альбомами и скромный по нынешним временам проигрыватель, достаточно мощный, впрочем, чтобы наполнить квартиру громом оркестра, голосами певцов, скажем, в опере Яначека “Катя Кабанова”, за прослушиванием которой я застала однажды Святослава Рихтера. Святослав Теофилович обычно слушает музыку стоя, полностью в нее погруженный, но иногда вдруг бросит взгляд на того, кто слушает с ним вместе: как, не ускользнуло ли от него что-то чрезвычайно важное? Иногда жду на лестничной площадке, в паузе звоню и попадаю, например, на третью часть Шестой симфонии Малера – Скерцо.

– Малер мудрил с этой частью, делая ее то второй, то третьей, наконец, сделал третьей, хотя, по-моему, лучше было бы ей остаться второй.

– А кто дирижирует?

– Кубелик. Все быстро, неясно, бравурно и из-за этого одинаково. В четвертой части есть проникновенные мелодии, а он играет легкомысленно. Чрезмерные перепады в темпах. Все чересчур. И пафос чересчур. Третья симфония (помните, мы слушали?) была лучше.

Выходим в холл, где на стульях и на полу, прислоненные к стене, расставлены пастели Святослава Теофиловича, тонкие, теплые, с затаенной силой фантазии. Святослав Теофилович много раз переставляет их, убирает одни, ставит другие, снова возвращает прежние. Наконец выбор сделан: в Тур поедут “Сумерки в Скатертном”, “На траве”, “Лето в Москве” и среди других та, что всех дороже автору, – “Луна”.

– Вы обратили внимание, что всюду сумерки? Почти на всех картинах. И “Луна”... Солнце-то еще не зашло. Жутковато.

– Напоминает луну, которую мы видели с Вами по дороге из Абакана в Саяногорск. Тоже были сумерки...

– Да! Но та была более официальная. А эта с другим настроением, неуютная, опасная. Странное сочетание луны с закатом солнца. “Луна” – это, по-моему, хорошо. Я ее воспринимаю как не мою. Если ощущаешь произведение не как свое, значит, получилось. Живопись ли, музыка... Помните вариации АВЕГГ* на вечере памяти мамы? Как будто не я. А играл их не так уж много. Но вот получилось... Тоже были сумерки, все воспоминания в сумерках.

*1919 год. Одесса. Рихтеру – четыре года.
... Обычно я спал в маленькой комнате,
которая выходила к кирпичному дому с фонарем с наклонной лампой. Но одну или несколько ночей я почему-то провел в гостиной, за ширмой! В сумерках я отчетливо видел фигуры (точно как у Франса в “Маленьком Пьере”). То ли они есть, то ли их нет. Они не двигались, и я видел только*

* Р. Шуман. Вариации на тему АВЕГГ.

разрез глаз... Еще будто (или в самом деле?) ехала, позвякивая, кака-то повозка, очень привлекательная, похожая на черный с позолотой катафалк, который мне понравился на улице.

Ночь с глазами сквозь ширмы. Странное беспокойство, неблагоприятие, но почтично. Не Дебюсси, а Прокофьев. Все это образовало какой-то флюид, который раз-вернулся впоследствии, когда я играл написанные примерно в ту пору "Мимолетности" Прокофьева. Я подумал: вот это оттуда! Позвякивание в "Мимолетностях", сумерки. В первом скрипичном концерте Прокофьева, в последней части, есть место, похожее на "Мимолетности". Нарочно несколько банальные приемы; шарманка, Шагал – это все нарочно. И я маленьким это понял – настроение ночи сквозь ширмы. Потом в каждой тени искал раскосые глаза, сам себя пугал...

– Святослав Теофилович, как возник фестиваль в Туре? В этом году ему уже двадцать пять лет...

– Случайно. Началось все случайно. Меня пригласили туренцы, интеллигенция. Они стали показывать мне замки. Прекрасные, но акустически они не годились, а вот большой амбар, старинный, конечно, подошел. Никакой помпезности не было. Туренцы предложили проводить в июне музыкальные фестивали, я согласился, и вот уже двадцать пять лет подряд они там проходят.

– А выставки бывают во время фестивалей?

– Не всегда. Когда проходил фестиваль французской музыки, во дворе стояли скульптуры Бурделя, пять или семь. Я очень на этом настаивал, говорил, что не буду без них играть. Были выставки и в Туренском музее. Одна – рисунки Матисса, другая – современное искусство: Хартунг, Колдер и Арп, живопись и скульптура. Дивные скульптуры Арпа! На фестиваль, посвященный всем квартетам Бетховена, привезли рукописи Бетховена, его маску.

– А какая выставка будет на юбилейном фестивале в этом году?

– Работы не художников: три рисунка Гюго, один – Сати, один – Форе, мои пастели, десять акварелей Фишера-Дискау, шесть рисунков Жана Маре...

– Очень интересно. А "Декабрьские вечера" кто придумал?

– Ирина Александровна!* "Чем мы хуже Тура, – спросила Ирина Александровна, – почему мы не можем иметь свой фестиваль?"

– А то, что они проходят именно в декабре?

– Декабрь – это уже я. Когда же может быть фестиваль в Москве? Ясно, что в декабре, зимой, под снегом. Москве идет снег...

* * *

31 октября 1984 года. Москва. Впереди четвертый фестиваль "Декабрьские вечера".

В голове Рихтера полностью созрел подробный режиссерский план и сценография постановки оперы Бриттена "Поворот винта". Изучены рассказ Генри Джеймса (основа либретто), партитура, партии певцов, и даже составлен список реквизита, включая, например, букетики цветов для детей, которые будут встречать с ними свою новую гувернантку. Первое "заседание" проводилось в квартире Олега Казана и Натальи Гутман. Когда я пришла, из комнаты неслись звуки, столь совершенные, что могли исходить только от

* Ирина Александровна Антонова – директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина.

Рихтера. Святослав Теофилович играл "Ludus tonalis" Хиндемита. Он вышел и сказал, что будет заниматься еще двенадцать минут. Ровно через двенадцать минут Святослав Теофилович закончил играть.

– Хиндемит – потрясающий профессионал, – сказал он, – высочайший интеллект. Бриттен же – удивительное явление, так как он выработал новый язык и вместе с тем у него есть сердце...

Я боюсь. Ответственности.

– Какой ответственности?

– За постановку оперы. Я, конечно, думал над ней... Действие оперы происходит на авансцене. Позади, там, где апсида (ее надо закрыть), должна быть деревянная (ведь акустически это лучше?) стена, черная. Мне бы хотелось, чтобы весь спектакль был в гамме от черного до белого. Это, по-моему, эффектно и очень просто. На высоте этой двери (показывает на дверь кухни, где мы "заседаем") висит большая картина. В раме. На ней изображены декорации. Будто бы действующие лица находятся там, но на самом деле они тут, на сцене.

– Большая картина?

– Картина очень большая, черно-белая гравюра. Некоторые ее детали, нужные по действию, находятся на сцене, в натуральную величину. Предположим, на картине изображена карета, а на сцене дверца с окном в таком же ракурсе, как на картине. В окне голова гувернантки, она едет в поместье, волнуется и поет...

Постановка была осуществлена в полном соответствии с замыслом Рихтера.

* * *

23 декабря 1985 года. Открытие Шумановской декады "Декабрьские вечера", условно названных "Три "Ш" – Шуберт, Шуман, Шопен".

Звоню в дверь. Святослав Теофилович бежит навстречу со словами:

– Вы, конечно, знаете, что такое Блюменштюк?

– Нет.

– Ну как же, Блюменштюк, Жан-Поль, романтики, пьесы Шумана в четыре руки, – вы их знаете...

В ответ я неопределенно мычу, и единственный Жан-Поль, который приходит в голову, – это Сартр, а он явно ни при чем.

– Ну ладно. Я сейчас вам все расскажу, мы должны срочно придумать сценарий открытия декады. Блюменштюк – это венский букет, он состоит из любых цветов, садовых и полевых, каких угодно, – ну, вы понимаете. Впереди у рамы, на столике (где взять столик? – ведь в музее ничего не дают, ну, возьмем из дома круглый табурет и накроем его чем-то кремовым), он будет стоять, этот букет, Блюменштюк. Так было принято у романтиков. Именно такие букеты. И вот я выйду на сцену и скажу:

– А-а-а, это Блюменштюк? Ну тогда я сыграю "Блюменштюк" Шумана. А? Вам нравится?

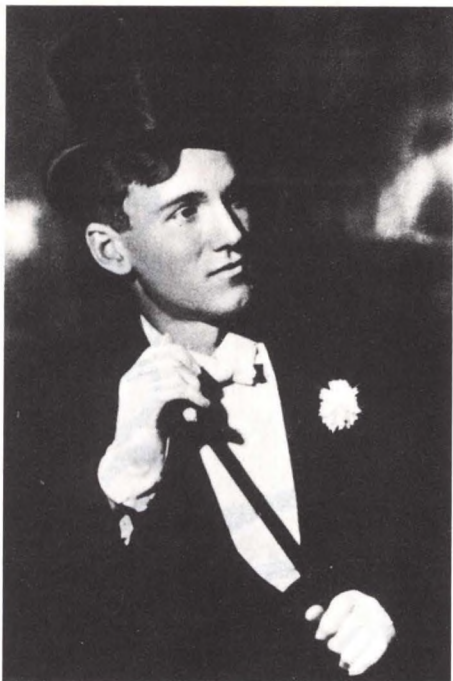
– Конечно, это очень красиво.

– Да, правда? Вы правду говорите? Тогда знаете, что произойдет дальше? Там будет много сюрпризов. После того как я сыграю "Блюменштюк", Ирина Александровна – она ведет концерт – спросит: "Ну, а что мы теперь будем делать?" Я скажу, что не знаю. Тогда она попросит меня, может быть, сыграть с кем-нибудь в четыре руки. Я скажу: "Отчего же, пожалуйста! Но с кем?" И начну предлагать сидящим на сцене дамам и мужчинам сыграть со мной в четыре руки пьесы Шумана. И они будут отказываться, а потом кто-то (не скажу – кто) согласится, и мы сыграем "Восточные кар-

ВАЛЕНТИНА
ЧЕМБЕРДЖИ

Из бесед
со Святославом
Рихтером

Врываясь в мировой оркестр...



С.Т.Рихтер на студенческом балу. 1937 год

тины" (шесть экспромтов) Шумана. Вот видите эти ноты, тут есть шумановское предисловие, переведите его, пожалуйста, – важно прочесть на концерте, что написал Шуман...

Я села переводить. Святослав Теофилович весь день до самого концерта буквально носился по квартире, подбегал к роялю, недоигрывал сочинение, которое предстояло вечером играть, бежал к Ирине Александровне, которая внимательно изучала сценарий, потом снова к роялю.

Все задуманное осуществилось блестяще, непринужденно, в духе романтиков и их блистательного представителя Жана-Поля Рихтера. И у рампы красовалась необыкновенной красоты Блюменштюк...

В тот вечер Святослав Рихтер буквально потряс всех исполнением шумановской Токкаты, поднял весь зал...

– И все-таки жаль, что вы не послали в Тур вашу пастель "Под снегом", она с таким настроением!

– Да, но совсем не подходит к остальным.

– Скажите, Святослав Теофилович, как воспитывать художественный вкус? Учить воспринимать живопись и другие искусства с малых лет?..

– Ребенку надо показывать хорошее. Ясно, конечно, что не надо начинать сразу с Бердслея. Меня, например, не воспитывали специально, не занимались со мной изучением живописи. Я смотрел, как рисует моя тетя, и это было полезно. Я вообще собирался стать художником...

– Стравинский считал, что для понимания музыки гораздо полезнее играть самому, чем слушать; Стравинский с уважением отзывался об играющих барышнях и молодых людях, считая, что из них-то и вырастут ценители музыки.

– Да? Он так считал? Видите, так же, как я. Кроме того, я думаю, что когда ребенок или молодой человек учится играть, то бесконечное слушание пластинок (раньше ведь этого не было!), может быть, и привлекает что-то, но что-то и убавляет. Как бы ни было хорошо на пластинке, а все-таки это мертво. Нельзя развиваться под влиянием пластинок.

Живой концерт – это другое дело. На пластинке же интерпретация застывшая.

– Подозреваю, что лет через пятьдесят самой большой редкостью будет живой музыкант в полном зале... Вы недавно играли много Стравинского. Как вы относитесь к его музыке?

– Я отношусь положительно ко всему творчеству Стравинского. Не только к ранним сочинениям. Вот, например, "Движения", которые я играл на "Декабрьских вечерах" с Юрием Николаевичем... Я отношусь к Стравинскому более чем положительно. Может быть, он даже самый... самый большой. Фигура вроде Пикассо. Если говорить о XX веке, имея в виду то новое, что он принес с собой, Стравинский, может быть, самый великий. Он более единственный...

Я знаю, почему он такой большой. В нем сидит какая-то гениальная объективность. Люблю я Шостаковича и Прокофьева, может быть, даже больше, чем Стравинского, но это мои субъективные чувства. Ведь "Царь Эдип" и "Симфония псалмов" – на самой вершине искусства. Ему свойственны немногословность, краткость. "Весна священная" – грандиозное сочинение. А концерт для двух фортепиано? Абсолютное чудо. Как ни крутите, такого нет ни у Шостаковича, ни у Прокофьева. Это сочинение такой высоты, как дорический Пестум, пусть хоть одна его колонна. Архитектурный ансамбль. Это не очень человечно, это искусство. Может быть, оно еще выше?.. Музыка Стравинского в каком-то смысле устремляется в математику высших сфер. Как у Хиндемита, только Стравинский – русский... "Каприччио", балет "Аполлон Мусагет" – какая музыка! Она о красоте – это прекрасное строение. Ведь архитектура не может быть чужда, разве только барокко или рококо. Красота архитектуры – другая, высшая, отстраненная, само совершенство.

1919 год. Житомир.

... Я уже собирал архитектуру. Запомнил каждую подворотню и каждый вид и все витражи... Один раз то ли с мамой, то ли с тетей мы совершили большое путешествие по Бердичевской. Шли целую вечность. Наверное, тетя отправилась за красками. Мы шли, шли, далеко вдавался угол казарменной церкви – белая стена и золотой купол.

Вдруг она оказалась далеко позади; на лавках висели золотые кренделя. И неожиданно я увидел справа тот самый Собор. Такой момент – ВОТ И СОБОР. А с оружейной стороны Чудновская улица вела вниз к Тетереву, с шагаловскими домиками... Помню, как шли туда. Очень устал.

... Житомир зимой: заборы, ветер, и вдруг за забором золотой куполок церкви... Мы с тетей пошли в монастырь. Он стоял на Бердичевской, деревянный, мы были в нем два или три раза. Мама говорила: здесь надо стоять тихо. Я видел большую икону Владимирской Богородицы. И в этом было что-то обязательное.

* * *

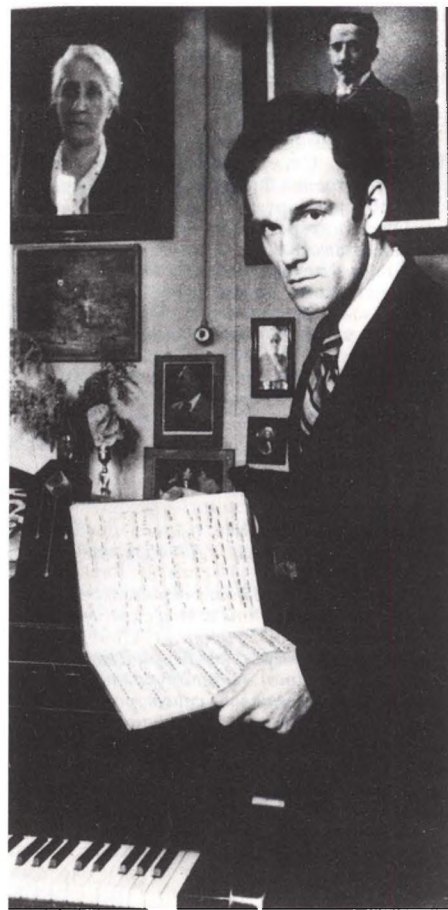
1921 год. Одесса.

... Нежинская улица. Когда выходишь из нашего двора, напротив стоит неказистый дом, но наверху карниз и круг, как окно в небо. И мы всегда шли направо. Первая подворотня – неинтересная, в ней лежали дрова. Вторая – где жила моя учительница музыки, – с гофрированным бело-красным витражом. После пятого дома вид на Собор Петра, и когда появлялась Кирха, охватывал восторг. И теперь мы снова вышли так, и снова архитектурный сюрприз с этой Кирхой. Как будто это и очень особенное, и свое, знакомое.

– Святослав Теофилович, помните, когда вы рассказывали еще в Сибири, в Красноярске, о ваших любимых композиторах – Вагнере, Шопене и Дебюсси. – вы сказали, что такой же силой вдохновения обладал Мусоргский...

– Жаль только, что он не всегда заканчивал свои сочинения, многое осталось незаконченным. Из русских композиторов XIX века он, безусловно, самый великий во всем, в нем все – наитие! Им двигало вдохновение и с какой силой! "Борис Годунов" – могущество, размах, драматургия – все это невероятно. "Хованщину" я меньше люблю. Но он не достиг таких вершин в инструменталке. Обе оперы оркестровал Римский-Корсаков, при этом он катастрофически сглаживал все, инструментал "красиво", что совершенно не подходило. А Шостакович оркестровал "Бориса" слишком "по-шостаковически". Мусоргского должен был бы инструментовать Яначек (сходный язык). "Ночь на Лысой горе" Римский-Корсаков по отрывкам сочинил из "Сорочинской ярмарки". В данном случае очень доброе дело. Римскому и Глазуну вообще пришлось туго: они ведь и "Князя Игоря" инструментовали. Бородин – тоже композитор "палец в рот не клади". Но ведь он занимался суфразистками и химией.

Римский-Корсаков сам по себе замечательный композитор. Вы знаете его оперу "Моцарт и Сальери"? Конечно, по сравнению с Пушкиным это маленькое произведение, но сделано, как это всегда бывает у Римского-Корсакова, безупречно. Она не имеет успеха у широкой публики. Когда я слушал, пели Масленников и Нестеренко... Мне очень нравится Нестеренко. На его концерте



В кабинете Н.Л.Дорлика. 1945 год

во Франции я даже подумал: наверное, такой был Шаляпин... У меня к Римскому-Корсакову личная симпатия, мои любимые оперы – “Снегурочка”, “Псковитянка”, “Ночь перед Рождеством”. Про него всегда говорят, что он национален, и это так и есть. Мусоргский же за гранью национального. Как и Лесков тоже, мне кажется, выше национальной привязки: “Соборяне”, “Очарованный странник”, “Запечатленный ангел”. Маленькие его вещи – несравненные. Лескова вообще трудно с кем-то сравнить. Может быть, из живописцев с Петровым-Водкиным. Что-то очень настоящее. Огромная подлинность.

– Вы говорили, что собирались стать художником, пока вас не “ударила” музыка.
– Первое и самое большое влияние на меня оказала тетя Мэри (Тамара Павловна Москалева, мамина сестра). Она сидела за столом с красками, занималась графикой, нарисовала книгу про меня. Я все время стоял рядом и толкал ее, она говорила: “Светик, не толкайся”. Тетя Мэри нарисовала “Лесную сказку” о маленьком принце, который спал, ему снились лес, феи, оркестры насекомых, жуков, ведьма, леший, – потом он проснулся, а рядом – мама. Книга была потом издана в Лейпциге (примерно в 1924 году). И папа под ее влиянием сочинил пьесу в стиле Грига, похожую на книгу тети Мэри. Дедушка играл на пианино, я же в Житомире к музыке отношения не имел. Мир был населен феями, духами, ангелами, все время – лес, озера, цветы. Однажды, когда я был маленький, мы гостили у друзей, их дом стоял в лесу, я все время ходил, гулял и, видимо, очень почувствовал тогда самую сущность леса. Жалко было возвращаться домой, я остался один на мостике через ручей, сел, и на меня напала меланхолия и поэзия, и я этим упивался. У меня были цветы, я бросил их, они поплыли по воде. Мама потом спрашивала меня, почему я такой задумчивый... В Одессе папа по вечерам всегда занимался, по два-три часа. Я сидел на коленях у мамы (чувство защищенности), папа играл, и вдруг у меня внутри шлохнулось чувство, и мне показалось: на глазах начали распускаться цветы. Мне и сейчас так кажется.

– А что играл папа?
– Ноктюрн Шопена номер пять, *Fis dur*. Мама всю жизнь хотела, чтобы я его играл. В 1968 году я был в Инсбруке, и хозяйка пансиона, в прошлом пианистка, попросила меня сыграть этот ноктюрн. Мне вдруг пришло в голову выучить его “на бис”. И в этот момент я сообразил, что это 10 ноября – день рождения мамы. И я его выучил и сыграл. Именно тогда начал учить, поразился этому совпадению.

– Сколько же вам было лет, когда вы услышали этот ноктюрн?
– Шесть. Папа был не только пианистом, но и органистом. Он играл против алтаря, на третьих хорах, и брал меня с собой. Я слушал. Очень любил рассматривать все регистры, были такие, которые папа редко брал, они звучали как сирены. Орган был хороший. Папа же обладал замечательным даром импровизации.

Помню, как меня повели в первый раз в Одессе на оперные отрывки, которые показывали в консерватории. Открыли занавес, и на сцене появились такие красивые тети, они пели, потом очень испугались, когда подошли два дяди. Декорации консерваторские, Любаша долго ходила среди них, потом начала петь. Когда все это кончилось и занавес закрыли, я устроил такой рев! Но, слава богу, это был еще не конец (“Царская невеста”), потом “Демон” Рубинштейна; ангел с серебряными крыльями, дама в черном с золотыми звездами. И последняя сцена с Тamarой, которую пела не очень красивая одеситка. Мама сказала, что она с Дерибасовской.

Я жил, как в золотой клетке, но не в клетке, а в обособленно-отдельном мире. Золотая клетка в мире, где “не хлебом единым”, – думала я. Хлеб – роскошь, как и тарелка каши на воде. Война, разруха. Американская помощь, очереди за похлебкой... Но мир духа в семье не пострадал. Все работали, зарабатывали каждый по мере сил, а в день рождения или на Рождество устраивали праздники, настоящие, с шарадами, песнями, живыми картинами, музыкой, волшебными превращениями.

– Когда же вы начали заниматься музыкой и как?
– Мама сказала: “Пусть делает на рояле все, что хочет”.

Это было в Одессе. Папа затыкал уши, но мама меня поощряла. Она была умно-хитрая, хотела, чтобы я чувствовал себя свободно. Чтобы не произошло того, что случилось с папой. Папа, превосходный пианист, выучился в Вене, давал там много концертов, видел Грига, Малера, Брамса; вернувшись в Россию, женился на маме (она была его студенткой по классу фортепиано, в Одессе). По разным причинам выступал меньше, из-за этого стал ужасно бояться сцены. Поэтому мама велела мне играть при гостях обязательно все, что я мог и хотел. Так я стал сочинять.

– Вы помните ваши первые сочинения?
– Конечно! Я все помню. Мой первый опус “Птички”. В девять лет я сочинил пьесы “Закат солнца”, “Плетение венков”, “Игра в лошадки”. Потом, уже в десять лет – сонаты: первую, вторую, третью и сразу пятую (четвертой не было!), “Дождик” написан, помоему, под влиянием Житомира, где дождь как зарядит, так и идет целую неделю. Вот видите (Святослав Теофилович достает и показывает мне ноты), написано: играть медленно, сонно. И сочинение – это, скорее, не сам дождь, а дождливое настроение, состояние.

1920 год. Житомир.

Как-то был чудный летний день, позади остался монастырь, который звонил во все колокола, старый сад с ручейком из “Обрыва” Гончарова. Мы дошли до монастырского кладбища. Вошли в дверцу, и тетя сразу запретила мне рвать цветы. Моне мог бы так нарисовать. С тех пор люблю кладбища. Мне там уютно. С кладбища был обрыв к Тетереву, мы сели над ним, смотрели, а колокола все звонили, и это был очень счастливый момент. Тетя представлялась мне очень красивой, была как ангел-хранитель. В монастырский сад я еще однажды ходил с мамой. Сумерки. Что-то собиралось в природе. И вдруг поднялась пыль, стало серо, из больницы вышла сестра милосердия... Что-то сейчас будет, что-то должно случиться... Ждешь, интересно, а потом ничего... Так бывает в природе.

– В 1924 году, начитавшись романов, я сочинил “Индийский замок” – все в этом сочинении было игрушечное, как Пятница и Робинзон Крузо. Части такие: Пожар индийского замка. Борьба с европейцами (чинные цивилизованные европейцы и мощные индейцы). Суд. Торжественный марш. Танец индейцев (кстати, имел бешеный успех, когда я играл его в разных домах).

– А какие книги вы читали в детстве?
– Никогда не читал детских книг. Знаете, что я читал самое первое? “Пеллеаса и Мелизанду”, “Принцессу Мален” Метерлинка и “Вечера на хуторе”. После Метерлинка и Гоголя ничего такого – “детского”, Майн Рида, Фенимора Купера, – неинтересно читать. Все шито белыми нитками, нет тайны...
– Вы учились музыке у папы?

– Нет. Но с детства у меня было на слуху все, что он играл. Шопен, Шуман, традиционный романтический репертуар. Бетховен. Хороший репертуар, но заигранный. Я уже тогда решил ни за что на свете не играть “Лунную сонату”. Моей первой учительницей была Ольга Атлл, арфистка. Очень милая, достаточно строгая. Я ее воспринимал как нечто само собой разумеющееся. Она занималась со мной около года, потом уехала в Сан-Франциско.

Святослав Теофилович увлекся рассказом о папе, о венском периоде его жизни, принес альбом со старыми фотографиями: на



Д. Д. Шостакович, С. Т. Рихтер, Д. Ф. Ойстрах. 1969 год

открытке – здание Венской оперы, в доме напротив стрелочка указывает на окно комнаты Теофила Даниловича Рихтера. Потом вдруг побежал к роялю, стал играть сочинения однокашника своего отца – композитора Шрекера, а вслед за этим с огромным темпераментом заиграл свои детские, а потом и юношеские сочинения. Велико было мое потрясение: развелись все сказки о том, что Рихтер-де поздно начал. Он был гениальным ребенком, совершенно свободным в развитии своего дарования. Могучая и наивная самобытность детских сочинений поразила меня. Святослав Рихтер играл с таким запалом, что стоять рядом было даже страшно – как с разбушевавшейся стихией.

– И вы сами в детстве это играли? – спросила я, не веря своим ушам.

– Ну а как?.. Кто же играл... Конечно, я...

1922 год. Одесса.

– Один раз мама сказала: “Сегодня мы тебе покажем что-то интересное”. Около городского сада кино Уточкина. Картина “Мадам Баттерфляй”. И мама даже рассказала мне сюжет. Мадам Баттерфляй

играла Мэри Пикфорд. Я не знал, что такое кино. Мы вошли в зал, потух свет, началось что-то на стене. И я пришел в такой ужас, мне так не понравилось, что чуть не стоило. Какой-то зрелищный растаявший снег. (То же произошло со мной, когда я впервые увидел театральные декорации в опере.) Но это первое ощущение делало полминуты. Потом – полный восторг! На мостике много японков. Помню все до мельчайших подробностей до сих пор. Сильное впечатление, конечно, произвели автомобили. Красивая свадьба в Америке – они выходили из кирпичной арки. Началось с гадания Сузуки и Чю-Чю-сан. Когда ждали Пинкертона, разукрасили мальчика цветами по-японски. Конец же был другой: в огромной свадебной шляпе она пошла в воду, и на воде осталась одна шляпа, а она утонула. Пошли домой. Я насунился. Сердился, и все спрашивали меня, в чем дело... И вдруг на Соборной площади я поднял такой крик, такой скандал на всю улицу: "А я не хочу, чтобы она умирала!" Настоящий протест.

Во второй раз я смотрел в клубе университетского "Принцессу устриц" – комедию, и никакого плача не было...

Любовь к кино не угасла по сей день. Святослав Теофилович может перечислить наизусть, по крайней мере, двадцать первых фильмов, которые он смотрел, и ни разу не сообразит. Потому что для него каждый фильм – это всегда (как и во всем остальном) очень серьезное событие внутренней жизни. Существует тетрадь, в которой записаны все просмотренные фильмы. Год, число, название, актеры. Все сюжеты, вель образный строй нерушимо существуют в памяти. Герои кино, равно как и литературные персонажи, живут в сознании Рихтера как совершенно реальные лица.

Каждый фильм, если он заинтересовал его, Рихтер смотрит много раз. Рекорд принадлежит "Бесприданнице" – более тридцати. И когда Святослав Теофилович знает уже каждый кадр, он внимательно следит за соседом, чтобы тот ничего не прозевал, ни одной детали.

Однажды Рихтер предложил нам посмотреть "Кориолан", английский фильм, сделанный в добротной реалистической манере. Заранее попросил нас перечитать Шекспира; если можно, и Плутарха...

22 января 1986 года. Большая Бронная. Телевидение впервые показывало фильм "Мечисто". Святослав Теофилович собирался смотреть. Ровно в 19 часов 45 минут мы уже сидели перед телевизором. Рихтер был заранее предубежден против фильма из-за полного, на его взгляд, несоответствия актера (которого он, конечно, прекрасно знал) прототипу романа Клауса Манна. С самого начала принимал все в штыки.

– Примитивно, не искусство...
– Но такой высокий профессионализм – это уже кое-что!
– Лучшее бы он был менее профессиональным...

В перерыве пили чай, и Рихтер все время волновался, что мы опоздаем во вторую серию. Казалось бы, если фильм не нравится, что уж так беспокоиться... Но Святослав Теофилович все время вскакивал и говорил, что уже началось. При первых звуках музыки, сопровождающей сообщение о погоде, Святослав Теофилович не выдержал, бросился к телевизору, все побежали за ним... Вторая серия не вызвала прежнего сарказма.

– Не так уж плохо, – сказал Рихтер, – но, конечно, это не "Кабаре" и не "Баллада о солдате". Герой – очень неприятный. Все

это уже было. Нельзя повторять жизнь такой, как она есть, это уже не искусство. Одно действительно важно в этом фильме: нельзя любить успех. Это важно. Женские роли – это не живые женщины, а роли. Ни одна не вызывает ни доверия, ни симпатии. – И чуть погодя добавил. – Вы знаете, не верю в местоимение "мы". Не люблю множественное число. Не верю в него. Кто это, "мы"? Это все выдумки. Существует только один человек, одна личность...

На следующий день Святослав Теофилович сказал:

– Я думал об этом фильме всю ночь.
– Зря мы, наверное, его смотрели.
– Нет, надо было посмотреть.
– А я ночью читала Лескова.
– Что?! Как вы могли? Разве можно читать что-то после того, как посмотрели новый фильм? Ведь все тогда друг на друга накладывается, все смешается... Вот, наверное, этот фильм получил тысячу наград, а он очень плохой. Все в нем фальшиво, все приемы повторяются. И, кроме того, он очень вредный. Гораздо важнее было бы показать положительного героя, а этот всем понравится, и все будут брать с него пример. Только каждый подумает: "Я буду делать то же самое, но незаметно". Очень противный главный герой! Он должен вызывать сочувствие?! Он же вызывает отвращение. Единственная хорошая сцена – в Париже, в кафе. Этому веришь. Неуютный Париж, пустое кафе и пощечина. Вот это правда. Все остальное неправда. И какой же он великий актер? Если он не смог прочесть монолог Гамлета в свете прожекторов? Если он великий, пусть читает! Если же это символ, то чересчур в лоб и непонятно. А вот есть фильм, который так отобразил эпоху, что его можно считать просто идеальным. "Ночь в Варенне", о французской революции. Там действуют революционеры и аристократы. И те – плохие и хорошие, и другие – плохие и хорошие. Как оно есть на самом деле.

– Я – жертва кино. Оно для меня реальнее, чем жизнь. Кино, конечно, легковеснее литературы, и оно действовало на меня сильнее. Теперь, правда, не так. Значит, я изменился.

– А вы можете назвать ваши любимые фильмы?
– Могу.
– Расскажите, пожалуйста!
– "Главное – это любить" с Руми Шнайдер. "Бесприданница". Из наших?... Ну, все-таки "Александр Невский" и все-таки "Петр Первый", это хорошие фильмы.

– А "Иван Грозный"?
– Нет.
– А вообще Эйзенштейн?
– "Александр Невский" – да, а "Броненосец" "Потемкин" – совсем нет. Вот знаете, какой фильм мне еще понравился? Хотя я и не могу назвать его любимым. "Богдан Хмельницкий". Совсем неплохо. Ну конечно. "Медведь"! Да! "Дуэль" – хороший фильм. Стриженов и Дружников – Фон Корен, и она – Шагалова. "Большие маневры" – это шедевр. Все фильмы Тати. А чаплинские я не так люблю, кроме фильма "Новые времена". "Маяк" – изумительный фильм. "Белая грива", "Октябрь в Римини", вы не видели? С Аленом Делоном?
– Нет, а как вы относитесь к немым фильмам?

– К немым я остался привержен навсегда. Какой чудный фильм был "Стационарный зритель"! А "Юность поэта", хотя это, кажется, уже был звуковой. Там Державина играл Мохов, ну просто потрясающе, когда Пушкин ему читает. Но больше всего я хотел бы посмотреть "Трагедию любви", немой фильм, который я видел, когда мне было

девять лет, мелодрама, очень знаменитый фильм, с Владимиром Гайдаровым. Была такая пара: Владимир Гайдаров и Ольга Гзовская. Гайдаров играл Париса в "Падении Трои"... Ольга Гзовская в большой кружевной шляпе ползала по стене (в роли Анны Карениной), а Мария Гринберг за сценой играла Аппассионату... Хороши все фильмы Пазолини, Полянского, Кубрика.

– А Феллини, Антониони?
– У Феллини "Амаркорд", по-моему, высшее из всего им созданного, он обрел в этом фильме простоту. "Ночи Кабирии", "Дорога" – тоже замечательные. У Антониони мне больше всего нравится "Ночь" и, конечно, "Блюз ап", действительно, выдающийся фильм...

– И все-таки скажите мне, вы более тридцати раз смотрели "Бесприданницу" и каждый раз находили что-то новое?

– Нового ничего не находил, но когда так играют, когда столько настроения в каждом кадре, это же настоящее искусство, это художественно.

– Святослав Теофилович! Мы говорили о том, как вы начали учиться у Ольги Атл.

– Я играл много музыки с листа, подбирал, сочинял; с пятнадцати до двадцати двух лет аккомпанировал в филармонии, работал, зарабатывал, но я это обожаю.

– Помню, вы рассказывали, как в Одессу приехали Василенко и Асафьев, услышали, как вы иллюстрируете их балеты, и потребовали, чтобы вы тотчас ехали в Москву и поступали в консерваторию. И вы тогда и поехали?

– Я приехал в Москву в 1937 году и прямо с вокзала пешком пришел на Самотеку, по всей Садовой все шел и шел – меня никто не встретил, но я знал, где что находится, потому что у меня была карта. Я пришел к Лапчинским, давним друзьям родителей, и поселился в их большой коммунальной квартире. На общей кухне все разговаривали друг с другом, будто это одна большая семья, на самом же деле, конечно, все были совершенно разные, но, несмотря ни на что, дружили. Я жил у них год, как раз до того момента, как меня выгнали из консерватории.

– Но вы еще не рассказали, как туда поступили.

– В консерваторию я поступил с Четвертой балладой и с Первым этюдом Шопена, Прелюдией и Фугой Баха. Поступал к Нейгаузу, потому что мне нравилось, как он играет, и он был похож на моего папу. Из предметов ничего не сдавал.

– А какое впечатление произвела на вас Москва?

– В Москве мне сразу понравилось, вообще все. дух! Которого сейчас нет. Куранты понравились. Я и раньше их любил, а тут особенно.

– Кто же были ваши первые знакомые?

– Нейгауз! Я пошел к нему на "рекогносцировку" с Лапчинским. Мы пришли домой к Генриху Густавовичу на Чкаловскую, он хорошо, по-деловому меня принял. Я сыграл Четвертую балладу Шопена и Двадцать восьмую Сонату Бетховена. Он тихонько переговаривался с Лапчинским. Явного восторга не выражал – мне, Лапчинскому, как оказалось потом, высказал. Мы говорили с Нейгаузом о музыке. Сразу возник хороший контакт.

– Вы считаете вредным выказывать артисту восторг?

– Да! "Ах, ах, ах" – это не надо. Потому что это не приносит пользы. Больше пользы приносит критика.

– А если впечатление потрясающее, стоит ли говорить о недостатках?

– Если впечатление потрясающее, значит, недостатков не было, не может быть... Я играл на вступительном экзамене в 44-м классе. Самуил Евгеньевич Фейнберг чуть не упал со стула от неожиданности, когда я

начал финал Четвертой баллады. Потом я играл свои сочинения...

В первый же свой день в Москве я попал на "Любовь Яровую" во МХАТе. Мне все понравилось. Спектакль и пьеса оказались чем-то невероятным. Это было произведение искусства. Когда открыли занавес, я чуть не заплакал, я почувствовал, будто мне три или четыре года, услышал звуки гражданской войны, как будто сразу вернулся в то время... Это они умели. Главную роль играла Попова, жена Кторов; Добронравов, Чебан играли. Атмосфера – достоверная, просто невозможно себе представить, как они это делали. Молоденький Массальский... Тогда театр был на такой высоте!.. Сейчас такого нет.

Месяц я прохладился, потом, истратив все деньги на кино и мороженое, уехал в Одессу учить предметы и палец о палец не ударил, приехал в сентябре, ничего не сдал, и меня выгнали, я уехал домой, но Нейгауз мне написал, чтобы я приезжал, что все образуется...

– Святослав Теофилович! Расскажите, пожалуйста, в каких пьесах вы видели Книппер-Чехову?

– Я видел Книппер-Чехову в трех пьесах: "Вишневый сад", "Дядюшкин сон", "Идеальный муж". В "Идеальном муже" она играла эпизод. Хотя и очень уже пожилая, но в ярком красном платье, она с шиком подражала манерам, интонации, движениям экстравагантной англичанки. Полное перевоплощение. Даже Андровская бледнела рядом, хотя Андровскую я очень люблю. Вообще же это был не слышим удачный спектакль. В концертах Книппер-Чехова читала новеллы Чехова с Недзвецким – это был как бы ее антураж. Они играли и открыли из пьес... Изумительная актриса. Верх интеллигентности. Только еще одну знаю в таком же роде – Гиацинтову, но Ольга Леонардовна – особенная, она не играла, она так разговаривала, будто бы то, что она говорит, только что пришло ей в голову. Может быть, этого и добивался Станиславский. Она настоящая чеховская актриса. И основное в ней – интеллигентность и естественность. МХАТ всегда был моим любимым театром... Его восстановили с большой любовью. Жаль только, что нет, как когда-то, самоваров и бубликов. Впрочем, их уже давно нет.

– Святослав Теофилович, вам нравится "Доктор Живаго"?

– Каждая глава – это изумительная новелла. А в целом несколько старомодное подражание чуть ли не "Отверженным", роману такого рода. Я, кстати, очень люблю этот роман Гюго. Случайные встречи героев у Пастернака слишком наивны. Все оказываются знакомыми между собой. Но картины настроений и новеллы просто очень здорово, настоящая большая литература. Я вообще очень люблю Пастернака, он один из трех моих любимых поэтов: Пушкин, Блок, Пастернак.

– А вы читаете Золя? – спросил Святослав Теофилович, его желание заключалось в том, чтобы я перечитала все романы Золя, одного из его любимых писателей. – "Добыча" – очень хороший роман. Я видел фильм. Зачем-то перенесено в другое время, с Джейн Фонда, – я ее не очень люблю, она как бы это сказать, "одномерная"... Зачем перенесли действие? Ведь этого не могло тогда быть... "Завоевание Плассана" – история опасная, даже немного страшная. Герой – проповедник, духовного сана, а похож на одного не слишком высоконравственного человека... А я читаю "Пьер и Жан" Мопассана, мне очень нравится. Я раньше не читал этого романа. "Сильна как смерть" в том же томе, но есть в этой повести что-то неприятное. Близкое нам, наверно, поэтому и противно: светская жизнь, лицемерие. А у Золя! Смерть Мьетты и алое знамя! Ведь надо так

придумать! Потрясающе. И такой бедный и симпатичный этот юноша Сильвер. А Саккар?! Это же реальный тип!.. А что же вы читаете?

– Бюхнера.

– "Леон и Лена"! Какая странная вещь. У него вообще только три пьесы. "Смерть Дантона", "Леон и Лена" (это название Святослав Теофилович каждый раз произносит с удовольствием) и "Войцек". Вы читали? Нет?! Жаль... Невозможно поверить, что написано в XIX веке, в начале... Полное ощущение, что написано сейчас. На редкость современное произведение. И очень сильное... Я прочел "Шум и ярость" Фолкнера! Вот это мне понравилось, размах, образно, все мне понятно. А вот его новеллы как-то приземляют, пригибают к земле.

18 октября 1987 года. Большая Бронная. Смотрели фильм "У каждого свой ад" с Анни Жирардо в главной роли.

– Если вы подумаете, что это – мелодрама, я огорчусь. По-моему, это прекрасно. Она играет совершенно потрясающе. Это, конечно, очень тяжелый фильм...

Я впервые видела Анни Жирардо в трагической роли матери, у которой похитили и убили маленькую дочь. Это сделал ее старший сын, ненавидящий отца (очень доброго человека) и ревнующий и девочку, и отца к матери. Я протестовала против таких ужасов, хотя Анни Жирардо, действительно, блестяще сыграла роль.

– Шекспир! – воскликнул Святослав Теофилович. – Почему у него могли бушевать такие страсти? Убивали друг друга. И в этом фильме именно такие страсти. И она тоже виновата перед мальчиком. И конец совершенно логичный, потому что жизнь для нее теперь стала невозможной. А как трогательно она снимала с мужа ботинки, когда он заснул одетый... Деталь, но замечательная. И чернь как показана, во всей своей безнадежной неприглядности. Нет, фильм прекрасный!

– Этот фильм не так просто забыть, – сказала я, – осталось тягостное чувство.

– При чем тут тягостное чувство? Это же высокое искусство! Истинно высокое искусство выше всяких тяжелых переживаний.

– Вы очень благодарный зритель... Это у вас, очевидно, с детства, "влюбился в кино – конец", помните, как в вашей пьесе "Дора": "Влюбился – конец". В девять лет уже так считали!

– Да, мне было девять лет, когда я написал "Дору"... Елена Сергеевна Булгакова обождала эту пьесу, я много раз читал ей "Дору".

– Я уже давно хотела вас спросить о вашей дружбе с Еленой Сергеевной.

– Наша дружба началась с двух произведений искусства: с маленького шедевра Сарьяна "Армения", который Елена Сергеевна подарила мне в первую же нашу встречу, и "Острова радости" Дебюсси, который я сыграл ей. Это была веселая и легкая дружба. И в этой легкости я чувствовал глубину и подлинность.

Мы много времени проводили, развлекались, играли в мою игру "Рауль", могли после этого слушать музыку или вдруг поесть пить шампанское... Однажды играли с Еленой Сергеевной, ее сыном и Анной Андреевной Ахматовой в домашнюю рулетку...

Елена Сергеевна была моим настоящим и преданным другом. И всегда и везде ее незри-

^ Самодельная, нарисованная А. И. Трояновской настольная игра, живописующая полный несюжиданностей путь музыканта с такими, например, обозначениями, как "вундеркинд", "ошибки в воспитании", "пирושка", "драка", "отказ от дома", "друг", "вдохновение", "первый концерт", "муза", "слава"...

мо сопровождал Михаил Афанасьевич. Она была полностью сосредоточена на нем, на его творчестве, для нее не существовали никакие другие писатели...

– Сейчас Сарьян не висит у вас. Как часто вы меняете вашу домашнюю экспозицию?

– По-разному, иногда год ничего не меняю, или восемь месяцев, или еще меньше.

Сентябрь 1987 года. Москва.

Святослав Теофилович ходил в музей им. А. С. Пушкина на открывшиеся там одновременно выставки из коллекций Тиссен-Борнемиса и Шагала. Сначала несколько раз смотрел экспозицию Тиссена, проходил мимо полотен Шагала, умышленно отводя от них взгляд, чтобы ни в коем случае не смешивать впечатлений, не нарушать целостности восприятия. В первый раз Рихтер смотрел одни картины, во второй раз – другие, ходил столько раз, сколько ему понадобилось, чтобы составить полное впечатление о выставке. "Благовещение" Веронезе вызвало самый большой восторг ("Как он летит! Какие цвета, композиция!") И "Благовещение" Эль Греко померкло перед Веронезе.

В начале октября Рихтер начал свои походы на Шагала, которого, конечно, хорошо и давно знал и любил, многие его картины видел в разных галереях мира. Об этой выставке отозвался так:

– "Портрет Вавы", "Продавец газет" – хорошие, мне понравились. Ранние картины чудные. Но не все равноценно. В поздних работах мне цвет показался ядовитым, каким-то химически зеленым, несколько болтливые сюжеты. Вы знаете, нет колорита. Раскрашено. Вся его сила в непосредственности, такой, какая бывает у детских рисунков. Еще мне понравилось пара новобранцев на фоне Парижа. Я бы сказал, что количество картин (большое!) ему вредит...

– Вы как-то говорили, что в США лучше всего оркестры, коктейли и картинные галереи. Расскажите, пожалуйста, про галереи.

– Если серьезно, я видел там мало. Я ходил в музей заповое, все смотрел подряд, не понимая. За один раз ведь нельзя смотреть более пяти, в лучшем случае десяти картин. Я несколько раз был в Метрополитен, в Лос-Анджелесе, в Чикаго, в Филадельфии. Ходил, как обычно ходят. Поверхностно. Слишком много смотрел. Куда бы я ни приезжал в США, сразу несся в галерею... Существует страшный уклон: всегда смотреть то же самое: импрессионистов! Все бегут на импрессионистов. Почему?.. В этом есть что-то глубоко неправильное. Меня все интересовало: Шагал, Гойя, Дали.

– А что вы скажете о Дали?

– Очень не в моем духе, но блестящий. Я его не люблю. Он – спекулянт, но в большом смысле. Очень большой мастер.

– Что вам больше всего запомнилось в картинных галереях США?

– Конечно, громадный "Лаокоон" Эль Греко, "Купальщицы" Сезанна, "Большие кувшинки" Моне (плохие – фальшивый фиолетовый цвет), Ренуар – все девичьи на одно лицо, у него так бывает. У Сезанна же нет слабых вещей.

– А Мондриан? Никак не могу понять его.

– А Мондриана не надо понимать. Им надо любоваться. Много видел Кандинского, но не очень люблю. Видел "Венеру перед зеркалом" Тициана, которую продал Эрмитаж.

Самая лучшая статуя в мире – "Венера Милосская". Когда я был в Лувре впервые, смотрел только ее, больше ничего...

Стемнело. На следующий день Рихтер уезжал.

– Святослав Теофилович, спасибо и счастливого пути! Что вам пожелать?

– Чтобы мне хотелось заниматься, и чтобы у меня получалось...

ИСКУПЛЕНИЕ

АЛЕКСАНДР НЕЖНЫЙ

Сейчас как-то принято всякий разговор о нашем отношении к прошлому поворачивать к вопросу о культурно-историческом наследии, которое мы получили и которое не смогли и не сумели сберечь... Даже люди, прежде совершенно чуждые всякому волнению по поводу снесенных церквей, теперь непременно помянут построенный на народные копейки храм Христа Спасителя и разлившиеся на его месте хлорированные воды бассейна "Москва". Вообще же в нынешнем обществе много истинной боли, глубокого стыда и страстного желания искупить вину отцов и дедов, самонадеянно пожелавших устроиться на пустом месте, без прошлого, и недрогнувшими руками разрушивших до основания и Чудов монастырь в Кремле, и Сухареву башню, и десятки и сотни других прекраснейших творений народного гения. Знаменательно, что знакомые мне люди – в ту пору, разумеется, совсем молодые – о своем участии в этих работах вспоминают сейчас со щемлящим недоумением, как вспоминает выздоровевший человек о днях своей тяжелой болезни. Честолюбивые замыслы построить Вавилонскую башню внесли, как известно, великий разлад в человечество: уничтожение святынь, подобных храму Христа Спасителя, – это Вавилонская башня наоборот, но причинившая опасное ранение народному духу.

Но мой разговор о памятниках нашего зодчества, наверное, не свободный от общего чувства, имеет все же и свою причину. Как литератор, взявшийся за историческую прозу, с особенным пристрастием всматриваюсь я в любое материальное свидетельство далекого века, а уж в монастырскую стену, городскую башню или церковь – тем более. Ведь они и вправду видели. Палаты удельных князей в Угличском кремле видели гибель царевича Дмитрия; Тульский кремль – стойкость одного из самых таинственных героев Смуты Ивана Болотникова; Христорождественский собор в Каргополе – его мученическую смерть; Пафнутьев-Боровский монастырь – ожесточенные схватки русских с поляками; Молчанский монастырь в Путивле – и Лжедмитрия, и "всей крови заводчика" князя Григория Шаховского, и гнусного обманщика и убийцу Михаила Молчанова...

Это святые для нас камни; и тропы, которые прокладывает к ним народ, десятками тысяч наезжая в старые русские города бог знает откуда, – это не только похвальная любознательность и не только присущая слабому человеку и укрепляющая его тяга к красоте, это и поклон, быть может, совершенно бесцельный и благоговение, и кипя-

щие в груди слезы. Февральским вечером в Каргополе я вышел на берег Онеги. Небо затягивалось облаками, выглядывал безрогий месяц, всякий раз становился все желтой и ярче, и все ярче светился охватывающий его оранжевый круг. Темень сгущалась, и громада Христорождественского собора, как белый корабль, плыла во мраке, неся между куполами первую просверкнувшую на небе звезду. Четыре века высится собор, что само по себе уже есть чудо; но всего неотразимей действует на сердце даже не величие храма с его суровой, исполненной простоты и мощи красотой, а какое-то захватывающее, сильное чувство и собственной горькой вины, и горячего стремления утолить все боли, которыми страдает родная земля, – чувство блудного сына, с пустыми руками и опустошенной душой возвратившегося к отчому порогу.

"БЕЗУМНОЕ МОЛЧАНИЕ"

В Угличе по набережной Волги я шел в сторону кремля. Был полдень, высоко стояло солнце, река слепила глаза и выгибалась огромной плавной излучиной. Впереди хорошо были видны синие с золотыми звездами купола церкви Дмитрия "на крови", зеленая кровля палат удельных князей, высокая колокольня, с которой только что двенадцать раз проббили куранты, и купола, белые стены и портик Спасо-Преображенского собора, вставшего почти на краю крутого берега. Тихо шумела молодая листва, ветер доносил слабый сладкий запах черемухи – был май, пятнадцатое. Именно в этот день, но только почти четыреста лет назад, в 1591 году, здесь, в Угличском кремле, произошло событие, ставшее как бы прологом Смуты, первым раскатом собирающейся над Московской Русью грозы, предвестником великих потрясений и бед, едва не сокрушивших русское государство. Событие, неизгладимо отпечатавшееся в судьбах России. Погиб мальчик девяти лет, больной, вспыльчивый – царевич Дмитрий, сын Ивана Грозного от седьмой его жены, Марии Нагой.

Тогда, в 1591-м, вряд ли кто-нибудь предполагал, что Дмитрий воскреснет и окажется на московском престоле; что, убитый в Москве в мае 1606 года, он почти сразу же воскреснет вновь и из

тушинского лагеря будет тянуть руки к царскому венцу; что, зарубленный татарским князем Петром Урусовым неподалеку от Калуги, снова объявится и снова начнет смущать Россию, и без того измученную кровавым раздором гражданских войн, беспощадными домогательствами власти и злой алчностью чужеземцев. Горестную и горькую годину суждено было перенести русской земле, пережить позор национального унижения, испытать обольщение самозванством, перетерпеть насилие, ложь, отступничество и лишь ценой неисчислимых жертв и мучений отстоять свою независимость и веру.

Современники пытались понять: за что выпало России столь безмерное страдание? И приходили к выводам, поучительным и для нас. Но если я вспоминаю сейчас их суждения, то, главным образом, в силу искреннего убеждения, что самый мудрый учитель нравственности – история и что мы, к прискорбию, являемся ее на редкость малопривлежными учениками.

Так вот, о причинах. Русский историк и мыслитель XVII века дьяк Иван Тимофеев первой из них называет ложь, которая, по его словам, пронизала все общество. Плевел лжи заглушил истину, она умолкла и поникла. Власть оказалась в недостаточных руках, но не нашлось ни одного "крепкого" человека, который бы возвысил голос против произвола "тиранов". "Поищем у себя и все усердно постараемся прежде всего уяснить то, за какие грехи, не бессловесного ли ради молчания наказана наша земля..."

Называя далее среди пороков общества "дерзость клятвоступлений", лицемерие, "потерю между собой общего любовного союза", "безмерное употребление вина и обжорство", "ненасытное сребролюбие", "приобретенные множества, больше, чем нужно, различных вещей", "зловонное произношение языком и устами матерных скверных слов", Тимофеев опять возвращается к "бессловесному молчанию". Промолчав перед Борисом, пишет он, породили Гришку Расстригу; а далее, как выразились бы мы, началась цепная реакция зла, поставившего Россию на край гибели.

Но сознавал Тимофеев, понимаем и мы: Смута вызвана не только и не столько непосредственно предваряющими ее событиями русской жизни, сколько страшной эпохой Ивана Грозного, первым в нашей истории сделавшего безудержное насилие, ссылки и казни едва ли не главным средством своей политики. Опричнина переломала и обескровила русское общество, а уж затем пришли на русскую землю другие

беды. “Каждая злоба является матерью второй...”

Общество не должно, не имеет нравственного права мириться с беззаконием и произволом; если общество трепещет и молчит, оно тем самым уже предопределяет свою судьбу – эту мысль высказывает и келарь Троице-Сергиевой лавры Авраамий Палицын. “За всего мира безумное молчание”, говорит он, наказана была русская земля. И таким смятением и такой болью отзываются ныне в нас слова наших далеких предков, такой пророческий звук слышится нам в них...

Но вернемся в Углич.

Драматург исполинской мощи, историю завязала здесь великую русскую драму. Я стоял возле церкви Димитрия “на крови” и, пытаясь не обращать внимания на туристов, с борта “Василия Сурикова” отправившихся в кремль, старался вообразить: дворец, погруженный в послеобеденную дремотную тишину... глухой угол “города” возле Наугольной Фроловской башни (давно снесенной – как, впрочем, и другие башни и стены) ... мальчики, забавы ради ловко кидающие нож, – так, что, перевернувшись в воздухе, он с силой вонзается в землю. Среди них – царевич.

Несколько дней спустя мальчики скажут нагрывшей из Москвы следственной комиссии: “Были в те поры за царевичем кормилица Орина, да постельница Самоилова жена Колобова Марья”. Скажет и Орина: “Ходил царевич Димитрей в субботу по двору, играл з жилцы ножиком, и она того не уберегла, как пришла на царевича болезню черная, а у него в те поры был нож в руках, и он ножом покололся, и она царевича взяла к себе на руки, и у ней царевича на руках не стало”. Если говорить о показаниях непосредственных очевидцев – так, как записаны они в столбцах розыска дела, то все они по сути ничем не отличаются от показаний кормилицы: сам себя в припадке ножом поколол. Однако с мая 1591 года и, пожалуй, и по сей день Россия охотней верит в другое – в убийство.

НАМ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ

Отчего так? Отчего, несмотря на добросовестность розыска, полноту представленных им правительству и патриарху свидетельств, несмотря на однозначность вывода, отчего до сих пор и, по-видимому, уже навечно сгорела в себе наша история ответ на вопрос: убийство это было или несчастный случай; злая воля или нечаянная беда; преступный умысел или слепое стечение обстоятельств? Небо над нами, и под нашими ногами земля, и медленно и мощно влекущая свои воды Волга – одни они все знают, но нам никогда не скажут. Нам остается лишь мучить себя догадками, внимать историкам, прислушиваться к поэтам... Среди предположений наиболее замечательно, на мой взгляд, одно, как будто бы никому еще на ум не приходившее: принимая факт убийства, оно связывает его

исключительно с преступной угодливостью приближенных Бориса, на свой лад истолковавших замыслы правителя. Годунов невиновен и в то же время томится нравственной ответственностью за совершенное злодеяние – вот, может быть, истинный ответ на вековую загадку угличской драмы.

Подобное истолкование угличских событий историков, однако, не устраивает. Они (за исключением, пожалуй, В.О.Ключевского) тяготеют к большей определенности, к более резкой светотени, к четкой границе между добром и злом, хотя в жизни не столь уж редки случаи, когда такая граница попросту невозможна. И до сих пор одни – вслед за Н.М.Карамзиным – обвиняют Бориса, другие – вслед за М.П.Погодиным – выносят Годунову оправдательный приговор. Что же до поэтов, то они согласно возлагают вину на Бориса. Причем не только Александр Сергеевич Пушкин, чей Борис Годунов вот уже полтора с лишним века смиренно склоняет голову перед Николкой-юродивым и более, чем все учебники, убеждает нас, что на его руках кровь невинного царевича; и не только Алексей Константинович Толстой, но и Лопе де Вега, уже в 1606 году написавший “Великого князя Московского”, одну из полутора тысяч своих пьес, и Шиллер, скончавшийся, работая над трагедией “Димитрий”...

Единодушие художников проще всего, разумеется, объяснить тем, что нечаянное самоубийство Димитрия снижает накал страстей и ослабляет пружину сюжета. Это важный, но довольно-таки узкий мотив, относящийся исключительно к области литературного ремесла. Вполне достаточный даже для неплохого беллетриста, он не имеет определяющего значения для великих мастеров, творчество которых таинственным образом сопряжено с глубинами исторической жизни и которые – вольно или невольно – за всех нас стремятся ответить на самые главные, самые страшные ее вопросы. Можно ли с помощью насилия и зла утвердить благоденствие и добро? Возможно ли искупление, какова его мера и сколь долги его исторические сроки?

Были современники, осуждавшие Бориса Федоровича Годунова за лицемерный, на их взгляд, жест, когда, венчаясь на царство, “испусти... глагол зело высок и богомерзостен: се, отче великий, патриарх Иов, Бог свидетель сему: никто же убо будет в моем царствии нищ или беден. И тряся верх срачицы на себе и глаголя: “И сию последнюю разделю со всеми”. Что ж, и в конце шестнадцатого века нашим соотечественникам было присуще здоровое чувство отвращения к исходящим сверху широковетвистым обещаниям и заманчивым посулам. Между тем Годунов скорее всего был совершенно искренен в своем душевном порыве; больше того, те же современники почти единогласно отдают должное его государственной мудрости, его стремлению искоренить взяточничество, пьянство, приказную волокиту. Тем более потрясает тщета его усилий и трагическая участь семьи:

жена и сын убиты, дочь, красавица и умница Ксения, взята самозванцем в наложницы, а затем пострижена в монахини...

Всецело будет прав историк, возведя основную причину Смуты к отчаянной попытке крестьянской России порвать железные пути, которыми все ошутимей скручивало ее государство. Но не менее прав и глубок окажется в своих прозрениях художник, усмотревший в крушении Годуновых и в охватившем Россию пожаре искупление кровавого дела. Не состоялось счастливое царство: не расцвело благоденственное житье; не спустились на грешную землю милосердие и справедливость – вместо этого рвали Россию самозванцы, Сапега, бесчестный Мнишек и его одержимая непомерными притязаниями дочь...

Убийство царевича должно быть искуплено – вот чему нас учила история на примере Годунова. И вот почему, соотнеся смерть Димитрия со всеми последующими событиями, Россия столь горячо поверила в грех злодеяния, пятнадцатого мая 1591 года совершившегося здесь, в Угличе. Она жалела погибшего мальчика, трепеща при мысли об его отце.

ПРОШЛОЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ СЧЕТ

Тема искупления – вообще очень русская тема, не потерявшая своего значения и поныне. Хотя многим из нас покажется даже странным: что, собственно, искупать? какие вины? а если они есть, какая в том моя лично вина? Вместе с тем по глубокому и честному размышлению нельзя не признать нашей общей (соборной, как сказали бы в старину) ответственности за многие беды общества и прежде всего – за его искривленный духовный рост. Так долго ожидавшиеся нами и наконец наступившие перемены вряд ли обретут необходимую силу и вряд ли станут необратимыми, если мы не попытаемся заплатить по всем счетам, которые с полным правом предъявляют нам наша история и наша земля.

Памятники архитектуры и истории – так мы говорим и, обращаясь к их памяти, у них вызнаем наше прошлое; а они в ответ глядят нам в глаза кое-как заколоченными окнами, кивают ободранными куполами, встречают вывороченным и загаженным нутром, как нищие калеки, взывают они к нашему милосердию. Боюсь, невместим будет список памятников земли нашей, либо отмеченных проклятой печатью запустения, либо оказавшихся у последней черты или даже уже миновавших ее и представляющих собой скорбные руины.

Право, чем больше я путешествовал в поисках исторической прозы, тем плотней спекался в груди ком горечи и гнева. В Кромах узнал, что соборную церковь на рубеже пятидесятых-шестидесятых годов взорвали, чтоб ее камнем вымести тротуары. В Путивле с глубоким унынием разглядывал церковь Рождества Богородицы Молчанского мона-

стыря со следами когда-то начатых и брошенных реставрационных работ и растущими из щелей как будто невинными, но обладающими страшной разрушительной силой березками...

И Пафнутьев-Боровский монастырь, с пятнадцатого века известный в русской истории как верный защитник московских рубежей, а позднее – как образец дивной красоты, монастырь, которым вот уже тридцать с лишним лет (!) занимаются реставраторы (с того дня, как рухнул центральный купол Рождественского собора; это случилось 14 мая 1954 года, как раз в день памяти основателя обители), являет собой весьма нерадостное зрелище. В 1919 году здесь обосновалась сельхозкоммуна, затем она уступила место музею, потом поочередно селились за монастырскими стенами школа механизации, дом для беспризорников, ремесленное училище, колония малолетних преступников. Сейчас в роли хозяина выступает заочный сельскохозяйственный техникум. На сегодняшний день состояние зданий и храмов монастыря наверняка было бы еще более печально, не возьми над ними опеку чета Антиповых – Алексей Алексеевич и Вера Михайловна. Алексей Алексеевич общественный директор созданного им здесь вместе с женой музея, пожилой, больной, страстный человек, этакий, знаете ли, отважный часовой, по доброй воле выбравший одинокий пост у ворот давным-давно покинутой защитниками крепости.

Вообще это явление чисто российское и замечательно современное: вдруг, ни воспитанием, ни образованием к новому поприщу не подготовленный, человек превращается в поборника и заступника нашей старины, оставленных ею памятников зодчества, и в своем рвении делается положительно неукротим. Но отчего он начинает хлопотать, обивать пороги, раздражать начальство, писать письма, спорить с учеными, бранить строителей? Отчего ему уже непереносимо застойное равнодушие родного маленького городка? И отчего, наконец, он не боится показаться смешным, несерьезным, даже, может быть, слегка выжившим из ума в своих заботах не о хлебе насущном, не о производительности труда и качестве продукции, а о таких, на здравый взгляд, несущественных для нынешней жизни вещах, как, скажем, шатнувшееся прясло монастырской стены, склонившийся набок купол или погибающая от сырости роспись, изображающая Страшный суд? Да оттого, наверное, что вокруг него все, так сказать, Марфы, которые заботятся о многом, а он, как Мария, знает теперь только одно, ибо внезапно очнулся с покаянным чувством и желанием посвятить себя искуплению.

Лицо Антипова вдруг помрачнело, он проговорил: “У реставраторов – ни одного законченного объекта за тридцать с лишним лет. И в монастыре, и в самом Боровске. Там, в церкви Бориса и Глеба, семнадцатый век, вы видели: купола рухнули... Два года в лесах! Ко мне недавно пришел молодой человек с сы-

нишкой. Вот, говорит, пришел монастырь показать. Меня самого сюда отец приводил. Я помню, тогда леса были и сейчас, я гляжу, леса! Когда ж вы тут порядок-то наведете?”

К усугублению нашей печали мы довольно просто можем вызвать из небытия подлинные облики ныне увечных или вообще исчезнувших с лица земли творений русских зодчих. Достаточно взять в руки старые, а иногда и совсем новые книги, чтобы увидеть, к примеру, великолепие того же Молчанского, или Пафнутьев-Боровского монастыря, или торжественную красоту Оптиной пустыни. Мы можем воочию убедиться, что Софрониевская пустынь (неподалеку от Путивля, основана в XIV веке) была действительно прекрасна, и вряд ли имело смысл взрывать ее храмы, капитальнейшее, в два высоченных этажа здание больницы, дом настоятеля и таким образом добывать кирпич и соорудить из него пеньковый завод.

СТАРЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ

После всего сказанного наверняка у кого-то появится страстное желание вlepить мне клеймо, вырвать, так сказать, ноздрю и прокричать над моей головой идеологическую анафему – как один угличский персональный пенсионер Лобашков председателю неподалеку от Углича расположенного колхоза Багдасарьяну.

Лобашков – человек пожилой, можно даже сказать, старый, однако сохранивший в себе яростный дух своей молодости, временами посверкивающий в стальном взгляде его бледно-голубых глаз. Был он выдающийся церковный сокрушитель в местном масштабе и ныне с крайним неодобрением относится к реставрационным затеям, будучи глубоко убежден, что эти игры до добра не доведут. Багдасарьян тоже не мальчик. В партию вступил в тысяча девятьсот сорок первом, под Ельней был командиром взвода... В семьдесят восьмом году Багдасарьяну, кандидату экономических наук, заведующему лабораторией Угличского научно-исследовательского института молочной и сыродельческой промышленности, райком партии, учитывая его опыт (поднимал целину, в Уральской области руководил крупным коневодческим хозяйством), предложил возглавить колхоз. Направили его в крепкое хозяйство, он отказался, попросил самое слабое. В январе 1978 года его повезли в село Ордино, на центральную усадьбу колхоза “Новый путь” – сорок километров от Углича. Вездеход застрял, они повернули назад. На следующий день Багдасарьяна доставили в колхоз самолетом.

Он принял в полном смысле вырождающееся хозяйство: за шестьдесят лет здесь построили два жилых дома и коровник, коровы давали молока в два раза меньше, чем четверть века назад, из-за сплошного бездорожья молоко зачастую вывозили вертолетом. Его, Багдасарьяна, жена в первую весну ве-

чером едва не утонула в грязи неподалеку от правления. Багдасарьян крутился, не зная ни отдыха, ни срока, и за десять лет успел многое: построили мост, восемьдесят жилых домов, школу, магазин, столовую, протянули асфальт до Углича, соединили дорогами отделения колхоза.

К чему, однако, я веду? Разумеется, к церкви – к той Троицкой церкви конца XVIII – начала XIX века, которую (вполне может быть, что не без участия Лобашкова) в 1936 году изрядно поуродовали (иконы сожгли, колокола разбили), которая с тех самых пор мрачным памятником стояла в селе Ордино и которую, едва завелись у колхоза деньги, Багдасарьян решил восстановить. Заказал проект, приобрел материалы, пригласил специалистов, вовсе не полагаясь при этом на угличский реставрационный участок, и без того на многие годы вперед заваленный работой. Лобашкову, само собой, все это было в высшей степени отвратительно, и он все силы приложил, чтобы Багдасарьяна остановили и примерно наказали. Особенно ярился он из-за появившихся на куполах возрожденного храма крестов, везде и всюду приводя их как доказательство сугубого мракобесия колхозного председателя.

Я спросил Багдасарьяна:

– Василий Аршакович, у вас разве забот мало? Для чего вам было восстанавливать церковь? Опять же – Лобашков...

Он ответил:

– Когда она так стояла, разрушенная, то, знаете, у людей какое-то ощущение временности возникало. Она своим видом всех угнетала, понимаете? А сейчас – красота, народ одобряет. Мы музей в ней откроем.

В отличие от Лобашкова и многих, ему подобных, словом и делом продолжающих свою иступленную борьбу, Багдасарьян понял, что люди, жившие до нас, оставили нам в формах культурных построек величайшее культурное наследие, к которому мы, в силу лежащего на каждом поколении исторического долга, обязаны отнестись со всей доступной нам бережностью. Вот почему всякая разрушенная церковь – это не что иное, как надгробие нашим душам; а всякий историко-архитектурный памятник, нашими усилиями возвращенный к жизни, – это возмещение части нашего долга, выполнение повинности всем нам отныне присужденного искупления.

Ведь это только лобашковы по своему глубокому и несчастному заблуждению могли стремиться к тому, чтобы начать непременно заново, непременно на пустом, чистом месте. И с жестокой, чистосердечной страстью уничтожали прошлое, в том числе и прошлую культуру. Идеология Лобашкова, его, так сказать, нравственное состояние имеют, к прискорбию, довольно широкое распространение в нашем обществе и дают о себе знать еще и сейчас. И не только на уцелевшие церкви обращен пыл лобашковых. Увы – они смотрят шире. Два года назад в Харькове, например, раз-

горелась настоящая битва за самый старый дом города, построенный в XVII веке. Власть решили его снести и на освобожденном месте соорудить рынок-модерн, хотя здание было взято на учет как памятник и защищено соответствующей доской: охраняется государством. Добровольцы стали цепью: не дадим! Из Киева предупредили: ни в коем случае! Даже прокуратура указала, что в нашей стране не положено сносить памятники истории и архитектуры. Однако горисполкому своя спесь оказалась куда дороже уважения к закону и памяти. Будто тати, в ночь с субботы на воскресенье напали на старый дом и, как полагается, до основания его разрушили. Устроен пока на этом месте газон.

А болью отозвавшаяся в обществе история с “Англетером”!

А безобразный случай в Иваново, где также ночью, усыпив бдительность народа, местные власти сломали дом на площади Революции – памятник истории республиканского значения!

А бульдозер, прошедший по могилам некрополя Донского монастыря! Москва, как и в беспощадные тридцатые, показывает недобрый пример: с 1971 года в нашей столице уничтожено две сотни состоявших на учете памятников архитектуры и около двух тысяч зданий исторической застройки!..

Заблуждение лобашковых тем более глубоко и несчастно, что сами себя они полагали людьми новыми, тогда как личности, подобные им, встречаются даже в самой давней нашей истории, и в этом смысле он, персональный пенсионер Лобашков, чрезвычайно ветхий человек. В русском окружении первого Лжедмитрия был, например, князь Иван Андреевич Хворостинин, ужасно презиравший все отечественное и полагавший, что не будет большой беды, если все российское выкорчевать, а взамен устроиться по-новому: с новым, протестантским богом и на новый, западный манер. Лобашков, надо признать, преуспел больше Хворостинина; но ведь и мы, вероятно, куда отчетливей современников Ивана Андреевича понимаем, с чем, обыкновенно, бывает связано стремление к уничтожению традиций, верований и памятников культуры. Дорогую цену мы заплатили за этот урок истории, и хочется верить, что еще одного нам не потребуется.

СОБОР И БУРОВАЯ

Едва, однако, речь заходит о реставрации, как в качестве первой и главной причины ее теперь уже смертельно опасного промедления сразу укажут на крайнюю маломощность реставрационно-строительных участков в сравнении с огромным объемом практически неотложных работ. В самом деле,

в Боровске восстановлением памятников зодчества – в том числе и Пафнутьева монастыря – занято всего тринадцать человек, в Каргополе – два, в Путивле – двадцать, в Угличе – двадцать два... Оптину пустынь (вернувшуюся только что во владение церкви, тем, видимо, спасенную), прославленную именами Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского, братьев Киреевских, К.Н.Леонтьева, в прошлом веке стяжавшую себе славу одного из духовных центров России, реставраторы едва латали, и из красивейшей некогда обители я уходил, как с похорон. И даже Углич за благополучным фасадом своего кремля скрывает виды далеко не утешительные.

Вместе с директором музея Виктором Ивановичем Ерохиным мы обошли и объехали архитектурно-исторические памятники города и ближних окрестностей, и везде горестное изумление не оставляло меня. Ерохин мое чувство разделял, но с оговоркой. Видели бы вы, что тут раньше было, – говорил он и прибавлял с гордостью, что уже одно то замечательно, что не дали упасть. Однако в Николо-Улейминский монастырь отправился, мне показалось, с неохотой, – не столько, я думаю, из-за того, что и стены, и навратная, Троицкая, церковь, и собор, и прекрасная Введенская церковь этой основанной в 1400 году обители вызывали ощущение недавно случившегося здесь землетрясения или артиллерийского налета, сколько из-за нынешних постояльцев монастыря... Давно уже служит он приютом для душевнобольных детей разного возраста. Они развешивали белье во Введенской церкви, вскапывали грядки, бродили, пристально уставившись в землю, – все в резиновых сапогах, несмотря на очень теплый майский день. Иногда они вглядывались в нас из-под своих огромных лбов близко поставленными глазами – и в их мутно-радостных взорах я читал безмолвное обвинение всем нам. Ведь это даже не столько им, несчастным, убогим ребятишкам, горю нашему, важно было, в **каких** условиях они живут, сколько нам, здоровым, взрослым и оберегающим себя от чужих бед людям. И эти дети, и монастырь, являвший собой зрелище почти уже погибшей красоты, – все здесь свидетельствовало о постигшем нас духовном обмороке.

Увы, сил мало... Но мне кажется, наша реставрационная служба, по крайней мере российская, охотно усвоила родимый порок строителей – чудовищную распыленность этих самых сил и средств. В том же Пафнутьев-Боровском монастыре за тридцать с лишним лет реставраторы освоили два с половиной миллиона рублей. Это все-таки сумма... Дело, стало быть, не только в недостатке средств, но и в умении распорядиться ими, определить объекты

первостепенные и все силы бросить на их возрождение, остальные же до поры законсервировать. Ведь коли теми же темпами вести работы в Пафнутьев-Боровском монастыре, то завершатся они лишь в 2028 году, когда мальчик, которого отец приводил приобщиться к истории и красоте, сам уже станет отцом, а может быть, и дедом.

Да и в монастыре всю реставрацию надо будет начинать сначала!

И тем не менее, как ни крутись, средств мало, нищенски мало. На Каргопольский район выпадает 35-40 тысяч в год только леса поставит; на Боровск с монастырем – 150 тысяч; многим больше получает Углич. Огромное государство, будто перед непосильной задачей, застывает возле полуразрушенного храма XVII века.

Конечно, мы знаем, неотложных забот в нашем хозяйстве предостаточно. У председателя Каргопольского райисполкома М.Н.Кадашевой не идут из головы острее социальные проблемы города и района; первый секретарь Путивльского райкома КПУ И.И.Сидельник сосредоточил внимание на сельском строительстве; первый секретарь Угличского РК КПСС В.Ф.Лебедев взялся искоренять бездорожье – и у всех у них в этих больших и важных хлопотах, в показателях плана, килограммах надора, квадратных метрах жилья, километрах дорог давно растворилось сознание того, что состояние памятников истории и зодчества в их родных краях недостойно могучей державы. Лично, по-человечески, они, разумеется, “за”. Но не отвлекать же средства от решения насущных хозяйственных нужд! Не тратить же с таким трудом добытые лимиты!

Да неужто мы все еще полагаем себя вправе утверждать, что у государства нет возможности восстановить замечательные памятники нашего прошлого?! Я больше скажу: не устроится и не процветет земля, бросившая на произвол судьбы тихо погибающую церковь. Ибо между нашим экономическим положением и духовным состоянием общества существует самая прямая, самая неразрывная связь. Она не на виду проходит; ее нельзя измерить и осязать, но она непременно есть и она соединяет каргопольский Христорождественский собор шестнадцатого века с тюменской буровой века двадцатого.

...Наступил вечер. Сквозь легкие облака, окрашивая их в нежно-розовый цвет, светило уходящее солнце, ветер веял прохладой, тихо волновалась вода. Медленно и мощно из века в век несла свои воды Волга и продвигалась по своему историческому пути Россия. Сейчас она у нового рубежа, и, будто наблюдая за ней, завещает из своего далека дядя Иван Тимофеев: “бежать лжи, не тяготиться искуплением и беречь Отечество”.

Первое послеоктябрьское пятилетие — это время поиска художественного языка эпохи. Языка, который сможет передать всю полноту жизни, всю силу эмоций бурлящего общества. Политики создавали новую общественную систему, ученые — экономику, художники мучились проблемой нового искусства.

Желание создать искусство, которое соберет воедино музыку, архитектуру, живопись и поэзию, рождало удивительные явления. Целые города преображались, одевались в яркие геометрической формы. Эти странные живописцами: Малевичем, Леонидом, Альтерманом, Лисицким. На стенах домов возникли огромные лозунги, написанные величественными формами. Возникли никому доселе неизвестные формы массовой пропаганды: агитпоезда, агитпароходы, агиттеатры. И всюду одно из важнейших мест занимал плакат.

Это время немалым без листов Моора "Ты записался добровольцем?", или "Помоги!", без "Окон РОСТА", без имен Дени, Черемных, Радакова.

Потому мы с таким интересом разглядываем чудом сохранившиеся плакаты тех лет в музее "Окон РОСТА", без имен Дени, Черемных, Радакова.

Козынькем перебрал папку плакатов в коллекции Лёва Евгеньевича Кропивинского, рассказывает о своем собрании и вспоминает на второй этаж магазина "Метрополис". Углы плакатов еще в здании на следующий день, купил вторую. Как чуть позднее, заинтересовались печатной студией БАНК АВРОСТА. Они сохранили флажки, собранные самим Сергеем Митровичем еще на Кавказе. Особенные ценностью листов в собраниях Горюхиных и его собственны плакат, уникальны и интересные лист.

плакаты печатали в количестве 5 тысяч и менее, а некоторые из них выходили тиражом в 200–300 экземпляров. Отсутствие технической базы печаталось с линогравюры, и даже со стекла. Тираж, естественно, резко падал, качество ухудшалось. В таких случаях художники не привлекали печатников, а сами работали на стекле или линолеуме. В первое послеоктябрьское пятилетие именно так создавались работы, ставшие сегодня хрестоматийными. О тех, кто создавал знаменитые листы, стоит сказать особо. У истоков стояло несколько человек. Асцит (Асцитос) Александр Петрович, Дени (Денисов) Виктор Николаевич, Моор (Моор) Дмитрий Станиславич, Радаков Алексей



В.Н.Дени. Все в прошлом... 1920-е годы



Д.С.Моор. Рождество. 1920-е годы

С произведением, переданных дочерью поэта, кагами. Теперь в его коллекции более трех сот работ. Тут и серия, посвященные первой мировой войне, и рекламные листы начала века; но главным разделом коллекция остаются плакаты первых послереволюционных годов? Что же это было — плакаты 1918–1922

Как правило, плакаты того периода печатались с линогравюры, а профессионалы линогравюры перенесли его на камень. Потом с двух, трех, а иногда и более камней изображение в несколько красок печаталось на бумагу. Тираж обыкновенно не превышал 25 тысяч, и то для столичных центров. В провинции ж

М. МЕНАРОКОМОВ

ГЛАЦАТАЙ РЕВОЛЮЦИМ

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА



СТЕПАН ТИМОФЕЕВИЧ РАЗИН.

В эти годы в провинции, среди короткого периода от революции и гражданской войны, в жизни народа было много горя, бедности и страдания. Но в то же время, несмотря на все трудности, люди продолжали бороться за свободу, за справедливость, за мир. Степан Тимофеевич Разин, участник гражданской войны, человек, который прошел через все трудности тех лет, человек, который остался верным своим принципам и идеалам, человек, который стал символом мужества и героизма. Он был одним из тех, кто стоял у истоков новой России, кто боролся за ее будущее, кто верил в то, что будущее принадлежит тем, кто борется за свободу и справедливость.

Степан Тимофеевич Разин родился в 1895 году в деревне Разино, Пензенской губернии. С детства он был знаком с трудом и борьбой. В 1917 году он вступил в ряды Красной Армии и участвовал в гражданской войне. За свои подвиги и героизм он был награжден орденом Красного Знамени. После войны он продолжал работать на благо родины, занимаясь общественной деятельностью.

А.П. Агеев. Степан Тимофеевич Разин. 1920-е годы



23 Фев

1919 г.

Красная Армия
защита
пролетарской революции



М.М. Черемных. Бася... 1922

Неизвестный художник. 23 февраля 1919 г. Красная Армия — защита пролетарской революции. 1919

Александрович, Черемных Михаил Михайлович. Конечно, их было больше, тех, кто занялся агитационным искусством в первые послереволюционные годы. Были и графики, станковые и книжные, такие, как Лебедев или Лео, были и скульпторы, такие, как Мануйлова, и поэты, такие, как Маяковский. Мы же говорим в первую очередь о тех, кто большую часть жизни посвятил плакату, чьи произведения оказали наибольшее влияние на современников.

Практически все они начали свою деятельность еще до революции, когда русский плакат только осваивал законы этого типично городского жанра искусства. Дени, Аpsит и Черемных получили живописное образование. Живописное пластическое мышление помогло мастерам впоследствии создать особый стиль советского плаката. Плаката, где господствует цветное пятно, яркий геометризованный рисунок, звучные цветовые контрасты. Таковы "III Интернационал" и "Манифест" Дени, "Будь на страже" Моора, "Басня про красноармейца..." Черемных. Желание вложить в плакат как можно больше информации, в сжатой форме передать биографию героя, исторический сюжет, насущные экономические и политические проблемы и способы их решения породило странные гибриды изображения и текста. Так появились истории в картинках Черемных – преддверие будущих комиксов. Так возникли плакаты-лубки Аpsита, Радакова, Мельникова. Ныне они уникальны, а в первые послереволюционные годы лубку отдали дань почти все плакатисты. И эта не самая известная форма революционного плаката широко представлена в коллекции Кропивницкого.

А. Аpsит, создавая свой плакат "Степан Тимофеевич Разин", стремится в полной мере следовать традиционному лубку конца XIX столетия. Горизонтальный формат изображения, обилие персонажей и тщательная детальная разработка фона, текст, помещенный сразу под нижним краем изображения, – все говорит о строгом соблюдении принципов создания народной картинки. Этот лист даже трудно назвать в полной мере плакатом. Только большие размеры да время создания позволяют нам сделать это.

Примерно так же решает свою работу А. Радаков. Правда, его лист "Безграмотные. Грамотные" 1920 года сложнее композиционно. На вертикальном листе художник помещает два горизонтальных изображения одно над другим. Каждому изображению сопутствует текст, расположенный под нижним краем рисунка. В листе Радакова значительно меньше стилизации. Если цветной рисунок Аpsита это профессионально выстроенная почти академическая ясная композиция, которая под силу только художнику, прошедшему школу мастерства, то плакат Радакова умело балансирует на грани дилетантизма и профессиональной работы. В этом намеренно созданном балансе – несомненный успех художника.

В собрании Льва Евгеньевича хранится десять произведений Д. Моора, среди них несколько работ, связанных с лубочным искусством. Это "Рождество" и "Царские полки и Красная Армия". В отличие от Радакова и Аpsита Моор черпает идеи не в народном лубке, а в журнальной сатирической иллюстрации, которая в свою очередь пользовалась образами лубка. Так, Моор не напрямую связывается с традицией лубочной картинки, а опосредованно, через карикатуры. Вероятно, за счет этого плакаты Моора всегда очень остры, язвительны, образы точны по психологическим характеристикам, композиции динамичны.

Но особенно сквозит любовь к карикатуре и сатирическому рисунку в творчестве В. Дени. Он начал заниматься плакатом еще до революции и уже тогда был достаточно изве-

стен. Одновременно с плакатами Дени создавал иллюстрации для журналов "Сатирикон", "Солнце России", "Будильник". Сотрудничество с журналами и помогло и помешало художнику впоследствии. Умение точно передать характер персонажа, придумать яркую сценку, сюжет, иными словами – дар настоящего карикатуриста быстро вывел Дени на одно из первых мест среди революционных плакатистов. Однако листы Дени часто не могли конкурировать с работами менее одаренных художников по силе эмоционального воздействия. Его плакаты, как правило, требовали внимательного рассмотрения, аналогично тому, как этого требует иллюстрация. Таковы плакаты "Все в прошлом" и "Французская булка голодного".

Помимо первостепенных имен в ранние послереволюционные годы в плакатном искусстве встречается великое множество менее звучных. Это художники Толкачев, Фидман, Кринский, Кочергин и другие. Многие плакаты и вовсе лишены имени автора. Среди безымянных работ в коллекции Кропивницкого особенно интересны плакаты 1922 года, посвященные помощи американского народа гражданам молодой Страны Советов. Один из листов носит название "Дар американского народа", второй – "Америка – голодающим России". Надо сказать, что плакаты интересны не только самим фактом своего существования, но и отличным художественным качеством. Оба листа выполнены по законам плакатного жанра и тяготеют скорее к европейской школе, чем к русской. Возможно, что за основу их изготовления был взят какой-либо европейский или американский рекламный плакат. Может быть и так, что литограф просто пользовался американским эскизом.

Среди анонимных произведений, хранящихся у Льва Евгеньевича, есть около десяти работ, выполненных в студии БАККАВРОСТА. Это чрезвычайно редкие экземпляры. Установить их стилистические корни можно лишь приблизительно. Отчасти видны влияния "Окон РОСТА", отчасти – иранских книжных миниатюр. Странный синтез полярных художественных устремлений, проявляющийся в этих листах, делает их особенно интересными для исследователя, а примитивная техника печати (почти все они отпечатаны с линогравюра или со стекла) и потому малый тираж – почти недоступными для собирателя.

Некоторые из этих плакатов – портреты революционеров, что само по себе редкость в искусстве первых лет Октября. Однако пока не удалось установить, кто же изображен на листах.

Безымянной серией азербайджанских работ не исчерпываются загадки в коллекции Кропивницкого. Один из самых больших монографических разделов посвящен художнику Книгу. К сожалению, никаких данных об этом художнике найти не удалось, хотя, вероятно, он должен был быть известен в начале 20-х годов. Большинство плакатов Книга из собрания Льва Евгеньевича датированы 1920 годом. Исходя из этого можно сказать, что Книг был одним из основных художников студии БАККАВРОСТА. Его стиль странен и интересен. Основа стиля, конечно, иранские миниатюры, но есть и иные черты, роднящие Книга с художниками круга "Мира искусства" – Билибиным, Нарбутом. Об этом свидетельствует не только манера рисунка Книга, но и отношение к историческому колориту, само понимание сюжета. Ироничное, игровое начало, столь свойственное Билибину, Нарбуту, Бенуа и другим мирискусникам, совершенно неожиданно прорывается в "исторических" композициях Книга.

Конечно, вполне возможно, что мастер не был знаком с работами живописцев и графиков "Мира искусства" и его ирония и тонкое

стилевое чутье – врожденный дар. Однако несомненно одно: общая ироничная, утонченная атмосфера культуры модерна, культуры, столь склонной к мистификациям и театральному осмыслению минувшего, повлияла на Книга в период становления его таланта. Его искусство еще ждет своего исследователя. Впрочем, стилистические изыски довольно редки в плакатах начала 20-х годов. На стенах домов, в клубных залах, на дверях вагонов и рубках паровозов появлялись бумажные прямоугольники, говорившие на любые темы, напрямую выходящие к людям. Плакат часто заменял лекцию, книгу, газету. В максимально сжатой форме он давал информацию практически обо всем. Плакат не только делился знанием, но и формировал активную жизненную позицию, воспитывал человека. Широта тем, охваченных плакатным искусством, удивительна. Вот, например, несколько названий только из собрания Кропивницкого: "Электрификация и контрреволюция", "Смычка города и деревни", "Красноармеец, береги народное добро", "Участие женщины в восстановлении хозяйства", "Знание разорвет цепи рабства", "Нефтедобыча", "Берегись холеры", "Чтение – одна из обязанностей человека". А сколько еще тем не упомянуто! Революционный плакат – полулистовка-полукартина – удивительно сложный художественный организм. Мы, разглядывая плакат в музейных залах, порою абсолютно забываем об огромной эстетической миссии этих листов. Очень часто бывало так, что плакат являлся единственным художественным объектом искусства нового времени. Именно плакат зачастую воспитывал художественный вкус, исподволь приучал к обобщенным, геометризованным формам, неожиданным ракурсам, цветовым контрастам, особому условному времени картины. Огромное значение плаката требовало высокого мастерства от художников. Каждый стремился внести нечто свое в плакат, и потому, вероятно, в листах первых послеоктябрьских лет сохранились десятки стиливых течений, школ, художественных идей.

Век плаката краток. Сколько продержится под дождем и снегом бумага, как долго случай сохранит ее от школьной руки – месяцы, недели, дни? И все одно – либо сгинет в куче мусора истерзанный лист, либо, заживо погребенный под толщей новых плакатов, перестанет будоражить взгляд торопливо снующих пешеходов. Трудно нам, современникам, поверить, что кричащий со всех углов яркий прямоугольник – живой свидетель времени, памятник эпохи. Современность и история плохо сопрягаются в нашем сознании. Но проходят десятилетия, и вещи мстят нам за небрежение.

Важность молодого советского плакатного искусства для оценки художественной культуры Октября понимали уже современники событий. В 1925 году в Государственном издательстве была выпущена интереснейшая книга В. Полонского "Русский революционный плакат", которая до сих пор, вероятно, остается самым полным изданием плакатов 1917–1922 годов. К сожалению, ее малый тираж и отсутствие переизданий давно сделали книгу библиографической редкостью. В этой книге Полонский, в частности, писал: "Рожденный революционной улицей, плакат является, вместе с тем, созданием русского искусства, и это двойственное происхождение придает ему особый интерес. Будущий историк революции, как и историк искусства, не сможет миновать главы о плакате, именно в революционные годы пережившем дни еще непревзойденного расцвета".

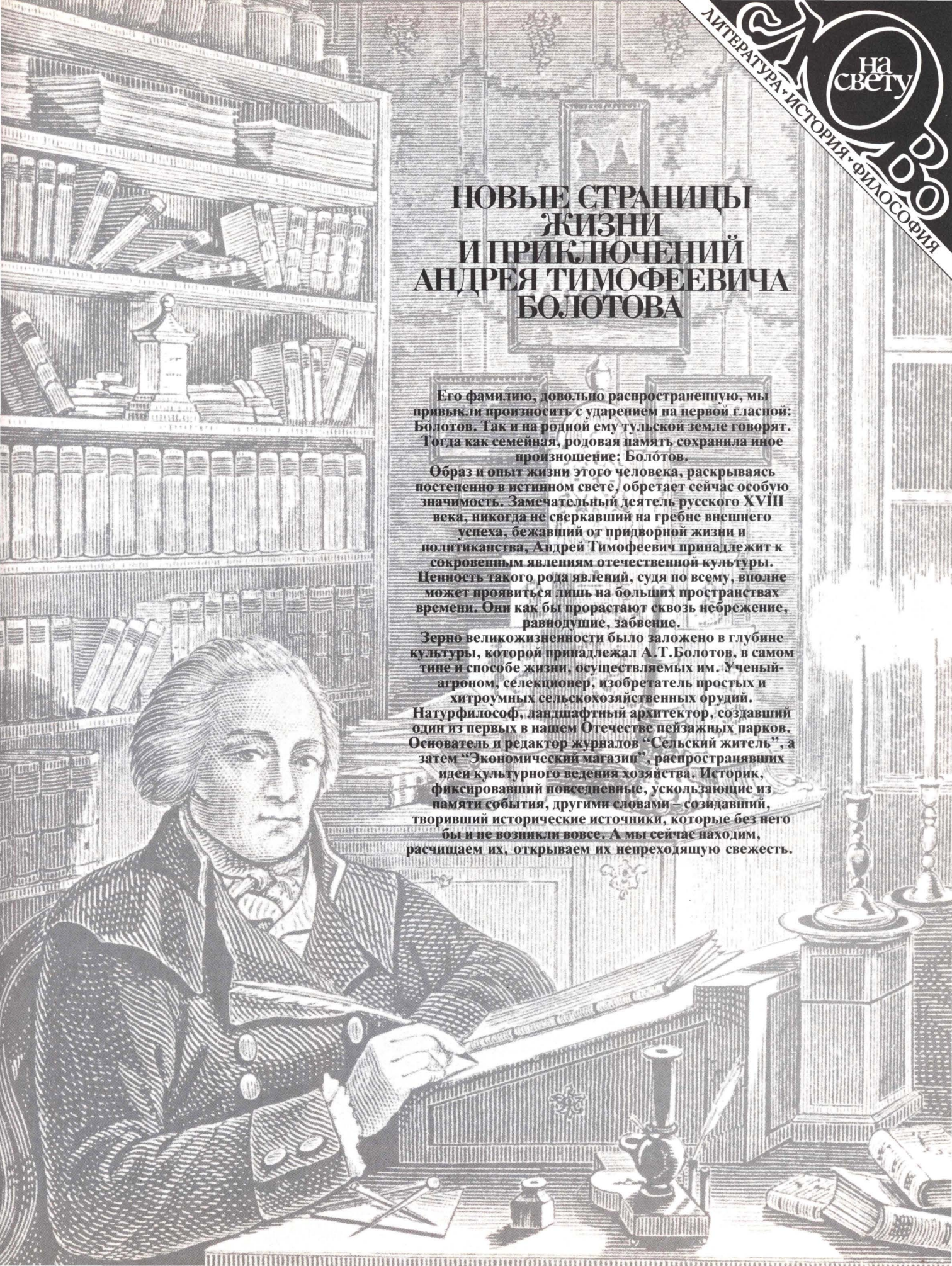
И тем более прекрасно, что помимо музейных коллекций существуют столь полные собрания плакатов, как собрание Л. Е. Кропивницкого – безусловно редкостное и ценное.

НОВЫЕ СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ АНДРЕЯ ТИМОФЕЕВИЧА БОЛОТОВА

Его фамилию, довольно распространенную, мы привыкли произносить с ударением на первой гласной: Болотов. Так и на родной ему тульской земле говорят. Тогда как семейная, родовая память сохранила иное произношение: Болото́в.

Образ и опыт жизни этого человека, раскрываясь постепенно в истинном свете, обретает сейчас особую значимость. Замечательный деятель русского XVIII века, никогда не сверкавший на гребне внешнего успеха, бежавший от придворной жизни и политиканства, Андрей Тимофеевич принадлежит к сокровенным явлениям отечественной культуры. Ценность такого рода явлений, судя по всему, вполне может проявиться лишь на больших пространствах времени. Они как бы прорастают сквозь небрежение, равнодушие, забвение.

Зерно великожизненности было заложено в глубине культуры, которой принадлежал А. Т. Болотов, в самом тине и способе жизни, осуществляемых им. Ученый-агроном, селекционер, изобретатель простых и хитроумных сельскохозяйственных орудий. Натурфилософ, ландшафтный архитектор, создавший один из первых в нашем Отечестве пейзажных парков. Основатель и редактор журналов "Сельский житель", а затем "Экономический магазин", распространивших идеи культурного ведения хозяйства. Историк, фиксировавший повседневные, ускользающие из памяти события, другими словами — создавший, творивший исторические источники, которые без него бы и не возникли вовсе. А мы сейчас находим, расчищаем их, открываем их непреходящую свежесть.



Автор многотомных и разнообразных трудов А.Т.Болотов, по мнению С.А.Венгерова, был самым плодотворным русским писателем. В "Критико-биографическом словаре русских писателей и ученых" количество болотовских рукописных томов определяется числом "350". (К этому можно прибавить, что в более позднее время обнаружен еще ряд работ.)

Андрей Тимофеевич прожил девяносто пять лет (1738–1833) и оставил в числе прочих своих трудов 29 аккуратно переплетенных томов, явивших собой замечательное произведение отечественной мемуаристики "Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков". Задуманное скромно – для внутриродового, внутрисемейного пользования – повествование это как бы ускользнуло от литературных влияний и веяний своего времени. Записки написаны образным разговорным языком, точно соответствующим среде бытования автора, натуральным слогом; освещено здравым смыслом, ровностью духа, неукоснительной внутренней честностью, умением ценить каждое радостное мгновение трудного земного существования. Перед читателем возникают зримые, со многими подробностями картины русской столичной и провинциальной жизни XVIII века. Письменное слово полностью соответствует убеждениям, характеру, особенностям зрения Болотова. Поэтому и созданные им образы известных современников подчас не соответствуют общепринятым представлениям. Они очерчены автором непредвзято, так, как увидены, как открылись ему, чаще всего в действии, в связи с сюжетами его собственной жизни (таков, скажем, образ поэта и государственного деятеля Г.Р.Державина в нашей публикации). Самостоятельность болотовской природы сказывалась во всем: в агрономических исследованиях, в неистощимой изобретательности, в его мемуарной прозе и т.п. Наконец, это редкое качество отразилось и на его собственной судьбе: он как был, так и остался до конца дней своих бедным дворянином, хотя в Екатерининскую эпоху не раз мог разбогатеть, будучи на государственной службе, если бы придерживался общепринятых правил, был бы нечист на руку. Однако сильно развитое нравственное чувство препятствовало такому обогащению (притом, нельзя забывать, что предприимчивость и изобретательностью он обладал выдающимися). По-видимому, Андрей Тимофеевич принадлежал к тому начинавшему возникать в XVIII веке типу образованного дворянина, чья жизнь неразрывна с плодотворной почвой, с укладом трудовой народной жизни (при всех социальных различиях и противоречиях, разумеется). Он был "рыцарь бедный", пожизненно увлеченный сельским образом жизни, усердным чтением, полевыми опытами, неустанным трудом, умственным и физическим. Честь для него была дороже богатства.

Целенаправленная и обостренная наблюдательность (с охватом многих подробностей) Болотова, неистощимая любознательность, исключительная память, какая-то гениальная трудоспособность, не отделенная от природы, от почвы, и создали эту замечательную личность. Именно самостоятельность и определенность болотовской личности определили его жизненный путь. По выходе указа Петра III "О вольности дворянства" двадцатичетырехлетний флигель-адъютант генерал-полицейстера Петербурга Болотов немедленно уходит в отставку, покидает столицу, уезжает в свою глухую деревеньку Дворяниново, чтобы начать жизнь, близкую его сердцу. Ни военная карьера, ни хитросплетенная придворной жизни влекли Андрея Тимофеевича, но радости и открытия размеренной и полной трудов жизни ученого и культурного хозяина.

Очевидно, та же определенность воззрений и пристрастий отводит его от заговора императрицы и близких к ней офицеров против Петра III. Он не приходит к Григорию Орлову для тайного разговора, несмотря на приглашение, хотя их как будто связывают обоюдная симпатия и даже приятельство. Нерешительность? Осторожность? Ничуть. Позднее, издавая у Новикова свой журнал "Экономический магазин" и находясь с Николаем Ивановичем в совершенно дружеских отношениях, высоко ценя его как просветителя, Болотов также решительно отвергает доверительное новиковское предложение вступить в масонское братство. Natura Болотова требует открытости, так сказать, свежее полевого воздуха, а не закрытых тайных собраний, сулят ли они жизненные блага или принадлежность к "избранным", "посвященным". Андрею Тимофеевичу претят "связла и неволя" в любой форме. Таков тип его сознания. При всей геометричности линий, несколько суховат-твердых, которые обычно видятся во внешнем рисунке его жизни, некая странность, как нам представляется, живет в натуре, в характере Болотова. Трудно уловимая, но все-таки существует. Нужно вглядеться, вчитаться в запись его жизни.

Мемуары А.Т.Болотова написаны в свободной манере, метким, образным разговорным языком. Характеры и облик людей даны так, как увидены, как схвачены острым взглядом наблюдателя. Очерчены независимо, реалистично, верной рукой. Будь эти тома опубликованы тогда, когда были написаны, они, вероятно, оказали бы немалое влияние на прозу своего времени. Но судьба распорядилась иначе.

"Жизнь и приключения Андрея Болотова" публиковались, но лишь в извлечениях начиная с 1839 года – в "Сыне Отечества", в "Отечественных записках" (1850 и 1851 годы) и т.д. Все это были разреженные во времени, как бы расплывающиеся в читательском сознании публикации. Впервые болотовские Записки были изданы М.И.Семевским в начале 70-х годов XIX века четырехтомным приложением к журналу "Русская старина" (1870–1873 годы). В 1889 году (тт. 62, 64) и в 1895 году (т. 84) "Русская старина" публиковала продолжение мемуаров, получив от родственников Андрея Тимофеевича найденный ими дополнительный материал.

Высокую оценку труду Болотова дал Л.Н.Толстой, обращаясь к нему дважды, в 1878 и 1907 году. Во второй раз читал, судя по всему, внимательнейшим образом, определив их как драгоценнейшие записки. А.Блок в студенческие годы написал довольно странное сочинение "Болотов и Новиков", опираясь на исследование Е.Н.Щепкиной и на сами болотовские мемуары. В.Г.Короленко серьезно изучал Болотова и как мемуариста, и как испытателя природы, земледельца. Любопытно, что восторженную оценку болотовским Запискам дал восемнадцатилетний Д.И.Писарев, откликнувшись в "Библиотеке для чтения" за 1858 год тремя рецензиями на выборочные публикации из мемуаров Андрея Тимофеевича, щедро цитируя их.

Издание, предпринятое Семевским, до сих пор является наиболее полным. Однако в него вошла не вся автобиографическая проза Болотова. Прежде всего число рукописных томов, составляющих "Жизнь и приключения" – 29, сообщенное в "Критико-биографическом словаре..." С.А.Венгерова и перекочевавшее оттуда во все позднейшие исследования и статьи, – не представляется исчерпывающим. По свидетельству сына Болотова, Павла Андреевича, всего было 39 томов и неоконченный 40-й, о чем он сообщает в краткой биографии отца в "Сель-

скохозяйственном журнале" за 1838 год. (Оттиск ее с комментариями Павла Андреевича хранится у Воронцовых-Вельяминовых, потомков А.Т.Болотова.) Исчезновение ряда рукописных книг связано с тем, что невестка Андрея Тимофеевича после смерти мужа, Павла Андреевича, уничтожила томики, посвященные событиям, начиная с их свадьбы, чтобы посторонние глаза не прочли некоторых подробностей об Ошаниных, новой роде Болотовых. Об уничтожении этой части Записок Марией Федоровной (урожденной Ошаниной) сообщает в письме к М.И.Семевскому ее сын, внук Андрея Тимофеевича – Михаил Павлович Болотов. Он же утверждает, что Записки охватывали период до 1810 года. Кроме того, существуют еще никогда не публиковавшиеся подробно описанные Болотовым события войны 1812 года, происходившие в русской провинции, в приокских местах. И здесь непредвзятость наблюдений не искажена никакими, пусть даже высокими, соображениями. Автор записывал для себя (не для публикации!) то, что видел. В этом ценность этого уникального исторического источника, не подвергшегося ни внешней, ни внутренней цензуре.

Мемуары Болотова – это своеобразная энциклопедия русской провинциальной жизни XVIII – начала XIX веков. Они выделяются из всех подобного рода сочинений не только отечественной, но и мировой литературы. По-видимому, аналогична "Жизни и приключениям Андрея Болотова..." лишь 16-томная автобиография его современника, французского писателя Н.Ретиф де ла Бретона. Но Болотов вел также "Исторические записки", заносив в них подлинные известия и носящиеся в народе слухи и т.п. (См., например, его книгу "Памятник претекших времян..." М., 1875).

В советское время болотовские мемуары отдельными изданиями выходили в "Молодой гвардии" одной книгой (1930), в издательстве "Academia" – трехтомником (1931) и затем лишь в 1986 году в "Современнике" – однотомником (издание подготовлено А.В.Гульгой). Все это в том или ином виде базируется на четырехтомнике, выпущенном М.И.Семевским, который весьма внимательно отнесся к рукописному авторскому тексту, опуская явные длинноты и делая незначительные пропуски по цензурным соображениям (письма № 197 и 212). (Сейчас эти пропуски могут быть восстановлены.)

Текст мемуарной прозы Болотова и текст научно-познавательных журнальных статей обладает неким стилевым единством. Это касается и болотовских писем, часто весьма ценных в историческом отношении. (Не случайно его "Жизнь и приключения..." написаны в форме писем своим потомкам. Каждая такая глава-письмо начинается с обращения: "Любезный приятель!...") Например, в письме от 10. IV. 1809 г. к дальнему своему родственнику, историку и литератору Н.С.Арцыбашеву, он пишет о Н.М.Карамзине, вспоминает о Канте, которого видел, находясь в Кенигсберге, когда великий философ был еще молодым, "ничего не значущим магистром". Андрей Тимофеевич, по-своему оценивая Канта, простодушно замечает: "...и я, читая потом его умствования, не мог довольно надивиться тому, что он имел такое счастье себя прославить и такое имя приобрести в свете, а кажется были люди несравненно его основательнее, глубокомысленнее и философскими умствованиями своими подходившие гораздо ближе к натуре и самой истине". Болотову далек сам тип кантовского мышления, и он высказывается напрямик, не таясь, не боясь оказаться в смешном положении или прослыть примитивно мыслящим. Он выражает свое, прочно связанное с земными опытами и здравым смыслом, ошутимо ясное. Таков характер. Но если

процитированное высказывание о Канте у современного читателя вызовет, быть может, снисходительную улыбку, то литературно-критические рецензии Болотова полны верных наблюдений, серьезных, глубоких замечаний (рецензии эти писались тоже для себя и при жизни автора не публиковались). Суждения Болотова-критика независимы. Он требует от романистов своего времени подлинности, не терпит исторической и географической неточности, приблизительности. Ратует за "натуральность и правдоподобие", надеется когда-нибудь прочесть "русский роман", в котором отразились бы "российские нравы, обстоятельства и обыкновения".

Таким образом, А.Т.Болотов оставил нам и плоды трудов рук своих, к примеру прекрасный парк в Богородицке, и обобщенные результаты многих опытов и наблюдений, и первые в России сельскохозяйственные журналы, где большинство статей написаны или переведены им самим, и работы, опубликованные в "Земледельческом журнале", в "Трудах Вольного экономического общества", действительным членом которого он состоял... (Следует назвать хотя бы его "Наказ для деревенского управителя", за который он получил Большую золотую медаль этого Общества, и совершенно замечатель-



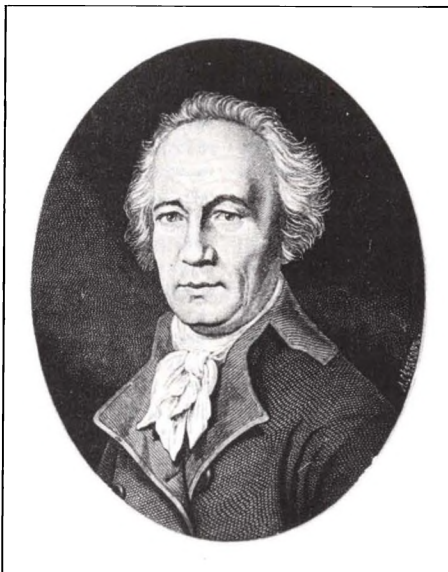
В.А.Левшин
Портрет работы неизвестного художника
1790-е годы

ную работу "О разделении полей", где впервые предложена семипольная система вместо трехпольной.) Его своего рода "полевые тетради" с фиксацией постоянных наблюдений за жизнью культивируемых земель естественно сочетаются с подробными дневниками, запечатлевшими течение собственной жизни, с его морально-этическими, философскими и литературными сочинениями. Ничего здесь не разгадать. Можно говорить о болотовском феномене. Уйдя со службы, проектировал парки родным и знакомым. В частности, у Воронцовых-Вельяминовых в Головине возник парк по его проекту. Однажды в своем тамбовском имении высадил несколько тысяч желудей – стала подниматься роща... (Неоднократно возмущался тем, что помещики сводят леса ради винокурения.)

Андрей Тимофеевич относится к тому типу творческих людей, для которых **библиотека,**



Г.Р.Державин
Портрет работы В.Л.Боровиковского. 1795 год
Литография И.П.Пожалостина



А.Т.Болотов
Портрет работы В.С.Попова. 1797 год
Гравюра Л.А.Серякова



А.А.Нартов
Портрет работы неизвестного художника
Рисунок Кашениева. Литография Мошарского
1800-е годы

письменный стол и живая практическая деятельность выступают в триединстве. Очевидно, лишь при этом условии возникает в таком роде личностях устойчивое чувство полноты жизни.

Публикуемые письма А.Т.Болотова сыну Павлу относятся к 1803 году, когда Андрей Тимофеевич отправился в Петербург с письмом графа Ф.В.Растопчина к Г.Р.Державину, просившему похлопотать за Болотова в связи с его долгой тяжбой с тамбовским помещиком П.Е.Пашковым, самовольно захватившим болотовские земли в Кирсановском уезде. Пребывание Болотова в столице совпало с празднованием столетия со дня ее основания. Таким образом, к известным болотовским Запискам XVIII века добавляются новые страницы его "приключений", случившихся уже в начале XIX века. Письма Болотов по своему обыкновению (как все письма дневникового характера) заносил в отдельную тетрадь, благодаря чему составлялся единый поток неспешно развивающегося повествования, в котором поблескивают драгоценные подробности, правдиво схвачены черты разнообразной столичной жизни, характеристики людей свежи и подчас неожиданны. Так, в письме от 18 июня 1803 года Болотов, описывая свой приход с В.А.Левшиным к Д.П.Трошинскому, парю-



Д.П.Трошинский
Рисунок А.Скино. Литография К.Эргота
1790-е годы

дирует стиль его литературных сказок и создаст яркую бурлеску, проявив незаурядные способности стилиста.

В тексте рукописи встречается немало слов, звучащих иначе, чем сейчас, или бытовавших в просторечье, и т.д. К примеру: "окны", "домы", "квартира", "мрамор" вместо "мрамор", "иттить" вместо "лучше" (в деревнях срединной России "иттить" и "лучче" сохранилось и до сих пор; вспоминают, что Лев Толстой произносил "лучче" вместо "лучше"), "судьярь", "малберт" вместо "мольберт", "апельцин" вместо "апельсин", "сводни" и др. ...

Публикация ранее не выходивших в свет болотовских текстов выполнена по подлиннику, хранящемуся в отделе рукописей и редких книг Библиотеки АН СССР (ф. 69, № 2-4), и приурочена к 250-летию со дня рождения Андрея Тимофеевича, которое будет отмечаться в этом году.

АНДРЕЙ БОЛОТОВ ПИСЬМА К СЫНУ

Друг мой Павел Андреевич!

Рано поутру вставши по обыкновению и пользуясь спокойствием кварталы и на досуге не имея ничего дела, принимаюсь заготовлять к тебе письмо к будущей почте. Дело наше все еще лежит, я все еще в чаду и в тумане с спутанными мыслями и головою, в которой нет ни единой еще утешительной мысли. Вижу, что то самая истина, что мне сказывали. А именно, что здесь сущий хаос. И такое обстоятельство, что не найдешь толку и не знаешь кого, о чем и как просить. И все не так-то скоро идет и иттить может, как думали мы прежде. А особливо человек здесь, как в дремучем лесу находящийся. Что происходило здесь со мною по вчерашний день, это ты из второго моего письма знаешь, а что вчера было, о том расскажу тебе. Вчерась, наняв прекрасную карету за 4 <рубля>, пустился я опять рыскать. Еду сперва к Голикову¹, нахожу его спящим и чрез час еще не имеющим проснуться, хотя и то был уже 9-й час. Еду в дом юстиц-министра². Там сказывает друг мой швейцар, что он <Державин> все еще болен и не принимает, но что ему есть лучше, и чтоб я присылал к нему человека наведываться. Что ты изволишь! Ну, нечего делать, ступай на Васильевской остров к Нартову³. Сего нахожу по счастью дома и уже вставшего и в халате. Он принимает меня ласково, сажает, но гораздо холоднее, нежели я ожидал. Но мало – помалу мы разболтались, и стал ласковее. Расспрашивает меня, зачем я. Я рассказываю ему свое горе, он молчит. Говорит только, что надо доложить Государю. Но я говорю, что без подкрепления ничего не подействует. Даю тон, он отмалчивается. Я замолкаю. Он заводит о ученых делах разговор, и я также. Мало-помалу разболтались. Сказывает мне, что общество наше у Государя в уважении, что он оказал ему многие милости. Пожаловал Петровский остров для заведений разных и деньги на печатанье книг, что входил и сам в опыты разные и любит заниматься этою частью. На вопрос о Новосильцове⁴ говорит, что он только докладывает о прожектах Государю, а он присылает все оные на рассмотрение обществу и от оного требует одобрения. Наконец, приглашает меня в заседание общества, должствующее быть завтра после обеда не в общественном большом доме, а у него в собственном доме, обещая всех их обо мне предварить и уверяя, что все будут мне рады. И так обещал я сегодня в 4 часа после обеда к нему приехать и расскажу тебе, что будет. А теперь послал я проводить о Державине и дожидаюсь с нетерпеливостью Ивана... И вот и он! – ну что, брат. Что сударь, все еще болен, было полегче, а ныне опять. И не велено никого пускать, кроме доктора и государева адъютанта. Что ты изволишь, а я было совсем уже примундирился. Думаю съездить к Голикову и узнать по крайней мере его о себе расположение и состояние дела. Карета уже готова, но час только девятый, боюсь, чтоб не застать опять его дрыхнувшим...

в воскресенье, февраля 1, 1803

Многое множество надобно тебе мне теперь рассказывать о происходивших вчерашнего дня. Голикова нахожу действительно опять спящим. Говорят, чтоб я либо чрез час приехал, либо дожидался его, покуда встанет. Избираю последнее, везу себя вести к князю Александру Александровичу Черкасскому. Туман и дым такой удивительной, какого от роду не видел. Равно как бы при большом пожаре на сажень почти не видать. И насилу приметил ближние огромные дома. Но как бы то ни было, но отыскиваем дом, восходим по многим лестницам и галереям и находим князя дома, едва только вставшего и одного. Милой сей и любезной человек заставил меня в один миг себя полюбить. Говорим о тебе, о моем деле и обо многом прочем и не видим, как пролетает час. И я принужден был, раскланявшись, спешить опять к Голикову. И сей раз был приезд мой не по-пустому. Насилу, насилу застал

его вставшим и еще в халате. Вхожу на лестницу, на другую, на третью под самую кровлю большого дома, и вводят меня в небольшую комнату, из которой досками отгорожен его кабинет. Голикова нашел я наружным расположением точно таким, каким я его знавал прежде, словом, друг задушевный! И обходился со мною на приятельской ноге и не как Генерал хорошо! Я тому рад, обхожусь с ним так же, а на уме совсем иное! Голиков мой врет околесную, извиняется и божится, будто не знал, что это и Болотов я, а не иной кто. Жалеет, что не знал, и что я нечаянно, но так отбалован, что хуже быть нельзя. Изрядные вы молодцы, думаю я, и ребята теплые. Вступаю с ним в обширные разговоры, и как он ни лебезил и ни старался прикрывать истину, но я усматриваю и узнаю из слов его все теперешние положения их дела. Прямо можно сказать <неразборчиво>, но, что больше всего поразило меня, то было его уверение, что дело сие будто бы рассматривал сам юстиц-министр и будто бы сам оной настоял, чтоб оно решено было на сем основании. Легко можешь заключить, что слышать сие было мне очень, очень неприятно. Хоть худо тому верил и хоть явно вижу, что все оное решил сам он, ибо из всех едва ли кто умнее его. И 6000, как говорят, схваченные им с Паш <кова>⁵, произвели то, что оно решено так, а не инак. Он во многих случаях при вопросах моих так запинался, что явно приходил в тупик и не знал, как вывернуться. Словом, сплутовано все наихитрейшим образом, но долго было б, ежели рассказывать обо всем! А коротко тебе скажу, что результат был тот, что дело еще здесь, нарезка не кончена и что брался он ревностнейшим образом кормить меня горчицею после ужина и сделать мне все, что только остается еще в возможности. Хочет показать мне нарезку, велеть написать мне в Сенат прошение о доставлении мне 12-и <десятин> пропорции, но отмежевать, говорит, без согласия владельцев никак не можно. И надобно каким-нибудь образом чрез уездные суды и земские – спасибо и за то, но не за что! Хуже нежели горчица после ужина. Признает сам справедливость моего требования, долг Сената меня удовлетворить, но не знает и не придумает сам хорошего способа. Пишет при мне в Сенат записку, велит принести к себе планы и быть самому землемеру. И приглашает меня приехать к нему в 6 часов вечера, чтоб посмотреть нарезки и переменить, буде надобно будет. Всего смешнее, спорит со мною, что будто мне земли не утвердили!.. Словом, видно был в башке у них один Пашков. А все, что повеселило меня еще несколько, было то, что самому этому Г. Садковскому, которой поднял это дело и довел до решения нынешнего, не удалось тут получить ничего. Они набирали для него тысячи земли и жали всех для сего набрания, но не осмелились сами землю ему сию дать. Входили докладом к Государю, и Государь не благоволил ему тут велеть дать и назначил ее для казенных крестьян, а ему дать в другой губернии. Да и требование его было пустое. И как чрез то осталось теперь тысяч 5 тут казенной земли, то и блеснул луч надежды получить мне из сей земли, ежели Государь соблаговолит. И сам Голиков советует просить о том Государя, а именно упомянуть эти земли. Ну, теперь нужно было узнать, где они сию землю назначили нарезкою, и для сего усердно хотел я взглянуть на планы. Проговорил с час с Голиковым и, раскланявшись, еду я отыскивать Павла Федоровича Козлова. И был хотя 12-ый час, но нахожу его едва вставшим и не обутым. Очень доволен его ласкою и приемом. Начинаю только говорить с ним о наших делах, как входит к нему какой-то приятель, говорун пристрашной и в одних только играх и картах, и тогда прости вся наша материя, и мне не удалось более у него слова вымолвить. И так посидев, посидев, дай-ка бог ноги, и проезжаю от него к нашим родным. Там обедаю, говорю о своих делах, успеваю едва несколько слов сказать с Николоем Мих <айловичем>

Неклюдовым⁶, приехавшим в обед и обещающим познакомиться меня с Жефроа, его знакомцем. И как между тем стал приближаться уже вечер, то еду домой, а оттуда при закате солнца на Васильевской остров в заседание в дом Нартова. Ну, теперь надобно рассказать тебе тебе об оном... Вошел в особую для сего назначенный покой. Нахожу я всех почти съехавшихся, куда ни обращаю взор, всюду блестят звезды и ордена с крестами. Был тут Сенатор, Митрополит и множество других, а более все немцов, и бог их знает кто и кто и, между прочим, друг наш Василий Алексеевич Левшин⁷. Рад я сему и расспрашиваю у него обо всех, только успеваю. Президент рекомендует меня всем как старинного члена. Важнейшею особою был Сестренкевич, митрополит католицкой, ничем кроме красных чулков на духовного не похожий. Но был некто и наш духовный в скуфье, милый и прекрасный и придворный проповедник. Словом, собрание приятное, хорошее, степенное и дружеское. Настал час, сели все кругом стола, и в том числе и я, и началось чтение секретарем: о происходивших делах в последнее пред сим собрание, полученных письмах, о разных донесениях относительно до порученных им дел и другое тому подобное, о чем было бы слишком пространно рассказывать. Но какой ажно во всем порядке, какая тишина, какое наблюдение благопристойности и почтения и как это все у них происходит порядочно и хорошо, ажно мне полюбились. Между прочим, надобно было всему собранию подписать общее мнение об одном переводе книги французской о белинии полотен, поднесенной Государю в золотом обресе, в сафьянном переплете, и присланном на суждение общества, достойна ли она быть напечатана. Сия книга была рассматривана, найдена полезною, но невозможна в таком виде быть по неисправностям переводчика напечатанною, какова она оказалась, выписаны были все его ошибки и в важных терминах вранье, и сей-то общий о ней приговор должны были все подписать, а в том числе и мне многогрешному. После того были трактации о некоторых присланных сочинениях, которые рассматриваны были некоторыми членами, и о коих подносились обществу их суждения. Президент при сем случае преимущественно адресовал ко мне. Я, почти молчавший до сего времени, получил при том случай блеснуть немного им своим умом и сведениями и заставил всех замолчать, устремить на меня глаза и внимания и получить выгоды к себе мнения. И сие случилось как-то кстати. Между тем принесли чай и обносили кругом, и президент так уже был ко мне благосклонен, что не стал и сам пить чай, а чашу ко мне придвинул и потчивал меня оным. Словом, он смотрел на меня уже иначе, и все расположилось как-то так хорошо, что мне ажно жаль было, что было уже 6 часов и что надобно было ехать к Голикову. А я готов бы был просидеть с ними до полуночи, так было не скучно и хорошо. По счастью точно в 6 часов заседание кончилось, и, как все начали расходиться, то пошел и я. Нартов удивляется, спрашивает куда, и уже как задушевный друг. Я ему рассказываю свою необходимость, и он зовет меня, чтоб я приезжал к нему как можно чаще. Не преминул же он во время самого заседания молвить всем о том, что я ограблен и проч. Это также было кстати. Но мало ли чего еще говорено не было.

Но мне надобно поспешить рассказать тебе о вторичном свидании моем с Голиковым. Это важнее прочего. Отправься от Нартова, спешу я к нему, хотя была уже и ночь, и нахожу у него гостей и землемера дождавшегося. По счастью скоро гостей провожает и приходит к нам его превосходительство. И тогда ну рассматривать мы планы и нарезки. И то-то слава богу, что я приехал и успел хоть сие сделать. Что за бериберда, и как было все хорошо сделано. Вся наша милая землячка, вся не только вонючая <?>, но и все ложечные верхи и самая наша деревенька было ухнула и досталась бы кому ж – проклятому Иванову – подумай пожалуй. А там где ему надобно бы назначить, нарезали бы Трескинскому, это ведь очень кстати. Словом, такой ерелаш, какого больше быть не может, и чуха превеликая. Но что мне крайне неприятно было, что излишнюю ту казенную землю назначили они позади хутора и верст двадцать от нас и более и пустую совсем степь, где ничего сделать не можно и где хоть даром давай, так она мне не надобна. И при всем том, как я из слов межевщика замечаю, кресть великое плутовство и мытарство сокровенное, ибо есть, говорят, охотники на сию землю, себе ее просящие – словом, воровство повсюду, и самая нарезка хуже

еще и злее самого определения. Проговорив с Голиковым и по совету его, чтоб я спешил подавать Государю письмо, поехал я домой сочинять оное, но голова моя так была спутана, что не лезло ничего в голову, и уже сегодня все утро мы с Ефимом марали и перемарывали бумаги и удалось сочинить. Как то будет, а кажется недурно, и всякое слово взвешенное на верное. И теперь сидит у меня Ефим и сам переписывает оное. Боюсь только, что оно немного великовато, а никак нельзя обойтись без него, в оном изъясняя свое разорение, просим, чтоб 1. Велели нас вымежевать из общего владения, или если нельзя, то чтоб Сенат употребил средства к доставлению мне 12-ти десятин пропорции. 2. Чтоб поравнял меня с прочими покупщиками, утвердил мою покупку на <неразборчиво> душ и дал бы в прежнем месте землю, а ежели тут нельзя, то где-нибудь в другом месте, и назначили оную. Теперь надобно спешить подавать Муравьеву⁸ и искать людей, которые его убедили б скорей доложить об сем Государю, а то может провалиться долго. Но бог знает, как то пойдет. Не быв у Державина, нельзя и к тому приступить. До середины не будет в Сенате заседания, и в сей день хотели применить нарезку. Севодни распроедывал опять – весьма легче, но никого еще к себе не допускает, что ты изволишь. Горе меня берет истинное. Нужна поспешность, а на всяком шагу остановка! Хочу съездить опять к своим родным...

в понедельник поутру. Вчера ездил и, возвратившись поздно, не успел ничего сказать, а теперь только скажу, что слышанное вчера там опять привело меня в задумчивость. Виделся Николай Михайлович с Жевроя. Тот ему сказывал, что они строго наблюдают повеление о братии подписок в случае жалоб на Сенат, что они тут берут подписки. Сие меня смутило. Письмо заготовленное и теперь совсем переписанное уже, хотя, кажется, и расположено хорошо, и мы как можно старались расположить его так, чтоб оное не было на Сенат жалующимся. Но бог их знает, как посмотрят и не сочтут ли жалобою на Сенат. Чудное истинно дело, какие ныне обстоятельства. Хоть обе руки отсечены, но не говори этого, а говори, что целы. Не знаю, что делать, и нахожусь в такой запутанности дела и мыслей, что не знаю, что севодни делать и как расположиться. Все наиболее тревожит меня то, что юстиц-министр болен и что к нему нет допуску и что без него и не повидавшись с ним ничего предпринять с надеждою не можно. Такая беда, что севодни и проспал долее обыкновенного, и вот уже рассветает.

Сейчас возвратился я опять из пределов Михайловского замка, против которого стоит дом генерал-прокурорский. Сперва посылал проводить. Сказали, что и севодни болен и никого допускать не велено, но я, несмотря на то, еду сам в намерении отыскать хоть правителя канцелярии и нельзя ли чрез него как-нибудь. Нахожу его в его кабинете, тварь гордую, надменную и не имеющую даже петербургской ложной учтивости. Ответствует и тем мне, что генерал очень болен, что никак его видеть не можно, чтобы я взял терпение. Я проговариваю о письме графском, но он и то нимало не уважил. Принужден был прочь и от него горделивца идти. Некто г. Колосов Иван Петрович, и с орденом на шею.

Итак, нечего делать и с досады еду домой дописывать сие к тебе письмо. Но лишь только принялся за перо, как в дверь Василей Михайлович, меньшей сын Михаила Васильевича <Неклюдова>. Кадет, мальчик доброй и зовет, чтоб я приехал обедать к ним, и что они пришлют карету. Что делать. Хоть расположился было дома просидеть и прописать, но даю обещание и насили его проводил, чтоб получить свободу сие к тебе написать. Итак, пересказав все, обращаю теперь к тебе. Не знаю и не ведаю, где тебя сие письмо застанет и где тебя найдет, и когда ты его получишь, и всё ли ты, мой друг, здоров, и как вы ехали, приехали и нашли своих родных, и все ли здоровы, друг мой, малюточки. Также в каком положении находится и твоя Марья Федоровна. О! как я теперь далеко от вас, как подумаю! и какие пространства мест нас друг от друга отделяют. Будьте, мои милые и любезные друзья, здоровы и благополучны. Пожелайте мне в моем деле успеха, а я рад, что по крайней мере мне удалось переменить нарезку, и что мы не принуждены будем скосить деревья долой, а то бы и здесь убыток сугубой претерпеть. За это спасибо уже Голикову, а ежели б не он, так и того б сделано не было. За сям целую вас, мои милые и любезные, всех и всех и, пожелав вам

всем всякого блага и случая, останюсь таким же, как был прежде – ваш верный друг А.Б.

<3 февраля, посещение театра.>

Они <Неклюдовы> наняли ложи и собирались все ехать в театр. Итак, после обеда все в двух каретах и в двух санях поехали человек нас с десятью. А ложи здесь так просторны, что все уместилось в одной и с людьми также. Здесь они открытые и неразгороженные и очень спокойные. Театр новый, огромный, каменный, прекрасный. Играли Волтерову комедию Нанину и балет прекрасный Александр и Кампаспа⁹. Сюжет самый тот, что описан в драме в Новостях русской литературы. От рукоплескания голова ажно болела. Но я ни однажды не плескал руками, и не стоило того – такие ненатуральности, такие глупости, что не смотрел бы. Декорации хороши! По крайней мере сидеть было хорошо и спокойно и тепло. Но хоть довольно близко, но не слышать и половины. Но как ни хорошо смотреть, а у меня все мое дело было на уме.<...>

<8 февраля, посещение Г.Р.Державина>

<...>Против всякого чаяния нашел я уже замки отпертые, заслоны отставленные и двери растворенные. И не было уже нужды подкупать ни швейцаров, ни камердинеров и терять на то деньги! Словом, открыто все. Никто не останавливал меня в первом, другом, третьем и четвертом прямо княжеском чертоге. Какая пышность и какое великолепие блистало повсюду! Наконец нахожу нескольких почтальонов, греющихся против камина, и камердинера, стоящего при дверях в другом чертоге. Говорю ему, что есть у меня письмо от г <рафа> Р <астопчина>¹⁰, и не возмет ли он на себя труд доложить его высокопревосходительству. Малый учтивый и приветливый чрез минуту пошел и пробыл в кабинете минутой, другую, машет и зовет меня в оной. Вхожу, вижу министра, сидящего на богатой софе пред столиком, накладенным бумагами, в шлафроке, в колпаке и в сапогах теплых дорожных и совсем лицом не таким, каким воображали мы его себе по рисунку. Уж тот прямо сам на него не походит. Но что о том говорить, а лучше продолжать дело. Я, не говоря ни слова, подаю ему письмо графское. Он распечатывает, читает, перечитывает, переворачивает, поправляется и время проводит в чтении сем втрое более, нежели сколько б надобно было.

Вот письмо, которое так внимательно читал Державин:

15-го января 1803 г., с. Вороново

Милостивый государь мой, Гаврило Романович!

Хотя я из давних времен убежден, что просьба отставного министра хуже всякой фальшивой ассигнации, но зная все, отправляю смело в одном пункте мое прошение. Его подаст вам г.Болотов, тот самый, который, управляя некогда и долго всею Богородицкою волостью, не в пример другим, расстроил собственное небольшое свое имение, в кое удалясь после, предался совершенно страсти своей к домоводству, и там, можно сказать, все минуты жизни его посвящались общему благу. Испытания, открытия и редкие знания его менее известны у нас, чем в чужих краях; но сей достойный и почтенный человек, занимаясь в недрах земных, сделался чужд всему тому, что на поверхности ее происходит и через сие может легко проиграть процесс, который совершенно расстроит его состояние. Хотя он и прав и честен, но честных людей скорее других обманывают. Прикиньте его дело на собственные веса ваши, приобретите признательность искреннюю целой семье и ободрите страждущих и погибающих от ябеды – находить в вас заступника перед лицом правосудия, с кою вы с самых молодых лет как любовник с любовницею.

Я ж неподдалеку от Москвы, ушед от травли, лежу в снегах и, сося лапу, уверяю вас человеческим языком, что я с истинным к вам почтением и таковою же преданностию имею честь пребыть вашего высокопревосходительства, милостивого государя моего, покорнейший слуга граф Федор Растопчин¹¹.

В сии минуты смотрел я наипристальнейшим образом на черты лица его. Но к крайнему изумлению и сожалению моему не примечал ни малейшей в нем перемены, ни той приятной улыбки, какой я ожидал, и ничего тому подобного, а единую только видел совершенную хладнокровность. Наконец, перестает читать, спрашивает он меня тихо: ваше собственное дело? Мое. Давно ли приехал? С неделю. Какого рода дело? Не успел я на сие слова два сказать и упомянуть

слово Пашкова, как началась потеха! В тот самый момент увидел я, что Голиков сказал правду, что он дело сие сам пересматривал и чернил, и что решено то так по его настоянию. Ибо оно было ему в самую тонкость и подробности известно. Но в самой тот же момент и лопнули, как мыльный пузырь, и все наши прежние о сем человеке выгодные и великолепные умовоображения и мысли, и из всех их осталось столь же мало, сколько остается от лопнувшего мыльного пузыря. Я увидел его обнаженного от всего ложного блеска и призрака. И в нем вместо беспристрастного верховного блюстителя правосудия и великого человека ничто иное, как слабого, в высочайшей степени пристрастного, по уши закупленного и от истины, правды, человеколюбия, добродушия и прочее и прочее так далеко удаленного, а напротив того к подлейшим свинствам самого презренного какого-нибудь блинника столь приближенного человека, что я даже остолбенел от изумления и не верил даже глазам и слуху своему. Так все было неожиданно. Чудно и удивительно. Словом, все его поведение против меня было таково, что я оно тебе никак не в состоянии изобразить на словах и на бумаге. А коротко только скажу, что хотя я и много раз в жизнь мою имел случаи практиковаться в философической терпеливости, но никогда еще не имел такого трудного случая к преодолению всех бунтующих в душе пристрастий и к поддержанию с целую четверть часа или более себя в своем философическом твердодушии и в таком состоянии, что я, не смотря на все чувствуемое и ежеминутно новую себе неожиданную досаду и огорчение, мог говорить с ним хладнокровно и с спокойным духом... и изъяснять все нужное. Но какой успех можно было иметь моим словам в человеке, у которого уши заткнуты были золотом и сердце покрыто алмазною скорлупою. И как о всем том, что было с обеих сторон говорено, было б слишком долго рассказывать, то коротко скажу, что письмо графское не было удостоено ни малейшего уважения и внимания, а надо мною соизволил сей высокознаменитый и такое славное имя на себе носящий вельможа во все сие время издеваться и трунить и хохотать тому, зачем я сюда и ехал, а сидел бы дома и дожидался указа. Но сей еще не довольно, но мог ли ты себе вообразить, чтоб сего человек, которого ум нам довольно известен, в состоянии был между прочим такое слово сказать, которое уже ни на что не походит, а именно: смотри, пожалуй, за семь верст приехал киселя есть. Тяжело и трудно было мне перенести сию глупейшую иронию и, как ни терпелив я был, но не мог, чтоб на сие не сказать ему прямо – поедешь и далее ваше высокопревосходительство, когда есть нечего и когда по снятии кафтана не оставляют и рубахи на теле.

– Как это так? – спрашивал, устыдившись. Совесть его, как видно, мучила. А сие и подало мне повод изъяснить ему всю нужду и тесноту моего положения. Но оглушенному золотом, что ни говори, он не слышит. И что всего смешнее, старался только меня уверить, что я нимало и ничем не обижен и что должен еще почитать милостию, что мне по 15 десятин дано на души из Пашковой земли. Однако, сказал я на сие, примеров таких еще не было, чтоб на воздухе можно было пахать землю. Сие опять подало повод к вопросам. Я ему изъяснял правду слов моих, и он, хотя и чувствовал истину их, но старался заглушить их пустяками, и такими пустяками, каким я только внутренно хохотал. Из всего сего можешь ты заключить, каков у нас с ним разговор был и не трудно заключить тебе, наконец, и то, что все сие кончилось тем, что я, не получив ни малейшей себе отрады, вышел наконец с внутренним презрением сего славного человека, о котором теперь никто мне не говори! А что всего смешнее! то хоть бы из притворной политики сказал какое-нибудь словцо ласковое и снисходительное, но и того нет и не было. На вопрос же, чем правы прочие покупщики, а я один тем не достоин, нечего было ему сказать. В сем случае прилип язык его к гортани его, и он отмолчался.

Итак, мой друг, вся наша на него надежда совершенно исчезла, но мне не столько на него досадно, как жаль того, что я потерял время и прожил здесь за ним по-пустому. Теперь осталась только одна надежда на письмо Государю, которое я еще не подавал. И вижу теперь, что хорошо и сделал, ибо нахожу нечто в нем, что неотменно надобно выкинуть. И так вчера с полудня до полуночи все вновь его сочинял и перебеливал и севодни стану его переписывать, а между тем поеду к г.Голикову обедать, который очень приятствует мне. Звал

меня к себе обедать и обещает помогать всем, чем может. Богу известно, что будет, ежели и от письма ничего не будет. Так хотя поворачивай оглобли и ступай домой. Был я и у двух сенаторов, но чего можно от них ожидать кроме отказов и нелепого вранья. Иной врет околесную, другой сам не знает, что говорят. Все ребята теплые и умели брать только тысячи и неправду делить, а чтоб обиженным помогать, так это не наше дело.<...>

Ответ Державина графу РаSTOPчину:

10-го февраля 1803 г.

Милостивый государь мой, граф Федор Васильевич!

*Правила света, почитающего по вашему выражению про-
сьбу отставных министров хуже всякой фальшивой ассигна-
ции, не суть правила моего сердца. Я надеюсь, что это вам
давно известно. Ваше требование в отношении г.Болотова
было бы исполнено мною тем охотнее, что я сам знаю его,
как человека достойного и справедливого; но его дело конче-
но еще до получения письма Вашего. По сему процессу сдела-
но все, что только по закону и справедливости в пользу
просителя сделать было возможно. С удовольствием буду я
ожидать новых от вас препоручений, дабы по исполнению
оных мог я иметь случай уверить вас тем же человеческим
языком, на котором вы со мною говорить захотели, о
истинном почтении и совершенной преданности, с коими
имею честь быть и проч.¹²*

<15 февраля>

<...> От него <А.Г.Бобринского>¹³ проезжаю прямо к Нартову. Сей милый и любезный человек принимает меня дружески. Мы говорим с ним обо многом. Он рад, не пускает меня без обеда, посылает еще кое-кого звать. Подъезжает наш Левшин, сделавший у него почти домашним человеком или коротко знакомым. Обед небольшой, но дружеский, сытный и приятный, и разговоры продолжаютя после обеда обо многом и, между прочим, и о нашем деле в сами подробности. Все дивятся и не могут надивиться поступком Державина со мною и его словам. Советуют взять терпение, и не переменится <ли> вся сцена. Сам он находится теперь весьма в критическом положении. Чему дивиться, что он поступил со мною так глупо и дурно. Он присланным в Сенат предложением и всех сенаторов до крайности и так обидел и раздражил, что все они положили жаловаться на него Государю и выбрали из среды своей депутатами к тому Трощинского¹⁴ и Строгонова¹⁵. И так весь Петербург занимается теперь сим казусным и необыкновенным делом, и любопытно уже, чем оно кончится. Дело не безделка, идет оно о указе о дворянских детях, служащих унтер-офицерами, и о том, чтоб ему быть уничтожено. Но какого-то будет Государь благоволения. Все наши дружеские и очень приятные разговоры прерваны приездом еще какого-то генерала к Нартову. И как тогда нечего было ожидать, то откланялся я и поехал домой. <...>

19 февраля

<...> Отправляюсь я к Муравьеву прямо, ибо Милютин¹⁶ заставить было уже дома поздно. Приезд мой к нему был самый благовременный. Он был одет. Зала наполнена была уже многими людьми, и сам он в канцелярии уже подле самой его залы. Становлюсь подле дверей, przygotowляю письмо Голикова, другое – и, как скоро вышел, то подаю ему первое. Он отступает к свету, читает письмо и готовит руку для принятия прошения, а оно ему и вручается. Он берет труд, прочитывает все его, потом обращается ласково ко мне. Я подступаю к нему. Он спрашивает меня, давно ли я приехал, и сказывает мне, что он давно меня заочно знает и желал знать лично, читывал мои сочинения, знает, что я старый член их общества. Расспрашивает, где я живу, в чем упражняюсь, езжу ли в собрания и так далее. Словом, нельзя быть лутче и ласковее. А что всего лутче, то отзывается, что он сам будет интересоваться моею просьбою. Я ему кланяюсь, изъясняю свою крайность и отпускаюсь обнадуженным. И радуясь такому доброму началу, скачу на квартиру размундириваться и радовать Ефима и ехать потом в Семеновский полк. Ну! Что? Скорей рюмку! И виват доброму началу! Говорю и раздеваюсь, Ефим мой до бесконечности рад, а родные наши того больше. У них я остаюсь и обедать. И как надобно быть одно к одному, то получаю тут и твое письмо № 4 из Паник, писанное 31 генваря и, хотя читаю я с неизъяснимыми чувствами и сожалением о тебе, мой друг, что ты и по сие время не имеешь еще обо мне известия, но радуюсь по крайней мере,

узнав об вас, что вы здоровы. В то же время получил письмо и от Крюковых, в котором между прочим писано было, что Державин писал к графу и изъявлял сожаление о том, что я не предупредил решение, и что дело решено по ЗАКОНАМ. <...> <27 февраля>

<...>приехал за мною Николай Михайлович <Неклюдов> звать по просьбе своих меня к себе, чтоб посидеть за приговоренным академиком живописцем для снятия моего портрета! Всем им ужасно как хочется иметь и мой – что делать? хоть и тем уже заняться. Итак, ездил я к ним, сидел часа два пред малбретом, обедал и, напившись кофею и полакомившись заедками, уезжаю домой. Н.М. будучи до книг охотником, снабдил меня нововыходящею здесь книгою злодеяния Робестьера с товарищи¹⁷. И я занялся вечер ею. Из дочерей Михаила Васильевича также иные охотницы читать и девушки все умные и добрые, а Ник.М. любезной малой. Я его очень любил. Он литераторист! И на нашу руку, и ты полюбил бы его очень. Между тем приходит ко мне Егор <Михайлович Крюков>, сидит вечер и рассказывает мне множество всякой всячины! <...>

ЗАСЕДАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

<...>Дошло дело и до прочтения моего мнения. Начинают читать. Я обзираю всех и вижу во всем величайшее внимание. По счастью удалось мне начертать его довольно важно и хорошо и не только одобрить и похвалить Бахмутского исправника, но и фундаментально доказать почему и почему то хорошо. Никто не ожидал такого обстоятельного дела сего рассмотрения. Все слушали с удовольствием, и президент тотчас, как кончили, и начал меня превозносить похвалами и благодарить. Со всех сторон полетели поклоны, и я не успевал только откланиваться. По окончании сей приятной для меня сцены начались другие, или чтение моего собственного предложения. Как все уже были приготовлены перед пиесой, то внимание всех усугубилось. Для всех была она приятным сюрпризом. Я не мог налюбоваться, видя с какою жадностию все слушали и ловили слова читающего секретаря и как были сим сочиненцею довольны. Не успели окончить, как вдруг президент мне говорит. Прошу вас, Андрей Тимофеевич, на минуту пожаловать отсюда выттить. Вот тебе на! думаю, что это значит! Однако, догадавшись, что они хотят без меня обо мне говорить, встаю с места и охотно выхожу вон в переднюю и заставляю немца подать себе пить. Не продолжилось минут двух, как слышу, зовут меня опять. Я вхожу. Просят, чтоб я по преждему сел, и тогда вдруг президент с обыкновенным своим велеречьем начинает мне говорить, что общество так довольно моими толь полезными замечаниями и трудом, так оно и все труды мои одобряет, что для изъявления чувствования своей благодарности единогласно определило поднести мне золотую медаль. Ну! вообрази себе, мой друг сию минуту, и какова она мне была приятна и неожиданна нимало! Подлинно заплачено было мне сюрпризом за сюрприз. А что всего для меня было приятнее то, что все возымели вдруг ко мне отменное почтение и уважение и все с удовольствием твердили мое имя и сам генерал был между теми и, что тайный советник Вейдемеер, правитель канцелярии верховного Совета, и сей отменно меня ласкал. Все поздравляли, и я не успевал откланиваться. Определено заготовить тотчас медаль с моим именем, и сделали образец, как вырезать, и вручили казначею генерал лейтенанту Андреевскому. Ну вот, мой друг, тебе история и сего заседания. В оном же определено представить Трощинскому и о пересылке по почте безденежно писем и посылок, и к этому я их побудил. Наконец, дана мне вместе с Левшиным и Ореусом еще комиссия рассмотреть одно присланное из Венгрии сочинение о масле из тыквенных семян, и мы трое в будущий четверг съедемся в дом Общества и будем траковать о том. Я прочел его уже вчера. Будет и тут что-нибудь сказать! Таким образом, поздравь меня с медалью. Награда не велика и хоть безделка, но чести и грома много. И то хорошо...

<20 марта>

<...> Настает пятница или вчерашний день. В сей положили мы перебраться на новую квартиру, а до этого съездить наперед к Петру Ивановичу Новосильцову и отдать ему Дурова¹⁸ о себе письмо. Это все мне присоветовали, потому что он живет об двор с графом Васильевым¹⁹ и ему очень знаком. Даль такая, мороз зельной, насилу нашли дрожки. Запла-

тил взад и вперед 80 копеек и застаю дома недавно вставшего и ввожусь в его кабинет к сидящему за бюро и пишущему. Он берет письмо, читает со вниманием, прочитывает записку и говорит мне, что ему приятно, что имеет случай меня узнать, слышавшись так много обо мне от С.А. «Дурова» да и зная тебя, познакомившего с ним у Цурикова. Потом говорит, что хоть неприятно будет мне, но должен он сказать, что не уповает он, чтоб просьба моя имела успех возжеланный. По введенной-де методе здесь земли более обирают, а не раздают! Этим он меня ошарашил! Я сказываю ему, что Государю было уже докладывано и что просьба моя препровождена к финан-министру. Это все еще ничего. Это ничто иное, как почта. Привезено письмо и передано из рук в руки! Неутешно было мне и сие. Ведь небось чрез Муравьева сказал он далее с некоторым неуважением. Нет, говорю я, чрез Никол. Никол. Новосильцова. Это заставило его несколько иначе думать. Он стал спрашивать о подробностях ограбления, посадил меня, стал дивиться тому, что поступлено со мною незаконно, но все не надеялся ничего. Я намекаю ему, что Васильева не знаю, что нет у меня никого знакомого при нем, что разорен я до крайности и лишен последнего куска хлеба! Будучи умен и тонок, тотчас догадался он, к чему я намекаю и тотчас подхватил, что касается до графа А.И. «Васильева», то он мне человек очень знакомый, и я не премину его об вас попросить и рад бы искренно был, если б мог вам помочь. Я кланяюсь, упрощаю его, умоляю его. Он повторяет обещание и, наконец, ласково отпускает меня, говоря, что, хотя он и не имеет ласкать себя надеждою желаемым и самим им удовлетворением моей просьбы, но был бы я уверен, что он при первом свидании попросит обо мне графа и будет очень рад, если в состоянии будет мне помочь. С сим расстались мы с ним, и я видел, что полученное сие письмо было очень кстати и может быть послужит мне в пользу.<...>

<21 марта>

Отобедав у своих и поговорив с ними о войне и о слухах многообразных, носящихся здесь по городу, и между прочим о том, якобы в Швеции бунт, и король сидит под арестом и взаперти, и что ожидается только курьер из Швеции, чтоб обнародовать написанный и будто уже напечатанный манифест, и прочее тому подобное. Поехал я после обеда в заседание Общества. Не могу тебе изобразить, какая скверная теперь езда по городу и по самым лучшим улицам. Представь себе, что все они покрыты были почти на поларшина толщиною льдом, что все возвышены несколько пред дворами и что отверстия в акведуки или подземельные трубы поделаны с решетками своими посреди улиц и покрыты льдом. Ну! теперь как скоро началась таль, и снег начали с кровель очищать на улицы, то навалили им бугры подле дворов, и дворы запрудились и наполнились водою. Воде сей надобно сделать сток. Куда больше, как не на улицы и в трубы. Сии надобно отыскивать, вырубать над ними ямы, прорубать со всех сторон во льдяном черепе пути и протоки, но не прямо, но кое как и вкось и криво и вдоль и поперек улиц. Колеса начали рвы сии расширять, и от всего того и наполнились все улицы несметным множеством рытвин, ям, ухабов, луж и целых прудков, наполненных водою, и вообрази себе, каково ж ездить теперь по тем дорогам в каретах, а того паче в дрожках. Таки сушая истинно как торга и того и смотришь, что полетишь и с дрожками стремглав и упадешь в какую-нибудь глубокую наполненную водою ямину. Словом, этакой пакости я отроду не видывал.

Но как бы то ни было и хотя и склялся, что в сей день поехал, однако дотащусь туда кое-как благополучно и нахожу одного только тут Нартова, Левшина и казначея. Никто еще из других не бывал. И так было мне свободное время поговорить с А.А.Нартовым. Он спрашивает об моем деле, обещает сам для меня съездить к графу и попросить. Я кланяюсь. Потом удивил меня, приказывая, чтоб я сделал ему записку о всех моих сочинениях экономических, здесь и в Москве изданных, и изобразя при том какую и какую пользу они произвели, и чтоб послешил я сим делом. И, обратясь к казначею генерал-лейтенанту Андреевскому, молвил: мне хочется ему помочь! Вот те на! думаю и только безмолвно поклонился. А сам в себе подумал: об этом я еще едуци в Петербург дорогою думал и, смотри, пожалуй, как мысль моя теперь совершается в действии! Вскоре за сим съехались и прочие, и опять Левшин вместо секретаря, еще больного, начал читать сперва обыкновенную записку дневную последнего заседания, а потом мое

третье сочинение или безделку. Содержала она описание наших холстинных лотков, новых садовых скамеек и яблочных ящиков. Все сие изобразил я рисунками, чтоб их чем-нибудь занять, и описал полезность их по своему. Читали все, прельстились ими все, рассматривали жадно. Все хвалили, благодарили и друг пред другом хотели взять домой, чтоб скорее списать себе. И один таки генерал и выпросил себе домой их у Нартова. Наконец, заседание оканчивается. Нартов подтверждает мне еще, чтоб я не позабыл бы о записке. Как позабыть, думаю я, но как написать-то? Кто их все упомнит, книг со мною нет! Постой, думаю я, едуци домой. Пошлю завтра к другу сердечному Миллеру, нашему книгопродавцу и надзирателю дома, полюбившему меня очень и говорящему, что я всех лучше членов. Выпрошу у него все части Трудов Общества на минуту. Он мне их пришлет, и я из них выпишу. А о магазине Экономическом напишу, что бог на сердце положит. В сих мыслях возвращаюсь я прямо домой и, назябнувшись, ну-ка отпиваться чаем, а потом, не долго мешкая, садиться за стол приниматься за перо <...>

Апрель

<...>а пуще всего порадовали меня вести, что поход отозван и что войны не будет, а удивили те, что Державину дано 15 тысяч рублей» за поддержание указа о унтер-офицерах против Сената. Как рад, ажно ушки смеялись. Говорят, всех своих подчиненных перецеловал с радости.

<...>вот около целого месяца прееет дельце мое у самого финан-министра. И за него едва ли еще принимались хорошенько! Словом, изобразить истинно не можно того, как здесь все и все идет! Во многом едва ли не хуже еще гораздо нежели при самом П^Кавле I». О эти министры, министры! Я, читая на сих днях приватную жизнь дюка Ришелье²⁰ во Франции во времена Людовика XV, находил точное изображение всех нынешних наших распорядков. Таким точным точнехонько. Но дай Бог, чтоб не были они таковы, каковы были и сделались Франции... а не мудрено очень, ежели все так-то пойдет и не произойдет никакой перемены с ними и с их правителями канцелярий.<...> О велемудром нашем господине <Державине> я уже и позабыл, а доволен тому, что из сего худя вылилось и для меня некоторое добро. Письмо то графское <Растопчина> обо мне и истинно не от меня, а из канцелярии его, выехало в публику и разнеслось по всему городу и так, что все его друг у друга списывают, и я многим сделался чрез то известен.

<...>Ну-ка я опять домой и читать вестник Карамзина. Насилу мог его достать здесь прочитать и занялся им до самого вечера, так что сей день не видался я вовсе со своими и к ним не ходил. Я рад был, что было чем заняться и не так скучно проводить время. <...> Возвратясь к своим, читал я им «Марфу посадицу» в вестнике. Какая это прекрасная штука!

24 апреля

<...>На Марсовом поле или царицынском лугу учились гвардейские, и приезжал сам Государь! И какое ж произошло в сей день там происшествие странное! Не успел Государь только что уехать, как одному преображенскому капитану Казаринову надело шалостями и неумением один из его офицеров или офицерик, каких здесь много и кои сущие ребятки, но слишком много вольничают и о себе думают. Был это какой-то граф Толстой, двоюродный брат здешнему военному губернатору²¹. Уже не знаю, что-то такое он там сделал, но известно только то, что Казаринов как неумеющего послал его за фронт. Но сей, не поставя сие во что-нибудь, ну еще более там шалить и проказить властно как на смех капитану. Он стал ему выговаривать, но этот молодчик, нимало не уважая, еще более его дразнить, лезть к нему в горло и, наконец, дерзнул даже вызывать его, чтоб он дал ему за мнимую обиду сатисфакцию. Сей тому захохотал и приступающего к нему даже с самыми ругательствами отсунул от себя палкою. А тот, не долго думая, выхватил шпагу и ну капитана рубить, а тот так был умен, что выхватил и свою. И ну оба при всех фронтах и войсках рубиться, покуда прибежали, их разняли и обоих друзей под арест посадили. Дело сие дошло вмиг до Государя, который был тем очень не доволен и приказал тотчас их судить военным судом, и чтобы суд сей в 48 часов был кончен. И так, вчера ждали уже и конфермации, но чем кончится и что будет еще не известно.

<...> Расскажу достальное о 1 числе мая, которое будет мне очень и навсегда памятно. В этот день бывает здесь гулянье в

рошах за калинкиным мостом в Катерингофе, и весь город туда съезжается и сходится. А не сомневался никто, что будет туда вся Императорская фамилия. Как я по сие еще время не видел самого Государя, то помышлял уже с утра, чтоб повозстричь и самому туда лыжи и хоть дальковато, но как погода была наипрекраснейшая и ноги служили, то для чего вместо прогулки не сходить? Так случилось, что и наш Николай Михайлович собирался туда же идти пешком с несколькими своими приятелями и подзвал меня с собою. Ну что того лучше. Таким образом, собравшись после обеда, полетели мы туда. Пришли, были, ходили, галились и возвратились уже в сумерки. Но что мне тебе сказать о сем гульбище. Совсем то пустое и недостойное зрения и посещения. Вообрази себе тесную улицу между строениями и там проселок за рошею, скверным и редким березовым лесом, и песчаную сквозь его дорогу, а там предлинный и узкий мост чрез какую-то воду, а там опять узкая улица сквозь слободу и опять пустой лес подле взморья. Потом вообрази себе беспрерывных два ряда карет, едущих туда и обратно, и тьму всякого народа, вдоль сей оной, версты на две простирающейся, дороги по обеим сторонам в стеснении и стоящего и идущего человек в пять толщиною, а позадь оного тьму разносчиков со всяким снедми, а на помянутом мосту по зкрайкам оного в крайнем стеснении и с помянутою опасностью перебирающегося, чтоб кареты, скачущие иногда во всю прыть, не зацепили колесами и не оторвали ноги и руки. Ну вообразил себе, каково попасться в едакую тесноту и спешить следовать за товарищами. Истинно и не рад был, что пошел, а того пуще, что с товарищами. К тому ж подошел еще и соединился с нами еще Иван Васильевич Хомяков с сыном. Итак, компания превеликая, и успевая только за ними бежать и не отставать. Наилучшее и что одно усладило сей труд, что я с любопытством насмотрелся сперва на старинный увеселительный, Петром I еще сделанный домик и в нем завешанную еще самими теми шелковыми зелеными занавесками спальню, где Государь сей, приезжая туда, отдыхал, и которую запечатанную хранят и поныне за редкость, а потом приехавшей государской фамилии и самого Государя. Сей вместе с Константином Павловичем и палатином был верхом и несколько раз тихохонько взад и вперед проезжал между народом по дороге, а государыни с детьми в особых каретах и также несколько раз взад и вперед ездили, и можно было их в самой близи видеть. Сим был я очень доволен и не мог довольно налюбоваться маленьким княжнам и князьям великим. Наконец, подошедший дождь погнал нас домой, и мы ну-ка спешить и уписывать. По счастью была со мною шинель, и я не измок, как прочие, а только впрах устал и насилиу дошел до квартиры. Но что ж, захотел посмотреть который час, как, хватя, часов в кармане как не бывало. Я берег все платок и табакерку, а о часах и не с ума да, казалось, почти они в панталонах так далеко под камзолем, что казалось не можно бы никак до них добраться. Но здешние господа мошенники видню очень проворны и умели так хорошо подсидеть их, что я и не почувствовал! И по всему видимому на помянутом проклятом мосте, где мы сквозь народ принуждены были со страхом и трепетом протискиваться. Но как бы то ни было, но я за погледенье Государя заплатил любезными моими часиками, которые мне очень, очень жаль и по сию минуту. Но нечего делать, так и быть. А Государь, что ни говори, у меня теперь в долгу. От него я часов своих лишился, и он должен чем-нибудь меня за то наградить! А всего лучше, если б он пожаловал только мне земельку-то нашу. Уж бы быть так, часы дело наживное! Со всем тем стал я теперь без них. Вот почему говорил я, что мне сей день будет памятен! <...> Здесь готовится все к предстоящему великому и достопамятному торжеству. Будет оно 16 числа сего месяца <мая>, то есть в нынешнюю субботу. Полки все будут в параде. Государь будет слушать обедню и молебен в Исакиевской церкви и оттуда, как говорят, пойдет во всем своем императорском облачении в порфире и в короне к монументу и станет подле его. И тогда все войска будут проходить и салютовать, и его и монумент обходя оной. На Неве против оного поставлен будет на деке сто двадцати пушечного нового и неоснащенного еще корабля достопамятный ботик Петра Первого, и сей дедушка нашего флота будет возлежать на правнучке и окружен множеством происшедшего от него семейства. Ботик снабден будет полным экипажем, ему следующие, и люди они набраны все такие, которые служили еще при Петре Первом, и все, как гово-

рят, одеты будут в тогдашнем костюме и даже один из них, нынешний генерал поручик, будет отправлять должность штурмана. Все сие будет покрыто наподобие шатра и, когда Государь даст сигнал, тогда все сие покрывало исчезает, открывается ботик, поднимается на нем штандарт, и в тот момент со всех крепостей, кораблей, галиотов, яхт, галер и пр. загремит гром и потрясет всю атмосферу. Думать надобно, что и полки в самое то же время стрелять будут, какое зрелище и как достойно оно будет зрения! И дай Бог, чтоб здоровье мне сие дозволило и чтоб мне удалось где-нибудь отыскать местечко все сие видеть. О сем теперь все очень очень заботятся... Но сие еще не всё, будет, говорят, еще нечто трогательное в особенности, говорят, что помянутый весь экипаж ботика и все оные почтенные и от тягости лет согбенные послуживцы Петра Великого, все сии старцы будут в сей день приглашены к столу Государя и за одним столом с ним обедать. За сим последуют излияния разных милостей, но каких еще не известно. В вечеру же будет утешать летний сад весь город своею иллюминацией и гуляньем. И Государь будет кушать в домике Петра I на устье Фонтанки в саду, и на часах стоять 3 кадет, самых малюточек близнецов и прекрасных. Из кадет выбрано 120 человек для стояния везде на часах. Город весь будет иллюминирован – вот что слышно по сие время, а так ли все сие будет еще не знаем. <...>

Наступает, наконец, с толиким вожделением всеми ожидаемая суббота и совершается празднество юбилейное. О! что мне тебе об оном сказать? Оно было таково, что достойно особливого описания. Я и описал уже оное в своем журнале²² наполовину. Написал таким тоном и так, что хоть бы и напечатать оное, или по крайней мере ты стал бы читать с особливим удовольствием, но как оно велико, и одна половина заняла уже 26 страниц, то и оставляю я оное до переду, а теперь вкратце только скажу, что, хотя и многова из того не было, о чем молва носилась и я к тебе писал в письме предследующем, например, шествия государева в порфире и короне к монументу, полагания к стопам Петра I бумаг некоторых, кушания в домике Петра Великого и приглашения к тому стариков столетних, но со всем тем зрелище было истинно достойно зрения, и многие сцены были таковы, которые извлекали у многих слезы удовольствия из глаз, а особливо у имеющих сердца чувствительные. Мы уговорились в сей день быть вместе только с Иваном Васильевичем Хомяковым, и я весь сей день с ним препроводил и тем очень был доволен, ибо как мы встали поране и успели прийтись на Петровскую площадь довольно еще рано, то и удалось нам выбрать и занять наипрекраснейшее, ничего нам не стоившее, возвышенное и такое место, с которого нам все происшествия до единого вблизи и с наилучшего пункта зрения были видимы и даже так, что нам несравненно было лучше все видеть нежели самим императрицам и всем большим боярам, ибо мы стояли против самого монумента и шагов за 30 только от Государя и в таком месте, что нам и вся Нева, и крепость, и набережная, и вся площадь, и все было видимо, и мы могли и стоять, и сидеть как хотели. Словом, редким и не многим удалось все так видеть как мне, почему самому и описать все зрелище было мне можно. Поразительно было и днем виденное, но зрелище вечернее и ночное было прямо очаровательное. Отроду не видывал я такой прекрасной иллюминации, как в сей день. Весь город горел как в огне, но все казенные здания, обе крепости, корабль, ботик, весь летний сад, а особливо оба домика Петра Великого и в саду и за рекою Невою были иллюминированы так, что превосходит всякое описание. И не диковинка, что одного стекла поставлено подрядчиком на 75 тысяч. Вся иллюминация до 150 тысяч стоила. По счастью нам с Хомяковым удалось и ей досыта и до усталости насмотреться. Другим же, о эти другие, сколько они претерпели! И особливо поопоздавшие своим приходом в сад и приездом. В весь день была погода наипрекраснейшая, но часу в двенадцатом ночи, в самое то время, когда весь сад наполнился таким множеством народа, что не осталось ни одной дорожки, которая не наполнена была людьми и когда наилучшенькие только что съехались, где ни возмись вдруг туча с проливным дождем да как же брызнула, что ну! поди! меня самого заколотила она, но спасибо уже на дороге и неподалеку от квартиры, ибо я шел уже домой, и хорошо, что нам удалось и людей таких своих с епанчами иметь с собою, а другим и того уже не удалось, ибо после не стали пускать в сад лакеев. Итак, мы благополучно таки

отделались, а другие долго будут этот праздник помнить и тужить о своих нарядах. <...>

В четверг июня 18 дня 1803 в обед.

Сей только час возвратился я из своего похода от Трошинского. Однако не остри пожалуй зубы, чтоб слышать что-нибудь интересное! И было только то, что я сегодня встал ранить-ранехонько, прибрался, оделся хорошеонько. Пошел, побежал к Левшину скорехонько, застаю его удалого молодца еще в крепком сне. Разкликаю и разбужаю его громким голосом, пора, Государь, тебе пробужатися, надевать сбрую свою ратную и иттить со мною на страшной суд, к большому боярину! к царедворцу Царскому! Но молодец мой кобенится! против хотенья одевається, и обоим нам иттить не хочется, но судьба велит! Собираемся в свой важной путь, сходим вниз по ступенечкам, шелкаем ногами по камушкам, укрываем от пыли очи ясныя, достигаем до больших палат любимца царского, восходим по ступенечкам мраморным, в терема высокия, чертоги барския. Садимся на софы сафьянныя, ждем третьего добра молодца – нашего товарища. Думаем думу крепкую, как говорить с большим боярином, кому вести с ним речь свою, что сказать ему о нужде своей, чтоб не одурачиться! Ожидаем страшна взохода, но боярин к нам не шествует. Уже солнушко высоко возшло, а ево и в появе нет. Вопрошаем услужителей, говорим с ево приближенными, узнаем дело важное, что боярин наш не пойдет с двора, не покажет нам своих очей, что вчера у него был старинушка, наш атаман доброй, говорил с ним долгу речь, стоя у окошечка. А о чем таком, не известно того. Все сие услышавши, обо всем о том подумавши, рассудили мы назад иттить, отложить до другога дня и услышать наперед, что атаман скажет. Поговоря о том, посоветовав, по домам мы и расходимся. <...>

О графе Толстом, разжалованном в солдаты, не удалось мне ничего более слышать, кроме того, что он во время бывшего торжества поставлен был нарочно на часы в таком месте, где Государь пойдет мимо него, и князь Волконской указал, в какое, и действительно просил Государя, чтоб он его для такого радостного дня простил. Однако более не последовало кроме того, что Государь усмехнулся и прошел мимо. Жаль очень старика графа.

Что касается до новостей, то их ныне нет никаких. Война началась, но, говорят, что не долго продлится, нам хочется не вмешиваться, но едва ли будет можно. Думают, что мы возьмем сторону англичан, но Бог знает. Говядина здесь дорога оттого, что английские конторы скупают мясо и, соля здесь своими людьми, отправляют на кораблях. Кораблей пришло уже до 400. Но апельсинов мало, а все лимоны, и очень стали дешевы, даже по 35-и десяток есть, такая их тьма. Полиция здесь плохо «неразборчиво», много происходит шалостей. Государь живет на Каменном острове, бояре по мызам, и дела оттого текут еще медленнее, а воры не перестают все воровать. Об отъезде Государевом куда еще не слышно. Ерецгерцог уехал и провожаем его Комаровскому доставил графское Р.<имской> Империи достоинство.

2<июля>

Пускание шара представило всему здешнему городу действительно весьма пышное, величественное и приятное зрелище. Все жители оно от мала до велика насмотрелись оно и не могли оным довольно налюбоваться. Пункт времени назначен был к тому 6 часов после полудни, а место избрано и приготовлено было на Васильевском острове посреди кадетского сада. Тут вокруг того места, где назначено было пускать шар или происходить вознесению господина аэронавта Гардерена с его пребойкою супругою, поставлено было 100 кресел, и за каждое из них назначена цена по 25 рублей. За ними поделано из досок на козлах несколько лавок, и все желающие сидеть на них должны были платить по 5 рублей, а за сими прочие зрители должны были стоять на земле и за сие должны были платить по 2 руб. серебром. Через сие набрал он себе безделку, 17 тысяч руб. кроме подарков от Государя, но от меня не получил он ни копейки. Мне надобны они были и на другое, а видел я столь же хорошо, как и другие, прискав себе заблаговременно вне сада такое место, откуда все было да еще и лучше видно. Все приготовления сделаны были уже с утра. Шар был по обыкновению тафтяной покрытой лаком кофейного цвета, полосатой, величиною 11 аршин в диаметре, но не совсем круглый, а яйцеобразный и покрытый сеткою. Лодочка или паче корзина для аэронавтов небольшая, сделан-

ная из морского камыша и одетая кожей, чтоб в нужном случае могла и на воде продержаться их дня два. Она привешена была на веревочках очень близко к шару так, что они почти головою до него касались, но была с величиною шара очень несоразмерна и так, как бы маленькая мушка внизу большой самой груши. Сосуды с газом стояли поодаль, состояли в трех чанах, наполненных водою. В каждом из них в воде поставлены были бочки стоймя, а вокруг каждой поставлены по 10 и более простых винных бочек стоймя с газом же. Все сии бочки соединены были трубками с бочками в чанах, и трубки сии проведены сквозь воду. А все бочки в чанах соединены были опять вместе трубами же, а сии уже с длиною кишкою, сшитою из такой же материи, как шар. Кишка сия лежала разными изгибами по земле и соединялась с нижнею частию шара. А шар лежал просто на земле, и газ впускаем был в него не вдруг, а с отрывками и совался туда с такою силою, что наполняющийся им и раздувающийся шар оттого ажно весь колыхался. Для поддержания оно не было никакого ограждения, а привязаны были кверху только три веревки, за которые держали его стоящие на земле три матроса, чтоб он не ушел вверх. Примечания достойно, что наполнялась сперва все верхняя часть оно, и сия надулась уже туго, как пузырь, а нижняя все еще была в изгибах. В 3 часа отворен был сад для имеющих билеты, но вознесение не прежде воспоследовало, как уже в начале 9-го часа ввечеру. Позамешкались за неприбытием императрицы из Павловского, но Государь приехал уже прежде и с любопытством осматривал все приуготовление. Шар был уже до него почти весь наполнен, ибо требовалось к тому несколько часов. Для царской фамилии поставлен был шатер и кресла, укрытые бархатом. Но Государь почти не сидел на них, а тотчас подошел ближе, и с ним многие и другие. Начало учинено было тем, что Гардерен поднес к нему наполненной небольшой зеленой тафтяной шар на шнурочке величиною с большою комод, ибо они очень легки, и Государь пустил его из своих рук. И оный показал всем путь, по которому пойдет большой шар. Все им любовались, но он скоро ушел у всех из виду и по светлости своей не очень был виден, а походил на мыльный пузырь, пускаемый на воздух. За сим таким же образом пущен был другой шарик поменее императрицею, а на сим третьей другою. Четвертый же подносил великому князю, но он не захотел, и потому пустил его сам уже Гардерен. После сей предварительной забавы, продолжавшейся почти с час, откланявшись Государю, сел Гардерен в свою лодочку и с женою и по поднятии на сажень от земли ухватили несколько человек лодочку за края, а матросы веревки свои отдернули. И тогда обвели оные люди лодочку по воздуху вокруг всего круга зрителей и плаватели в одной всем кланялись и спрашивались. И как за лодочкою следовал и весь шар, тащимый ею, то сие составило довольно изрядное зрелище, после чего привели его опять на прежнее место или центр и притянули почти к земле самой. И тогда, раскланявшись, г. Гардерен всем закричал: “Пошел” – и как люди покинули вдруг, то и пошел он вверх, и прямо можно сказать величественно и прекрасно, так что все с удовольствием смотрели. Шествие его по воздуху было очень плавное, нескорое и совсем не прямою линиею вверх, а косою так, как изобразил я здесь чертою. Погода была самая лучшая, небо ясное и ветерок самый маленький, и сей самый предписал ему путь от кадетского корпуса чрез Неву на Зимний дворец, чрез Аничковский и на Невский монастырь. Он поднялся версты на две вверх, но все был очень виден. И как Государю угодно было, чтоб он не слишком высоко поднимался и не уходил из вида, то поднявшись над серединою города, стал он выпускать и убавлять газ и оттого долго был на одном месте и опустил гораздо ниже, а сие и доставило всему городу удовольствие его досыта насмотреться. И какой это везде шум, какое судаченье, какое беганье и глазопялоные у всех было. У простого народа только и было на языке, что это не просто, а дьявольским наваждением. А народа-то, карет-то на всех площадях и набережных и кровлях-то ближних было несметное множество, но сим все и кончилось. Отлетел же он не далее, как версты 3 от города и опустился за Невским на Выборгской за Охтою и, если б не подоспели люди, то г. Гардерен сломил бы себе голову, ибо нанесло его на лес, но спасибо успели люди ухватить за выброшенный им якорь и силою перетаски его чрез лес на болото, а тут прискакали уже кареты и повезли их, дрожащих от стужи и испуга, ужинать к военному губер-

натору, и его милость г.Гардерен, сказывают, еще был не доволен здешнею публикою, для чего весь город не прискакал к нему с поздравлениями и не привозил в подарок деньги. Вот какая алчность, несмотря хотя набрал уже более 500 тысяч во весь свой вояж.

Сим кончилось сие всенародное увеселительное зрелище, которое в самом существе своем составляло сущую детскую игрушку. Государь, сказывают, пожаловал ему 5.000 и перстень еще. А теперь хочет он, сказывают, пускать еще другой Шар Мира в пятницу, пускаемый им в Париже при заключении мира, но все одни только фанфарорди и несносное даже самохвальство француза. Хочет также опускаться и на парасоле, но будет то подлинно, не знаю.

9 июля

«...»Ну теперь все, горестное и печальное, а надобно начинать теперь рассказывать тебе смешное и привести тебя в такое же мудреное положение духа, в каком я вчера был по прочтении писем ваших. Не успел я их всех прочитать и, усевшись за пюльпет, перенумерить в своей особой тетрадке сравнительно писания и получения оных, и только лишь стал доставать начатое к тебе письмо для продолжения оного, как кричит мне сзади Яшка: приехал человек от Андрея Андреевича! Ба ба ба, это зачем? И вмиг догадался. Что, братец? Андрей Андреевич приказал кланяться и поздравить вас с Государскою милостию! Ну, слава Богу! – воскликнул я – насили дождались. Вот таки устоял старик в своем слове. Конечно, братец, прислали к Андрею Андреевичу? и когда? Сегодня, и изволил приказать, чтоб вы тотчас к нему приехали, а Левшин приказал просить вас, чтоб вы к нему заехали. Я теперь к вам от него. Хорошо, мой друг! Спасибо за добрые вести! Малой, доставай скорее денег и давай другу сердечному. А сам давай скорей одеваться, ибо был в халате. Бужу Ивана, чтоб шел со мною до первого извозчика. Ну, слава Богу! слава Богу! Есть теперь об чем отписать к Павлу и к своим домой! в Тулу! и к Крюкову! И как хорошо случилось к стати. Завтра и почта готова, да и в департаменте-то меня более уважать станут. И как жаль, что давеча сего уже не было, а то б и я также пошеголял с ленточкою на шее, как там другие. Но что нужды, еще будет время нашеголяться. Вещь хотя и не важная, но недурно. Правда, хоть на короткое время и только на подержание на несколько лет и, может быть, на год, на два, или еще и меньше. Но все хорошо! По крайней мере наделает шуму и славы, а прибыли хоть ни полушки. А земли-то как не дадут, то не рад будешь и кресту на шее. Сим образом думал и сам себе, ребячася на радости, говорил и заключал я. Ведал достоверно, что обо всех нас возил всякий раз во дворец Трошинский представление к анненским орденам и что в портфели его видели и заготовленные рескрипты. И признаюсь, что сей пункт времени был для меня очень весел и радостен. Никогда я с таким удовольствием не одевался, как в сей раз, и с такою легкостью не шел до самого Обухова моста, как в сие время. И что ж как истинно ребятился я, идучи и едучи потом к Левшину и с ним далее на Васильевский остров. Как хотел удивить Хомякова и Дурова, вознамериваясь к ним, едучи назад, по дороге заехать. Как подтверждал Яшке никому отнюдь сего не сказывать, ни Ефиму, которого дома не было, ни домашним. Николаю Михайловичу, к которому положил отсюда и в кресте уже заехать, какой сюрприз хотел я ему сделать. Левшина застал я одевающегося, тот также без памяти рад. Поздравляет меня, а я его, и оба мы ну-ка на дрожках спешить к Нартову, и только каждый своему повозику твердит: погоняй. И оба любопытно хотим знать что-то пожаловано самому Нартову. Не могу тебе изобразить, каковы для меня были те минуты, когда мы к его двору подъезжали, и когда все люди его нас с милостию государскою поздравляли, и когда мы едва успевали только откланиваться. Ну вообрази себе, как случилось ненарочно: перевернул теперь листок, перевернется и сцена и дело! Входим к Нартову и находим его в обыкновенном его положении в халате, лежащего на софе с трубкою во рту. Мы ему поклон, он нас поздравляет и говорит, взяв лист бумаги. Вот я вам прочту, что пишет ко мне Дмитрий Прокофьевич. Содержание сего письма было вот какое. Что он по представлении его об нас Государю докладывал, что Государь все деяния каждого из нас по приложенным бумагам о том рассматривал и всемилоштивейше жалует надворного советника Левшина орденом Анны 2 степени, которого и знак при сем посылает, и коллежских асессоров

Болотова и Дарагана бриллиантовыми перстнями, препровождаемыми тут же с записочками, кому из них которых... Ну, теперь нечего тебе сказывать, как меня сие ошеломило! Это надобно тебе самому себе представить и восчувствовать, а я изобразить того не в состоянии! А только скажу, что в сей пункт времени надобно мне было быть совершенным философом, чтоб скрыть свое неудовольствие. По крайней мере помог мне Нартов в том искренним своим сожалением о том, что я не поравнен с Левшиным и что сделана мне была такая несправедливость, несмотря, что представление об нас было одинаково. Далее говорил он нам, послушайте ж, что обо мне: "... что касается до вашего превосходительства, то Государь предоставляет наградить вас будущему времени..." Следовательно, ему вовсе ничего, и он сам нужду имел в утешении. Однако, примолвил он мне, будьте спокойны, Андрей Тимофеевич, я не сомневаюсь, что когда нибудь я доставлю вам и крест, а перстень этот будет у вас в барышах. Посмотрите, вот он. Он всех прочих лучше и перстень прекрасней. Но я признаюсь, что в тогдашнюю минуту принимал я его от него без малейшей радости, а с огорчением. Хотя и было мне то наиприятнейшим утешением, что все домашние его и даже сами люди обо мне сожалели и более мне доброхотствовали, нежели Левшину. Итак, вот новой и седьмой обман самого себя в мыслях, и ошибка неописанно чувствительная и досадная. И вот что может произойти от обстоятельств предсказанных. При других, верно бы, я и сей милости царской был бы очень рад. А тоже почувствуешь, верно, и ты теперь.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ К.Г.Голиков – обер-прокурор в Сенате, знакомый А.Т.Болотова по Тульскому наместничеству.

² Г.Р.Державин (1743–1816) – сенатор, юстиц-министр, выдающийся поэт.

³ А.А.Нартов (1736–1813) – писатель, переводчик, президент Вольного Экономического Общества.

⁴ Н.Н.Новосильцов (1761–1836) состоял при особе императора по особым поручениям, член неофициального комитета, президент Академии наук.

⁵ А.Т.Болотов вел долгую тяжбу с соседом по своему тамбовскому имению П.Е.Пашковым. После смерти П.Е.Пашкова в 1790 году названная тяжба продолжалась с его наследником А.И.Пашковым.

Петр Егорович был первым владельцем дома Пашкова в Москве (в дальнейшем здания Румянцевого музея).

⁶ В письмах упоминаются некоторые члены семьи Неклюдовых. Михаил Васильевич – племянник автора, его жена – Анна Петровна и их дети: Михаил, Николай, Василий, Праксovia, Аграфена, Надежда...

⁷ В.А.Левшин (1746–1826) – писатель и переводчик, экономический просветитель, корреспондент журнала "Экономический магазин", издававшегося А.Т.Болотовым.

⁸ М.Н.Муравьев (1757–1807) – общественный деятель и писатель, в 1803 году товарищ министра народного просвещения.

⁹ Имеются в виду пьеса "Нанина, или победенное предрасуждение" и драма "Александр на брегах Гидаспа", напечатанная во 2-й части журнала "Новости русской литературы" за 1802 г. Эта драма не упомянута в репертуаре

столичных театров (см.: История русского драматического театра, т. 2. М., 1979).

¹⁰ Ф.В.Растопчин (1763–1826) – отставной министр, губернатор Москвы в 1812 году.

¹¹ Это письмо опубликовано по разным копиям в журналах: "Русский архив", 1875, т. 2 и "Русская старина", 1899, № 9.

¹² Письмо опубликовано в журнале "Русская старина", 1899, № 9.

¹³ А.Г.Бобринский (1762–1813), к нему перешли дворцовые владения в Богородицкой и Бобринской волостях.

¹⁴ Д.П.Трошинский (1754–1829) – министр уделов.

¹⁵ А.С.Строгонов (1733–1811) – член Главного управления училищ, петербургский предводитель дворянства.

¹⁶ Милютин – правитель канцелярии у Муравьева.

¹⁷ Дез-Эссар, Злодеяния Робеспьера, главных его сообщников Марата, Кутона, Сен-Жюста и прочих. Пер. с франц. Ч. 1–4. СПб., 1802–1803.

¹⁸ С.А.Дуров, последний начальник А.Т.Болотова во время управления им Богородицкой и Бобринской волостями.

¹⁹ А.И.Васильев (1742–1807) – министр финансов.

²⁰ Vie privée du maréchal de Richelieu... Т. 1–3. Р., Buisson, 1792–1803.

²¹ Имеется в виду Петр Александрович Толстой. У него, судя по родословной Руммеля, единственный двоюродный брат – Николай Иванович.

²² Имеется в виду дневник, который А.Т.Болотов вел без перерыва в течение нескольких десятилетий.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

И А

РУССКІЙ АРХИВЪ

1911 года.

(49-й годъ изданія)

«Русскій Архивъ» останется и въ 1911 году въ тѣхъ же рукахъ, которыми онъ основанъ почти полвѣка тому назадъ. Повторяемъ заявленіе, сдѣланное нами при открытіи подписки на 1901-й годъ.

Вступающему въ **сорокъ девятый годъ** своего изданія „Русскому Архиву“ не подобаетъ „хвалиться“ предъ читателями „ревностью и постоянствомъ“: онъ можетъ и долженъ выражать лишь удовольствіе о томъ, что мысль и дѣло, для которыхъ онъ начатъ въ 1863 году (въ то время, когда, вслѣдъ за внутреннимъ обновленіемъ Россіи, стали дѣйствовать враждебныя ей силы на окраинахъ), мысль и дѣло нашего народнаго самосознанія плодотворно двинулись впередъ и находятъ себѣ выраженіе въ повременныхъ изданіяхъ, рассчитанныхъ на многочисленныхъ читателей, и въ цѣломъ рядѣ превосходныхъ работъ по исторіи Русскаго государства и Русскаго просвѣщенія.

РУССКИЙ АРХИВЪ

“Родоначальник исторических журналов”, “дедушка исторических изданий” – так говорили об одном из старейших исторических журналов России его современники. “Русский архив”, основанный в 1863 году в бурную эпоху политических и социально-экономических преобразований, отражавший общественный интерес к прошлому, стал свидетелем революционных событий начала нашего столетия и, просуществовав более полувека, тремя номерами встретил год 1917-й.

В более чем шестисотых выпусках “Русского архива”, чаще всего впервые, были обнародованы извлеченные из сырых подвалов, чердаков и каменных хранилищ частных и государственных архивов многочисленные исторические документы – бесценные свидетельства веков минувших. Мемуары, дневники, письма, художественные произведения, проскты, записки, документы официального происхождения писателей, поэтов, ученых, общественных и государственных деятелей XVIII–XIX столетий, – все это помещалось на страницах “Русского архива”.

Не случайно Валерий Брюсов, отмечая значение “Русского архива” в деле обнародования документальных памятников, называл его “эйфелевой башней” в ряду других исторических изданий. И, действительно, значительная роль “Русского архива” состоит не только в том, что на его страницах помещено огромное множество исторических документов. Хотя первые попытки создания русских исторических журналов относятся еще к XVIII веку, некоторые из них существовали и в первой половине XIX века, но, пожалуй, только со времени появления “Русского архива” можно говорить о возникновении “классического” типа исторического журнала, можно смело говорить о выделении

самостоятельной отрасли в отечественной периодической печати – исторической журналистики. Именно после возникновения “Русского архива” во многом по его образу и подобию появляются многочисленные исторические издания – “Русская старина”, “Древняя и новая Россия”, “Исторический вестник”, “Старина и новизна”, журналы “новой формации” – “Былое”, “Минувшие годы” и многие, многие другие. Кстати говоря, эта традиция – множественность исторических изданий – сохранялась еще в первые десятилетия Советской власти, постепенно, но неуклонно исчезая. Сколько призывающих, облачающих, негодующих и многих иных слов было сказано в последние годы в поддержку издания исторического журнала! Хочется верить, что дело основательно и надежно сдвинуто с мертвой точки, а обращение к старым историческим журналам (не столько за опытом, – хотя и за ним! – сколько за материалами, помещенными на их пожелтевших от времени страницах) служит, будем надеяться, речительством серьезных изменений в этом направлении.

Предполагая возможно полное познакомиться современных читателей с журнальной стариной, “Наше наследие” продолжает начатый в первом номере цикл “сообщений-публикаций” с рассказами о старых отечественных журналах и публикацией материалов этих изданий. Впереди и специальный подробный рассказ о “Русском архиве” и вдохновителе этого издания П.И.Бартеневе. Сейчас же в качестве визитной карточки журнала, предоставлю слово материалам первого года издания и последнего.

Год первый – 1863-й: “Русский архив. Историко-литературный сборник. Издан при Чертковской библиотеке”.

Основатель журнала, издатель и редактор до 1912 года – Петр Иванович Бартенев (1829–1912). Историк и архивист, археограф и переводчик, консультант Л.Н.Толстого в его работе над романом “Война и мир”, корреспондент А.И.Герцена, доставивший ему в Лондон для издания тщательно скрывавшиеся “Записки” Екатерины II, один из зачинателей отечественного пушкиноведения – Бартенев, трудом своим, по выражению видного советского ученого М.А.Цявловского – “создал эпоху в русской историографии”.

Ценным и разнообразным было содержание опубликованных в “Русском архиве” в 1863 году материалов. Назовем лишь некоторые из них. Прежде всего, это пушкинские документы. Письма Лермонтова. Отрывки из знаменитых воспоминаний Ф.Ф.Вигеля об И.А.Крылове, Н.М.Карамзине, В.Л.Пушкине. Стихотворения А.С.Хомякова. Отрывки из воспоминаний Василия Пассека. Письма Александра I Г.Р.Державину. Статья об И.С.Никитине. Материалы к библиографии М.Ю.Лермонтова, Н.И.Гнедича, И.И.Дмитриева, К.Н.Батюшкова...

А теперь перелистаем некоторые страницы “Русского архива” первого года издания, воспроизведя также и авторские комментарии, которые сами по себе являются для нас своеобразным свидетельством эпохи, научного и мировоззренческого уровня отдельных ее представителей. Во всяком случае, предлагаемая подборка даст основное представление о тех документальных жанрах и тематических направлениях в обнародовании документов прошлого, которые стали принципиальными и характерными для линии журнала в последующие годы его существования.

МАДОННА ПУШКИНА

Начинаем наши библиографические заметки стихотворением Пушкина “Мадонна”, которое нам позволил выписать из своего альбома известный и достоуважаемый ревнитель просвещения Юрий Никитич Бартенев. Разноречия против общеизвестного и всем памятного текста напечатаны здесь курсивом. Пушкин только что перед тем (8 июля 1830 г.) сочинил эти стихи, имевшие некоторое отношение к тогдашним обстоятельствам его жизни. Не было ничего приличнее, как поместить их в записной книжке любителя изящного и в то же время человека, с любовью преданного религиозному созерцанию. Потом Пушкин отдал их напечатать в альманах “Сиротка”, издававшийся в 1831 году в Москве в пользу призрения бедных сирот. Так в самых мелких подробностях просвечивает тонкое нравственное чувство великого поэта.

“СОНЕТ

Не множеством картин *бессмертных* мастеров
Украсить я *давно* желал *мою* обитель,
Чтоб суверенно им *двигался* посетитель,
Внимая важному суждены знатоков.

В простом углу моем, средь медленных трудов
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и с *Ней играющий Спаситель* –

Она с величием, он с разумом в очах –
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.

Желания мои свершились. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

30 августа 1830 г.
Москва.

В память любезному Юрию Никитичу Бартеневу”.

АНЕКДОТ

Известный любитель художеств граф Александр Сергеевич Укрестанов пожелал однажды услышать гнедичев перевод “Илиады” и для того пригласил переводчика к себе на обед. После стола началось чтение, и старый граф под звуки гекза-

метров немножко вздремнул. Гнедич читал очень выразительно; в одном месте кто-то из героев заговорил у него: "Ты спишь и пр." Слова эти Гнедич произнес так громко, что Строганов в испуге вскочил с кресел и стал уверять, что он не спит, а слушает.

ИЗ ПИСЕМ ЕКАТЕРИНЫ II СТАТС-СЕКРЕТАРЮ А.В.ОЛСУФЬЕВУ.

Адам Васильевич, я чаю, Ломоносов беден, сговоритесь с гетманом: неможно ли ему пенсион дать, и скажи мне ответ. В Москве 28 апреля 1763 г.

(Эта записка делает особую честь Екатерине, доказывая забывчивость ее о Ломоносове (1711–1765). Гетман – гр. К.Г.Разумовский, президент Академии наук).

Адам Васильевич, скажи бога ради, что за причина, что из Москвы соболей для турка не везут и вовсе, как с соболями у вас обходятся? Если кабинет не может управиться с мягкой рухлядью, то скажите скорее, дабы я могла иных мер взять, и не давайте непорядку какому усилиться; сказывают, ваш курьер четыре недели уже как послан, а ответу нету. 6-го ноября 1764 г.

(Турецкий посол имел у императрицы в 1764 году две аудиенции: приемную 14 октября и отпусковую 25 октября. Между тем подарки для него не были еще получены в Петербурге 6 ноября, и императрица справедливо сердилась за такое промедление.)

Адам Васильевич, вы имеете сказать, а лучше написать моим именем к Александру Петровичу Сумарокову, что, как его сочинения печатаются на счету кабинетном, он впредь воздержался б соблазнительных слов для слабых употреблять, как ныне в его басне, называемой "О двух поварах", также трогающих и честь кого, как в той же басне история его с князем Шаховским. Сей последний, кажется, своим весьма умеренным поступком против Сумарокова сие не заслужил. Я желаю, чтоб остановлена была продажа сей пьесы, а впредь предпишите, где его Сумарокова сочинения на моем коште печатаются, чтоб без сensure их не печатали, понеже я не хочу, чтоб подумали, что я дерзости против почтения закона и благопристойности потакала, также почтенных людей под моим покровительством выдавала на непристойное ругательство. *Mesurez bien vos Zermes dans cette lettre, car nous avons à faire à une tête cnaude qui comence à perde la tramontane si elle n'est pas deja perdue depuis long temps. Mais enfin faites qu'il retire ses sottises ou retirez les vous même.*

При сем прилагаю известную пиесу.

30 апреля 1765 г. Екатерина

Александр Петрович Сумароков (1718–1777), известный писатель, который имел столько неприятностей по строптивости нрава и насмешливости ума. Читая теперь его притчи, невозможно представить себе, чем могли они нравиться современникам. Но объяснения на некоторые из них, сохраненные преданием, указывают на причины их успеха: они по большей части писаны на известные случаи и на лица, теперь вовсе почти неизвестные. Это письмо Екатерины служит новым тому доказательством. Притча "Два повара" [...] без комментариев представляет нелепость, не искупаемую ни одной остротой или забавной в наше время шуткой. Она состоит из 56 стихов; первые 18 вовсе не идут к делу; тут только какие-то шутки насчет подъячих и т.п., вероятно исполненные личностей. Затем описан какой-то господин, "сын дьячий иль боярин, иль выезжий татарин", имеющий карету и пр., но у которого нет повара. Он отдает двух парней учиться; они выучились, и барин сзывает гостей, притом знатных. Повара кладут все в один котел" и соль, и сахар, и каплуна, и щуку, и капусту. Вышел из этого блюда "хаос". Хозяин с шагаю гонится за убегающими поварами. Знатные гости разъезжаются не евши – притче конец. Нет сомнения, что основанием ей послужил какой-нибудь известный тогда анекдот с князем Шаховским, но с каким именем – неизвестно. В письме Екатерины запечатлены французские слова, так верно характеризующие Сумарокова: "Взвесьте хорошенько ваши выражения, потому что мы имеем дело с горячей головой, которая начинает терять смысл, если уж давно не потеряла его. Однако сделайте так, чтоб он поправил свои глупости, или поправьте их сами".

РАЗГОВОР С А.П.ЕРМОЛОВЫМ Из недавних записок

26 декабря (1854) я сидел у Г., с которыми жил на одном дворе. Часов около 4 после обеда меня неожиданно вызвали. Алексей Петрович Ермолов прислал человека звать меня к себе. Хотя тотчас я догадался, что верно есть письмо или посылка от Б.¹, но этот зов взволновал меня, тем более что вчера² за холодом и усталостью, я не съездил поздравить Ермолова, представляя себе исполнить эту обязанность в Новый год. Было ровно 5 часов, когда я шел по темной лестнице и пустынными комнатам Пречистенского дома, где *никнет главою лавровой* славный наш полководец. Направо из большого коридора ввели меня в кабинет его. Он недавно отобедал, сидел, накупившись, за широким столом своим с увеличительным стеклом в руках и разбирал какое-то письмо.

"Здравствуйте, милостивый государь! Прошу покорно садиться. Я не решился бы вас беспокоить, если бы графиня NN не приказала мне", – проговорил он мне с обыкновенною своею учтивостью. Я отвечал, что мне много чести в этом, и что я очень благодарен графине, доставившей мне случай видеть его высокопревосходительство.

"Она прислала с моим сыном письмо к вам и надписала, чтобы передать из рук в руки". Тут он мне подал письмо, придвинув свечки и сказал, чтобы я читал и, что можно, прочел бы вслух. Несколько смущенный, я старался читать скорее, но он сам по-прежнему взялся за увеличительное стекло. Пробежав письмо, на вопрос его, нет ли чего нового, я прочел вслух то, что сообщала NN о твердом намерении государя отставать Россию, хоть бы пришлось на Москве и на Урале, и о рвении молодых великих князей³. Он заметил, что летние экипажи уже отправлены для них вперед в те места, где прекращается санный путь.

Не помню, как-то после минутного молчания (которое меня бесило, ибо я боялся, что придется мне раскланяться и окончить эту дорожную беседу) зашла речь о вчерашнем дне. Он сказал, что видел мое имя на росписном листе, но чтобы я извинил его, что он в большие праздники никого, даже и родственников, не принимает, зная, как тяжелы минутные визиты, что доброго знакомого приятнее ему видеть запросто и проч. Я не знал, что подумать: искусный ли это упрек, или может быть, он ошибся и принял за мое имя кого-нибудь другого. Говоря о вчерашнем дне, я упомянул о плавном гуле большого Ивановского колокола, и его заметкой о том, что Наполеон нарочно заставлял в Москве звонить в колокола, наслаждаясь их звуками, завязался разговор. Алексей Петрович стал вспоминать сдачу Москвы. Он проехал из Дорогомиловской во Владимирскую заставу позднее всех, потому что, когда проходила армия, он оставался на Дорогомиловском мосту, дожидаясь Милорадовича, командовавшего арьергардом, дабы передать ему некоторые приказания Кутузова (при котором он был начальником штаба). Он видел в Москве отъезжающие экипажи, в церквях еще попадались люди. Кутузова он нагнал уже за Владимирской заставой. Там вечером они услышали взрыв, раздавшийся в Москве. Тут Ермолов вспомнил слова, сказанные Ростовичным поутру того дня, на совещании в Филях, граф Федор Васильевич говорил генералам: "Напрасно заботятся о Москве: из нее все вывезено. Неприятель найдет в ней французские вина, богатую мебель, и ничего для армии. Все драгоценное спасено. Да при том же *она скоро запылает*". Ростовичин сопровождал главную квартиру несколько времени. В лагере под Тарутиным Ермолов заслушивался его умных речей. Тут мы вспомнили о Жуковском, и Ермолов заметил о том, что он помогал Скобелеву писать бюллетени и по своей скромности позволил ему пользоваться незаслуженною славою. Андрея Кайсарова, который заведывал походною типографией фельдмаршала, он не помнит, а называл брата его Паисия, который был любимцем Кутузова. Последний, по словам Ермолова, ценил Жуковского за его сочинения.

Тут я заметил о том, что великие наши полководцы отлича-

¹ Я был представлен А.П.Ермолову летом 1854 года на даче у гр. Б[лудовой]. Желая иметь повод ближе познакомиться с ним, я просил гр. Б. помочь мне, и она была столько обязательна, что нарочно прислала Ермолову письмо ко мне с тем, чтобы он вызвал меня для получения этого письма.

² На праздник рождения Христова.

³ Их императорские высочества, великие князья Николай и Михаил Николаевичи отправлялись тогда под Севастополь.

лись образованием. “Да, – отвечал он, – нынче все говорят про университеты; они не были в них, а исполнены были обширных познаний”. Особенно хвалил он князя Репнина, при котором служил в Риге, и Михаила Федотовича Каменского. Он помнит, как раз поехавши к нему в Сабурово (12 верст от Орла, они были соседи) с отцом своим, он застал его за пюпитром: фельдмаршал читал новое математическое сочинение (кажется, Десори) и поверял алгебраические его выкладки. При этом Каменский отличался необыкновенною скромностью. Никогда не скажет: *я знаю*; но его *кажется* было евангельскою истиною.

Разумеется, разговор зашел и о Суворове. Алексей Петрович, начавший службу при Репнине, поступил к Суворову в 1794 г. и за взятие Праги получил георгиевский крест. Он еще прежде рассказывал мне, как в Варшаве Суворов принимал новопоступивших офицеров в великолепных покоях примаса, в которых велел выставить окна. Был страшный мороз, и Суворов говорил, что он вымораживает из них *немогузнайство*. Суворов сделал для них обед: поставлены были какие-то глубокие чашки с отвратительными щами; потом подали ветчину – в конопляном масле. Никто не смел отказываться, и все ели, потому что фельдмаршал сам беспрестанно похваливал. По взятии Праги Ермолов поехал в отпуск и был на прощании у Суворова. Когда Ермолов упомянул, что поедет на Гродно (где была главная квартира Репнина), Суворов не утерпел, чтобы не затронуть Репнина. “Ты не застанешь его в городе, он разъезжает перед фронтом”. Это была язвительная насмешка; в то время как взята Прага, Репнин только чванится своим саном и показывает себя солдатом. Суворов был непримиримым врагом Репнина. По словам Ермолова, Репнин по великодушью прощал его, но Суворов не был к тому способен. Как-то заговорили о зяте его Зубове, и Ермолов отозвался о его ничтожестве, заметив, что Суворов прочил дочь любимому своему полковнику Золотареву, погибшему на штурме Измаила. Отдавая дочь свою за Зубова, Суворов не искал протекции: она уже не была нужна ему. Ермолов с увлечением говорил о великом нашем герое. “Написать его историю никто не может; его характер ускользает от описания. Фукс приставлен был к нему в соглядатаи, и чрез несколько дней, побежденный его величием, предался ему навсегда”. Ермолов очень часто видался с Фуксом. По его словам, очень многих анекдотов Фукс не решился обнародовать. У Ермолова лежат 4 фолианта копий с переписки Суворова с разными лицами, данные ему для прочтения.

Упомянув о том, что во время своего пребывания в Спб. после взятия Праги, Суворов отлично принимал в Таврическом дворце Державина, я завязал разговор про наших поэтов и мало помалу довел до Пушкина. Я весь был внимание, когда наконец зашла о нем речь. “Конечно, беседа его была занимательна?” – “Очень, очень, очень!” – отвечал с одушевлением Алексей Петрович. Он виделся с ним в Орле вскоре после своей отставки. Пушкин сам отыскал его. “Я принимал его со всем должным ему уважением”. О предмете своих разговоров с ним Ермолов не говорил. Он утверждает, что это было в июле 1827 года; но я не знаю, зачем Пушкину быть тогда в Орле. Не в 1829 ли, проездом на Кавказ? Больше они не виделись. Как хорош был сребровласый герой Кавказа, когда он говорил, что поэты суть гордость нации. С каким сожалением он выразился о ранней смерти Лермонтова! “Уж я бы не спустил этому NN. Если бы я был на Кавказе, я бы спровадил его; там есть такие дела, что можно послать, да вынудивши часы считать, чрез сколько времени посланного не будет в живых. И было бы законным порядком. Уж у меня бы он не отдался. Можно позволить убит всякого другого человека, будь он вельможа и знатный: таких завтра будет много, а этих людей не скоро дождешься!” И все это седой генерал говорил, по-своему притопывая ногою. На мои глаза, он был истинно прекрасен. Это слоновое могущество, эта неповоротливая шея с шалашом седых волос, и этот ум, это одушевление на 78-м году возраста! Передо мною сидел человек, бравший с Суворовым Прагу, с Зубовым ходивший в Дербенту, с Каменским осаждавший турецкие крепости, один из главных бойцов Бородина и Кульма, гроза Кавказа. И после этого говорите против екатерининского века. Он его чадо!

Алексей Петрович как будто сам был доволен разговором. При прощании он сказал мне несколько любезных приветствий...

АНЕКДОТ

Члены арзамасского общества видели в А.С.Шишкове своего литературного неприятеля. Однажды, когда зашел разговор об этом представителе тогдашних славянофилов, кто-то отозвался о нем: “Про Шишкова нельзя сказать, чтобы он был хороший писатель и человек образованный, но нет сомнения, что он твердо *держится* правил родного языка”. “Совсем нет, – возразил один арзамасец, – он *одержим* ими”. Разговор был на французском языке: “il possede sa langue, – il en est possede.”

ПЛАН РОМАНА ИЗ ЖИЗНИ МИРОВИЧА И ЗАПИСКИ О НЕМ Г.Ф.КВИТКИ (ОСНОВЬЯНЕНКО)

За сообщение этой статьи мы обязаны благодарностью М.П.Погодину, который передал нам ее в собственноручном подлиннике Г.Ф.Квитки. Трагическая судьба Мировича, естественно, должна была занимать малороссиян, его единоземцев: так, канцлер кн. В.П.Кочубей, имев в руках подлинное следственное дело, составил особую записку о кончине Иоанна Антоновича. [...] Обращаем внимание читателей на окончание предлагаемой статьи, где приведены замечательные исторические предания, и впервые указывается на участие графа К.Г.Разумовского в деле Мировича. До какой степени оно достоверно, вопрос мудреный; но нельзя не вспомнить, что попытка отважного подпоручика совпадает по времени с отнятием у Разумовского гетманского достоинства (казнь Мировича в сентябре, уничтожение гетманства в ноябре того же 1764 года).

Можно бы интересный составить исторический роман из горестной жизни несчастного принца, бывшего в России под именем императора Иоанна III-го Антоновича.

Из двух приставов, находившихся при нем (кто они, известно из манифеста о Мировиче), можно одному придать характер честолобивый, скрытный, коварный. Или дать ему дочь с самым необыкновенным для девицы характером: скрытным, предприимчивым, сильным, смелым, честолюбивым без меры, твердым, решительным и на все готовым для достижения цели своей. Она, возвратясь из чужих краев, где получила образование с семейством князя**, нашла отца при сем принце. Основала план освободить его, возвести на престол и быть его женой, а смотря по обстоятельствам, и царствовать. Комнаты принца были в середине; приставов его с одной и другой стороны. Что происходило на половине одного пристава, другой не мог знать и даже слышать. Они дежурили при принце поденно. Свободный пристав мог заниматься у себя чем ему было угодно; свободен был вовсе не входить к принцу и даже позволялось ему приезжать в Петербург, всегда с позволения князя***, одного заведывающего секретною экспедициею касательно несчастного¹. Дочь скоро овладела умом отца и склонила его на свою сторону. Другой пристав был без большого ума, без проницательности и предусмотрительности (или и напротив, чтобы сделать интереснее завязку в противудействие его, замыслам товарища). Девица, надеясь на свои прелесть, хочет ими привлечь Иоанна к своему намерению и узнать его, дабы удачнее расположить план свой. В дежурство отца ее, когда он находился у принца, она входит к нему, сказав часовому пароль. Принц, который вовсе не был таков, каким его по необходимости изображали в манифесте, поражается наружностью девицы (к чему много способствовали лета и уединение, в котором он был содержан). Девица, извинившись необходимостью, приведшею ее к отцу, поговорив немного с принцем, уходит. Несчастный, не имев образования, действует натурально; просит отца позволить дочери беседовать с ним иногда; отец соглашается, но взял с него клятву никак не говорить товарищу о сем новом знакомстве. Знакомство скоро сделано. Хитрая скоро проникла принца; говорила с ним, читала, рисовала, день ото дня далее и далее додела его до сознания в любви и заключила с ним условия, чтоб ни последовало с ним в лучшем обстоятельстве, он женится на ней. Тут она приступила к исполнению своего намерения: часто приезжая в Петербург, успела в некоторых

¹ В “Манифесте” сказано, что приставы Власьев и Чекин состояли в ведении у Никиты Ивановича Панина, которому и послано было первое донесение об умирении Иоанна.

важных особах поселить к принцу жалость, при неудовольствии на тогдашнее правление дала повод мыслить и действовать к перемене; но все шло не так, как ей хотелось! Она везде находила холодное расположение к действию, и только готовность и обещание при воследующем начале помогать. Случай сводит ее с Миновичем, человеком подобного же характера, как и она, но вдобавок озлобленного первыми вельможами. Они знакомятся, сближаются. Девушка влюбляет его в себя, дает ему мысль о возведении Иоанна на престол и поселяет в него надежду стать при нем генералиссимусом, светлейшим князем и пр. и пр. Молодой человек видит возможность, просит между прочим руки ее; она не отказывает, но тогда как они устроят счастье России, по мнению их. Принимаются действовать горячо, благородно и осторожно. Минович, как караульный офицер, введен к принцу, и как он после сего часто напрашивался в караул к нему, то и часто беседовал с ним, и делали общее предположение к переменам в России. Минович всякий раз приносил списки новых заговорщиков, пристававших к их партии; много было даже и из знатных, но, разумеется, не первоклассных, ибо уже тем нечего было получать более. Далее и далее, все готово было к началу действия. Екатерина была в отлучке из столицы. Назначен был день, когда должно было так называемого императора вывести из Шлиссельбурга; торжественно ввести в Петербург; в Казанском соборе, объявив право свое. Иоанн должен был принять присягу. Уже тысячи экземпляров манифеста о вступлении на престол Иоанна третьего были напечатаны и хранились у девицы; у ней же был приготовлен манифест, подписанный Иоанном о признании ее супругою и императрицею. Минович вовсе не знал о сем и не подозревал никакой связи у его возлюбленной с принцем, а полагал, что она действует для пользы его (Миновича) и из любви к нему.

В назначенный день все было в ожидании. Петербургские заговорщики сидели тихо по домам, имея экипажи и нарядные платья в готовности, при первой вести скакать в Казанский собор, чтоб торжественно учинить клятвopепреступление¹. Уже Минович с ротою своею при барабанном бое и восклицаниях вошел в Шлиссельбургскую крепость, уже арестован им комендант, и все в его руках... уже подходит к тюрьме принца... Громкие восклицания: "Да здравствует наш император Иоанн третий!" – беспрестанно повторяются солдатами, ничего не понимающими, что и для чего делается. Но, ослепленные в восторге от удач своих, действующие забыли взять все предосторожности. Другой пристав, быв оставлен действующими без замечания, по повелению общего о благе нашем Промысла на шум выходит и спрашивает: что им надобно? Ослепленный Минович вместо того, чтобы взять его как последнее препятствие и потом торжественно вступить в прежде бывшую тюрьму, а теперь превращающуюся во дворец, повелевает ему торжественным голосом: "Требуем императора Иоанна третьего! Изведите его из заключения; Россия ожидает своего государя". Пристав удалился и спешит в комнаты принца. Там несчастный, видя наступающую минуту свободы своей, проливая радостные слезы, в объятиях своей возлюбленной и отца ее, клялся им снова о немедленном исполнении обещания своего. Среди волнения и радости, они не чувствовали вошедшего пристава, не слышали, как сей, схватя тут же лежащую приготовленную для императора шпагу, вонзил ее сему несчастному в бок!!! Стон, произведенный умирающим, окаменеваает окружающих его! Пристав, подхватив упавшего принца, поражает его еще в грудь и тащит к Миновичу... Сей тут же решил участь свою. Увидев несчастного, плавающего в крови, он командует на караул! – бьют полный марш, преклоняют знамя, он подходит к умирающему, салютует, сказав: "Вашему величеству последнюю честь отдает ваш верноподданный!" Принц еще слабо мог сказать: благодарю! – и... умирает!!! Минович командует: к ногам! по домам! Снимает шпагу, отдает ее приставу, сказав: я ваш арестант! Посылает освободить коменданта и с спокойным духом идет на гауптвахту².

Как ни быстро, неожиданно и ужасно было сие действие, но хитрая никак не потерялась и при последнем вздохе принца выбегает из тюрьмы с отцом своим и с благодарными слезами обращается к приставу, признавая его спасителем России от

несчастий и их чести и жизни. Легковерный, при таковых обстоятельствах, еще легче вдается в обман: оба уже они, поручив арестанта освобожденному коменданту, пишут донесение к князю** о происшествии, складывая всю вину на Миновича; изменивший пристав в свое оправдание пишет, что он, услышав барабанный бой и крики солдат, бросился к принцу, застал его готового броситься из своих комнат к мятежникам и что когда он его удерживал, то принц будто бы хотел его заколоть; на шум и крик при защите его, прибежала дочь и в страхе бросилась удерживать принца, в самую ту минуту вошел другой пристав и решил все!!! До получения решения из Петербурга сожжены все манифесты и все уничтожено.

Скоро Миновича перевезли в Петербург и начался над ним суд, известный из актов. О приставах и дочери одного из них ничего не было известно, какая судьба их постигла. В актах действительно ничего о них не упомянуто, их имена не встречались нигде, и даже знакомые их не получали уже никогда от них никаких сведений (об этом мне говорили тогдашнего времени люди, знавшие в подробности дело сие).

Так или гораздо лучше, завязчивее можно бы составить что-нибудь очень интересное. Сколько тут приплести можно происшествий, сколько эпизодов; как бы интересно описать можно было тогдашний род жизни, обычаи двора, вельмож, их честолюбие: одних, страдающих от приобретения неизвестными до того офицерами Орловыми чести, богатства и большого влияния на дела государства, других, вымышляющих планы к свержению их, проложению себе дороги к их степеням и проч. и проч. Я только расскажу о слышанном мною от знавших достоверно все происшествия при суде над Миновичем и конце его.

Наряженный суд открыл свое заседание. Минович был введен. Граф Гр.Гр.Орлов спросил его тоном вельможи-судьи, допрашивающего государственного преступника; Минович отвечал: "Я предпринимал сделать то, что вашему сиятельству удалось и поставило вас в возможность говорить со мною таким тоном. Но поверьте мне, граф, что жели бы я успел в своем намерении и натурально тогда мы с вами были бы в противных теперешнему отношениях, то я вас бы не винил. Не вините же и вы меня, граф, за то, что я, идучи по стопам вашим, не был так счастлив в успехе, как вы". Когда спросили его, кто подал ему мысль предпринять такое ужасное дело? Минович отвечал: г. гетман, граф К.Г.Разумовский. Как? – вскрикнули все и граф тут же находившийся. Минович объяснил, что во время измены еще Мазепы, предки его были невинно оговорены и имения у них отобраны. По окончании исследования они найдены невинными, возвращена им свобода и честь, положено было отдать и имение, но за разными справками и т.под. дело было без конца, забыто и брошено вовсе. Минович, зная свое право, просил гетмана Разумовского рассмотреть его право и хотя часть возвратить. Граф обратил просьбу его в шутку; сказал своим наречием, что мертвого из гроба не ворочают; ты, молодой человек, сам себе прокладывая дорогу, старайся подражать другим, старайся схватить фортуна за чуб и будешь таким же паном, как и другие. Эти слова графа подали ему мысль искать счастья в возведении принца на престол. Комиссия суда прилагала все старание узнать его соучастников. Увещевали его в присутствии, наедине, наряжены были духовные лица убедить его, обещано ему было совершенное прощение, забытие всего, даже награды; но Минович был тверд и решительно утверждал, что ни один человек не знал и никто ему не способствовал ни в чем. Поговоривши о пытке, Минович отвечал: знавши меня, неужели вы надеетесь успеть сим средством в своем намерении? Екатерина, узнав о предполагаемой пытке, строжайше оную запретила, сказав: "Оставим несчастного в покое и утешим себя мыслию, что государство не имеет врагов".

Войска, наряженные быть при исполнении казни, имели ружья заряженные при полном числе патронов. Прочие полки были собраны по полковым дворам и находились там чрез целый день; и им розданы были патроны. В последующую ночь усилены были везде караулы и строжайше наблюдаемы были улицы города. Но везде было покойно, как равно и в следующие дни.

Минович, ведомый на казнь, увидев любопытствующий народ, сказал близ него находившемуся священнику: "Посмотрите, батюшка, какими глазами смотрит на меня народ. Совсем бы иначе на меня смотрели и даже приветствовали бы при

¹ Сколько тут было замыслов, надежд, ожиданий!!! Прим. Квитки.

² Все сие последнее происшествие, о смерти принца и поступке Миновича, спр-ведливо. Прим. Квитки.

появлении моем, ежели бы мне удалось мое предприятие”. Прибыв на место казни, он спокойно взшел на эшафот; он был лицом бел и замечали в нем, что он в эту минуту не потерял обыкновенного своего румянца в лице, одет он был в шинель голубого цвета. Когда прочли ему сентенцию, он вольным духом сказал, что он благодарен, что ничего лишнего не взвели на него в приговоре. Сняв с шеи крест с мощами, отдал провожавшему его священнику, прося молиться о душе его; подал полицмейстеру, присутствовавшему при казни, записку об остающемся своем имении, прося его поручить камердинеру его исполнить все по ней; сняв с руки перстень, отдал палачу, убедительно прося его, сколько можно удачнее исполнить свое дело и не мучить его; потом сам, подняв длинные свои, белокурые волосы, лег на плаху...!!!

Палач был из выборных, испытан прежде в силе и ловкости. Он должен был одним ударом отрубить голову барану с шерстью; после нескольких удачных опытов, допущен к делу и... не заставил страдать несчастного.

Говорят, что будто Екатерина располагала непременно даровать жизнь преступнику; подписала о сем указ скрытно от окружающих ее, дабы выслать его к эшафоту пред исполнением; но была обманута действовавшими; будто казнь совершена днем ранее, нежели по докладу ей он был назначен, может быть, некоторые интересовались, чтобы он был казнен скорее.

* * *

Итак, эти материалы были опубликованы в “Русском архиве” 1863 года. В последующие годы в нем широко помещались документы по истории отечественной литературы. Особую страницу в истории журнала занимали многочисленные публикации пушкинских материалов. Дневники и мемуары о политической жизни XVIII и XIX веков, материалы по истории русской общественной мысли, по истории восстания декабристов – и здесь “Русский архив” был одним из первых журналов, широко освещающих эту героическую страницу в истории русского освободительного движения. Многие русские писатели и поэты обращались к документам журнала как к “живительному” фактическому источнику для своих произведений. Среди них – Л.Н.Толстой. А известный исторический романист Г.П.Данилевский, в частности, писал П.И.Бартеневу 15 августа 1874 года: “Тому только может быть ясна эта польза и приносимое вами не одному поколению писателей добро, кто вздумает, подобно мне, начать исследования в документах исторических для историко-литературного труда. Вот уже несколько лет я готовлюсь к написанию исторического романа “Иван VI Антонович” (заглавие будет другое)...” (ЦГАЛИ, ф. 46, оп. 1, ед.хр. 566, ч. II, л. 163 об.).

И, конечно же, “Русский архив” – сущий клад для современных исторических романистов.

К 1917 году, пятьдесят пятому году своего существования, “Русский архив” прошел долгий путь, в его истории были блестящие удачи и неудачи, была шедшая с переменным успехом борьба с цензурой, было признание читателей, но также были и отрицательные оценки и отклики...

Как бы то ни было, но к концу своего существования журнал подошел на излете: лучшие его годы были позади. И далеко позади. Будучи порождением иной эпохи и представляя в ней яркое историко-культурное явление, “Русский архив” окончательно “состарился” к 1917-му году, знаменовавшему собой рождение новой эпохи.

Среди материалов трех выпусков журнала начала 1917 г. – письма Н.А.Оболенского, В.М.Ундольского, К.П.Победоносцева, М.М.Сперанского и др., “Записка” консервативно настроенного историка Н.М.Павлова, воспоминания А.Л.Филипповой, Л.Е.Кедриной... Откроем страницы журнала, на которых помещены воспоминания Л.Е.Кедриной.

ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Скончавшийся прошлой весной, 20-го мая, мой отец, отставной подполковник генерального штаба, Евгений Никанорович Кедрин, военный по началу жизни, по выходе в отставку в 27-летнем возрасте – педагог, одно время весьма знаемый в Москве, был вместе с тем одним из немногих оставшихся в живых ветеранов славной севастопольской обороны. Родившись в 1834 году, принадлежа воспитанием и первым годом своей военной службы эпохе николаевского времени, отец и по выходе в отставку на всю жизнь сохранил типические черты служаки-николаевца в лучшем смысле этого слова. Благоговейно чтивший имя царя, пламенно любивший свою родину, твердо вярвавший в ее высокое призвание, отец

был вместе с тем человеком, который смотрел на свои обязанности как на священный долг, который надлежало нести бескорыстно, безропотно и безупречно. Свидетель великого исторического события – обороны Севастополя, лично знавший многих славных деятелей этой обороны, отец мог бы дать ценные исторические воспоминания [...]

Из дворянского полка отец мой был выпущен в артиллерию, в одну из бригад, стоявших на Северном Кавказе. Бригада вскоре была двинута к Севастополю, уже угрожаемому неприятелем.

Отец мой провел целую зиму в походной палатке на так наз. северной стороне на берегу бухты, в виду Графской пристани, но ему ежедневно приходилось бывать в самом Севастополе по делам службы. Перезимовать в палатке было нелегко, особенно если принять в соображение, что зима была довольно суровая. Офицерам приходилось помещаться втроем в обыкновенной лагерной палатке, спать, не раздеваясь, на земле, подослав под себя немного соломы, которая намокала во время мокропогодия. От грязи заворачивались в одежду всевозможные паразиты; словом, приходилось испытывать все условия военной стоянки – хорошо известные в наше боевое время. В таких условиях штабным офицерам (отец мой был прикомандирован к штабу) приходилось работать над бумагами. Столы заменяли доски, которые держали на коленях. Ложиться приходилось рано, вставать с рассветом, потому что рабтали, пользуясь исключительно дневным светом.

Однажды, встав поутру, отец услышал величавый гул – это началась канонада неприятельских и русских орудий; не было слышно ни ружейных залпов, ни грохота отдельных орудий – звуки их “сливались в протяжный вой”... Взрывы пороховых складов от попадания в них неприятельских снарядов одни раз нообразили этот гул. Уже к двенадцати часам дня свет дневной померк от дыма, солнце казалось красным пятном... Бухта предстала как бы кипящею от попадавших в нее снарядов... Несколько лет тому назад, рассматривая в Севастополе грандиозную панораму его обороны и картину Айвазовского, изображающую севастопольскую бухту во время обороны, отец обратил внимание на то, что бухта в обоих случаях изображена слишком покойно – бухта в действительности одно время буквально кипела. Нашел отец некоторое несоответствие правде и в изображении боя на бастионах – в действительности бой являлся гораздо более кровавым, некоторые бастионы были почти залиты кровью и завалены трупами...

Отец участвовал в сражениях Балаклавском, Инкерманском и при Черной речке. В Балаклавском бою, находясь на высоте при батарее, он видел, как в панораме, стремительную атаку Кардигана, коей имел возможность проследить почти весь путь. Видел, как пронеслась долиною его блестящая кавалерийская бригада, как она врезалась в стрелковые цепи нашей пехоты и как плачевно окончилось для нее ее безумное выступление. Как очевидец события, отец не соглашался с историей, признавшей ее большой первоначальный успех. В этом парадном марш-марше было, по его оценке, много блеску, но мало смысла. Как выражался отец, эта атака явилась отрицательным примером безумной отваги, сделала на него впечатлительнее чего-то дикого, нелепого: Кардиган пронесся со своею частью как сумасшедший по открытой местности, среди долины, как будто только за тем, чтобы его жестоко побили – попав под обстрел нашей артиллерии, он сразу стал терпеть большой урон – успешное действие так вдохновило наших артиллеристов, что многие офицеры, отстраня наводчиков, сами стали направлять орудия, которые своим метким огнем сразу внесли расстройство и смятение в ряды бешено несущихся всадников – все представлялось “как на ладонке”, и было видно, как эти всадники один за другим начали валиться с лошадей...

Назначенный адъютантом к начальнику оборонительной артиллерии генералу Кишинскому, в штабе князя Меншикова, отец мой побывал с ним в Инкерманском бою. Печальный исход этого сражения известен истории. Отец не раз высказывал наблюдение: настроение в начале боя как бы предвещает его конец, – как показалось отцу, перед Инкерманским боем настроение было неважное. Ночь в канун боя войска провели на высотах. Ночь выдалась исключительно холодная, редкая в крымском октябре, от стужи, усиливаемой ветром, офицеры и солдаты почти не спали. Отец упоминал, что он не мог заснуть ни на мгновение; тщетно кутался он в

широкую, но холодную шинель, ноги и руки его буквально зачленели. С рассветом войска зашевелились; спускаясь с высоты, колонны повели в бой – эти колонны проходили одна за другой мимо штаба, расположенного на высоте. Отец, который видал не раз войска, направляемые в бой, на этот раз невольно обратил внимание на исключительно мрачное настроение солдат: выражение всех лиц было сосредоточенно и сурово. Спускаясь в долину, где они должны были принять бой, солдаты как по команде начинали дружно креститься, и отец припоминал, как ему пришлось в голову, что многие из них не вернутся назад. С высоты, на которой был расположен штаб, было видно ясно, как эти колонны одна за другой вступали в область огня. Стройно шедшая колонна вдруг начинала оставлять за собой отдельные светлые полоски – это были убитые и раненые, распростертые на земле, солдаты, выхваченные пулею или осколком гранаты из рядов товарищей, продолжавших бодро шагать вперед.

Еще одно частное происшествие мрачно отметил в воспоминаниях отца Инкерманский бой – происшествие, тогда склонившее его к вере в какой-то таинственный рок. Накануне Инкерманского сражения к ним в штаб был прислан из Петербурга некто Комстадиус – молодой гвардейский артиллерийский офицер. Высокий, стройный, красивый, прекрасно воспитанный и образованный, полный горячего стремления послужить родине – он сразу расположил к себе сердца всех. Начальник оборонительной артиллерии назначил прибывшего к себе в адъютанты и, располагая уже одним адъютантом, моим отцом, предложил прибывшему в Севастополь переждать до конца Инкерманского сражения. Комстадиус, видимо, был этим страшно огорчен и упрашивал своего начальника взять его с собою в бой.

Генерал Кишинский, старый кавказский генерал, посевший в боях, сказал ему:

– Все это хорошо – ваш порыв прекрасен, но знаете ли, молодой человек, что я вам скажу: в нашей многолетней службе мы привыкаем верить одному предрассудку, которому вы, может быть, только посмеетесь – никогда не надо напрашиваться в бой, ждите, когда вас назначат!

Молодой храбрец стоял на своем, и начальник уступил его просьбе. На другой день выехал на позицию и весь штаб армии с кн. Меншиковым во главе. Мой отец и Комстадиус, как адъютанты генерала Кишинского, находились тут же верхом на лошадях в ожидании приказаний своего начальника. Бой закипел: загудели ядра, засвистали пули и весь штаб, находившийся на высоте на открытой местности, оказался под обстрелом врага. Внезапно одно ядро упало на землю как раз под брюхом лошади генерала Кишинского и, контузив ему ногу, но не причинив вреда его лошади, сделало рикошет над головой моего отца, не задев его нимало. Спустя несколько мгновений Комстадиус пронзительно взвизгнул. Страшный визг удивил отца, потому что в бою стоны и крики раненых редко бывают слышны, будучи заглушены гудением ядер и свистом пуль – о них можно бывает догадаться лишь по страданию, вызванному изменением черт лица. Но Комстадиус вскрикнул так громко, что крик его был слышен. Вскрикнув, он стал, как показалось отцу, медленно и осторожно слезать с лошади. Отец мой поспешно соскочил с лошади и бросился было на помощь раненому.

– Оставьте его, он убит! – сказал моему отцу его начальник, посевший в боях.

Точно – Комстадиус был убит наповал, пораженный пулею или осколком снаряда прямо в сердце...

Тот же рок, который сразил Комстадиуса, хранил моего отца. Отец рассказывал, что он испытал страх лишь в начале первого боя; далее, убедившись, что неприятельские выстрелы не причиняют ему вреда, он совершенно забывал про опасность, испытывая страх лишь по временам, в редких случаях и весьма слабой степени; он как бы уверовал в свою неуязвимость для снарядов и пуль вражеских – правда, в этом же Инкерманском бою он был слегка ранен в ногу, но почел рану настолько неопасною, что даже не покинул строя для перевязки ее и, вовсе умолчав о ней, исправлял как ни в чем не бывало свои обязанности. Эта рана, разумеется, не была занесена и в послужной список моего отца и мы, его дети, узнали о ней совершенно случайно: года за два перед смертью моего отца у него заболели ноги; позванный к отцу доктор заметил на одной его ноге, несколько ниже колена, следы старой

раны, рубцы которой еще не сгладились вполне; тут отец нам рассказал, где он получил ее. Вообще отец всегда переносил самые сильные физические страдания без малейшего обнаружения их. За отличие в Инкерманском сражении отец мой был произведен в следующий чин. Я не знаю намерено, что заслужило это отличие, но во время Инкерманского боя он выполнил одно поручение, действительно сопряженное с немалою опасностью. Дело в том, что начальник оборонительной артиллерии Кишинский, разумеется прекрасно осведомленный о неважной снабженности военными припасами наших войск, наблюдая сильный огонь, открытый по неприятелю нашей артиллерией, уже к середине боя убедился, что снарядов не должно хватить до конца сражения. Он поручил моему отцу, своему адъютанту, объехать всю боевую линию с приказанием поберечь снаряды. Отец объехал всю боевую линию по открытым возвышенностям под градом снарядов и пуль и ни один осколок снаряда, ни одна пуля не задела его, что окончательно утвердило веру моего отца в свою безопасность. Увы! Его поручение почти не имело результатов: редко где удавалось ему убедить в необходимости экономии снарядов, почти на всех позициях адъютанта, присланного из штаба армии с приказанием от самого начальника оборонительной артиллерии, встречали бранью, на которую отец не обижался, потому что ясно видел тяжелое положение наших в этом бою, тщетно пытавшихся отстоять себя против численно превосходящего и неизмеримо лучше вооруженного врага – зло, от которого, как известно, мы уже страдали не раз.

Плохое вооружение нашей армии принял близко к сердцу, в бытность свою под Севастополем и Л.Н.Толстой. Отец мой, знавший лично Л.Н.Толстого и встречавшийся с ним впоследствии, встретился с ним первый раз под Севастополем по весьма любопытному случаю. Граф Л.Н.Толстой, уже стяжавший себе славу первым своим произведением “Детство и отрочество”, был тогда простым артиллерийским офицером. В то время он еще не имел поползновения проповедывать всеобщее разоружение и непротivление злу и горячо сочувствовал нашим воинским успехам. Скорбя о плохом вооружении нашем, он представил в штаб армии проект, долженствовавший, по его мнению, усилить действие нашего огня. Свой проект Л.Н.Толстой подал самому князю Меншикову. Этот последний передал его на рассмотрение генералу Кишинскому. Кишинский, будучи завален делами, поручил рассмотреть проект Л.Н.Толстого моему отцу, в основательных военных знаниях которого имел случай убедиться не раз. Тут будет уместно упомянуть, каков был этот проект. Надо заметить, что тогда ружья союзной армии давали действительный огонь на тысячу шагов, тогда как наши лишь на триста. Нетрудно, таким образом, понять, сколь легко было неприятелю в таких условиях наносить нам урон и как трудно было обороняться нам. Дабы возместить сравнительную недальнююность наших ружей, Л.Н.Толстой предложил следующее: вывозить в стрелковые цели орудья нашей легкой артиллерии и ими наносить соответствующий вред врагу. Отец, ознакомившись внимательно с военным проектом будущего великого писателя, посмотрел на его проект как на тактический парадокс, найдя совершенно неприемлемым средство, предлагаемое им. Действительно, легко себе представить, что должно было стать с лошадьми и прислугой при орудьях, вывезенных в стрелковые цепи под близкий огонь врага. Отец объяснил Толстому всю непрактичность его проекта, и любопытно, что Толстой, чуждый ложного самолюбия, вполне согласился с моим отцом. Впоследствии отец мой встречался с Л.Н.Толстым не раз и при отношениях вполне дружественных.

Несогласен был мой отец с Л.Н.Толстым относительно целесообразности боя при Федюхинских высотах, когда Л.Н.Толстой написал на это сражение свой стихотворный памфлет:

*Как 4-го числа
Нас нелегкая несла
Горы занимать...*

Наоборот: отец говорил, что попытки к вылазкам всегда полезны для обороняющихся, нужды нет, что не все бывают удачны из них. Единственно, в чем отец был согласен с памфлетом Толстого, это в его оценке Реада, как весьма малоспособного генерала, но отец находил, что жестоко осмеивать героя, своею гибелью поддержавшего свою воинскую честь! В чем также отец не противоречил стихотворению Толстого – в

его оценке боя 4-го августа, это в том, что был весьма печален его исход – отец хранил об этом бое воспоминание как о бое ужасном, кровавом... Вместе с переменной командования армией, с заменой князя Меншикова Горчаковым отец уже был опять у себя в батарее и при батарее участвовал в бою “четвертого числа”. Отец рассказывал, что бой этот был жесток, фронты были сближены настолько, что отец видел не раз вполне ясно, как пущенные нами снаряды вырывают отдельных людей из рядов нашего врага. Батарея, при которой был мой отец, нещадно терпела от потери прислуги. Два эпизода, рисующих ужасы этого боя особенно ярко, рассказывал нам отец. У орудия, при котором был отец, работал рослый, статный банщик (тогда, до введения скорострельных орудий, после каждого выстрела приходилось прочищать их так наз. банником). Ловкий парень бодро, лихо работал своим банником: вдруг отец был удивлен внезапным, мгновенным исчезновением этого молодца – лежавшая неподалеку кучка какого-то тряпья, из которого торчало подобие рук и ног, сразу объяснила все дело моему отцу... Немного спустя, несмотря на страшный рев орудий и трескотню ружей, отец услышал позади себя раздрающий душу стон: обернувшись, он увидел раненого, торопливо ползущего на руках, который, переступая ими, тащил за собою всю нижнюю часть туловища, изувеченную и раздробленную гранатой, свалывшуюся с грязью и превратившуюся в длинный кровавый хвост, оставлявший после себя на земле темно-красный след. Раненый был ужасен: он дико вопил, умоляя пришить его. Судьба сжалась над ним: новая граната, попавшая ему прямо в спину, прекратила его страдания и жизнь.

Еще один эпизод, чуть не стоивший жизни моему отцу: неприятельский снаряд попал в ящик с гранатами, на подножке которого стоял мой отец, проверяя число оставшихся, предвидя воспламенение ящика и взрывы гранат, помня наставления военной науки, отец бросился ничком на землю. Точно, гранаты начали взрываться, но взрывом взметали свои осколки снопами вверх, и осколки высоко перелетали через лежащего на земле отца, не причиняя ему вреда. Но, вероятно, отец обчелся, ибо, едва как он встал на ноги, как воспоследовал взрыв новой гранаты, но, по счастью, ни один из взлетевших не задел его.

Отец вспоминал и могучий шторм, разыгравшийся в начале осады и причинивший много злоключений нам и нашим – многие их суда были потоплены им. Обладая прекрасным зрением, отец хорошо мог рассмотреть, как качало неприятельские суда – их палубы становились под таким углом, что даже казалось странным, как они не потопили. Палатку, в которой спал отец, сразу снесло налетевшим ураганом, и не было никакой возможности подняться на ноги – черепицы с кровель носились в воздухе, как соломины.

Отец был свидетелем и того, как мы затопили наши собственные корабли, заграждая ими от неприятеля Севастопольский рейд, видел, как плакали старые матросы, проводившие на них чуть ли не всю жизнь; да и нельзя было не плакать тому, рассказывал отец, кто видел, какие были эти корабли красавцы: их кузова казались какой-то изящно разукрашенной, гигантской, выточеной, как дорогая мебель, игрушкой, представлявшей образец архитектурного вкуса; чистота на них была прямо изумительная, и среди экипажей этих судов было что-то вроде соревнования исправностью своего корабля, и матросы мели и чистили свои корабли с утра до ночи. А что могло сравниться с красотой линейного корабля, когда, идя на всех парусах, этот гигант, слегка накренившись, величаво скользил по волнам! – рассказывал отец. Выучка же команд не поддавалась описаниям!... [...]

Рассказывал также немало отец о казаках-пластунах, поражавших его своими отчаянными и ловкими проделками. Большинство из них были с Кавказа: закаленные в постоянной борьбе с горцами, они, как и эти последние, как бы сживались с войной; в грязных изодранных черкесках, но увешанные дорогим оружием, своим видом они невольно приводили на память отцу слова Лермонтова, сказанные им про Казбича: “бешмет всегда изорванный, в заплатах, а оружие в серебре!” Отец видел их не раз в деле и поражался их поистине змеиному умению ползать, ловкости, с которой они умели “снимать” сторожевые посты, так, что не пикнет ни один из врагов, и не только острота зрения, но и чуткость слуха их была прямо изумительна: иные из них палили по слуху почти без промаха.

Один кубанский казак-пластун даже рассказывал отцу, как он однажды поплатился за эту свою чуткость: на Кубани забрался он однажды в камыши и стал прислушиваться – в камышах шорох, выпалил из своей винтовки на шорох, и вдруг раздался крик; пошел в сторону крика и увидел убитого наповал своего родного отца: “Я думал, що то кабан, а то мий батько був”, – хладнокровно добавлял пластун.

Как мы уже упоминали, отец видел всех славных деятелей обороны, видел Корнилова, Истомина, Нахимова и проч. и не раз бывал у них по поручениям... Неизгладимое впечатление делала на него внешность Нахимова, всегда сосредоточенного, углубленного в себя: коренастый, могучий телосложением, он обладал таким же могучим духом. Отец находит, что памятник, поставленный ему в Севастополе у Графской пристани, совершенно верно передает выражение его лица – так и в действительности, сколько отец ни видел его – он вечно казался всматривающимся в даль – отец лишь жалел, что скульптор мало отметил характерную привычку Нахимова носить фуражку несколько сдвинутою на затылок, равно как и о том, что изображен Нахимов слишком сухошавым и рослым.

Ближе всех отец знал самого князя Меншикова, так как Кишинский то и дело посылал к нему с донесениями моего отца. Князь Меншиков производил на отца каждый раз впечатление обаятельное – стройный, несмотря на свой возраст, утонченно изящный и благовоспитанный, он, по словам отца, с удивительным тактом умел нести свое высокое положение. В те времена не было случая, чтобы начальник являющегося к нему с донесением пригласил сесть, и обыкновенно начальник сидя выслушивал своего стоящего подчиненного. Отец рассказывал, что князь Меншиков, как истый джентльмен и аристократ, при появлении моего отца вставал и весь доклад, иногда длинный, выслушивал стоя, дабы адъютант не чувствовал своего несколько униженного положения. Правда, судя по отрывочным замечаниям отца, князь Меншиков особенно отличал моего отца. Расположение князя Меншикова к моему отцу началось с одного маленького эпизода, про который отец умалчивал, но который в детстве я слышала рассказанным при мне неким князем Голицыным, бывшим под Севастополем адъютантом князя Меншикова, когда-то приятелем моего отца. Работа в штабе армии под Севастополем буквально кипела, не давая покоя ни днем, ни ночью. Князь Голицын рассказывал, что одно время все, как говорится, прямо сбилось с толку, а противоречивость же донесений не поддавалась описаниям. Явившись однажды в штаб начальника оборонительной артиллерии, обыкновенно исправный, князь Меншиков нашел там ту же безурядицу. К его удивлению адъютант Кишинского, мой отец, так стройно и систематично изложил всю сумму донесений, столь деловито разобрал громадный сбивчивый материал, столь разумно изъяснил возникшие в нем противоречия, что князь Меншиков сразу отметил смысленного и делового адъютанта. “Где вы достали такого молодца?” – сказал он, обращаясь к генералу Кишинскому. Любопытно, что все донесение отцу пришлось сделать возле походной палатки, разложив все бумаги прямо на земле, стоя на одном колене, имея на другом на доске бумагу, на которой он спешно заносил распоряжения Меншикова. Здесь позволю себе отметить своеобразную причину, связавшую дружбу моего отца – простого артиллерийского офицера с князем Голицыным, блестящим лейб-гусаром, адъютантом князя Меншикова – оба и князь Голицын, и мой отец одинаково горячо и бескорыстно были увлечены математикой; иногда даже и в осажденном Севастополе, в немногие часы досуга сходились они потолковать о каком-нибудь математическом законе, особенно заинтересовавшем их. Отец упоминал, что тогда среди молодежи положительно наблюдался особый интерес к сей точной и на первый взгляд сухой науке.

Как пример относительности приятных ощущений, отец любил приводить эпизод двух своих поездок с предписанием в бытность под Севастополем – поездок, оставивших в нем необыкновенно светлое воспоминание. Однажды потребовалось спешно отдать приказание к выступлению в осажденный Севастополь целому ряду батарей, расположенных за Симферополем. Генерал послал моего отца. Большая дорога, равно как и ближайšie к ней были загромождены обозами невообразимо и не было возможности прибыть по ним в срок. Отцу пришлось ехать напрямик, верхом. Выехав днем, отец к ночи прибыл в небольшую какую-то татарскую деревню, где

уже стояла русская батарея. Отцу отвели ночлег в татарской сакле, в единственной конуре которой несколько офицеров уже расположились на ночлег. Теснота и духота были невообразимы. Отцу оказалось возможным отвести лишь небольшое пространство у печной трубы, и, чтобы протянуться, отцу пришлось просунуть голову в отверстие печи, имевшей вид камина, находившееся прямо на полу: в это прямое отверстие печи отец увидел южное небо, усеянное яркими звездами, и вдохнул чистый воздух, проникающий в печь, и каким раем после передраг войны показался отцу этот незатейливый ночлег с пологом из темного клочка неба, с хороводом ярких звезд. Отец живо описал то блаженное состояние, в котором он заснул. Однако это блаженное состояние было нарушено самым неожиданным образом – вдруг отец был разбужен целым потоком южного ливня-дождя, окатившего его голову через прямую трубу. На другой день отец отправился в Бахчисарай; тут отцу пришлось ехать по местам, занятым неприятельскими разведками, и шагом, по невылазной грязи, так что он к ночи прибыл в Бахчисарай. В Бахчисарае отцу отвели ночлег у батарейного командира. Скромная комнатка, кровать, подушка, простыни – все это после невзгод боевой стоянки, холода и голода, спанья, не раздеваясь, на соломе, смешанной с жидкой грязью, показалось отцу роскошью необычайной. Отец описывал неизъяснимое блаженство, с которым после сытного ужина, истомленный и продрогший дорогой, он протянулся в свежей постели, в тепле. Курьера по казенной надобности, да еще с предписанием от начальника оборонительной артиллерии, везде в батареях принимали на славу, задавали ему обеды и ужины с шампанским. Выполнив поручение, отец тем же путем вернулся обратно в Севастополь.

В другой раз, вскоре после Инкерманского сражения, отец получил предписание от генерала Кишинского спешно доставить к начальнику артиллерийских складов в г. Николаев генералу фон Кнорринг[у] список вещей, попорченных и утраченных в Инкерманском бою, как, напр., амуниции, сбруи, седел и проч., дабы генерал фон Кнорринг отдал распоряжение о высылке новых. Двое суток, на перекладных, в обыкновенной телеге тряся отец, не отдыхая ни днем, ни ночью. На третьи сутки отец приехал в город Николаев и, сознавая всю важность немедленного ни одной минуты, не заезжая даже в гостиницу, чтобы отдохнуть и обчиститься, прямо как был с дороги, подкатил к парадному подъезду дома, занимаемого генералом фон Кноррингом, позвонил и спросил у лакея, можно ли видеть его барина. Чопорный лакей важного генерала, обмерив презрительным взглядом подъехавшего в простой тележке молоденького офицера, сплошь забрызганного грязью и еле державшегося от усталости на ногах, заносчиво ответил: “Его высокопревосходительство изволят почивать и никого не принимают”. – “Скажите генералу, что приехал курьер из Севастополя с предписанием от начальника оборонительной артиллерии”. Узнав, что молоденький офицер – курьер из Севастополя, лакей пошел доложить о нем своему барину. Через несколько минут лакей прибежал запыхавшись и объявил, что барин изволили встать и приказали немедленно принять г-на курьера. Отец так как был, в грязной, помятой за дорогу одежде, в высоких сапогах, сплошь облепленный грязью, прошел через роскошную залу по чистому и гладкому, как зеркало, паркету мимо многочисленных просителей, многих генералов, терпеливо выжидавших очереди и удивленными взорами проводивших грязного молоденького офицера, спешно и смело направлявшегося к дверям кабинета начальника. Генерал фон Кнорринг принял курьера с необычайной любезностью, с живым любопытством расспрашивал о подробностях осады, о редких впечатлениях громадного военного события, занимавшего тогда умы всей Европы. Фон Кнорринг сказал, что немедленно сделает все зависящее от него распоряжения, отдаст все соответствующие приказания. Отдохнув несколько в гостинице, отец отправился обратно в Севастополь к обязанностям службы в тот же день.

К концу осады батарея, в которой служил отец, была отведена для отдыха и возобновления людской и материальной части на некоторое расстояние от Севастополя. Здесь отец подхватил тиф, тогда свирепствовавший в армии, и его отправили на излечение в Симферополь. [...]

Вступительные заметки и подготовка текстов А.Д.ЗАЙЦЕВА.



Поэтический голос Сергея Орлова (1921–1977) окреп в годы Великой Отечественной войны на передовой Ленинградского и Волховского фронтов. Его танк дважды был подбит и его, контуженного и обгоревшего, вытаскивали из пылавшей машины прежде, чем взрывались в ней нерасстрелянные снаряды и бензобак.

*Вот человек – он искалечен,
В рубцах лицо. Но ты гляди
И взгляд испуганно при встрече
С его лица не отводи.*

“В рубцах лицо” – это и о себе, горевшем в 1944-м в подбитом танке.

Недавно обнаружена фронтовая фотография С. Орлова и его экипажа, относящаяся к 1942 году (мы печатаем ее вверху на соседней полосе). Молодого поэта тогда еще ждали долгие дороги войны. Вдова поэта Виолетта Степановна вспоминает, что по поводу традиционной формулы “Сергей Орлов стал поэтом благодаря войне” он с горькой иронией замечал: “Война делает не поэтов, а покойников”.

Три публикуемых ниже прозаических наброска объединены общей темой “окопной правды” – магистральной в творческой биографии С. Орлова. Первый из них, написанный в 1942 году на Ленинградском фронте, требует краткого комментария. В годы войны танкистам категорически запрещалось оставлять боевые машины. Экипаж не мог покинуть танк, в силу каких-либо причин отбившийся от основных сил или ставший неисправным. Надежды на спасение у танкистов в этом случае почти не было: их ждал неравный бой и смерть. Этот набросок сродни стихам поэта того времени, повествующим о буднях человека на войне. В двух последующих отрывках взгляд Сергея Орлова на войну спустя более, чем два десятилетия после ее окончания: в них – суровая повседневность Великой Отечественной озарена “светом победы”.

ЕВГ. ТВЕРСКОЙ

Так уж получилось, что в танке они остались вдвоем. Машина застряла в болоте по самые крылья и без буксира ей отсюда было теперь не выбраться. Оба танкиста хорошо знали это. Но командир иногда все же лез из башни в отделение управления, поднимал спинку сиденья и перед тем, как нажать кнопку стартера, подкачивал топливо, открывал краник, чтобы спустить воздух, и неизвестно зачем протирал стекло таксометра. Сморкался, кашлял, делал на [первый] взгляд ненужные движения...

Слишком уж много надежд было связано с грохотом мотора, с рычанием шестерен в коробке скоростей, и так как каждый раз после попытки выбраться из трясины танк оставался прочно сидеть в болоте, командир оттягивал как можно дольше момент включения скорости, потому что заведомо знал о том, что не может вырваться из мертвой хватки трясины. Но в момент приготовления рождалась в душе надежда, а после неудачи становилось еще тяжелей и мутрней на сердце. Только тогда, когда уже и кашлять, и сморкаться становилось неудобно перед собой и другом, он медленно поднимал ногу на педаль сцепления и опускал желтый от курева и грязи большой палец на кнопку стартера со словами: – Ну, Володя, попробуем!.. – И пробовали... Ревел мотор, выбрасывая фонтаны торфа, кружились гусеницы, но прочно сидел танк стальным брюхом на спрессованной пятидесяти-тонной тяжести грязи болота и не двигался.



Сергей Орлов ЗАПИСИ О ВОЙНЕ

У могилы друга. 1942 год. Фото Михаила Савина



Ему показались странным, что он так спокойно думает о себе, как о чужом человеке. Он вытаскивал из гильзы снаряды, развязывал пороховые мешочки, высыпал в одну кучу порох, потом продырявил из пулемета баки и стал смотреть, как газойль, желтый, как пиво, заливает днище танка. Он подумал, что надо вспомнить свою жизнь. Во всех прочитанных им книгах умирающие в последние минуты вспоминали свою жизнь. Стал усиленно вспоминать и ничего не вспомнил. Только пожалел, что не дождал до победы и не увидел мира на земле. Должно будет светить солнце, когда падет Берлин и смолкнут орудия, это будет обязательно весной или в середине лета, такой день должен быть обязательно солнечным и теплым и черт знает каким хорошим. Потом он решил, что если это будет осенью или зимой, в дождь или метель, все равно день будет самым радостным, даже трудно представить, каким радостным. Захотелось курить. Он свернул сигарку, достал спички и начал чиркать их, отвернувшись от кучки пороха, спички были плохие, они шипели и гасли. Ему пришла в голову мысль положить в левый карман гимнастерки гранату, выставив запал с кольцом наружу, чтобы потом правую руку с огнем поднести к пороху, а левой дернуть за кольцо и умереть без мучений. Он так и сделал. Граната неудобо прижалась к телу и оттягивала карман. – Рванет сразу всю грудь и моментально в сердце. – подумал он.

Захотелось умереть, видя мир, и он, надував задвижку, разом откинул люк, так что немцы, наверно, решили, что танкист сдается. Белая ночь была на исходе. Он увидел из глубины танка бледно-голубой круг неба, поваяло легкой прохладой, а в центре этого круга мерцала белая искорка, одна попавшая в поле зрения люка, она была похожа на пушинку тополя или одуванчика, занесенную высоко ветром и зацепившуюся своим слабым коготком за купол неба, да так и оставившуюся там мерцать на исходе ночи...

1942 г.

Четверть века тому назад зима в наших краях не заладилась. Снега под Ленинградом выпало мало. Декабрь стоял без морозов, с оттепелями, совсем как нынешний декабрь. Мы встречали сорок четвертый, ставший победным на Ленинградском фронте годом, и провожали сорок третий год в трудных, мало что решавших территориально боях. Полк наш в течение этого года дважды сменил почти полностью личный состав, а от машин, вступивших в бой в начале сорок третьего года, к началу сорок четвертого не осталось ни одной.

Мы стояли на Черной речке возле бывшего селения Апраксин двор и железнодорожной станции Апраксин. От селения остался за войну только перекресток дорог, на котором стоял столб с надписью, обозначающей название поселка, а от станции оставалась только железнодорожная насыпь. На восток насыпь и на запад насыпь, справа и слева леса да болота, и где эта станция находилась, определить было невозможно, так как столб с надписью здесь не стояло и проходил передний край. В одном – памятник для всех нас месте Черная речка разрезала собой насыпь и нырнула под мост. Моста, конечно, не было, были только каменные устои, меж ними в сторону немцев бежала Черная речка, и выйти вслед за нею за насыпь днем без риска было нельзя даже пехотинцу.

Насыпь эта среди болот да лесов во фронтовых условиях казалась нам могучим горным хребтом, она прикрывала и хранила от пули и вражеского взгляда всех, кто находился за ней. За эту насыпь вслед за Черной речкой мы выходили не раз в сорок третьем году в бой на Погостья, которого тоже не было. А был перед нами лишь разбитый и выкорчеванный снарядами лес. Отдельные стволы деревьев без единой на них веточки, с ращепленными снарядами вершинами, черная от пожаров земля, а дальше на горизонте лес, а перед нами пространство, на котором ничего, кроме немцев. Но они-то сидели, врывшись глубоко в землю, и никому были не видны, впрочем, разглядывать их было не безопасно: через прорезь в насыпи, сделанную Черной речкой, входили и выбегали только по делам, за ранеными или подкреплением, или для очередной атаки. Так что Погостья не было. Это мы знали.

Самым крупным населенным пунктом была в тех местах Мга, за которую шли все упорные кровопролитные бои. Нам казалось, что она-то, Мга, наверно, есть. Пусть разбитая, сожженная, но есть.

И мы встречали новый, сорок четвертый год. Встречали в обжитых землянках, почти по-домашнему: с праздничным ужином, со ста граммами на брата, с песнями и даже девочками, которые пришли на праздник из медсанбата. Над фронтом в черном небе висели осветительные ракеты, глухо постукивали пулеметы, земля лежала черная, почти бесснежная, торчали голые черные стволы деревьев, было по-фронтовому тихо. Мы встречали Новый год.

1969 г.

В ЭТОТ ДЕНЬ

Первая наша мысль в этот день о тех, кто не вернулся с войны, чьи жизни стали светом победы, видимым далеко по всей земле нашей. Мы говорим: "Никто не забыт и ничто не забыто". Но мы не знаем, каким бы новым светом озарили они землю, если бы остались живыми, если бы не война, вставшая на их пути. Мы не знаем, какие открытия в науке совершили бы они, какие написали бы книги, песни, картины или просто каким теплом согрели бы чьи-то живые души. Они стали светом победы, без которого во тьме погасли бы научные

открытия, о которых мы знаем, остались ненаписанными книги, не прозвучали бы песни, не засверкали краски на полотнах, не поднялись бы к небу остекленные стены обновленных городов.

В октябре прошлого года я был в Волгограде. Вечером в зале Дома офицеров должно было состояться чествование бойлера, а днем мы, стихотворцы, приехавшие на день рождения друга – поэта Михаила Лукомина, отправились на Мамаев курган поклониться солдатским могилам. Все мы были участники войны и шли к вершине холма в молчаньи по скорбной бетонной дороге, справа и слева от которой лежали каменные надгробья с начертанными на них именами солдат, офицеров, генералов, шли, вспоминая своих однополчан, могилы которых лежат по земле от Волги до самой Эльбы. Почти у самого подножья скульптуры Матери-Родины прочитал я надпись "Герой Советского Союза гвардии лейтенант Иван Прокопьевич Малоземов". До меня не сразу дошло, что это друг юности Ваня Малоземов. Я вспомнил, что он воевал и погиб в Сталинграде – сгорел в танке в 1943 году. Мальчишкой Ваня Малоземов пришел к нам в среднюю школу в районный город Белозерск из далекой деревни, где работал в кузнице. Он сдал экстерном экзамены сразу за три класса: 7, 8, 9 и стал учиться с нами в десятом. У него были блестящие разносторонние способности, математику он знал лучше всех в школе и писал стихи. Мы с ним печатались на страницах нашей районной газеты "Белозерский колхозник". Не знаю, кем бы он стал, если бы не лег в землю на Мамаевом кургане, может, математика пересилила бы в нем поэзию, только полагаю, что жил бы он также талантливо, со славой, как пришлось ему воевать.

Вторая наша мысль в этот день о том, что дала людям победа, какой стала она за двадцать четыре весны, прошумевшие с той незабываемой в сорок пятом, когда она родилась на свет. Если бы можно было разом окинуть взором все города, села, дороги, мосты, сады, поля, которые были уничтожены войной, увидеть такими, какие стали они сегодня поднятые из руин, воссозданные из пепла, то и эта увиденная разом картина не стала бы портретом ее, если бы при этом нельзя было бы увидеть их одновременно такими, какими мы их отбили у врага. Но такая возможность взглянуть на мир глазами победы есть у каждого бывшего солдата.

Мне довелось взглянуть ее глазами прошлым летом. Я ехал в электричке через те места, где воевал под Ленинградом, Электричка, как электричка. В ней сидели пассажиры. Дед с бабкой сопровождали в голубой импортной коляске внука, стайка девушек в цветных нейлоновых куртках возвращалась из похода по грибы, сверкали золотистое полированное дерево сидений, стекло окон, никелированные скобы и багажники, а я судорожно всматривался в дорогу, боясь пропустить то место, где проходила линия фронта. Наконец, я увидел его и узнал в высокой, идущей параллельно нашему пути железнодорожной насыпи – мостик, перекинутый через узенькую, черную болотистую речку. Здесь выводили мы свои танки по руслу речки в атаку на станцию Мга. Я впился глазами в лес за окном, в кусты, в землю, летящую под колесами, вспомнив разом все. С этой минуты поезд шел через мои воспоминания, безмолвный через вой танковых моторов, лязг гусениц, грохот снарядов, треск падающих деревьев...

*...И шли в атаку в долинах,
Идут и идут на ветру,
И флагом багряным рябина
Над дотом горит на бузру...
Смотрю на леса подо Мгою –
В багряном дыму небеса.
Храня очертания боя,
Меня атакуют леса...*

И только когда электричка встала как вкопанная у бетонной платформы, и разомкнулись ее двери, я увидел за окном город. Город с новыми многоэтажными домами, витринами магазинов, автобусами, деревьями, с перекинутой через железную дорогу эстакадой: наступила тишина с человеческими голосами, топотом ног, фырканьем автомашин, со стуками, криками, свистками и шумом ветра в кронах деревьев.

Электричка от мостика шла до Мги шесть или семь минут. Наш полк шел это расстояние год – с февраля 1943 по январь 1944. Год шел наш полк это расстояние от платформы Апраксин двор, от мостика над Черной речкой, шел через болото и лес, через минные поля, через многослойный броневой огонь, проволочные заграждения, через траншеи, и когда перед нами открылась Мга, я ничего не запомнил в ней, потому что там ничего не было, а была точно такая же замеченная январем искореженная фронтовая земля, за которую один за другим целый год горели и умирали мои товарищи. Но времена сблизились, и я смотрел, смотрел во все глаза, увидав, наконец, город, который взял наш 33 Мгинский отдельный Гвардейский тяжелотанковый полк прорыва.

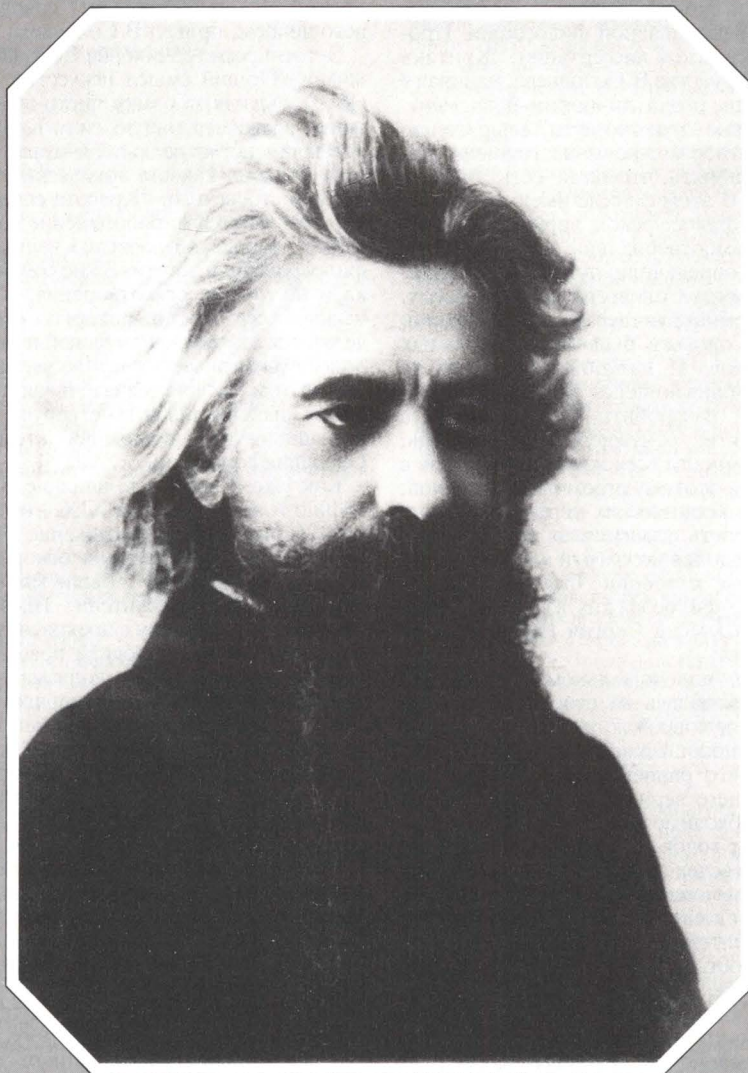
Какой прекрасный и большой город взял наш полк. Над ним сияло синее небо, в нем жили тысячи людей.

А третья наша мысль в этот день о том, чтобы победе нашей было двадцать пять, тридцать, пятьдесят, сто лет, чтобы она не стала старой победой. Чтобы больше на земле никогда не было войны.

1969 г.

Публикация В.С.ОРЛОВОЙ

Влад Соловьев



Русский философ
Владимир Сергеевич Соловьев
(1853–1900)

по своему влиянию на современную ему
и последующую философскую и поэтическую мысль
занимает совершенно особое место
в жизни отечественной культуры.

Сам облик его,
запечатленный в живописи и мемуарной литературе,
незабываем
как совершенное выражение
философско-поэтической сущности

**Бесстрашный
поиск истины**

Сын выдающегося историка С.М.Соловьева Владимир Соловьев воспитывался в семье и в среде высокой русской интеллигенции, в которой интеллектуальное начало естественно сочеталось с демократизмом и духовным бескорытием. Стремление к глубоко-му познанию мира свойственно было В.Соловьеву с отроческих лет. Поэзия и философия стали его жизнью.

После окончания историко-филологического факультета Московского университета В.С.Соловьев защитил в 1874 году магистерскую диссертацию “Кризис западной философии. Против позитивистов”. Тема его докторской диссертации: “Критика отвлеченных начал” (1880). В творчестве В.Соловьева, начиная с первых же работ, большую роль играл личностный элемент. Именно он определил соловьевское “чувство пути” (выражение А.Блока): и только через личностное можно по-настоящему увидеть органичность этого пути и понять, что он не есть совокупность противоречивых метаний. В этом смысле имеются все основания говорить о своего рода философском лиризме В.Соловьева. Он был философ-поэт. Самоотверженное свободное движение духа, мысли, поступков определили путь В.Соловьева. “Сокрытым двигателем” Владимира Соловьева, судя по всему, всегда было мироощущение, доминирующее над отвлеченной умозрительностью. При этом Соловьев был одним из самых образованных русских философов. И натурой абсолютно не приспособленной и не приспособляющейся к реальной действительности, стремящейся раздробить, снивелировать человеческую личность. Неприятие отчуждения и, напротив, утверждение отзывчивости, взаимности всех живых элементов в масштабе космическом и земном – к этому стремились его душа, его мысль. Постоянное видение космических черт в историческом процессе, в котором соборность, взаимосвязь всего живого восходит в конечном итоге к преодолению смерти как силе разъединяющей, приводит Соловьева к теории “положительного всеединства”, ставшей сутью его философских взглядов. Здесь просматривается отблеск давней мысли Сергия Радонежского: “Все для любви, которая собирает”.

Страстность, с какой мысль о “положительном всеединстве” охватила натуру В.Соловьева, сказалась на его поведении, на всех поворотах его напряженной духовной жизни. Движение его мысли было неустанным. Славянофильские воззрения философа-поэта вполне выразились в его ранней статье “Когда был оставлен русский путь и как на него вернуться” (1881), которая ныне публикуется впервые. Необходимо заметить, что несколько раньше, в конце семидесятых годов, состоялось знакомство Соловьева с Ф.М.Достоевским, и вслед за этим возникает обоюдный интерес их друг к другу и взаимовлияние. Однако невыносимые условия окружающей жизни конца прошлого века, незаживающие язвы российской действительности, социально-политические перекосы и несправедливость не давали В.Соловьеву возможности идеализировать прошлое и вполне опираться на него. Теряя эту опору и тем самым отдаляясь от славянофильства, невыносимо остро ощущая отечественные болезни, он в поисках реального “положительного всеединства” и совокупного спасения человечества мыслил о союзе русского царя с папой римским, оставляя для России ведущую роль на пути к всеединству (В.Соловьев мучительно искал выход из тупика, в который, по его представлениям, зашло человечество). В то время он всерьез помышлял о переходе из православия в католичество. Это была не мировоззренческая зыбкость, но бесстрашный поиск истины, который, он верил, не может привести в конечном итоге к противоречию с родственным, глубоким, первоначальным. Это же бесстрашие в поиске истины и безупречная внутренняя честность, неукоснительная искренность заставили его оценить эстетические воззрения Н.Г.Чернышевского, революционного демократа и материалиста, исповедовавшего резко противоположные социально-философские и политические взгляды, как “первый шаг к положительной эстетике”.

Бесстрашие в поиске истины заставляет его в связи с убийством 1 марта 1881 года народовольцами Александра II выступить 28 марта с речью против смертной казни как таковой. Этим событиям посвящено сообщение историка Павла Елисеевича Щеголева (1877–1931) “Событие 1 марта и Владимир Соловьев”, в которое включены письма философа к Александру III

и петербургскому градоначальнику Н.М.Баранову. Эти материалы взяты нами из журнала “Былое” (№ 10–11 за 1918 год).

Теократические утопии В.Соловьева не могли не привести его к духовному кризису, к катастрофическому мироощущению, ибо, отдаляясь от крайнего славянофильства, пересматривая его, он никогда не обольщался идеалами западной цивилизации. Земная проекция идеального космоса оказалась неосуществимой мечтой. Духовный кризис, совпавший с полным физическим истощением, привел В.Соловьева к ранней смерти.

Эстетические сочинения Соловьева последних десятилетий его жизни “Общий смысл искусства” (1890), “Красота в природе” (1899), выходя за рамки чисто эстетические, уповают на объективно воздействующую силу Красоты, призванной преодолеть несовершенство реального мира, преобразовать, спасти его. В этих работах как бы логически утверждается известная мысль Ф.М.Достоевского: “Красота спасет мир”. Вот основа, на которой развивается мироощущение позднего Владимира Соловьева.

Его творческое наследие велико и многообразно: не только философские и эстетические сочинения, но и философская лирика и шуточные стихотворения, и пародии, литературно-критические эссе, среди которых своей проникновенностью выделяются статьи о лирической поэзии (в ней наиболее полно Соловьев усматривает созвучие человеческой души с душой природы), в том числе замечательная статья “Поэзия Ф.И.Тютчева” (1895), напечатанная в четвертой книге “Вестника Европы” за убавленный год и вошедшая затем в два его дореволюционных собрания сочинений.

Как уже говорилось, влияние В.Соловьева на русскую философию и поэзию конца XIX – начала XX века трудно переоценить. Соловьевское притяжение – весьма велико. Соловьевцами, освоившими “философские основы цельного знания” и “положительное всеединство”, были многие подчас далеко отстоящие друг от друга мыслители. Идея всеединства, конкретизирующаяся по Соловьеву в прекрасном образе Софии, воплощенной мудрости как бы породила новое поэтическое зрение. Он стал предтечей русского символизма в поэзии, соединив названное направление в поэзии с творчеством В.А.Жуковского, осуществив в этом смысле связь времен. Без Владимира Соловьева мы не имели бы поэзии Александра Блока, его идеи питали философию и эстетику русского символизма.

С другой стороны, соловьевское всеединство и мысль о преодолении смерти отозвались в идеях космического жизнестроительства Н.Ф.Федорова и К.Э.Циолковского.

Учение Владимира Соловьева так или иначе воздействовало на философское сознание Л.М.Лопатина, С.Н.Булгакова, Н.А.Бердяева, Н.О.Лосского, С.Н. и Е.Н.Трубецких, П.А.Флоренского и других, вплоть до нашего современника А.Ф.Лосева, который выступил с докладом чуть ли не на последнем заседании религиозно-философского общества им. В.Соловьева, перед тем, как оно прекратило свое существование.

Стремясь полнее осветить образ поэта-философа, мы печатаем воспоминания Евгения Николаевича Трубецкого (1863–1920), друга Соловьева, испытывавшего его сильное и длительное влияние. Е.Н.Трубецкой – автор сочинений “Мирозозерцание В.С.Соловьева” (т. 1–2, 1913), “Метафизические предположения сознания” (1917), “Смысл жизни” (1918). Он обладал также незаурядным литературным талантом, что проявилось и в его очерке “Личность В.С.Соловьева”, вошедшем в первый сборник, посвященный памяти философа (1911).

Беседа с Алексеем Федоровичем Лосевым (1893–1988), крупным современным советским философом и филологом-классиком, автором многотомного труда “История античной эстетики”, таких работ, как “Философия имени”, “Музыка как предмет логики”, “Диалектика мифа”, “Эстетика Возрождения”, “Владимир Соловьев” и других сочинений, подчеркивает живой непреходящий интерес к личности и творчеству В.Соловьева, не исчерпанный и сегодня. Это одна из последних публикаций, подготовленных при жизни А.Ф.Лосева.

Тексты, взятые из старых изданий, воспроизводятся нами с уточнением стихотворных цитат, примечаний и исправлением типографских ошибок.

В.ЯКОВЛЕВ

„...Он сердечно любил Россию“

Беседа с современным философом

– В одной из бесед Вы назвали себя соловьевцем. Не могли бы Вы пояснить это суждение. Я, конечно, знаю, что Вам еще в годы учебы в гимназии подарили Собрание сочинений В.С.Соловьева – этим были отмечены Ваши успехи. Но все-таки в какой период Вы сформировались как соловьевец?

– С Соловьевым я стал знакомиться еще в последних классах гимназии...

– Кстати, а какую первую книгу В.С.Соловьева Вы прочли?

– “Философские основы цельного знания” я читал в предпоследнем классе.

– А почему Вы взяли именно это сочинение?

– Слишком уж завлекательное название.

Цельное знание – понятие, которое меня волновало. Мне не терпелось узнать, что же это такое?!

– Ну и Вам это удалось? Что это, действительно, такое?

– У Соловьева это учение о всеединстве.

– Оно заключается в том, что все едино?

– Все существует во всем. Каждая отдельная вещь – частичное проявление всего мира в целом.

Первоединое же все обнимает и поэтому есть все.

– Все и ничто в отдельности?..

– Первоединое существует везде, ибо каждый стакан, каждая чашка – есть нечто. То есть какая-то единица... Та самая большая единица, которая наверху дана в цельном виде, а в отдельных вещах дана лишь отчасти.

– Это учение неоплатонического толка?..

– Пожалуй. Но не в том его суть и ценность.

Мне кажется, что логическая сторона о всеединстве безупречна. Я и сейчас думаю, что все мы, и дураки и умные, все мы признаем это учение о первоединстве.

Ни одно из положений этого учения и сейчас неопровержимо.

– А если сказать, что не существует хоть чего-нибудь одного или наивысшего?..

– Значит, надо будет признать, что не существует мир. Это уже субъективизм, и притом глупый.

– А разве такой вот концептуальный подход всецело принадлежит Соловьеву?!

– Такие подходы и взгляды действительно весьма распространенное явление на протяжении всей истории философии. Но, как правило, учение в таком случае всегда объединяется с каким-то мировоззрением.

А вот в логическом плане у Соловьева явлена довольно чистая форма. И это ведь редкость и новость была.

Правда, позже он усложнил свое учение, внося в него моральные, национальные, политические, религиозные моменты...

– То есть все общественно значимое для деятельности человека знание?..

– Да.

Думаю, что любого смог бы убедить в правильности соловьевского учения о всеединстве.

– Алексей Федорович, а что, на Ваш взгляд, нужно прежде всего читать у Соловьева современному читателю?

– Я хочу сказать о том, что для понимания истории философии, для понимания по крайней мере античности и средних веков изучение Соловьева дает очень много каждому вдумчивому исследователю.

Вот его ранние труды, его диссертация и отдельные исследования, “Философские основы цельного знания”. Наверное, надо начинать и сегодня с этого.

– А что касается трудов, отразивших борьбу западников и славянофилов, политические и общественные взгляды Соловьева?..

– Я думаю, это как раз сейчас для нас имеет только историческое значение. Едва ли в Соловьеве это главное.

– А последний его большой труд “Оправдание добра”?

– Замечательная вещь по своей абсолютной понятности, по системе. Этот труд надо изучать внимательно. Но помимо всего прочего Владимир Соловьев сам был поэт и любил писать о поэзии. У него статьи о Пушкине, о Лермонтове, о Тютчеве... и многих других. Но все-таки то, что я сказал вначале, более важно.

– А “Смысл любви”, Вы забыли сказать о нем?

– Нет, не забыл. Но я любитель логики и привык подходить к миру как определенной системе отдельных категорий. Замечательное учение о всеединстве изложено в простейшей форме, и опровергнуть его положения невозможно. Если это усвоить, тогда и учение о любви тоже будет более понятно. Любовь... Он говорит, что главное – это

муже-женственная любовь, любовь между полами. Но эта любовь предполагает обобщение, предполагает такую любовь, которая далеко уходит за пределы понятия “пола”.

Если учение о всеединстве не учитывать – письма о любви не имеют значения. Но если иметь в виду то, что я рассказал, тогда и его учение о любви зацветет интересным цветом и очень много даст.

– Алексей Федорович, и все-таки вошло в традицию квалифицировать философию Вл.Соловьева как мистическую. На основании точных соловьевских материалов Вы в своих трудах, которые частично опубликованы, изучали терминологию философа, выясняли, какие понятия его выражаются этой терминологией.

– Мир, по мнению Вл.Соловьева, состоит из частей, и обязательно есть нечто целое. Но тщательно проводимая Вл.Соловьевым диалектика обнаруживает, что, хотя целое и его части невозможны одно без другого, тем не менее целое образует собою новое и в сравнении с отдельными частями специфическое целое. А так как это целое в той или иной степени присутствует во всех своих частях (без чего целое не состояло бы из частей и части не были бы частями целого), то отсюда у Вл.Соловьева и возникает учение о положительном всеединстве, и такое свое учение он и называет мистикой.

– Таким образом, соловьевская мистика не имеет ничего общего с той мистикой, как она понимается у нас в настоящее время...

– Да, это есть, попросту говоря, диалектика целого и частей в мировом масштабе, квалифицируемая Вл.Соловьевым как некий в прямом смысле таинственный процесс, который древние греки обозначали словом “таинственный”. Но только после подобного анализа соловьевской “мистики” впервые открывается возможность надежным образом критиковать те воззрения Вл.Соловьева, которые вовсе не являются учением о всеединстве и которые подлежат критике как действительно безнадежно мистические.

– Есть у В.Соловьева и критика экономического материализма.

– Чтобы эту критику правильно понять и чтобы наше ее отрицание не оставалось на стадии беспомощного междометия, надо ее вырывать, эту соловьевскую критику экономического из общей теории В.Соловьева, но понимать ее именно в связи с тем целым, которым является его теоретическая философия. Тогда оказывается, что экономическая область ни в каком смысле не отвергается у В.Соловьева, а только признается в ее поразительном единстве с политикой и со всеми другими сторонами культуры. Взятая сама по себе и отдельно от всего прочего, она действительно есть, по выражению В.Соловьева, “только отвлеченное начало”, которое теряет свою отвлеченность лишь в своем неразрывном единстве с цельной жизнью народа.

В отличие от субъективно-вкусового, объективно-исторического подход к творческой судьбе и наследию Владимира Соловьева дает возможность представить судьбу его философских взглядов в течение всей его жизни.

– То, что В.Соловьев защитил кандидатскую диссертацию в 21 год, а докторскую в 27 лет, и притом на такие сложные темы, как критика главнейших западных философских систем, конечно, свидетельствует об огромном философско-критическом даровании В.Соловьева и, вполне естественно вызывая удивление, не может не учитываться объективным историком мысли. В Вашей книге “Владимир Соловьев” кое-где по этому поводу высказываются похвалы. В свое время они вызвали тревогу и даже критику. А попросту говоря, они всего лишь отражают те незаурядные факты, с которыми сталкивается каждый, кто изучил развитие В.Соловьева со времени его юношеских работ.

– Конечно! Невозможно возразить против действительно замечательных для своего времени статей философа, помещенных в первом издании энциклопедии Брокгауза и Ефрона, таких, как, например, “Гегель” или “Конт”, как бы ни относиться к Соловьеву в целом. Важно не это.

Важно то, что Соловьев всегда и везде был искателем, неутомимым борцом против всякого рода несправедливости и энтузиастом, верящим в наступление лучших времен.

– Говорят, что В.Соловьев начал со славянофильства...

– Это совершенно неверно.

Уже во вступительной речи на защите своей первой диссертации он объявил полной бессмыслицей славянофильское учение о вере без всякого разума и науки. Никакому славянофилу никогда и во сне не снилась та бескомпромиссная критика византийско-московского православия. После убийства Александра II в 1881 году никто из демократически и прогрессивно настроенных общественных деятелей не осмелился выступить с публичной лекцией с требованием к царю помиловать народовольцев. Ряд своих важных трудов, хотя они и были религиозного содержания, именно из-за их критического пафоса, направленного против официальной церкви, В.Соловьев не мог печатать в России и печатал их за границей по-французски (только после 1905 года возник вопрос об их переводе на русский язык). И в этих своих книгах В.Соловьев допускал такую критику режима Победоносцева и Дмитрия Толстого, что пошли слухи о предполагавшейся высылке В.Соловьева Победоносцевым на Соловки.

– В одной из своих статей В.Соловьев восхваляет взгляды Чернышевского на прекрасное как на жизнь, а самою статью так и назвал “Первый шаг к положительной эстетике”.

– Необходимо прибавить также, что и весь родительский дом В.Соловьева с неизменным уважением относился к личности и судьбе

Чернышевского. А когда сын Чернышевского после смерти отца обратился к В.Соловьеву с просьбой поделиться воспоминаниями о Чернышевском, то В.Соловьев написал их в самой искренней, в самой сердечной форме, с полным учетом величия личности и деятельности Чернышевского. Правда, враги В.Соловьева стараются всячески замалчивать эти замечательные воспоминания. Но историческая истина для нас дороже.

– И все-таки довольно часто говорят о переходе В.Соловьева от славянофильства в западничество. Ваша книга доказывает, что и это не так, а нынешние Ваши суждения окончательно меня убедили, что западничество было для него тоже слишком односторонней, достаточно рассудочной теорией. Ведь так?!

– С одной стороны, отличаясь от славянофилов с их невниманием ко всем язвам русского прошлого, В.Соловьев резко расходится и с западниками в их неприятии специфического лица русского народа. С другой стороны, Россия для него не является славянофильским апофеозом старины. Но она для В.Соловьева никогда не была также и безразличным конгломератом и простой ареной для западной и чисто буржуазной цивилизации. При всем том важно, что он сердечно любил Россию, всегда питал патристические чувства, всегда критиковал царское правительство за угнетение отдельных народностей и мечтал о великом будущем страны, даже об огромной международной роли России как свободной семьи народов...

Беседу вел Ю.А.РОСТОВЦЕВ

ЕВГЕНИЙ ТРУБЕЦКОЙ

Личность В.С.Соловьева

I

Кому случалось хоть раз в жизни видеть покойного Владимира Сергеевича Соловьева – тот навсегда сохранял о нем впечатление человека, совершенно непохожего на обыкновенных смертных. Уже в его наружности, в особенностях в выражении его больших прекрасных глаз, поражало единственное в своем роде сочетание немощи и силы, физической беспомощности и духовной глубины.

Он был до какой степени близорук, что не видел того, что все видели. Прищурившись из – под густых бровей, он с трудом разглядывал близлежащие предметы. Зато, когда взор его устремлялся в даль, он, казалось, проникал за доступную внешним чувствам поверхность вещей и видел что-то запредельное, что для всех оставалось скрытым. Его глаза светились какими-то внутренними лучами и глядели прямо в душу. То был взгляд человека, которого внешняя сторона действительности сама по себе совершенно не интересует.

Трудно представить себе выражение более прозрачное, искреннее, более соответствующее духовному облику. Всякое душевное движение отражалось на его лице с совершенно исключительной яркостью. Когда он негодовал, он становился прекрасен и грозен: в нем чувствовалась сила, наводившая страх. Когда он смеялся, его громкий заразительный смех – с неожиданными, презабавными икающими высокими нотами¹ покрывал все голоса. В этом детском смехе взрослого человека было что-то с первого взгляда неестественное, что привлекало общее внимание; казалось, что он с преувеличенной силой реагирует на те комические положения и случаи, которые в других вызывают только улыбку. Но фейерверк остро, обыкновенно спутствовавший этому веселому настроению, показывал, что он обладает удвоенной против других чувствительностью к смешному. В этом смехе находил себе выход накопившийся избыток душевной энергии: подчас в нем сказывалась потребность отряхнуть от себя тяжелые думы. И точно, веселое настроение иногда вдруг как-то разом сменялось у него безысходной грустью; людям, близко его знавшим, случалось видеть у него совершенно неожиданные, казалось бы, ничем не вызванные слезы. Помню, как однажды обильными слезами внезапно кончился ужин, которым Соловьев угощал небольшое общество друзей: мы поняли, что его нужно оставить одного и поспешили разойтись. Слезы эти исходили из задушевного, мало кому понятного источника; их можно было наблюдать сравнительно редко. Но часто, очень часто приходилось видеть Соловьева скужающим, угрюмо молчащим. Когда он скучал, он был совершенно неспособен скрыть свою скуку. Он мог молчать иногда часами. И это молчание человека, как бы совершенно отсутствующего, производило иногда гнетущее впечатление на окружающих. Одним это безучастное отношение к общему разговору казалось признаком презрения; другим – просто-напросто было жутко чувствовать себя в обществе человека из другого мира.

¹ Выражение В.Л.Величко. Владимир Соловьев. Жизнь и творения. Пб., 1902. с. 142.

Эксцентричность его наружности и манер многих смущала и отталкивала; о нем часто приходилось слышать, будто он “позер”. Люди, его мало знавшие, склонны были объяснять в нем “позой” все им непонятное. И это тем более, что все непонятное и особенное в человеке обладает свойством оскорблять тех, кто его не понимает. На самом деле, однако, те странности, которые в нем поражали, не только не были позой, но представляли собой совершенно естественное, более того – наивное выражение внутреннего настроения человека, для которого здешний мир не был ни истинным, ни подлинным.

Он, живший в постоянном соприкосновении с миром и иным, обладал совершенно исключительной чувствительностью к пошлости окружающего. Эта пошлость давила его, как кошмар. Об этом сам он говорит в чудном стихотворении:

*Какой тяжелый сон! В толпе немых видений,
Теснящихся и реющих кругом,
Напрасно я ищу той благодатной тени,
Что тронула меня своим крылом.*

*Но только уступлю напору злых сомнений,
Глухой тоской и ужасом объят, –
Вновь чую над собой крыло незримой тени,
Ее слова по-прежнему звучат.*

*Какой тяжелый сон! Толпа немых видений
Растет, растет и загрождает путь,
И еле слышится далекий голос тени:
“Не верь мгновенному, люби и не забудь!”*

(“Какой тяжелый сон! В толпе немых видений...”)

Соловьев никогда не оставался глух к этому призыву. По сравнению с неэстетичным миром, наполнявшим его душу, наша жалкая действительность вызвала в нем скуку или грусть, а иногда – настроение близкое к отчаянию, от которого он освобождался смехом. Все эти внешние проявления его душевной жизни казались ненормальными и преувеличенными только потому, что в них в самом деле сказывалась величина, далеко превосходящая обычный уровень.

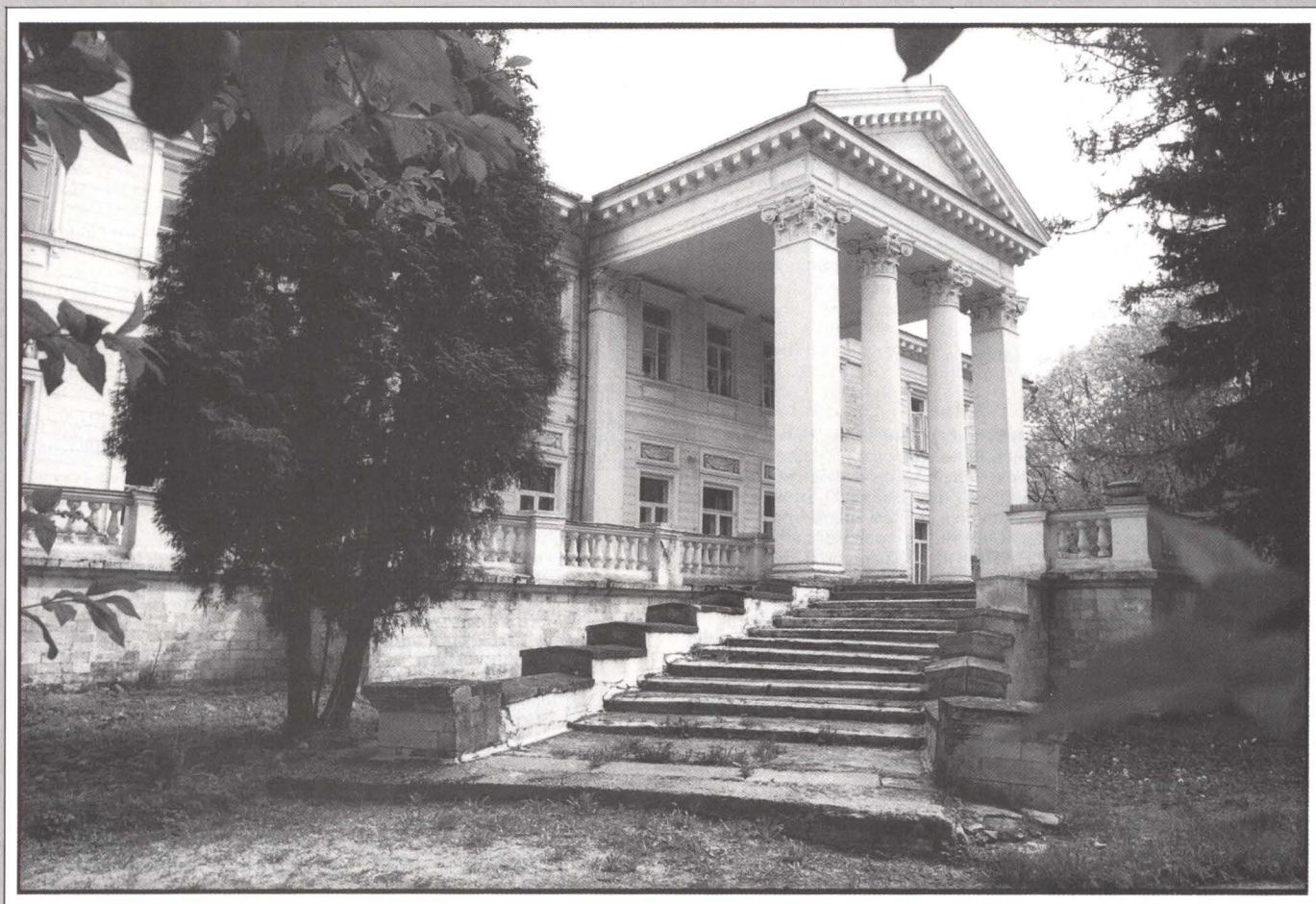
В связи со всем сказанным станет понятным, что Соловьев был совершенно лишен понимания к прозе жизни. “Я признаю поэзию только в виде стихов”, – говорил он мне как-то. Это было сказано с *grano salis*, но, если откинуть эту дозу аттической соли, в приведенном изречении все-таки останется серьезный и характерный для Соловьева смысл. Он, с его необычайным эстетическим чутьем, с его редким поэтическим даром, не ценил и, по-видимому, не понимал величайшего из современных прозаиков – поэта будничной действительности – графа Л.Н.Толстого. Я говорю не о философии последнего, которая была совершенно понятна и о, но по другим причинам несродно Соловьеву, а именно о толстовских романах. В первой речи о Достоевском он, правда, признает за Толстым мастерство в тончайшем воспроизведении механизма душевных явлений и в особенности в “живописи внешних подробностей”. Но ни то, ни другое его в действительности не интересовало. В откровенных разговорах с друзьями он признавался, что “Война и мир” и “Анна Каренина” вызывали в нем скуку. “Я совершенно не перевариваю этой здоровой обыденщины”, – говаривал он мне. И в самом деле, людям, хорошо знавшим Соловьева, совершенно невозможно представить его себе увлекающимся изображением хозяйственных и семейных забот какого-нибудь Левина, а тем более – красочным толстовским описанием какой-нибудь охоты или скачки. Популярнейший из современных художников был ему в общем совершенно чуждым: он и тут оставался слеп к тому, что “все” видел и, потому что сила его умственного зрения поглощалась другой, более возвышенной сферой, которая далеко не “всеми” была доступна. По этой же причине он, обитатель горных высей, становился так безучастен, когда шедший вокруг него оживленный разговор выходил на житейскую равнину. Тут взор его окончательно потухал: он погружался в безнадежное, упорное молчание просто потому, что не был способен понимать и даже слушать.

Эта особенность душевного склада Соловьева может быть пояснена сравнением. Кому случалось когда-либо восходить на высокую гору, тот знает, конечно, что вид на равнину всегда красивее с полугоры. Когда мы достигаем горной вершины, пейзаж становится тусклым, серым и унылым: там блекнут яркие краски, которые составляют красоту равнинного пейзажа; картина начинает напоминать топографический план. Соловьеву наша житейская проза казалась гораздо более, чем нам, бесцветною и скучною именно потому, что он слишком высоко над нею поднимался. И по той же причине он неизмеримо превосходил современников захватывающей широтой своего кругозора.

С этой чертой связана та житейская наивность Соловьева, которая так живо напоминает классическое изображение философа, данное Платоном. “С юных лет избранный мудрости не знает дороги на площадь, не ведает, где суд, совет или какое-либо другое место публичных собраний. Законы его страны неизвестны: в действительности он живет и вращается в государстве только телом, ум же его все это мало ценит и ни во что не ставит; но, говоря словами Пиндара, он всюду проникает, измеряя недра земли и то, что над нею, возносится над небом, изучая астрономию, везде исследует природу сущего и не спускается к близлежащему. В земных, рабских делах философ не смыслит, он не умеет даже завязать своего дорожного мешка; и все



В.С.Соловьев, С.Н.Трубецкой, Н.Я.Грот и Л.М.Лопатин. 1890-е годы



Бывшее имение Трубецких Узкое
В этом доме 31 июля 1900 года скончался В.С.Соловьев

это юродство происходит из того, что на земле он живет гостем. В наших земных сумерках он подслеповат именно от того, что он привык к яркому солнечному свету небесной своей родины” (Theodetetus, 174; Gorgias, 484; Civitas, I VI.).

В жизни Соловьева мы найдем сколько угодно иллюстраций к этой платоновской характеристике философа. Известно, как высоко он ценил положительный смысл земной деятельности, и, однако, рядом с этим мне пришлось убедиться в удивительной спутанности его понятий о земстве. Помнится, однажды нам нужно было вместе повидать одного общего знакомого, который оказался на земском собрании. Я предложил его отыскать, и Соловьев был очень удивлен моим заявлением, что присутствовать в качестве слушателей на земском собрании могут посторонние. Как он мне сказал, он думал, что “земство – что-то вроде канцелярии”. В особенности в области экономической он поразал примитивностью своих суждений. Однажды он высказал мне, что признает грехом брать проценты, хотя бы и незначительные; однако тут же выяснилось, что он считает совершенно негреховным держать процентные бумаги, так как в данном случае плательщиками процентов являются государство, банки, вообще учреждения. Попытки объяснить ему какую-нибудь экономическую истину были бесполезны: он отказывался слушать и даже уверял в своей неспособности понимать.

Житейская беспомощность Соловьева нередко ставила его в положение в высокой степени комические; она же иногда служила источником опасности. Сам он с бесподобным юмором описывает свое путешествие в Сахаре; там, на основании внушения, полученного на спиритическом сеансе, он ждал чрезвычайных откровений и вместо того едва не поплатился жизнью:

*Бог весть куда без денег, без припасов,
И я в один прекрасный день пошел, –
Как дядя Влас, что написал Некрасов.
(Ну, как-никак, а рифму я нашел).*

*Смеялась, верно, ты, как средь пустыни
В цилиндре высочайшем и в пальто,
За черта принятый, в здоровом бедуине
Я дрожь испуга вызвал и за то
Чуть не убит...*

(“Три свидания”)

Наряду с этими чудачествами, составляющими черту сходства между Соловьевым и платоновским изображением философа, существует резкое, бросающееся в глаза отличие. Античный философ чувствует себя, по словам Платона, “чуждым семенем”, случайным гостем в здешнем мире. Его идеал – полнейшее отрешение, бегство от земли, в котором вместе с ним должны участвовать лишь ближайшие его друзья и сограждане в тесном смысле слова. Для древнего философа земля остается навеки царством греха и беззакония; напротив, в Соловьеве поражает любовь к “земле – владычице”. Цель и конец его поэтического и философского вдохновения не отрешение от земли, а окончательное примирение с нею через преображение земного в божественном:

*Синие горы кругом надвигаются,
Синее море вдали.
Крылья души над землей поднимаются,
Но не покинут земли.¹*

(“В Альпах”)

Как бы то ни было, с этим горним настроением Соловьев должен был жить с нами среди равнины: он или возносился над нею в свободном полете вдохновения, или негодовал, боролся, обличал ее плоскость и пошлость, или же, наконец, над нею смеялся, шутил; но так или иначе, он всегда над нею возвышался. В нем было причудливое сочетание мистического философа-поэта, пророка-обличителя неправды и... балагура. Сочетание это многих соблазняло и смущало; не все понимали, что как его вдохновение, так и его негодование и его смех вытекали из одного общего источника: из его серьезного отношения к жизненному идеалу – из пламенной веры в смысл жизни.

Как философ и поэт, он созерцал небесный свет в его бесчисленных здешних преломлениях и восходил, подобно Платону, от этих отражений к их первоисточнику. Когда этот свет освещал для него глубь земной действительности и делал явным скрытые в ней темные бесовские силы, он, как пророк и обличитель, метал в них небесные громы. Вне этой борьбы света с тьмой жизнь была для него бессмыслицей, шуткой. Такое отношение его к жизни выразилось в одном из наиболее ярких его стихотворений:

*Таков закон: все лучшее в тумане,
А близкое иль больно, иль смешно.
Не миновать нам двойственной сей грани:
Из смеха звонкого и из глухих рыданий
Созвучие вселенной создано.*

(“Посвящение к неизданной комедии”)

¹ Разрядка Евг. Трубецкого (прим. ред.).

“Созвучие вселенной” находило себе живой отклик в душе философа. Отдыхая от скорби и напряженной жизненной борьбы, он любил в кругу друзей шутить и балагурить; то был неистощимый, брызжущий источник веселья и остроумия. Трудно передать, как интенсивно мы наслаждались блестящею игрою этого многогранного ума. Между самым серьезным, возвышенным разговором и балагурством для него не существовало той житейской середины, на которой всего чаще останавливается беседа людей обыкновенных.

Образы этого неподражаемого юмора сохранились в замечательных шуточных стихотворениях покойного философа, напечатанных в приложении ко второму тому его писем и в его драме “Белая лилия”, которая в свое время была напечатана. Но особенно живо напоминают его беседы его письма, которые нередко оканчиваются стихами. Тут, между прочим, очаровательны шуточки над самим собою, над собственной беспомощностью, безденежьем, над своими недугами и немощами. Уморительна, например, нотация, которую читает ему генерал Фаддеев в ответ на рассказ о приключении с бедуином в Сахаре:

*В молчаньи генерал, поевши супа,
Так начал важно, взор в меня вперив:*

*“Конечно, ум дает право на глупость,
Но лучше сим не злоупотреблять:
Не мастерица ведь людская тупость
Виды безумья точно различать.*

*А потому, коль вам прослыть обидно
Помешанным иль просто дураком, –
Об этом происшествии постыдным
Не говорите больше ни при ком”.*

(“Три свидания”)

В другом стихотворении, соответственно поговорке “что у кого болит, тот о том и говорит”, – видно стремление освободиться смехом от гнетущей философа острой физической или нравственной боли. Например, в 1896 году он пишет М.М.Стасюлевичу:

*Михал Матвееч, дорогой!
Пишу Вам из казарны,
Согбен от недуга дугой
И полон всякой скверны.
Забыты сладкие труды
И Вакха, и Киприды;
Давно уж мне твердят зады
Одни геморроиды.*

В другом письме жалобы на аналогичные недуги разрешаются пожеланием:

*Я на все, судьба, согласен,
Только плешью не дари:
Гольи череп, ах! ужасен,
Что ты там ни говори.
Знаю, безволосых много
Средь святых отцов у нас,
Но ведь мне не та дорога:
В деле святости я – нас.
Преимуществом фальшивым
Не хочу я щеголять
И к главам мироточивым
Грешный череп причислять.*

Иногда в форму шуточного стихотворения облекается самое предчувствие конца, всегда носившееся перед Соловьевым. Такова, например, его известная эпитафия о самом себе:

*Владимир Соловьев
Лежит на месте этом.
Сперва был философ,
А ныне стал скелетом.
Иным любезен быв,
Он многим был и враг;
Но, без ума любив,
Сам ввергнулся в овраг.
Он душу потерял,
Не говоря о теле:
Ее диавол взял,
Его ж собаки съели.
Прохожий! Научись из этого примера,
Сколь пагубна любовь и сколь полезна вера.*

В этом роде это – не единственное стихотворение; есть другие, где совсем невеселое содержание проглядывает сквозь шутку еще яснее. В 1895 году он пишет Э.Л.Радлову: “Я приветствовал сам себя сегодня следующим правдивым и безыскусственным четверостишием:

*В лесу болото,
А также мох.
Родился кто-то,
Потом издох.”*

Шутка в устах Соловьева часто имела весьма серьезный смысл. Он в особенности охотно острил о том, над чем хотел подняться. Есть у него и шутки иного рода, где за избытком жизнерадостного настроения совсем скрывается его грустная оборотная сторона. Это – порхание бабочки над радужными цветами: но и оно невозможно без крыльев.

II

Немощь и беспомощность Соловьева, о которой мы говорили, – была неразрывно связана с его силой. Среди разнообразных даров этой богатой природы совершенно отсутствовали качества заурядные, средние. Неудивительно, что в житейских отношениях его всякий мог обойти и обмануть.

Прежде всего его со всех сторон всячески обирали и эксплуатировали. Получая хорошие заработки со своих литературных произведений, он оставался вечно без гроша, а иногда даже почти без платья. Он был бессребреником в буквальном смысле слова, потому что серебро решительно не уживалось в его кармане; и это – не только вследствие редкой для его доброты, но также вследствие решительной его неспособности ценить и считать деньги. Когда у него их просили, он вынимал бумажник и давал не глядя, сколько захватит рука, и это – с одинаковым доверием ко всякому просившему. Когда же у него не было денег, он снимал с себя верхнее платье. Помню, как однажды глубокой осенью в Москве я застал его страждущим от холода: весь гардероб его в то время состоял из легкой пиджачной пары альпага и из еще более легкой серой крылатки: только что перед тем, не имея денег, он отдал какому-то просителю все суконное и вообще теплое, что у него было; он рассчитывал, что к зиме успеет заработать себе на шубу. В.Л.Величко припоминает аналогичные случаи, когда, раздав все свои вещи, Соловьев затем носил фрак с бурами пиджачными брюками, временно надевал шубу одного приятеля или увозил за тридевять земель шляпу другого¹. Другой приятель его, доктор Петровский, также свидетельствует о “беспримерной” щедрости Соловьева. По его словам, покойный философ “в материальном отношении всегда действовал как богач в смысле помощи ближнему, несмотря на то, что сам добывал средства к существованию исключительно лишь литературным трудом. Если возможно было вычислить, какую часть своих скромных доходов он отдавал тем, которые обращались к нему за денежной помощью, то, наверное, получились бы очень интересные цифры”.² В царских “на чаях” и в щедрой благотворительности он видел способ восстановления “непосредственной экономической справедливости”.³

Между просителями, осаждавшими философа, понятное дело, бывали всякие. Однажды, надеясь экономичнее распорядиться своим летом, он поселился в крестьянской избе: но пребывание в деревне обошлось ему недешево; он, между прочим, дал денег на покупку коровы крестьянину, который потом оказался одним из богатейших в селе и едва ли не кулаком. Зная его безграничную щедрость, извозчики иногда облепляли его подъезд, часами дожидаясь его выхода из дому: но пешие прогулки обходились ему еще дороже, так как он горстями давал нищим, чему мне не раз приходилось быть свидетелем. В.Л.Величко рассказывает об одной его прогулке по Петербургу, когда он отдал нищим все свои деньги, кошелек, пустой бумажник, носовой платок и старые ботинки. В результате философ остался без обуви, так как новые ботинки оказались не по мерке, а других купить было не на что; если бы не выручивший его приятель – он остался бы без обеда.⁴

Неудивительно, что при таких условиях Соловьев постоянно испытывал острую нужду и всячески сокращал свои потребности. Своему другу доктору Петровскому он говорил, что “обедать через день совершенно достаточно для человека и что потребность в каждодневном обеде есть не что иное, как дурная привычка”.⁵

О пустоте своего кармана сам он говорит в стихах:

*Идти пешком (из Лондона в Сахару
Не возят даром молодых людей, –
В моем кармане – хоть кататься шару,
И я живу в кредит уж много дней).*

(“Три свидания”)

Из писем его видно, что он всегда в таком положении. То он пишет родителям на клочке, “потому что бумаги купить не на что”⁶, то сообщает “с душевным прискорбием о преждевременной кончине своих капиталов”⁷, то извещает, “что накануне получения денег истратил последний пятиалтынный” или что сидит без нужды в Петербурге “отчасти потому, что выехать не с чем”.⁸ В письме к Аксакову он изыскивает средства, чтобы сделать обычный денежный подарок не-

кому Н., по-видимому, нуждающемуся и в то же время говорит о собственном денежном положении: “А мне в последнее время приходится вспоминать о некоторых критических минутах в жизни Иова...”.¹ В письме к Э.Л.Радлову как нельзя более наглядно обрисовывается то свойство характера Соловьева, которое было причиной этой хронической нужды. Он ожидает получения денег за сочинения своего отца и свои собственные и заранее умоляет друга взять у него займы деньги на поездку в Карлсбад. “Таким образом, – прибавляет он, – я не только изглажу рукописание грехов своих, но еще получу возможность, сам быв искушен, и искушаемым помощи”.²

Об этой черте философа прекрасно говорит доктор Петровский: “...он, я хорошо знаю, – всегда готов был обедать через день для того, чтобы доставить возможность обедать каждый день кому-либо другому, – без всякой мысли рекомендовать ему ту умеренность, которой следовал сам”.³

С этой горячностью сердца в Соловьеве сочеталась наивность и доверчивость ребенка: он постоянно переоценивал людей, ошибался в них так, как, разумеется, не мог бы ошибиться человек с простым здравым смыслом. Особенно часто обманывался он в женщинах. Он легко пленился ими, совершенно не распознавая прикритой кокетством фальши, а иногда и ничтожества. Когда же наглядные доказательства, казалось, должны были бы привести его к полному разочарованию, он все-таки утверждал, что “ее умопостижимый характер прекрасен”, а обнаруживавшиеся недостатки – только свойства “характера эмпирического”. Глядя на действительность с недостижимой для простых смертных высоты, он, понятное дело, ясно видел общую картину жизни, но сбивался в оценке отдельных явлений, и в особенности индивидуальных характеров. Его неуравновешенно, вечно работавшее воображение часто приписывало людям несуществующие положительные качества. Мой покойный брат рассказывал мне, как однажды Соловьев по близорукости принял скорлупу деревянного пасхального яйца, надетую на палочку, за одиноко растущий цветок: брат разрушил его иллюзию в минуту, когда Соловьев, вдохновившись воображаемым цветком, писал о нем стихотворение. В его оценках людей безбрестанно повторялся тот же обман зрения.

Та же близорукость относительно житейского нередко вовлекала Соловьева в заблуждения противоположного свойства: иногда он предполагал адские замыслы там, где на самом деле были только самые обыденные и невинные человеческие поступки. Однажды, когда он ехал из Генуи в Канны, в занятое им отделение вагона вошла какая-то супружеская чета; оставив вещи на полке, она тотчас удалась, после чего поезд тронулся. Соловьеву мигом представилось, что в покинутом чемодане лежит зарезанный младенец. Взволнованный страшной картиной подозреваемого преступления, он решил заявить об этом кондуктору. Оказалось, разумеется, что в чемодане находились обыкновенные пассажирские вещи, а супруги просто-напросто завтракали в вагоне-ресторане. За это же путешествие с ним случилось другое характерное для него приключение: не рассчитав путевых издержек, он оказался без денег в Венеции и, чтобы доехать, должен был заложить свои часы.

С беспомощностью в Соловьеве сочеталась безалаберность человека, совершенно неприспособленного к жизни. Бесприютный скиталец, он вечно странствовал и не имел определенного местопребывания. У него никогда не было определенных часов ни для еды, ни для сна, ни для занятий. Он делал из ночи день, а из дня – ночь. Проведя вечер в кругу друзей, он иногда после ужина садился за занятия, писал целую ночь и ложился рано утром. Когда он оставался один, без заботливого попечения людей ему близких (что случалось с ним очень часто), он, не признавая завтраков и обедов, ел и то не всегда, когда его вынуждал к тому голод, питаясь вегетарианской пищей. Но, если тут же заходил к нему приятель, он любил угощать его вином и сам пил, не спрашивая о часах. С юных лет он имел пристрастие к тем дружеским беседам, во время которых его застала “заря с Востока”. В этом отношении он следовал своей особой теории.

“Вообще вино повышает энергию нервной системы и через нее – психической жизни на низших ступенях духовного развития, где преобладающая сила в душе еще принадлежит плотским мотивам, все, что возбуждает и поднимает служащую душе нервную энергию, идет на пользу этого господствующего плотского элемента и, следовательно, крайне вредно для духа; поэтому здесь необходимо полное воздержание “от вина и сикера”. Но на более высоких ступенях нравственной жизни, какие достигались и в языческом мире, например, Сократом (см. Платонов “Пир”), – энергия организма служит более духовным, нежели плотским целям, и повышение нервной деятельности (разумеется, в пределах, не затрагивающих телесного здоровья) усиливает действие духа и, следовательно, может быть в известной мере не только безвредно, но даже прямо полезно”.⁴ В беседах со мной он выражал то же самое короче. Он находил, что вино – прекрасный реактив: в нем обнаруживается весь человек: кто скот, тот в вино станет совершенной скотиной, а кто человек – тот в вино станет ангелом.

В применении к Соловьеву эта теория вполне оправдалась. Пыры с

¹ В.Л.Величко. Владимир Соловьев, с. 146.

² Памяти Соловьева (Вопросы философии, кн.56, 1905, январь-февраль).

³ В.Л.Величко. Владимир Соловьев, с. 147.

⁴ Там же, с. 148-149.

⁵ Памяти Соловьева, с. 40.

⁶ Вл.Соловьев. Письма. Под ред. Э.Л.Радлова. Т. II. Спб., 1910, с. 20.

⁷ Там же, с. 8.

⁸ Там же, с. 12.

¹ Там же, с. 290.

² Письма. Т. I. Спб., 1908, с. 245.

³ Памяти Соловьева, с. 40.

⁴ Оправдание Добра. Собр. соч. (I-изд.), т. VII, с. 70.

ним были воистину Платоновыми пирами: он испытывал подъем духа, который передавался и другим; кто из его друзей не помнит этих вдохновенных бесед, этого моря чарующего и заразительного веселья! Но полезное для духа не всегда полезно для слабого, изнуренного хроническим недоеданием истощенного тела.

Бившая из него ключом духовная жизнь вообще не укладывалась в какие бы то ни было житейские рамки: в нем была непокорная стихия, которая бунтовала против всего обыденного и в том числе – против всякого раз навсегда заведенного порядка. Это та самая черта его характера, которая нашла себе образное выражение в его чудном стихотворении “Сайма”:

*Озеро плещет волной беспокойною,
Словно как в море растущий прибой,
Рвется к чему-то стихия нестройная,
Спорит о чем-то с враждебной судьбой.*

*Знать, не по сердцу оковы гранитные!
Только в безмерном отраден покой.
Снятся былые века первобытные,
Хочется снова царить над землей.*

*Бейся, волнуйся, невольница дикая!
Вечный позор добровольным рабам.
Сбудется сон твой, стихия великая,
Будет простор всем свободным волнам.*

В свободной душе Соловьева это возмущение против добровольных оков связано с тоской по синеве безбрежной:

*Волна в разлуке с морем
Не ведает покою,
Ключом ли бьет кипучим,
Иль катится рекою, –
Все роищет и вздыхает,
В цепях и на просторе,
Тоскуя по безбрежному,
Бездонном синем море.*

(“Волна, разлученная с морем”)

Само собою разумеется, что этот бунт против всего обыденного житейского не прошел Соловьеву безнаказанным. В его неприиспособленности к жизни заключаются без сомнения главная причина его преждевременного конца. Новые творческие замыслы рождались в нем; и талант его рос и укреплялся, когда тело его, изнуренное трудом и болезнью, отказывалось ему служить. Врачи, окружавшие его перед смертью, удивлялись не тому, что он умирает, а тому, что он мог жить и притом жить столь напряженной духовной и умственной жизнью при такой степени физического упадка¹. “Общую иннервацию” нашел у Соловьева уже за одиннадцать лет до его кончины известный Боткин, который тогда же поставил условием здоровья женитьбу и спокойный образ жизни – то самое, что всего больше противоречило душевному складу философа. Пиллоли, прописанные “за неисполнимостью совета”², в данном случае, разумеется, не могли не оказаться плохим лекарством. Какие пиллоли могут спасти человека, у которого атрофирован самый жизненный инстинкт, присущее всем смертным стремление к самосохранению. Эта особенность Соловьева как нельзя более ярко изобразилась в самой его наружности: не будучи аскетом, он имел вид изможденный и представлял собой какие-то живые мощи. Густые локоны, спускавшиеся до плеч, делали его похожим на икону. Характерно, что его часто принимали за духовное лицо: его встречают возгласом: “Как, Вы здесь, батюшка!” Маленькие дети, хватая его за полы шубы, восклицают: “Божинька, божинька!”³

III

Работа мысли и воображения Соловьева никогда не останавливалась, она достигала высшего своего напряжения именно в те часы, когда он, по-видимому, ничем не был занят. Он не имел обыкновения думать с пером в руке: он брался за перо только для того, чтобы записать произведение, уже раньше созревшее и окончательно сложившееся в его голове; самый же процесс творчества происходил у него или на ходу во время прогулки или приятельской беседы, или же, наконец, в часы бессонницы, не прекращаясь даже и во время сна: ему случалось просыпаться с готовым стихотворением. Поэтому для него, собственно говоря, не существовало отдыха и всего менее он отдыхал во сне.⁴

По собственному его признанию, которое мне приходилось от него слышать, сон был для него “как бы окном в другой мир”: во сне он нередко беседовал с умершими, видел видения – иногда вещие, пророческие, иногда фантастические, странные. Об этих беседах с отшедшими говорит одно из характерных для него стихотворений:

¹ См.: Кн. С. Трубецкой. Основное начало учения В. Соловьева. Собр. соч., т. 1, с. 352.

² Письма, т. II, с. 64.

³ Там же, с. 46.

⁴ Строки эти были написаны на основании моих собственных наблюдений: но совершенно так же описывают процесс творчества Соловьева два других друга – Кн. С. Трубецкой. Основное начало учения В. Соловьева, с. 356; Г. А. Рачинский. Вопросы философии, кн. 56, с. 131.

*Лишь только тень живых, мелькнувши, исчезает,
Тень мертвых уж близка,
И радость горькая им снова отвечает
И сладкая тоска.*

(“Лишь только тень живых, мелькнувши, исчезает...”)

Или еще лучше в том же роде:

*Едва покинул я житейское волнение,
Отшедшие друзья уж собрались толпой,
И прошлых смутных лет далекие виденья
Яснее и ясней выходят предо мной.*

*Весь свет земного дня вдруг гаснет и бледнеет,
Печалью сладкою душа упоена,
Еще незримая – уже звучит и веет
Дыханьем вечности грядущая весна.*

*Я знаю: это вы к земле свой взор склонили,
Вы подняли меня над тяжкой суетой
И память вечного свиданья оживили,
Едва не смытую житейскою волной.*

*Еще не вижу вас, но в час предназначенья,
Когда злой жизни дань всю до конца отдам,
Вы въявь откроете обитель примиренья
И путь укажете к немеркнущим звездам.*

(“Отшедшим”)

Соловьев верил в реальность, действительность этого общения с умершими. Душевная потребность в нем связывалась для него с самой сущностью его религиозного и философского идеала. Он верил в действительность воспринятых во сне откровений; и это тем более, что предсказания его сновидений нередко сбывались.

Его посещали не одни “родные тени”. Кроме этих дорогих ему видений, ему являлись и страшные, притом не только во сне, но и наяву. В. Л. Величко, как и многие другие, рассказывает, что “он видел дьявола и пререкался с ним”; некоторые друзья знали заклинание, которое он творил в подобных случаях. В моем присутствии однажды он несомненно что-то видел: среди оживленного разговора в ресторане за ужином он вдруг побледнел с выражением ужаса в остановившемся взгляде и стал напряженно смотреть в одну точку. Мне стало жутко на него глядя. Тут он не захотел рассказывать, что собственно он видел, и, придя в себя, поспешил заговорить о чем-то постороннем. Но в других случаях он рассказывал.

У него бывали всякого рода галлюцинации – зрительные и слуховые: кроме страшных были и комичные, и почти все были необычайно нелепы. Как-то раз, например, лежа на диване в темной комнате, он услышал над самым ухом резкий металлический голос, отчеканивавший каждое слово: “Я не могу тебя видеть, потому что ты так окружен”. В другой раз рано утром, тотчас после пробуждения, ему явился восточный человек в чалме. Он произнес необычайный вздор по поводу только что написанной Соловьевым статьи о Японии (“схал по дороге, про буддизм читал, вот тебе буддизм”) и ткнул его в живот необычайно длинным зонтиком. Видение исчезло, а Соловьев ощутил сильную боль в печени, которая потом продолжалась три дня.

Такие болевые ощущения и другие болезненные явления у него бывали почти всегда после видений. По этому поводу я как-то сказал ему: “Твои видения – просто-напросто – галлюцинации твоих болезней”. Он тотчас согласился со мной. Но это согласие нельзя истолковывать в том смысле, чтобы Соловьев отрицал реальность своих видений. В его устах слова эти значили, что болезнь делает наше воображение восприимчивым к таким воздействиям духовного мира, к которым люди здоровые остаются совершенно нечувствительными. Поэтому он в подобных случаях не отрицал необходимости лечения. Он признавал в галлюцинациях явления субъективного и притом больного воображения. Но это не мешало ему верить в объективную причину галлюцинаций, которая в нас воображается, воплощается через посредство субъективного воображения во внешней действительности. Словом, в своих галлюцинациях он признавал явления медиумических. И в самом деле, как бы мы ни истолковывали спиритические явления, какого бы взгляда ни держались на их причину, нельзя не признать, что самые явления переживались Соловьевым очень часто. Он во всяком случае был очень сильным медиумом, хотя медиум невольный, пассивный.

В юные годы он очень увлекался спиритизмом и был вводим в обман разного рода мнимыми откровениями. Это послужило поводом к скорому разочарованию. В зрелых годах, когда мирозерцание его вполне сложилось, Соловьев относился к спиритическим сеансам безусловно отрицательно, как к занятию не только праздному, но и греховному. Уже в 1875 году он пишет из Лондона кн. Д. Н. Цертелеву: “На меня английский спиритизм произвел точно такое же впечатление, как на тебя французский: шарлатаны с одной стороны, слепые верующие – с другой; и маленькое зерно действительной магии, распознать которое в такой среде нет почти никакой возможности. Был я на сеансе у знаменитого Вильяма и нашел, что это фокусник более наглый, нежели искусный. Тьму египетскую он произвел, но других чудес не показал. Когда летавший во мрак колокольчик сел на мою голову, я схватил вместе с ним мускулистую руку, владелец которой

духом себя не объявил. После этого остальные подробности мало интересны".¹ Впоследствии Соловьев высказывал о спиритизме суждения еще более отрицательные; но, как бы то ни было, это увлечение его молодости не прошло ему даром: оно расстроило его нервную систему и, без сомнения, усилило его предрасположение к галлюцинациям. Если бы не эти добровольные занятия спиритизмом, он, может быть, и не стал бы невольным медиумом.

Охарактеризованное только что отношение Соловьева к галлюцинациям тесно связано с существенными чертами его мирозерцания. Духовный мир был для него не отвлеченным умопредставлением, а живой действительностью и предметом опыта. Он не признавал ничего неодухотворенного: мир телесный в его глазах представлял собою не самостоятельное, самодовлеющее целое, а сферу проявления и воплощения невидимых духовных сил. Тут мы соприкасаемся с наиболее чуждой, непонятной современникам чертою умственного облика Соловьева: он мог бы подписаться под изречением древнего Фалеса: "все полно богов". Он видел деятельность незримых сил духовных в самых разнообразных явлениях природы – в движениях волн морских, в молнии и громе. Они наполняли для него таинственную жизнь и леса и горы. Мир сказочный с его водяными, русалками и лешими был ему не только понятен, но и сроден: внешняя природа была для него или иносказанием или прозрачной оболочкой – средой, в которой господствуют деятели зрячие, сознательные: развитие природы для него – непрерывно совершающееся, а потому несовершенное и незаконченное откровение иной, сверхприродной действительности. В таком понимании природы заключается один из наиболее могучих источников поэтического вдохновения Соловьева. Здесь корень того необычайного подъема душевного, которое вызывается в нем созерцанием ее красоты; когда он видит горы и море, у него вырастают крылья², а осенний вид вызывает в нем молитвенное настроение:

*Замерла бесконечная даль,
И роскошно-блестящей и шумной весны
Примиренному сердцу не жаль.
И как будто земля, отходя на покой,
Погрузилась в молитву без слов,
И спускается с неба невидимый рой
Бледнокрылых, безмолвных духов.
("Осеннею дорогой")*

В этих поэтических видениях у Соловьева облекается в плоть и кровь его философское понимание природы. В поэтической интуиции он чувствует мировую душу, вступает в общение с "владычицей земли":

*Я озарен осеннею улыбкой –
Она милей, чем яркий смех небес.
Из-за толпы бесформенной и зыбкой
Мелькает луч, – и вдруг опять исчез.

Плачь, осень, плачь – твои отрадны слезы!
Дрожащий лес, рыданья к небу шли!
Ревы, о буря, все свои угрозы,
Чтоб истощить их на груди земли!

Владычица земли, небес и моря!
Ты мне слышна сквозь этот мрачный стон,
И вот твой взор, с враждебной мглою споря,
Вдруг озарил прозревший небосклон.
("Я озарен осеннею улыбкой...")*

В другой раз, обращаясь к земле-владычице, поэт прямо говорит:

*Родного сердца пламень ощутил я,
Услышал трепет жизни мировой.
("Земля-владычица! К тебе чело склонил я...")*

В этом проникновении в тайну мировой жизни он находит исцеление земным страданиям: он верит в животворящую силу красоты:

*И призраки ушли, но вера неизменна...
А вот и солнце вдруг взглянуло из-за туч.
Владычица-земля! Твоя краса нетленна,
И светлый богатырь бессмертен и могуч.
("На том же месте")*

Природа жива! В этом залог нашей надежды на окончательное торжество жизни над смертью. Рано или поздно восторжествоуют те зрячие силы, коих несовершенное явление мы уже теперь наблюдаем во внешнем мире. Тогда земля вернет умерших к жизни. На эти мысли наводит философа вид урожая в Нильской дельте:

*Золотые, изумрудные,
Черноземные поля...
Не скупа ты, многотрудная,
Молчаливая земля!*

*Это лоно плодотворное, –
Сколько дремлющих веков, –
Принимало, всепокорное,
Семена и мертвецов.*

*Но не всё тобою взято
Вверх несла ты каждый год:
Смертью древнею заклятое
Для себя весны не ждет.*

*Не Изида трехвенечная
Ту весну им приведет,
А нетронутая, вечная
"Дева Радужных Ворот"
("Нильская дельта")*

Одно и то же понимание природы рождало эти чудные поэтические образы и вместе с тем было источником целого ряда невероятных чудачеств, поражавших в Соловьеве. Этот человек, веривший в существование добрых и злых духовных сил, населяющих природу, молившийся владычице-земле и обращавшийся со стихотворными увещаниями к "морским чертям", в наш скептический век являл собою как бы олицетворенный парадокс. Философ-мистик, для которого духовный мир и мир духов – не только предмет веры и постижения, а доступное наблюдению явление, в качестве чуждого нашему времени, неизбежно должен казаться чудным. Неудивительно, что вся философия Соловьева представлялась большинству его современников сплошным чудачеством; и это – тем более, что он с его редким чутьем к пошлости всего ходячего, общепринятого обладал в необычайной степени духом противоречия.

Эта черта, присущая многим сильным умам, особенно понятна в Соловьеве. Та доступная внешним чувствам действительность, которая для обыкновенного человека носит в себе печать подлинного и истинного, в глазах Соловьева представлялась не более как опрокинутым отражением мира невидимого, истинно сущего. Неудивительно, что подобное мирозерцание опрокидывало все общепринятые оценки существующего.

IV

Противоречие с общепринятым "нормальным" для философского облика Соловьева не есть что-либо внешнее, случайное; оно коренится в самом его существе.

Искание безусловного и безотносительного, наполнявшее душу философа, беспредельно расширяло его ум и не давало ему возможности окончательно удовлетвориться чем-либо условным, относительным. Тот широкий универсализм, в котором Достоевский усматривает особенность русского гения, был ему присущ в высшей мере; именно благодаря этому свойству он был беспощадным изобличителем всякой односторонности и тонким критиком: в каждом человеческом воззрении он тотчас разглядывал печать условного и относительного.

Наиболее распространенные, ходячие людские мнения редко представляют собою беспримесную истину или беспримесную ложь; большую часть они заключают в себе пеструю смесь того и другого; они принимают сторону истины за всю истину. В каждом данном воззрении Соловьев легко угадывал его односторонность; и это тотчас заставляло его противоречить, т.е. выдвигать ту сторону истины, которая заключается в воззрении противоположном.

Как часто приходилось наблюдать эту черту в его спорах, в особенности философских и политических. В начале его литературной деятельности в области публицистики господствовало западничество, в области философии – материализм и позитивизм. Соловьев, всегда плывший против течения, вступил на литературное поприще славянофилом; в философии он начал с блестящей полемики против материализма и позитивизма. В то время, в семидесятых годах, этим самым создавалось для него совершенно одинокое положение среди русских философов. Напротив, позднее, в восьмидесятых годах, когда началась наше с ним знакомство, мне приходилось встречать его преимущественно среди московского кружка молодых философов-идеалистов. Тут он чаще всего резко восставал против одностороннего идеализма и спиритуализма, подчеркивая относительную истину материализма и позитивизма. В реферате, читанном в Петербурге в 1898 году на собрании Философского общества, сам он так говорит о своем отношении к Огюсту Конту: "Более двадцати лет тому назад мне пришлось на этом самом месте начать свое публичное поприще резким нападением на позитивную философию. Мне нет причины в этом раскаиваться. Во-первых, в то время на позитивизм у нас была мода, и, как водится, эта умственная мода становилась идолопоклонством, слепым и нетерпимым ко всем "несогласно мыслящим". Противодействие тут было не только извинительно и уместно, но и обязательно для начинающего философа, как первый экзамен в серьезности философского призвания. А во-вторых, это идолопоклонство, несправедливое к иноверцам, обижало и самого своего идола: за целого Конта выдавалась только первая половина его учения, а другая – и по мнению учителя наиболее значительная, окончательно – замалчивалась. Но если мне не придется раскаиваться в факте своего нападения и если на мне нет вины перед позити-

¹ Письма, т. II, с. 228.

² См. приведенное уже выше стихотворение "В Альпах".

визмом тогдашнего русского общества, то долг перед Контом все-таки остается долг указать зерно истины в его действительном, целом учении¹.

В те дни, когда эти слова были сказаны, отрицательное отношение к позитивизму уже в свою очередь стало входить в моду; частые его опровержения начинали надоедать повторением одних и тех же доводов, ставших почти обязательными. Та же история повторилась и с отношением философа к славянофильству. Пока оно было в загоне, Соловьев был славянофилом; как только оно вошло в силу, выродилось в национализм и превратилось в идолопоклонство – он вышел из славянофильского лагеря и стал выдвигать ту сторону истины, которая заключалась в западничестве.

Ничто так не раздражало покойного философа, как идолопоклонство. Когда ему приходилось иметь дело с узким догматизмом, возмущившим что-либо условное и относительное в безусловное, дух противоречия сказывался в нем с особой страстностью. В особенности жестоко доставалось от него наиболее вредным из всех идолов – идолом политическим. Таких идолов он находил в самых противоположных воззрениях – в славянофильстве и в западничестве либерализме, в учении Каткова и в социализме. Обыкновенно он обрушивался всеми силами против того идола, которому наиболее поклонялись в среде, где он в данное время жил. Поэтому перемена местопребывания не оставалась без влияния на его полемику. Его полемические статьи против славянофилов, Каткова и иных эпигонов славянофильства относятся большей частью к тому времени, когда он проживал преимущественно в Москве, часто сталкиваясь с деятелями Страстного бульвара и вообще с националистами. Напротив, его известная статья "Византизм и Россия", близкая к славянофильству по своей положительной оценке неограниченного самодержавия, была написана в то время, когда он вращался преимущественно в либеральных западнических кругах в Петербурге. Статья эта была напечатана в "Вестнике Европы", который в данном случае сыграл роль унтер-офицерской вдовы из "Ревизора". Соловьев заслужил горячие похвалы от "Московских Ведомостей", незадолго перед тем его распинавших.

Тот самый универсализм, который заставлял Соловьева восставать против идолов, обуславливал его чрезвычайно высокую оценку относительного. В его глазах относительное только тогда становится ложью, когда возводится в безусловное, становится на его место; напротив, относительное, утверждаемое, как таковое, составляет необходимую часть целой, вселенской истины. Редкая широта его кругозора давала ему возможность угадывать не только ограниченность и ложь каждого данного воззрения, но и то зерно истины, которое оно в себе заключает. Неудивительно, что мы находим у него положительные оценки самых противоположных и несходных мирозерцаний. Он – верующий христианин, но это не мешает ему находить элементы положительного откровения не только в Исламе, но и во всевозможных языческих религиях востока и запада. Философ-мистик, он тем не менее высоко ценит ту относительную истину, которая заключается в учениях рационалистических и эмпирических. Как политик и публицист, он не может быть назван ни социалистом, ни индивидуалистом, ни консерваторм, ни либералом, потому что он видит правду в каждом из этих противоположных направлений и пытается объединить их в органическом синтезе.

Характеризуя поэзию гр. А. К. Толстого, Соловьев, между прочим, отмечает в покойном поэте черту, глубоко ему сродную: он боролся оружием свободного слова за право красоты, которая есть осязательная форма истины, и за жизненные права человеческой личности. "Но именно потому, что путь, указанный поэту, был правдивый и борьба на этом пути была борьбою за высшую правду, за интересы безусловного и вечного достоинства; она возвышала поэта не только над житейскими и корыстными битвами, но и над тою партийною борьбою, которая может быть бескорыстною, но не может быть правдивою, ибо она заставляет видеть все в белом цвете на своей стороне и все в черном на стороне враждебной; а такого равномерного распределения цветов на самом деле не бывает и не будет – по крайней мере до страшного суда"².

Так же как и для Толстого, для Соловьева характерна эта неспособность "отдаться всецело одному из враждующих станом"³. Разбирая великий спор христианских церквей, он прямо говорит о "невозможности пристать ни к одной из спорящих сторон"⁴. Такое же положение Соловьев занимал во всех великих спорах его времени, религиозных, философских, политических. С одной стороны, как справедливо замечает Э. Л. Радлов о нем, "самые разнообразные направления и общественные течения с некоторым правом могли сказать: он наш"⁵; с другой стороны именно поэтом всем односторонним направлениям он был одинаково чуждым. Всем близкий, он был, есть и остается до сих пор непонятым почти всеми. Одиночество этого мыслителя, столь отзывчивого ко всему человеческому, – одна из тех парадоксальных черт, которых так много в его судьбе. А между тем оно – вполне понятно и естественно: оно объясняется не только глуби-

ной, но и беспредельной широтою его воззрений. Среднему человеку труднее всего понять то, что не укладывается в прокрустово ложе какого-нибудь партийного течения, то, что не может быть охарактеризовано каким-нибудь шаблонным ярлыком. Политик, который не отождествляет себя с какой-либо определенной партией, а пытается стоять над партиями, сочетая в своем уме истину каждой, со всех сторон вызывает к себе враждебное и несправедливое отношение: одни заподозривают в нем реакционера, другие, наоборот, крамольника: диалектический переход от одной точки зрения к другой понимается как выражение непостоянства, изменчивости в убеждениях, а попытка объединения, синтеза противоположностей принимается за внутреннее противоречие. Соловьеву в течение всей своей жизни приходилось страдать от такого партийного к себе отношения и не в одной политике. Современники в огромном большинстве судили о нем весьма поверхностно: одни приклеивали к нему ярлык "славянофила"; в славянофильском лагере, наоборот, его в то же самое время травили как "западника", "католика" и даже "изменника". При этом нельзя сказать, чтобы никто его не ценил: многие восхищались им как публицистом, другие пленялись его стихами, третьих привлекала какая-либо сторона его религиозных и философских воззрений; но почти никто не охватывал его миропонимания в его целом: то, что составляло сущность его воззрений, было доступно лишь весьма немногим.¹ Характерны его стихи:

*В стране морозных выюг, среди седых туманов
Явилась ты на свет,*

*И, бедное дитя, меж двух враждебных станом
Тебе приюта нет.*

(“В стране морозных выюг, среди седых туманов...”)

По-видимому, здесь он разумел свое религиозное и философское учение.

V

В жизни Соловьева выразились те же черты характера, как и в его мировоззрении. Как в своем учении он не мог успокоиться на каком-либо одностороннем начале, так и в жизни он не мог окончательно плестись чем-либо, носившим печать преходящего, временного. В его уме и в его сердце было слишком много струн, чтобы какая-либо односторонняя привязанность или одностороннее чувство могли завладеть им окончательно. Он был горячим и верным другом. Ради друзей он был всегда готов на жертвы; будь это нужно, он не задумался бы положить за них душу; но было бы совершенно невозможно представить себе его супругом и отцом.

Чувство любви к женщине было хорошо и близко ему знакомо. Оно играло огромную роль в его душевном настроении и творчестве; в течение своей жизни он был влюблен много раз, горячо и страстно. Однако и это чувство не могло его приковать: ибо и здесь элемент универсальный преобладал над личным, индивидуальным. Черта эта заслуживает с нашей стороны особого внимания ввиду ее огромного значения для мирозерцания покойного философа.

В одном из лучших стихотворений Соловьева – “Три свидания” – есть полное невыразимой прелести описание его первой детской любви:

*Мне девять лет, она... ей – девять тоже.
“Был майский день в Москве”, как молвил Фет.
Признался я. Молчание. О, Боже!
Соперник есть. А! он мне даст ответ.*

*Дуэль, дуэль! Обедня в Вознесенъ.
Душа кипит в потоке страстных мук.
Житейское... отложим... попеченье –
Тянулся, замирая и замер звук.*

*Алтарь открыт... Но где ж священник, дякон?
И где толпа молящихся людей?
Страстей поток, – бесследно вдруг иссяк он.
Лазурь кругом, лазурь в душе моей.*

*Пронизана лазурью золотистой,
В руке держа цветок нездешних стран,
Стояли ты с улыбкою лучистой,
Кивнула мне и скрылася в туман.*

*И детская любовь чужой мне стала,
Душа моя – к житейскому слепа...
А немка-бонна грустно повторяла:
“Володинька – ах! слишком он глуп!”*

¹ Ср. кн. С. Трубецкого. Основное начало учения Соловьева. Собр. соч., т. I, с. 364: “С различных сторон ему хотели навязать принципы, которым он никогда не служил. Люди различных партий считали его своим, потому что он признавал их относительную правду; и они же яростно нападали на него и обвиняли в отступничестве, когда убеждались, что он не считал их правду безусловною; кто только не звал его ренегатом! Еще недавно в одной из речей, произнесенных в его память, было сказано, что, как публицист, он плыл без компаса. И как это бывает всегда, его называли беспринципным, потому что он неизменно служил одному высшему принципу”.

¹ Идея человечества у Августа Конта. Собр. соч., т. VIII, с. 225.

² Поэзия гр. А. К. Толстого. Собр. соч., т. VI, с. 481.

³ Великий спор и христианская политика. Собр. соч., т. IV, с. 71.

⁴ Предисловие к IX (дополнительному) тому Собр. соч. Соловьева, с. XVIII. Во всех цитатах курсив Евг. Трубецкого (прим. ред.).

По объяснению Соловьева "она" первой из приведенных строф была маленькой барышней и не имела ничего общего с тою "ты", которая явилась "с цветком нездешних стран". Кто знает философию Соловьева, тот поймет, что эта "ты" – явившаяся философу, не что иное как "вечно женственное". – Премудрость Божия или что то же – идеальный образ всеединства – вечный прообраз сотворенного. Это видение, являющееся среди любовного экстаза, характерно не только для детского возраста философа, но и для любви вообще. И в зрелых годах "страстей поток" в нем умолкал перед голосом высшего призвания; он видел голубую лазурь над любимым предметом и над своей любовью.

Во многих случаях этого бывает достаточно, чтобы заставить забыть о "маленькой барышне". В другом стихотворении мы читаем:

*О, как в тебе лазури чистой много
И черных, черных туч!
Как ясно над тобой сияет отблеск Бога,
Как злой огонь в тебе томителен и жгуч.*
(“О, как в тебе лазури чистой много...”)

Приковать к себе чувство Соловьева была бы в состоянии только женщина, которая могла бы удерживать в себе лазурь и светить ему небесным светом. Таких, как известно, немного. Из тех, которых он встречал, большинство поглощались "житейскими попечениями"; а потому не могли укорениться в душе философа. В любви он сознавал себя "скитальцем":

*Ужели обман – эта ласка нежданная!
Ужели скитальцу изменишь и ты?
Но сердце твердит: это пристань желанная
У ног безмятежной святой красоты.*
(“Тебя полюбил я, красавица нежная...”)

По самому существу своего духовного склада Соловьев не мог долго успокоиться в какой-либо "пристани". И это обуславливается не слабостью его чувства, а как раз наоборот, – его бездонной глубиной и силой и теми повышенными сверхчеловеческим требованиям, которые сочетаются у него с любовью. В стихах и прозе он твердит, что в любви раскрывается высший смысл жизни, что любовь для него "все", что без нее "мир потеряет все краски". В ней одна правда; и вне ее – все только тень. Но с другой стороны, в самой его любви таится недоверие к ее предмету – стремление возвыситься над ним:

*Милый друг, не верю я несколько
Ни словам твоим, ни чувствам, ни глазам,
И себе не верю, верю только
В высоте сияющим звездам.*
(“Милый друг, не верю я несколько...”)

Соловьев всегда испытывал то раздвоение любовного чувства, о котором он говорит в приведенном уже стихотворении "Три свидания". Как бы ни было горячо и страстно в нем влечение к женщинам, оно бледнело и потухало, когда философа посещало таинственное видение "с цветком нездешних стран" в руке. Неудивительно, что он видел в любви несуществующую на земле задачу. Самая высота и безбрежность этого чувства, как он его переживал, не позволяла ему вместить его в какие-либо определенные житейские рамки.

В силу тех же особенностей своего гения, которые не позволяли ему связать себя постоянными узами брака, Соловьев вообще не мог ввести свою жизнь в какое-либо определенное житейское русло. Он был совершенно неспособен занимать какую-либо постоянную должность. Самая преподавательская его деятельность была лишь кратким, даже, пожалуй, случайным эпизодом. Предложения занять ту или иную кафедру были неоднократно им отклоняемы. Он, переживавший непрестанную тревогу творчества, не мог подчинить свою умственную деятельность какому-либо независящему от него плану академического преподавания. Его подвижный, разносторонний ум нуждался в свободе передвижения; поэтому обязательство в течение определенного срока сообщить слушателям те или другие сведения было бы ему совсем не по нутру. Своим духовным и, пожалуй, даже физическим обликом он напоминал тот созданный бродячей Русью тип странника, который ищет Иерусалима, а потому странствует по всему необъятному простору земли, читит и посещает все святыни, но не останавливается надолго ни в какой "здешней обители". В такой жизни материальные заботы не занимают много места: у странников они олицетворяются всего только небольшой котомкой за плечами.

Сам Соловьев сознавал себя таким. В "Трех свиданиях", вспоминая свое искание откровений в пустыне египетской, он сравнивает себя с дядей Власом Некрасова. В шуточный тон тут облачается весьма серьезный смысл. Все стихотворение, по признанию Соловьева (в подстрочном к нему примечании), воспроизводит в шуточных стихах самое значительное из того, что до той поры случилось с ним в жизни.

С тем же образом странника связывается и другая стихотворная характеристика его жизненного пути:

*В тумане утреннем неверными шагами
Я шел к таинственным и чудным берегам.
Боролась заря с последними звездами,
Еще летали сны – и, сваченная снами,
Душа молилася неведомым богам.*

*В холодный белый день дорогой одинокой,
Как прежде, я иду в неведомой стране.
Рассеялся туман, и ясно видно око,
Как труден горный путь и как еще далеко,
Далеко все, что грезилось мне.*

*И до полуночи неробкими шагами
Все буду я идти к желанным берегам,
Туда, где на горе, под новыми звездами,
Весь пламенеющий победными огнями,
Меня дождется мой заветный храм.*
(“В тумане утреннем неверными шагами...”)

Духовный облик, выразившийся здесь, наложил свою печать на все мирозерцание Соловьева, на все его хождения по святыням предшествовавшей мысли западноевропейской и русской. В истории философии трудно найти более широкий, всеобъемлющий синтез того великого и ценного, что произвела человеческая мысль. Ценностей, унаследованных от прошлого, он не отвергал, напротив, он их тщательно собирал: все они вмещались в его душе и в его философии; но он не находил в них окончательного удовлетворения. Он видел в них частные проявления единой и всецелой истины, разнообразные преломления того света, который всем светит, но в полноте своей доселе еще не раскрывался ни в каком человеческом учении. Тот заветный храм, который он искал, – для него характеризовался словами Евангелия: "в доме Отца моего обителей много".

Здесь святое святых философа, – конец его умственных странствований и вместе с тем тот предел, у которого должна остановиться его характеристика.

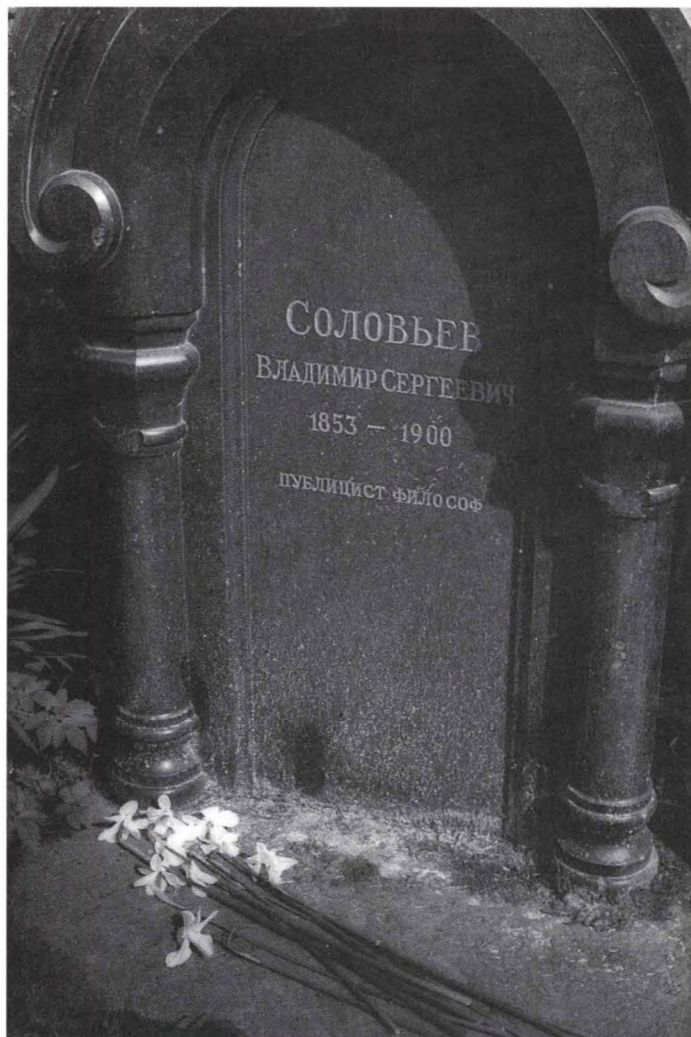


Фото А. С. АМОЙЛЮВА

¹ В русской литературе это – не единственный тип в этом роде. Гоголь, между прочим, был писателем-странником в религиозном значении этого слова.

Событие 1 марта и Владимир Соловьев

Событие 1 марта 1881 года повлекло неожиданные последствия в жизни нашего философа Владимира Сергеевича Соловьева. Оно положило конец его профессорской деятельности. 28 марта – в тот день, когда заканчивался суд над первомайскими, – Соловьев выступил в зале Кредитного общества с лекцией: “Критика современного просвещения и кризис мирового процесса”. Свою речь Соловьев закончил призывом к амнистии цареубийц, заявлением уверенности, что царь в силу высшей правды должен простить убийц своего отца: “... Настоящая минута представляет небывалый дотоле случай для государственной власти оправдать на деле свои притязания на верховное водительство народа. Сегодня судятся и, вероятно, будут осуждены убийцы царя на смерть. Царь может простить их, и если он действительно чувствует свою связь с народом, он должен простить. Народ русский не признает двух правд. Если он признает правду Божию за правду, то другой для него нет, а правда Божия говорит: “Не убий”. Если можно допускать смерть, как уклонение от недостижимого идеала, убийство для самообороны, для защиты, то убийство холодное над безоружным претит душе народа. Вот великая минута самоосуждения и самооправдания. Пусть царь и самодержец России заявит на деле, что он прежде всего христианин, а как вождь христианского народа, он должен, он обязан быть христианином.”¹

<...> Очень точный и скупой на подробности, Л.З. Слонимский дает скатый очерк содержания лекции и впечатления, ею произведенного:

“Я присутствовал на этой лекции от начала до конца и видел Соловьева при его уходе, когда его окружали восторженные лица молодежи. Содержание его речи было вполне определенное: он говорил на этот раз не о Богородице, а о народно-христианском идеале царя, о высшем нравственном значении царской власти и об ее обязательных качествах и условиях... Он нарисовал такой идеально-высокий образ царя, какого не могло существовать в действительности, и затем прямо перешел к волновавшему всех процессу цареубийц. Он говорил медленно, отчеканивая отдельные слова и фразы, с короткими паузами, во время которых он стоял неподвижно, опустив свои удивительные глаза с длинными ресницами. “Царь может их простить”, – сказал он с ударением на слове “может” и после недолгой остановки продолжал, возвысив голос: “Царь должен их простить”.

<...> Рассказ Л.З. Слонимского мы можем подкрепить еще одним свидетельством, современным событию... Это донос на Соловьева, поданный в числе нескольких других с.-петербургскому градоначальнику генерал-майору Н.М. Баранову неким Генерального штаба полковником Андреевым. Этот “Генерального штаба полковник” не особенно грамотен: он упорно именуется Соловьева “профессором”. Вот его донос:

“28 марта 1881 года состоялась в зале Кредитного общества вторая публичная лекция Профессора Соловьева о ходе просвещения в России в настоящее столетие.

Заключительное слово лекции Профессора Соловьева состояло в том, что, указав на необычайное событие 1 марта, он напомнил аудитории, состоявшей из самой разнообразной публики, в общем свыше 1000 человек, что: в настоящую минуту (10 часов вечера 28 марта) суд уже осудил совершителей события 1 марта и вероятно уже приговорил их к смертной казни, но царь русского народа, как водитель его и носитель божественной искры, лежащей в основе духовной жизни русского народа, царь русский, как царь и христианин, должен помиловать осужденных...”.

<...> На другой же после лекции день Соловьев был вызван к с.-петербургскому градоначальнику Баранову, дал ему устные объяснения и, очевидно по его настоянию, изложил их письменно в форме следующего письма:

“Ваше превосходительство.

Когда я просил о разрешении мне лекций, я заявил, что не буду говорить о политике. И я не говорил о политике. Об самом событии 1 марта я не сказал ни слова, а о прощении преступников говорил только в смысле заявления со стороны государя, что он стоит на христианском начале всепрощения, составляющем нравственный идеал русского народа. Заключение моей лекции было приблизительно следующее: решение этого дела не от нас зависит и не нам судить царей. Но мы (общество) должны сказать себе и громко заявить, что мы стоим

под знаменем Христовым и служим единому Богу – Богу Любви. Тогда мы возможем духовно воссоединиться с нашим народом – тогда он узнает в нашей мысли свою душу и увидит свою жизнь в нашем свете.

Из 800 слушателей, разумеется, многие могли неверно понять и криво перетолковать мои слова. Я же с своей стороны могу сослаться на многих известных и почтенных лиц, которые, как я знаю, верно поняли смысл моей речи и могут подтвердить это мое показание.

С совершенным почтением имею честь быть Вашего превосходительства покорный слуга Влад. Соловьев.

P.S. После лекции один неизвестный мне господин настоятельно требовал, чтобы я заявил свое мнение о смертной казни, в ответ на что я и сказал, взойдя на эстраду, что смертная казнь вообще, согласно изложенным принципам, есть дело непростительное и в христианском государстве должна быть отменена”.

30 марта генерал Баранов (по канцелярии с.-петербургского градоначальника, № 6943) представил графу Лорис-Меликову, министру внутренних дел, следующий доклад:

“... Находя поступок Соловьева крайне грустным, так как своею безтактностью он вызвал манифестации, хотя и незначительные, со стороны нескольких слушателей, а главное слушательниц, я считаю своим долгом упомянутое объяснение, а также заявление полковника Генерального штаба Андреева, одно из нескольких, сделанных мне, представить на усмотрение Вашего сиятельства”.

“Поступок” Владимира Соловьева представлялся столь серьезным и необычным, что даже и всемогущий министр граф Лорис-Меликов не осмелился решить дело самостоятельно, а передал “поступок” на суждение Александра III. Изложил в своем всеподданнейшем докладе фактическую сторону дела (словами донесения градоначальника), гр. Лорис-Меликов указывал сразу на ту максимальную кару, которой был достоин Соловьев: лишение профессорского звания, воспрещение публичных чтений, удаление из Петербурга.

Но такая кара, сообразная с “поступком”, гр. Лорис-Меликову казалась чересчур суровой. Он привел в докладе ряд обстоятельств, которые могли бы смягчить отношение Александра III к поступку. Во-первых, Соловьев – сын недавно скончавшегося знаменитого ученого; во-вторых, отличается строго-аскетическим образом жизни; в-третьих, и великий князь Владимир Александрович, и министр народного просвещения Сабуров находят излишней чрезмерно строго кару.

<...> В то же время сам Соловьев счел нужным, уступая, быть может, чьему-либо совету, обратиться с личным письмом к Александру III.

<...>” Ваше Императорское Величество
Всемилоуший Государь!

До слуха Вашего Величества, без сомнения, дошли сведения о речи, сказанной мною 28 марта, вероятно, в искаженном и во всяком случае в преувеличенном виде. Поэтому считаю своим долгом передать Вашему Величеству дело как оно было.

Верую, что только духовная сила Христовой истины может победить силу зла и разрушения, проявляемую ныне в таких небывалых размерах, верую также, что русский народ в целостности своей живет и движется духом Христовым, верую наконец, что Царь России есть представитель и выразитель народного духа, носитель всех лучших сил народа, я решился с публичной кафедры исповедать эту свою веру.

Я сказал в конце своей речи, что настоящее тягостное время даст русскому Царю небывалую прежде возможность заявить силу христианского начала всепрощения и тем совершить величайший нравственный подвиг, который поднимет власть Его на недосягаемую высоту и на незыблом основании утвердит Его державу. Милуя врагов своей власти вопреки всем естественным чувствам человеческого сердца, всем расчетам и соображениям земной мудрости, Царь станет на высоту сверхчеловеческую и самым делом покажет божественное значение Царской власти, покажет, что в Нем живет высшая духовная сила всего русского народа, потому что во всем этом народе не найдется ни одного человека, который мог бы совершить больше подвига.

Вот в чем заключалась сущность моей речи, и что к крайнему моему прискорбию было истолковано не только несогласно с моими намерениями, но и в прямом противоречии с ними.

Вашего Императорского Величества верноподданный
Владимир Соловьев”.

4 апреля, после казни цареубийц, дело о поступке Соловьева было закончено. Этим числом датирована следующая запись, сделанная гр. Лорис-Меликовым на представленном им приведенном выше докладе:

“Государь Император по всеподданнейшему докладу Высочайше повелеть мне соизволил, чтобы г. Соловьеву, чрез посредство Министра Народного Просвещения, сделано было внушение за неуместные суждения, высказанные им в публичной лекции по поводу преступления 1 марта, и независимо от сего предложено было воздержаться на некоторое время, по усмотрению того же Министра, от публичных чтений.

П. ЩЕГОЛЕВ

(“Былое”, 1918, № 10–11. Специальный номер
“1 марта 1881 года”, с. 330–336)

¹ Изложение лекции В.С. Соловьева см.: “Былое”, 1906, март, с. 48–55.



Аллея в Узком

Позднею весною 1881 года Владимир Сергеевич Соловьев, гостивший в имении Красный Рог у графини Софьи Андреевны Толстой и ее племянницы Софьи Петровны Хитрово, закончил вчерне небольшую статью. Поводом к ее написанию послужила “Записка о внутреннем состоянии России” с “Дополнением” к ней, опубликованная в газете Ивана Сергеевича Аксакова “Русь” (№№ 26, 27, 28; за 9, 16, 23 мая 1881 года). Автором был старший брат издателя Константин Сергеевич Аксаков. “Записка” – известная, давняя, с “историей”. Осенью 1855 года через графа Д.Н.Блудова она была подана вступившему на престол императору Александру II. “Записка” состояла из трех частей: назидательного введения, рассудительного изложения тезиса о “негосударственности русского народа” и практического “Дополнения”,* которое могло бы послужить монарху руководством к действию; не представляя интересов лиц, преследуя цели нравственные, “Записка” прозвучала “откровенным словом”, сказанным подданным императору. Сыграла ли она свою роль? “Известно, что император прочел “Записку”, с удовольствием отметил те места, где шла речь о “неполитическом характере” интересов русского народа, после чего она осела в секретном архиве III Отделения. На титульном листе “Записки”, читанной Александром II, кто-то из близких ему лиц написал: “Некоторые мысли справедливы, но вообще ни с чем не сообразно, пустые бредни”.** Спустя 21 год со дня смерти автора “Записки” и через 2 месяца и 8 дней после убийства высочайшего адресата “пустые бредни” сыграли сюжетную роль в драме отечественного сознания 80-х годов. Брат Иван, публикуя “Записку” по свежим следам манифеста 29 апреля 1881 года, возгласившего государеву веру “в силу и истину самодержавной власти”, устроил бенефис брату Константину. Нравственная проповедь, откомментированная в “Руси”, превратилась в пропаганду антиконституционизма. Цель опустилась до средства: тезис о “негосударственности русского народа”, высказанный Константином Аксаковым в пору николаевского режима, обернулся призывом к “ненародности русского государства”, выдвинутым Иваном Аксаковым после насильственной смерти “царя-освободителя”. И, безусловно, ряд положений аксаковской “Записки” (и особенно “Дополнения” к ней) о “душевредном деспотизме” российского правительства, “угрожающем” стране “падением” и революцией, следует рассматривать именно в контексте николаевского правления середины прошлого века, когда мысль о революции в общественном сознании традиционно связывалась со стихийным, разрушительным бунтом, чуждым какой бы то ни было разумной идее. Классовому подходу к истории еще предстояло завоевать позиции на арене общественной борьбы. Разные цели-средства, разные адресаты и... разные авторы. Вполне можно считать, что с мая 1881 года у “Записки” стало два автора (братья К. и И. Аксаковы), и в сознании русской интеллигенции она стала рассматриваться, как программный документ славянофильства. Так рождаются общественные иллюзии: возобладали неисторическая точка зрения – острота момента и узость интересов глушили шансы взаимопонимания – справа и слева заерзали, заспорили, записали. Откликнулся на “Записку” и Соловьев. Однако гласной стала точка зрения, получившая итоговое выражение в очерках “Из истории русского сознания”***. Здесь перед нами либеральная оценка славянофильства вообще, его общих недостатков, то есть оценка не самой “Записки”, а ее иллюзорного представления. Как-то само собой, последняя соловьевская оценка превратилась в единственную общеизвестную. Но это не так. Вспомним, что в начале 80-х годов Владимир Соловьев не столько выказывал теоретическое отношение к славянофильству, сколько практически общался с людьми, именуемыми славянофилами (“Великий спор” с Иваном Аксаковым намечался только в 1883 году); как ум философский, Владимир Соловьев, обращаясь к “Записке”, должен был критиковать ее конкретно-исторически, то есть исходя из единства содержания и формы, вложенного в нее Константином Аксаковым. Подтверждение тому и другому и находится в статье Владимира Соловьева “Когда был оставлен русский путь и как на него вернуться”, написанной 28 мая 1881 года, то есть спустя пять дней после окончания печатания “Записки” и “Дополнения” к ней в “Руси”, и обращенной “непосредственно” к Константину Аксакову.

* См.: Приложение к данной публикации, в котором помещаются фрагменты “Дополнения” к “Записке” К.С.Аксакова.

** Цимбаев Н.И. Славянофильство. М., Изд-во Моск. ун-та, 1986, с. 195.

*** “Вестник Европы”, 1889, кн. 11, с. 368–385.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

*Когда был оставлен
русский путь и
как на него вернуться?
(по поводу заметки о внутреннем
состоянии России, К.С. Аксакова)*

Когда был оставлен русский путь и как на него вернуться

(По поводу “Заметки о внутреннем состоянии России” К.С. Аксакова)*

Гораздо прежде, чем литературная школа славянофилов высказала мысль о русском пути, оставленном в России, мысль эту исповедали и даже претерпевали всякие мучения и казни многие тысячи русского народа, и доньше эта мысль составляет коренное убеждение значительной части русского народа – значительной и по качеству – живости высших интересов, честности, трудолюбию, значительной и по количеству, превышающему десять миллионов. Но вопрос о русском пути ставится и решается этими людьми несколько иначе, нежели славянофилами. По общей теории славянофилов русский путь был оставлен при императоре Петре I, по убеждению той части русского народа, о которой я говорил, русский путь был оставлен при патриархе Никоне.¹ Вы понимаете, что это не есть вопрос хронологии, а равно и не вопрос личностей.

Петр Великий – это государственная власть, ставящая себя вне народа, раздваивающая народ и извне преобразующая быт общественный, грех Петра Великого – это насилие над обычаем народным во имя казенного интереса – грех тяжкий, но простибельный.

Патриарх Никон – это церковная иерархия, ставящая себя вне церкви, извне преобразующая быт религиозный и производящая раскол², грех здесь – насилие жизни духовной во имя духовного начала, профанация этого начала – грех против Духа Святого.

Какое же из этих двух дел, из этих двух грехов составляет более важное отклонение от русского пути? Ведь путь этот, по нашему общему убеждению, так хорошо выраженному К.С. Аксаковым, состоит в том, что, не ища для себя политической власти, русский народ ищет свободы нравственной, свободы духа, свободы общественной, народной жизни внутри себя. Предоставляя государству царство от мира сего, он, как народ христианский, избирает для себя иной путь, путь к внутренней свободе и духу – к Царству Христову. И действительно, веруя в это царство, которое больше и сильнее мира, он стремится осуществить его в себе как обществе христианском или церкви.³ “Поэтому русский народ, отделив от себя госуда-

рственный элемент, предоставив полную государственную власть правительству, предоставил себе жизнь, свободу нравственно-общественную, высокая цель которой есть общество христианское”⁴.

На свободу этого общества христианского, на свободу церковную и посягнула иерархия, в лице патриарха Никона, прежде, чем государственная власть, в лице Петра Великого, посягнула на свободу земскую. И если посягательство Петра совершилось в силу западного влияния, было подражание западным образцам и имело целью ввести западные порядки в государственный и общественный быт России, то точно также и посягательство Никона было вызвано западным влиянием, подражало западному образцу и имело целью ввести западный порядок в русскую церковь.

Образцом Петра Великого была протестантская цивилизация германских народов, образцом Никона было папство.

По-моему этим все сказано, да и Вы, как последователь и преемник Хомякова⁵, конечно, согласитесь, что коренное заблуждение, первая ложь западного развития была не в протестантстве, а в католичестве.⁶ Не протестантство, а католичество первое уклонилось от Истины Христовой и этим уклонением определило тот антихристианский путь, которым пошли западные народы.⁷ Кто в этом пути видит заблуждение (хотя бы в конце и приводящее к торжеству истины), тот должен признать корень этого заблуждения в папизме, и, несомненно, что корень этот пересажен на русскую почву не Петром Великим, а Никоном. Никонианство состоит, конечно, не в трехперстном сложении и не в сугубой аллилуйе⁸, оно состоит в том ложном римском начале, по которому Истина и Благодать Христова, будучи собственностью и привилегией церковной иерархии, могут принудительно навязываться ею остальной церкви как безгласному стаду, и религиозное единение всех может достигаться средствами насилия.

“Государство в лице Петра, – говорится в записке, – посягнуло на народ, вторгнулось в его жизнь, в его быт, изменяло насильственно его нравы, его обычаи, самую его одежду, сгоняло чрез полицию на ассамблеи, ссылало в Сибирь даже портных, шивших русское платье”⁹. Это конечно возмутительно, но нечто еще более возмутительное делалось прежде Петра. Прежде, чем петровское правительство сгоняло силою на

* Настоящее название работы К.С. Аксакова “Записка о внутреннем состоянии России”.

ассамблеи для увеселения по новой моде, правительство допетровское по почину церковной власти сгоняло силою в церкви на богослужение по новым книгам, прежде, чем сослали нескольких человек за русское платье¹⁰, ссылали, мучили и жгли за русский крест, за русское произношение имени Христа. Вторжение власти светской в быт народа есть явление ненормальное, но в нем нет того внутреннего противоречия, той внутренней лжи, которая является, когда власть духовная, по самой своей природе, по самому своему назначению исключая всякое насилие, действуя насильственно, вторгается в религиозную жизнь народа. Когда власть светская действует не по-христиански, то она не вступает в противоречие с собою, потому что она не есть непременная носительница христианского начала. Кесарь может быть и язычником. Но когда власть духовная, носящая на себе Образ Христов, сознательно действует вопреки Духу Христову, она бесповоротно осуждает себя.

В 1682 г., во время стрелецкой смуты, старообрядец Павел Даниловец сказал патриарху Иоакиму:¹¹ «Правду говоришь, святейший владыка, что вы на себе Христов образ носите, но Христос сказал: научитесь от Мене яко кроток есть и смирен сердцем; а не срубам, не огнем и мечом грозил. Велено повиноваться наставникам, но не велено слушать и Ангела, если не то возвещает. Что за ересь и хула 2 перстами креститься, за что тут жесть и пытаться?»

И что же отвечает патриарх? «Мы за крест и молитву не жжем и не пытаем, жжем за то, что нас еретиками называют и не повинуются святой церкви, а креститесь, как хотите».

Этот ответ представителя иерархии отнимал у нее последнее извинение религиозного фанатизма – по его признанию, причиной гонений на старую веру был даже не фанатизм,¹² а просто властолюбие, страх за свое внешнее положение и авторитет. Но ведь это иерархическое властолюбие, это стремление утверждать свой внешний авторитет и единство церкви путем насилия – ведь это и составляет сущность папизма, и если бы даже не было прямых и положительных доказательств Никонова папизма, которые мы имеем, то все поведение его и его преемников не оставляет никакого сомнения в том, что иерархия русская со времен Никона заразилась духом латинства, и, при всех частных исключениях, она в общем не отделалась от этого духа и донныне. В самом деле, мы не видим, чтобы она когда-нибудь отреклась от религиозного преследования, от насилия в делах веры. Формы этого преследования и насилия смягчились очень скоро, но и это смягчение шло не от иерархии, а от светской власти. Уже Петр Великий, как известно, по соображениям государственной выгоды заменил казни раскольников фискальными мерами против них; затем Петр III, Екатерина II, Александр I, Александр II по принципу религиозной терпимости и по личному человеколюбию все более и более ограничивали преследования против раскола; причем иерархия или оставалась безучастной, или глухо протестовала и тормозила добрые начинания светского правительства. Я не обвиняю лиц. Напротив, в отдельных лицах, несмотря на кастовое обособление, русский народный характер, столь враждебный напряженному клерикализму, более или менее сказывался и парализовал католические тенденции, не давая им сложиться в прочную систему. Несомненно однако, что русская иерархия in concreto не отреклась от латинского принципа, и на словах и на деле, заявленного Никоном и его ближайшими преемниками. Но, держась того же принципа, последующая иерархия оказалась слишком несмелою и слишком ленивою для его деятельного осуществления, и естественным следствием было только то, что эта иерархия, неустоявшая в истине и бессильная во лжи, потеряла всякий нравственный авторитет.

Вот факт столько же бесспорный, сколько и печальный: власть духовная, носительница высшего нравственного начала в обществе, никакого нравственного авторитета у нас не имеет. Между тем, все значение духовной власти, все значение церковной иерархии в обществе человеческом – это представлять собою общепризнанный нравственный авторитет, сознательно и твердо держать знамя того высшего идеала, в который верит общество. И если Россия (в своей целостности) верит в идеал христианский, если цель жизни для русского народа есть осуществление общества христианского, то очевидно духовная власть в России может иметь смысл, лишь поскольку она

сознательно и твердо держится истинно-христианского (а не римского и не византийского) начала и деятельно ведет народ и общество к его осуществлению. Такой духовной власти с общепризнанным нравственным авторитетом в России нет, другими словами: нет в России настоящей духовной власти.

Она была в Древней Руси, и в этом, я думаю, заключалось единственное действительное преимущество древней России перед новой. Вообще это был мир темный.¹³ Личная жизнь была до крайности скудна содержанием, нравы общественные отличались дикостью и грубостью. Но в этом темном царстве был один просвет: для всех видимый, всем одинаково сияющий – истинная вера христианская, истинный нравственный идеал; и были в обществе избранные люди, глубоко проникнутые этим идеалом, твердо держащиеся за Знамя Христово – был общепризнанный нравственный авторитет, была истинная духовная власть.

Духовный нравственный авторитет церковной иерархии осваивал и авторитет внешний государственный, который, таким образом, и сам получал нравственный характер, так что не было разделения между двумя властями, как на западе: они были солидарны, у них была общая цель. С необходимостью – ложно разделение труда для достижения этой цели. Когда говорят о солидарности между государством и земством, выражавшейся на земских соборах, то не должно забывать: на чем основывалась эта солидарность, на что опирался нравственный авторитет государя, позволявший ему и безбоязненно созывать земские соборы, и охотно выслушивать их мнения. Это согласие государства и земства, царя и народа основывалось на том, что они одинаково преклонялись перед нравственным авторитетом христианского начала, представленным духовной иерархией. Сила народная и власть государственная приводились в согласие третьей, высшей обоих, нравственной властью церкви. Жизнь России двоилась, но не распалась на государство и земство, благодаря третьему, высшему началу, представленному церковью. Если государство охраняло народ, то ведь только потому, что его охраняли святители церкви русской. Митрополит Алексей,¹⁴ едущий в Орду ходатаем за государство и землю Русскую и своим нравственным авторитетом, своей святостью, явною и для неверных, спасающий князя Московского;¹⁵ Святой Сергий,¹⁶ благословляющий Дмитрия Донского на освободительную борьбу – вот истинный символ русских общественных основ. Московским князьям выпало на долю внешнее собрание и оборона русской земли, они исполнили свой долг, сослужили свою службу. Но это внешнее объединение России государями Московскими, с земскими соборами или без оных, получило свою настоящую силу и значение лишь от того внутреннего нравственного единства всей России, которое представлено властью духовной, и доселе русский народ, забывший имена Московских князей и ничего не знающий о земских соборах, помнит и почитает святителей московских, чудотворцев: Петра, Алексея, Иону и Филиппа.¹⁷

Московские государи по благословлению святителей служили земле Русской. В этом благословлении почерпали они свой нравственный авторитет, свое бесстрашие перед землей, свое доверие к народу, выразившееся, между прочим, в земских соборах. Поэтому тот государь, который первый возмутился против духовной власти, он же потерял и доверие к народу, отделился от земли. Иван IV, замучивший митрополита Филиппа,¹⁸ из страха перед землей заводит опричнину. И, однако же, злодеяния Ивана IV не имели рокового значения в русской истории, не замутили источника народной жизни; напротив, они дали ему случай обнаружить свою силу. Между Иваном IV и Филиппом не было спора о власти, никаких личных счетов. Святитель исполнил свой долг, как представитель нравственного духовного идеала, обличая царя, изменившего этому идеалу, как представитель духовной силы, не побоялся физического насилия и смерти. Беззаконие царя было торжеством святителя. Светская власть отреклась от своего нравственного авторитета, но народ не потерял ничего существенного, ибо существование для него – это духовная сила и святость, и этот высший нравственный идеал получил новый блеск в глазах русского народа от крови святителя, умершего за святое дело.

И замечательно, что народ не восстал в защиту любимого владыки, не из равнодушия конечно – в этом нельзя заподоз-

рить тот народ, который потом тысячами сжигал себя сам в религиозном воодушевлении; нет, народ понимал, что, применив насилие, он только затемнил бы чистоту нравственного подвига, он понимал, что для представителя духовного начала мученическая смерть есть торжество и победа, а насильственная защита была бы падением.

Митрополит Филипп оправдал веру народную, не посрамил христианского идеала, и вот, несмотря на весь погром Ивана IV, русский народ остается спокоен. Страшен царь, да милостив Бог. Еще можно было жить при царе Иване IV. Отчего же через 100 лет, при “тишайшем” Алексее Михайловиче,¹⁹ народ вдруг почувствовал, что жить нельзя, и в отчаянии стал бегать по лесам и болотам, засел в трущобах и полез на горящие костры? Что такое случилось? А случилось то, что представители духовного начала изменили этому началу, архиереи уклонились в латинство, не стало истинной духовной власти в России, наступило царство антихристово. На престол митрополита-мученика сел патриарх-мучитель – и народ, терпеливо сносивший страшные мучительства царя Ивана, не вынес ничтожных сравнительно мучительств патриарха Никона.²⁰

Для нас, полуевропейцев, дело Петра Великого виднее, и мы легко приписываем ему роковое значение в русской истории, но народ никогда не смотрел так на Петра Великого, он видел в нем, с одной стороны, необычайную личную силу и прославлял его как богатыря; с другой стороны, отрицательная сторона Петрова дела не представлялась ему чем-то самостоятельным, он видел в ней лишь продолжение Никонова дела, и если некоторые раскольники считали Петра Великого антихристом, то лишь по наследству, потому что начало антихристово царства, по общему убеждению в расколе, было положено в 1666 г., когда Московский собор, низложивший Никона, одобрил и утвердил его дело и официально ввел латинство в России, а в 1666 г. Петра еще на свете не было.

Петр Великий насильно вводил западное просвещение, т.е. полезные науки и искусства, но прежде этого насилия в мирском просвещении, патриаршество стало насильственно вводить мнимое просвещение духовное посредством исправления книг; причем, если Петр Великий вводил большею частью вещи несомненно полезные, то решительно нельзя сказать: с какой точки зрения полезнее произносить Иисус вместо Исус или выпускать “аз” и слово “истинного” в Символе Веры.²¹

Петр Великий основал немецкую Академию в Петербурге,²² отчего бы ему в самом деле не остаться при Московской славяно-греко-латинской академии,²³ в которой автор записки с ясностью видит начало настоящего Университета народного образования. Не следует однако забывать, что эта академия была не столько высшим училищем, сколько высшим инквизиционным трибуналом. Так, по уставной грамоте, данной этой академии царем Федором Алексеевичем,²⁴ блюстители и наставники ее имели своею первою обязанностью заботу о чистоте веры, должны были рассматривать все высказанные кем-либо в книгах или иначе мнения о предметах веры и, если находили кого виновным в ереси, должны были осуждать и приговаривать к сожжению и другим казням. Какие бы недостатки ни были у Петербургской академии, она во всяком случае имеет ту заслугу, что никогда никого не посылала на костер.²⁵

Коренное зло новой России есть ее раздвоение, но и прежде всего не раздвоение между правительством и землею, не между интеллигенцией и простым народом – что есть явление вторичное – а раздвоение России в том деле, которое для русского народа и, надеюсь для нас также, всего важнее, в том деле, которое едино есть по понятию, в деле веры. Коренное зло наше есть раскол церковный, и это разделение вовсе не есть разделение в среде народа, как может показаться, нет, это есть разделение между иерархией и народом, отделение пастырей от стада.

В самом деле, весь русский народ – так называемые раскольники сознательно, а другие бессознательно – верует в Истину Христову, т.е. верует, прежде всего, что духовная сила воплотилась в веществе. Что правда, сама по себе, сильнее неправды и для борьбы с неправдой не нуждается в насилии, верит в превосходство святой любви и милосердия, как в идеал

безусловный, не допускающий ничего, где ложь. Веруя так, русский народ сознательно требует от своих духовных руководителей, чтобы они словом и делом осуществляли этот идеал. С другой стороны, иерархия in corpore изменила этой вере, уклонилась в латинство, признала, что Истина Христова сама по себе бессильна для своего осуществления на земле, что она нуждается в средствах, прямо ей противоречащих – в насилии и принуждении; т.е. иерархия отреклась от Истины Христовой. Отрекшись от нее, она потеряла всякий нравственный авторитет и для поддержания внешнего авторитета, который один для нее и дорог, она должна была обратиться к власти внешней, пойти в холопство к государю, в котором она и доселе пребывает.

Мне известно, что многие иерархи тяготеют этим холопством и называют эпоху после учреждения Синода²⁶ Вавилонским пленением²⁷ церкви; отчего же они не выходят из этого плена и отчего они так мало похожи на пленников? Я думаю, что эти иерархи достаточно умны, чтобы понимать, что при отсутствии нравственного авторитета иерархия только и живет этим Вавилонским пленением и, если бы освободилась из него, то очутилась бы ни при чем.

Какой же выход из этого положения? Какой выход из раскола?

Если раскол произошел от того, что иерархия, стремясь поддержать единство церкви внешними насильственными средствами, достигла как раз обратного и произвела разделение церкви (как это еще прежде случилось с папством, вызвавшим протестантство), то, очевидно, первое условие для того, чтобы внутреннее единство было восстановлено, состоит в том, чтобы устранены были внешние насильственные средства, еще употребляемые для поддержания внешнего призрачного авторитета церкви.

Эти средства иерархия церковная берет у государства. Между тем они только подрывают авторитет государства в глазах тех миллионов, против которых они употребляются. Итак, пусть государство откажется от внешней искусственной и насильственной поддержки иерархии церковной, пусть оно не становится на сторону неверующих архиереев, против верующего народа. Пусть оно даст свободу исповедания этим миллионам верующих. Оно потеряет невольных служителей, несколько десятков архиереев, лишенных всякого авторитета, и приобретет признание и согласие миллионов людей религиозных, честных, трудолюбивых.

Но я не буду говорить о выгодах. Главное дело не в этом. Я не знаю, выгодно ли было для правительства освобождение крестьян, но я уверен, что покойный Император руководствовался не соображениями выгоды, а чувством долга, когда вопреки всему окружению его настоял на освобождении крестьян с землею. Но религиозное освобождение народа есть такой же, а по понятию самого народа, более важный долг, чем освобождение экономическое. Исторические обязанности государственной власти в такой огромной стране, как Россия, очень сложны, и потому каждая из них имела свою очередь. Прежде всего, на обязанностях государства лежало освобождение России политическое, освобождение ее от власти иноплемненной, татар и Литвы, собирание русской земли. Когда это дело было исполнено, выступило на очередь освобождение внутреннее, от личного и экономического рабства одного класса народа другим. Ныне наступила очередь третьего освобождения, религиозного освобождения церкви русской, более важного и существенного, чем два первых, потому что мы ведь согласны, что осуществление свободы церкви, истинного общества христианского составляет для русского народа цель его жизненного пути. Осуществление этой цели, конечно, зависит не от правительства, как не от него зависит и создание экономического благосостояния России, но устранение внешних преград на пути к этой цели зависит от него, и это есть прямой долг. Пусть же нынешнее правительство исполнит этот свой долг так же твердо и честно, как исполнили свой долг его предшественники, цари – собиратели и освободители земли русской.

Влад. СОЛОВЬЕВ
Красный Рог, 28 мая 1881 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

Подлинник статьи В.С.Соловьева "Когда был оставлен русский путь и как на него вернуться" (по поводу "Записки о внутреннем состоянии России" К.С.Аксакова) из ЦГАЛИ СССР (ф. 446, оп. 1, ед. хр. 21, лл. 1–25). Рукопись в свое время находилась в архиве Надежды Сергеевны Соловьевой, владельцем которого был книгоиздатель Б.С.Шихман; там и обнаружил ее Сергей Михайлович Соловьев, племянник философа, автор биографического очерка "Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева", изданного в Брюсселе в 1977 году. В биографическом очерке С.М.Соловьев, сообщая о месте и роли славянофильских воззрений в творческой эволюции Владимира Соловьева, цитирует статью "Когда был оставлен русский путь и как на него вернуться" (с. 194), которую мы впервые публикуем полностью.

Рукопись состоит из двух частей. Первая (лл. 1–10 об.) – беловой автограф с пропуском части текста после листа 6 об.; вторая (лл. 11–25) – черновой автограф, в значительной степени совпадающий с беловым, что позволило восполнить пропущенную в беловом автографе часть текста, а также полностью реконструировать вторую часть статьи. Имеющие место разночтения между беловым и черновым автографами статьи, а также вычеркнутые части текста оговариваются в примечании обособо.

Рукопись статьи предваряется сопроводительной запиской С.М.Соловьева (ф. 446, оп. 1, ед. хр. 21, л. 1):

"Статья эта подписана "Красный Рог 28 мая 1881 г.". Она весьма напоминает статью "О духовной власти в России", также написанную в 1881 г. (Собр. соч. в 10-ти томах, т. 3, с. 227). Отношение к католицизму здесь вполне отрицательное, хомяковское: "Вы, как последователь и преемник Хомякова, конечно, согласитесь, что коренное заблуждение, первая ложь западного развития была не в протестантстве, а в католичестве. Не протестантство, а католичество первое уклонилось от истины Христовой". Через два года в том же Красном Роге Соловьев написал свое первое католицизированное сочинение "Великий спор"."

¹ Никон (1605–1681) – шестой патриарх Московский и всяя Руси; происходит из крестьянской семьи, в мире звался Никитой Миновым. В 1646 году явился на поклон к царю Алексею Михайловичу (см.: прим. 19), в 1648 году возведен в сан митро-

полита Новгородского, а 1652 году избран в патриархи.

² Раскол – самовольное уклонение от единства богопочитания вообще и от православной церкви в частности.

³ Далее следует совпадение белового и черного автографов, со стилистическими различиями.

⁴ Неточная цитата из "Записки о внутреннем состоянии России" К.С.Аксакова. См.: "Русь", 1881, № 26, 27; а также сборник "Ранние славянофилы. А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, К.С. и И.С.Аксаковы. М., 1910, с. 73–74.

⁵ Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) – русский философ, писатель, поэт, публицист; один из вождей и теоретиков славянофильства.

⁶ По этому поводу см.: Хомяков А.С. Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях, по поводу брошюры Г.Лоренси. 1853 г. – Сочинения, т. 2, Прага, 1867, с. 23–80.

⁷ Далее в черновом автографе следует: "Протестантство же было естественным цивилизованным следствием этого уклонения и в начале своем лишь демонстративно протестовало против него, грех же протестантства состоит в том, что оно ограничилось этим протестом и вследствие этого получило характер отрицательного религиозного сознания; тогда как грех, который есть положительная ложь против христианской истины, состоит в утверждении, что эта истина может быть осуществлена посредством насилия. Поэтому перенос римского коренного начала в Россию был гораздо важнее и существеннее, нежели подражание внешним сторонам протестантства и усвоение его отрицательных идей (лл. 11 об. – 12).

⁸ 23 апреля 1656 года патриарх Никон созвал собор русских архиереев, провозгласивший проклятие на двухперстное крестное знамение; аллилуйя – "хвалите Господа" (др.-евр.) – песня в честь триединого Бога, поемая или читаемая при богослужении с присоединением славословия Богу: слава Тебе, Боже! Существует сугубая и трегубая аллилуйя (повторяемая два или три раза); употребление сугубой аллилуйи порицается православной церковью.

⁹ Цитата из "Записки" (Ранние славянофилы, с. 85).

¹⁰ Далее пропущенная часть текста в беловом автографе после листа 6 об., публикуется по черновому автографу (лл. 12 об. – 13 об.).

¹¹ Иоаким (1620–1690) – девятый патриарх всероссийский; происходит из рода можайских дворян Савеловых. Возведен на патриарший престол в 1674 году. Ему приписывается без достаточных оснований "Увет духовный" (М., 1682) – обширный труд по поводу бунта 1682 года, написанный в ответ на поданную челобитную; считается одним из лучших произведений против раскола.

¹² Далее текст публикуется по беловому автографу (л. 7).

¹³ Конец белового автографа, далее публикуется реконструированный по черновому автографу текст (лл. 15 об. – 25).

¹⁴ Алексей (Алексий) (кон. XIII в. – 1378) – митрополит Киевский и всея Руси; происходит из рода черниговского боярина Федора Бяконта. Посвящен в митрополиты в 1354 году. Один из самых чтимых русских угодников, чудеса которого описаны во многочисленных житиях.

¹⁵ Имеется в виду Дмитрий Иванович Донской (1350–1389), которого в малолетстве охранял своим авторитетом митрополит Алексей.

¹⁶ Сергей Радонежский (ок. 1321 – 1391) – великий подвижник земли русской, основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря.

¹⁷ Всероссийские святители Петр, Алексей и Иона. Празднование трем названным святителям установлено в 1596 году; святитель Филипп присоединен к ним позже.

¹⁸ Филипп (1507–1569) – митрополит Московский и всея Руси; в мире Федор Степанович Колычев. Посвящен в митрополиты в 1566 году, а в 1568 году низведен с митрополичьей кафедры и заключен в монастырь. Задушен в келье Малютой Скуратовым.

¹⁹ Алексей Михайлович (1629–1676) – русский царь из рода Романовых.

²⁰ Далее зачеркнуто: "Поэтому, когда я сказал в начале, что русский путь был оставлен

при патриархе Никоне, я выразил не свое личное мнение и чувство, а убеждение миллионов русских людей" (л. 19 об.).

²¹ Символ веры – есть в кратких, но точных словах изложенное учение о том, во что должен верить христианин. В православной церкви употребляется Никоицареградский символ; западная церковь употребляет "апостольский" (латинский) символ. В связи с официально начавшемся в 1654 году исправлением старопечатных книг на Руси изменены были, в частности, второй и восьмой члены Символа веры: в первом уничтожены "аз"; в последнем пропущено слово "истинного".

²² 22 января 1724 года Петр I утвердил доклад об устройении "академии наук и курьезных художеств", которая должна была явиться не только ученым, но и высшим учебным заведением, т.е. университетом. Однако открылась академия уже после смерти Петра I, при Екатерине I; первое заседание состоялось 12 ноября 1725 года.

²³ Первое высшее общеобразовательное учебное заведение в Москве. Основана в 1687 году путем преобразования греческого училища, открытого при патриархе Иоакиме (см. прим. 11) и царе Федоре Алексеевiche (см. прим. 24) в 1679 году. Инициатива организации принадлежит Симеону Полоцкому (1629–1680).

²⁴ Федор Алексеевич (1661–1682) – русский царь из дома Романовых. Царствовал с 1676 года. Был широко образованным человеком, его учителем был Симеон Полоцкий.

²⁵ Далее зачеркнуто: "Славянофилы видели коренное зло Новой России в ее раздвоении, и это справедливо по русскому взгляду, а его ведь, конечно, хотели держать славянофилы..." (л. 21).

²⁶ Синод – соборное правительство, обладавшее в русской православной церкви всеми видами высшей власти; возглавлялось обер-прокурором, назначаемым царем. Святейший Синод учрежден Петром I 1 января 1721 года.

²⁷ Вавилонское пленение – период библейской истории, когда народ иудейский, потеряв политическую самостоятельность, увендан был в плен вавилонянами и оставался в нем в течение 70 лет, с 605 по 536 год до Р.Х.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Дополнение к “Записке о внутреннем состоянии России” К.С. Аксакова.
(опубликовано в газете “Русь”, 1881, № 28, с. 12–14)

[...] Цель этого дополнения к “Записке” сказать о том, какого рода практические указания возможны в настоящую минуту.

На это дает ответ самая “Записка”, если извлечь из нее основной смысл [...]

I. Русский народ, не имеющий в себе политического элемента, отделил государство от себя и государствовать не хочет.

II. Не желая государствовать, народ предоставляет правительству неограниченную власть государственную.

III. Взамен того русский народ предоставляет себе нравственную свободу, свободу жизни и духа.

IV. Государственная неограниченная власть без вмешательства в нее народа – может быть только неограниченная монархия.

V. На основании таких начал зиждется русское гражданское устройство: правительству (необходимо монархическому) – неограниченная власть государственная, политическая; народу – полная свобода нравственная, свобода жизни и духа (мысли, слова). Единственно, что самостоятельно может и должен предлагать безвластный народ полновластному правительству, – это мнение (следовательно, сила чисто нравственная), мнение, которое правительство вольно принять и не принять.

VI. Эти истинные начала могут быть нарушены и с той, и с другой стороны.

VII. При нарушении их со стороны народа, при ограничении власти правительства, следовательно, при вмешательстве народа в правительство – не может быть нравственной свободы народной. Вмешаваясь в правительство, народ прибегает к внешней принудительной силе, изменяет своему пути внутренней, духовной свободы и силы – и непременно портится нравственно.

VIII. При нарушении этих начал со стороны правительства, при стеснении правительством в народе свободы нравственной, свободы жизни и духа, – неограниченная монархия обращается в деспотизм, в правительство безнравственное, гнетущее все нравственные силы и развращающее душу народа.

IX. Начала русского гражданского устройства не были нарушены в России со стороны народа (ибо это его коренные народные начала); но были нарушены со стороны правительства. То есть: правительство вмешалось в нравственную свободу народа, стеснило свободу жизни и духа (мысли, слова), и перешло таким образом в душевредный деспотизм, гнетущий духовный мир и человеческое достоинство народа, и, наконец, обозначившийся упадком нравственных сил в России и общественным развращением. Впереди же этот деспотизм угрожает или совершенным расслаблением и падением России на радость врагов ее, или же искажением русских начал в самом народе, который, не находя свободы нравственной, захочет наконец свободы политической, прибегнет к революции и оставит свой истинный путь. И тот и другой исход ужасен, ибо и тот и другой гибелен: один в материальном и нравственном, другой в одном нравственном отношении.

X. Итак, нарушение со стороны правительства русского гражданского устройства, похищение у народа нравственной его свободы, одним словом: отступление правительства от истинных русских начал – вот источник всякого зла в России.

XI. Поправление дела, очевидно, зависит от правительства.

XII. Правительство наложило нравственный и жизненный гнет на Россию; оно должно снять этот гнет. Правительство отступило от истинных начал русского гражданского устройства: оно должно вернуться к этим началам, а именно: Правительству – неограниченная власть государственная; народу – полная свобода нравственная, свобода жизни и духа. Правительству – право действия и, следовательно, закона; народу – право мнения и, следовательно, слова.

Вот единственный, существенно жизненный совет для России в настоящее время.

XIII. Но как же его привести в исполнение?

Ответ на это находится в самом указании общих начал. Дух живет и выражается в слове. Свобода духовная или нравственная народа есть свобода слова.

XIV. Итак, свобода слова: вот что нужно России, вот прямое приложение общего начала к делу, до того с ним нераздельное, что свобода слова есть и начало (принцип), и явление (факт).

XV. Но и не удовлетворяясь тем, что свобода слова, а поэтому и общественное мнение, существует, правительство чувствует иногда нужду само вызвать общественное мнение. Каким образом может правительство вызвать это мнение?

Древняя Русь указывает нам и на дело самое, и на способ. Цари наши вызывали в важных случаях общественное мнение всей России и созывали для того Земские соборы, на которых были выборные от всех сословий и со всех концов России. Такой Земский собор имеет значение только мнения, которое государь может принять и не принять [...]

Времена и события мчатся с необычайною быстротою. Настала строгая минута для России. России нужна правда. Медлить некогда. Не обинуясь скажу я, что, по моему мнению, свобода слова необходима без отлагательств. Вслед за нею правительство с пользою может созвать Земский собор.

Итак, еще раз:

Свобода слова – необходима.

Земский собор – нужен и полезен.

Вот практический вывод моей “Записки о внутреннем состоянии России” и “Дополнения” к ней.

Считаю должным еще прибавить два примечания.

Какую же пользу принесет свобода слова, спросят, быть может, некоторые. Это объяснить, кажется, нетрудно.

Откуда происходят внутренний разврат, взяточничество, грабительство и ложь, переполнившие Россию? От общего унижения нравственного. Следовательно, надобно нравственно возвысить Россию. Как же возвысить нравственно? Признать и уважать в человеке человека; а это иначе быть не может, как тогда, когда признают за человеком право слова, свободного слова, неразлучного с нравственной, духовной свободой, которая есть неотъемлемая принадлежность высокого духовного существа человеческого. В самом деле, как иначе избавиться от взяточничества и других неправд? Вы устраните одних взяточников: на место их явятся еще хуже, порождаемые непрерывно испорченною нравственною почвою, образовавшиеся из унижения человеческого достоинства. Одно средство против зла: возвысить нравственно человека; а без свободы слова это невозможно. Итак, свобода слова, уже сама по себе, непременно возвысит нравственно человека. Конечно, воры всегда будут встречаться; но это уже будет частный, личный грех: тогда как теперь взяточничество и другие подобные гнусные дела – грех общественный. Кроме того, когда по всей России грянет один общий открытый голос на взятки и грабеж, когда вся Россия укажет всенародно на пиявиц, сосущих ее лучшую кровь, тогда поневоле придут в ужас самые отчаянные воры и взяточники. Правда любит день и свет, а неправда ночь и темноту. Стеснение общественного слова распространяло в России столь благоприятную для неправды ночь. Со свободой слова взойдет день, которого так боится неправда: свет вдруг озарит безбожные дела в обществе напоказ всему миру; им негде будет укрыться, и они должны будут бежать из общества. К тому же все станет видно и для правительства, праведный гром которого грянет верно. Наконец, при свободе слова, общественное мнение укажет на многие полезные меры, на многих достойных людей, равно как на многие ошибки и на многих людей недостойных.

Нравственная свобода человека, признанная правительством в свободе слова, будет, само собою разумеется, признана им и в других, хотя бы мелких, ее проявлениях в жизни. Одно из таких проявлений, например, есть частная (партикулярная) одежда. Я разумею здесь не одно платье, но способ носить волосы, бороду, одним словом, я разумею здесь костюм (наряд) человека. Частная одежда есть прямое проявление жизни, быта, вкуса и государственного в себе не имеет. Но доселе так еще стеснена свобода жизни, что даже одежда частного человека подлежит у нас запрещению [...]

Итак, даже в этом пустом проявлении жизни, в одежде, правительство наше продолжает стеснять свободу жизни, свободу вкуса, свободу народного чувства, одним словом, нравственную.

Говорю с совершенной откровенностью свои мысли как в “Записке”, так и в “Дополнении”, и исполняю тем долг свой к Отечеству и государю.

КОНСТАНТИН АКСАКОВ

Поэзия Ф.И. Тютчева

Говорят, что в недрах русской земли скрывается много естественных богатств, которые остаются без употребления и даже без описания. Это может, конечно, объясняться огромным объемом страны. Более удивительно, что в небольшой области русской литературы тоже существуют такие сокровища, которыми мы не пользуемся и которых почти не знаем. Самым драгоценным из этих кладов я считаю лирическую поэзию Тютчева. Этого несравненного поэта, которым гордилась бы любая литература, хорошо знают у нас только немногие любители поэзии, огромному же большинству даже "образованного" общества он известен только по имени да по двум-трем (далеко не самым лучшим) стихотворениям, помещаемым в хрестоматиях или положенным на музыку. Я часто слышал восторженные отзывы о стихотворениях Тютчева от Льва Толстого и Фета;¹ Тургенев в своей краткой рецензии называет Тютчева "великим поэтом"; Ап. Григорьев упоминает о нем, говоря о наших поэтах, особенно отзывчивых на жизнь природы; – но специального разбора или объяснения его поэзии до сих пор не существует в нашей литературе, хотя прошло уже более двадцати лет с его смерти. Превосходное сочинение И. С. Аксакова² есть главным образом биография и характеристика личности и славянофильских взглядов поэта. В настоящем очерке я беру поэзию Тютчева по существу, чтобы показать ее внутренний смысл и значение.

I

Прежде всего бросается в глаза при знакомстве с нашим поэтом созвучие его вдохновения с жизнью природы, – совершенное воспроизведение им физических явлений как состояний и действий живой души. Конечно, все действительные поэты и художники чувствуют жизнь природы и представляют ее в одушевленных образах; но преимущество Тютчева перед многими из них состоит в том, что он вполне и сознательно верил в то, что чувствовал, – ощущаемую им живую красоту принимал и понимал не как свою фантазию, а как истину. Эта вера и это понимание стали редки в новое время, – мы не находим их даже, например, у такого сильного поэта и тонкого мыслителя, как Шиллер. В своем знаменитом стихотворении "Боги Греции" он предполагает, что природа только была жива и прекрасна в воображении древних, а на самом деле она лишь мертвая машина. Смерть эллинской мифологии была для Шиллера смертью самой природы; вместе с прекрасными богами Греции исчезла и душа мира, оставив только свою тень в художественных памятниках классической древности:

.....
*Светлый мир, о где ты? Как чудесен
Был природы радостный расцвет.
Ах, в стране одной волшебных песен
Не утрачен сказочный твой след.*

¹ Фет выразил свой восторг в послании к "обожаемому" поэту ("Вечерние огни", вып. I) и в надписи – "На книжке стихотворений Тютчева" ("В.О.", вып. II):

*Вот наш патент на благородство
Его вручает нам поэт;
.....
Здесь утонченной жизни цвет.*

*В сиртах не встретишь Геликона,
На льдинах лавр не расцветет,
У чукчей нет Анакреона,
К зырянам Тютчев не придет.*

*Но Муза, правду соблюдая,
Глядит: а на весах у ней
Вот эта книжка небольшая
Томов премногих тяжелей.*

² Аксаков И. С. Биография Ф. И. Тютчева. М., 1886 (прим. ред.).

*Загрустя, повыверли долины,
Взор нигде не встретит божества
Ах! от той живительной картины
Только тень видна едва.*

*Всех цветов душистых строй великой
Злым дыханьем севера снесен;*

.....
*Я ищу по небу, грусти полный,
Но тебя, Селена, нет как нет.
Оглашаю рощи, кличу в волны
Безответен мой привет.*

*Без сознанья радость расточая,
Не провидя блеска своего,
Над собой вождя не созная,
Не деля восторга моего.
Без любви к виновнику творенья,
Как часы – не оживлен и сир,
Рабски лишь закону тяготенья
Обезбожен служит мир.*

.....
*Праздно в мир искусства скрылись боги,
Бесполезны для вселенной той,
Что, у них не требуя подмоги,
Связь нашла в себе самой.
Да, они укрылись в область сказки,
Унося, туда же за собой,
Все величье, всю красу, все краски,
А у нас остался звук пустой.¹*

Тютчев не верил в эту смерть природы, и ее красота не была для него пустым звуком. Ему не приходилось искать душу мира и безответно приветствовать отсутствующую: она сама сходилась с ним и в блеске молодой весны, и в "светлости осенних вечеров"; в сверканьи пламенных зарниц и в шуме ночного моря она сама намекала ему на свои роковые тайны. И без греческой мифологии мир был полон для него и величия, и красоты, и красок. В этом нет еще ничего особенного. Живое отношение к природе есть существенный признак поэзии вообще, отличающий ее от двойкой прозы: житейско-практической и отвлеченно-научной. В минуты настоящего поэтического вдохновения и Шиллер забывал, конечно, о часовом механизме и о законе тяготения – и отдавался непосредственным впечатлениям природной красоты. Но у Тютчева, как я уже заметил, важно и дорого то, что он не только чувствовал, а и мыслил, как поэт, – что он был убежден в объективной истине поэтического воззрения на природу. Как бы прямым ответом на шиллеровский похоронный гимн мнимо-умершей природе служит стихотворение Тютчева:

*Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...*

Вовсе не высшее знание, а только собственная слепота и глухота заставляют людей отрицать внутреннюю жизнь природы:

.....
*Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как в потьмах,
Для них и солнца, знать, не дышат
И жизни нет в морских волнах.*

¹ "Боги Греции" Шиллера в переводе Фета ("Вечерние огни", вып. I).

*Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили
И ночь в звездах нема была!*

*И языками неземными
Волнуя реки и леса,
В ночи не совещалась с ними
В беседе дружеской гроза!..*

II

Кто же прав из двух поэтов? Есть жизнь и душа в природе, или нет? Или, может быть, существуют две истины: одна для поэзии, а другая для науки? Но наука тут ни при чем; она не отвечает за те ложные выводы, которые делаются из ее достоверных данных в силу одностороннего направления мысли, возобладавшего в известную эпоху. Наука никогда не доказывала – да и по существу дела и не может доказывать, что мир есть только механизм, что природа есть только мертвое вещество. Различные науки исследуют природу по частям и находят между этими частями механическую связь; но такой естественной науки, которая исследовала бы вселенную в ее единстве и целостности, вовсе не существует. А логика, обязательная для наук, не позволяет от анализа частей и их внешней частичной связи делать окончательное заключение о всеобщем характере или смысле целого. Ведь и в теле живого человека все его части и частицы связаны между собою механически, – это не мешает ему, однако, быть одушевленным существом. Никто не решится утверждать, что механическое устройство и действие скелета, сосудистой, мускульной и нервной систем, изучаемое точными науками – анатомией и физиологией, – исчерпывает собою весь истинный смысл человеческого существа и существования; напротив, каждый согласится, что весь этот механизм координированных частей имеет смысл только как орудие или средство выражения и осуществления внутренней жизни или души человека.¹ Точно так же и механизм всей природы есть только сложная совокупность для проявления и развития всемирной жизни. Точное изучение механизма в высшей степени важно; оно дает человеку возможность в известной мере управлять естественными явлениями, пользоваться ими для своих целей. Но ни теоретический интерес, ни практическая польза такого изучения, не составляют еще достаточного основания, чтобы видеть здесь всю истину о природе: это в сущности было бы так же странно, как если бы кто-нибудь стал утверждать, что для полного и окончательного познания человека нужно только вскрыть и препарировать его труп.

Против нашего заключения от одушевленности человеческого тела к одушевленности тела всемирного нельзя приводить то соображение, что живого человека мы действительно видим как замкнутое целое в некотором осязательном единстве, – природу же воспринимаем всегда лишь по частям. Ясно, что это различие зависит не от существа дела, а от причины совершенно условной – от относительных размеров того и другого предмета. Для микроскопических глаз мухи вовсе не существует целое гармоническое очертание человека или человеческого лица с его выражением, да и для нашего собственного глаза самое прекрасное и одушевленное лицо превратилось бы при микроскопическом исследовании в бесформенную массу грубых тканей и клеток, механически нагроможденных без всякой законченности и единства. Однако, когда я смотрю на это лицо, как на живое, узнаю в его очертаниях и изменениях следы внутреннего опыта и выражение мыслей, чувств и желаний, вижу через него душу и судьбу этого человека, то я, конечно, вижу несравненно больше, чем видит в нем самая наблюдательная муха, и узнаю о нем более полную истину, чем ту, которую мог бы узнать при помощи микроскопа. Никак не те волокна и клетки, а именно это большее, содержательное и единое, что я вижу живым взглядом, – оно-то и есть истина, или подлинный смысл этого человеческого существа, а то все – только материал, в котором воплощается, посредством которого выражается эта истина или этот смысл.

¹ Об отношении жизни к материальной организации тела – см. превосходные рассуждения Клода Бернара в его общей физиологии.

Как телесная видимость человека, сверх анатомических и физиологических фактов, говорит нам еще своими знаками о его внутренней жизни или душе, так точно и явления всей природы, каков бы ни был их механический состав, говорят нам в своей живой действительности о жизни и душе великого мира. Ни логика, ни сама естественная наука не позволяют нам рассуждать иначе и противопоставлять человека миру, как живое мертвому. Для взгляда исключительно-аналитического – и в самом человеке нет живого и целого существа, а только механическая совокупность материальных частиц; для взгляда же, направленного на полную истину, а не на одну только ее сторону, есть жизнь и во внешней природе. Последовательная мысль должна выбирать между двумя положениями: или ни в чем, даже в человеке, даже в нас самих, нет одушевленной жизни, или – она есть во всей природе, различаясь только по степеням и формам. Ибо нет никакой возможности, оставаясь на научной почве, отделить человека в этом отношении от остального мира. Своею телесною организацией, которую обусловлено развитие его внутренней жизни, человек принадлежит к животному царству, а животных никак нельзя выделить из прочей природы и признать их исключительными носителями жизни. На самом деле животное царство неразрывно связано с растительным, имея с ним первоначально одну общую основу органического бытия, до сих пор еще представляемую такими организмами, которых нельзя отнести ни к животным, ни к растениям. А целый органический мир, при всем своем формальном отличии, нераздельно связан однако, и по составу, и по происхождению, с миром неорганическим. Утверждать безусловную грань между этими двумя мирами так же в сущности неосновательно и противно духу науки, как если бы мы признали безусловную разнородность между твердым скелетом и мягкими тканями человеческого тела.

Нет во всей вселенной такой пограничной черты, которая делила бы ее на совершенно особенные, не связанные между собою области бытия: повсюду существуют переходные, промежуточные формы или остатки таких форм, и весь видимый мир не есть собрание деланных вещей, а продолжающееся развитие или рост живого существа.

III

Глубокое и сознательное убеждение в действительной, а не воображаемой только, одушевленности природы избавляло нашего поэта от того раздвоения между мыслью и чувством, которым с прошлого века и до последнего времени страдает большинство художников и поэтов. Простодушно принимая механическое мировоззрение за всенаучное и единственно-научное, а потому несомненное, веря ему на слово, эти служители красоты не верят в свое дело. Как художники, они передают нам жизнь и душу природы, но при этом в уме своем убеждены, что она безжизненна и бездушна, что их чувство и вдохновение их обманывают, – что красота есть субъективная иллюзия. А на самом деле иллюзия только в том, что отражение ходячих мнений на поверхности их сознания принимается ими за нечто более достоверное, чем та истина, которая открывается в глубине их собственного поэтического чувства.

Понятно, что при таком неверии самих поэтов в свое дело простые смертные приучаются смотреть на поэзию (и на художественную красоту вообще) как на праздный вымысел, и про всякую идею, возвышающуюся над житейской плоскостью, говорят: “это только поэзия!” – разумея: “это вздор и пустяки!”. И кто же, в самом деле, станет придавать серьезное значение тому божеству, в котором сами жрецы видят только приятный вымысел?

Поэты, не верящие в поэзию, у которых ум противоречит вдохновению, и которые думают, что истина есть только одна механика, – такие поэты или должны быть неискренни, или же, отдаваясь поэтическому чувству, должны воздерживаться от всякой мысли, что не всегда возможно и не всегда полезно; когда же они начинают рассуждать, у них выходит отвлеченная и мертвая дидактика, вовсе не нуждающаяся в “языке богов”. Тютчев был избавлен от такого печального положения. Его ум был вполне согласен с вдохновением: поэзия его была полна сознательной мысли, а его мысли находили себе только поэтическое, т.е. одушевленное и законченное выражение.

Дело поэзии, как и искусства вообще, – не в том, чтобы “украшать действительность приятными вымыслами живого воображения”, как говорилось в старинных эстетиках, а в том, чтобы воплощать в осязательных образах тот самый высший смысл жизни, которому философ дает определение в разумных понятиях, который проповедуется моралистом и осуществляется исторически деятелем как идея добра. Художественному чувству непосредственно открывается в форме осязательной красоты то же совершенное содержание бытия, которое философией добывается как истина мышления, а в нравственной деятельности дает о себе знать как безусловное требование совести и долга. Это только различные стороны или сферы проявления одного и того же; между ними нельзя провести разделения, и еще менее могут они противоречить друг другу. Если вселенная имеет смысл, то двух противоречащих друг другу истин – поэтической и научной – так же не может быть, как и двух исключających друг друга “высших благ”, или целей существования. Следовательно, прав наш поэт, когда прекрасное он сознательно принимал и утверждал не как вымысел, а как предметную истину, и, чувствуя жизнь природы и душу мира, был убежден в действительности того, что чувствовал.

IV

Убеждение в истинности поэтического воззрения на природу и вытекающая отсюда цельность творчества, гармония между мыслию и чувством, вдохновением и сознанием составляет преимущество Тютчева даже перед таким значительным поэтом-мыслителем, как Шиллер; но, разумеется, это не есть исключительно преимущество нашего поэта, или специфическая особенность его поэзии. И в новой литературе далеко не все поэты так доверчиво, как Шиллер, приняли механическое мировоззрение, так легко усвоили дуализм Картезия или субъективизм Канта. Многие продолжали и продолжают сознательно верить в действительность жизни и красоты, не видя в этом никакого противоречия с маятником Галилея или законом тяготения Ньютона. Между великими европейскими именами достаточно назвать Шелли в Англии и особенно Гете в Германии. Гете, который был не только поэтом и мыслителем, но и великим естествоиспытателем, положившим начало двум интереснейшим наукам – сравнительной анатомии животных и морфологии растений – лучше, чем кто-либо другой, мог видеть всю недостаточность исключительно-механического объяснения вселенной, и в целом ряде великолепных стихотворений, под заглавием: *Gott und Welt*, он прославляет душу мира и жизнь природы.

Конечно, Тютчев не рисовал таких грандиозных картин мировой жизни в целом ходе ее развития, какую мы находим у Гете, например, в стихотворении: “*Vertheilet euch durch alle Regionen*”. Но и сам Гете не захватывал, быть может, так глубоко, как наш поэт, темный корень мирового бытия, не чувствовал так сильно и не сознавал так ясно ту таинственную основу всякой жизни, – природной и человеческой, – основу, на которой зиждется и смысл космического процесса, и судьба человеческой души, и вся история человечества. Здесь Тютчев действительно является вполне своеобразным и если не единственным, то, наверное, самым сильным во всей поэтической литературе. В этом пункте – ключ ко всей его поэзии, источник ее содержательности и оригинальной прелести. “Олимпиец” Гете обнимал своим орлиным взглядом величие и красоту живой вселенной. Он знал, конечно, что этот светлый, дневной мир не есть первоначальное, что под ним скрыто совсем другое и страшное, но он не хотел останавливаться на этой мысли, чтобы не смущать своего олимпийского спокойствия. Но при таком одностороннем взгляде смысл вселенной не может быть раскрыт во всей своей глубине и полноте. Наш поэт одинаково чуток к обеим сторонам действительности; он никогда не забывает, что весь этот светлый, дневной облик живой природы, который он так умеет чувствовать и изображать, есть пока лишь “златотканый покров”, расцвеченная и позолоченная вершина, а не основа мироздания:

*На мир таинственный духов,
Над этой бездной безымянной
Покров наброшен златотканый
Высокой волею богов.*

*День – сей блистательный покров –
День, земнородных оживленье,
Души болящей исцеленье,
Друг человеков и богов!*

*Но меркнет день – настала ночь;
Пришла, и с мира рокового
Ткань благодатную покрова,
Сорвав, отбрасывает прочь...
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами –
Вот отчего нам ночь страшна.*

“День” и “ночь”, конечно, только видимые символы двух сторон вселенной, которые могут быть обозначены и без метафор. Хотя поэт называет здесь темную основу мироздания “бездной безымянной”, но ему сказалось и собственное ее имя, когда он прислушивался к напевам ночной бури:

*О чем ты воешь, ветер ночной?
О чем так сетуешь безумно?..
Что значит странный голос твой,
То глухо жалобный, то шумно?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке –
И роешь и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки!..*

*О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди
Он с беспредельным жаждет слиться!..
О, бурь заснувших не буди –
Под ними хаос шевелится!..*

V

Хаос, т.е. отрицательная беспредельность, зияющая бездна всякого безумия и безобразия, демонические порывы, встающие против всего положительного и должного, – вот глубочайшая сущность мировой души и основа всего мироздания. Космический процесс вводит эту хаотическую стихию в пределы всеобщего строя, подчиняет ее разумным законам, постепенно воплощая в ней идеальное содержание бытия, давая этой дикой жизни смысл и красоту. Но и введенный в пределы всемирного строя, хаос дает о себе знать мятежными движениями и порывами. Это присутствие хаотического, иррационального начала в глубине бытия сообщает различным явлениям природы ту свободу и силу, без которых не было бы и самой жизни и красоты. Жизнь и красота в природе – это борьба и торжество света над тьмою, но этим необходимо предполагается, что тьма есть действительная сила. И для красоты вовсе не нужно, чтобы темная сила была уничтожена в торжестве мировой гармонии; достаточно, чтобы светлое начало овладело ею, подчинило ее себе, до известной степени воплотилось в ней, ограничивая, но не упраздняя ее свободу и сопротивление. Так безбрежное море в своем бурном волнении прекрасно¹, как проявление и образ мятежной жизни, гигантского порыва стихийных сил, введенных, однако, в незыблемые пределы, не могущих расторгнуть общей связи мироздания и нарушить его строя, а только наполняющих его движением, блеском и громом:

*Как хорошо ты, о, море ночное, –
Здесь лучезарно, там сизо-темно...
В лунном сиянии, словно живое,
Ходит, и дышит, и блещет оно...*

*На бесконечном, на вольном просторе
Блеск и движенье, грохот и гром...
Тусклым сияньем облитое море,
Как хорошо ты в безлудье ночном!*

¹ По Канту, оно не прекрасно, а возвышенно (*erhaben*): но это одна из тех ненужных *distinctiones more scholasticorum*, к каким великий философ имел чрезмерную слабость.

*Зыбь ты великая, зыбь ты морская,
Чей это праздник так празднуешь ты?
Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткие звезды глядят с высоты.*

Хаос, т.е. само безобразие, есть необходимый фон всякой земной красоты, и эстетическое значение таких явлений, как бурное море или ночная гроза, зависит именно от того, что "под ними хаос шевелится". В изображении всех этих явлений природы, где яснее чувствуется ее темная основа, Тютчев не имеет себе равных:

*Не остывшая от зною,
Ночь июльская блистала...
И над тусклою землею
Небо, полное грозюю,
Все в зарницах трепетало...*

*Словно тяжкие ресницы
Подымались над землею
И сквозь беглые зарницы
Чьи-то грозные зеницы
Загорались порою...*

Этот поразительный образ гениально заканчивается поэтом в другом стихотворении:

*Одни зарницы огневые,
Воспламеняясь чередой,
Как демоны глухонемые,
Ведут беседу меж собой.*

*Как по условленному знаку,
Вдруг неба вспыхнет полоса,
И быстро выступят из мраку
Поля и дальние леса.
И вот опять все потемнело,
Все стихло в чуткой темноте –
Как бы таинственное дело
Решалось там – на высоте.*

VI

Частные явления суть знаки общей сущности. Поэт умеет читать эти знаки и понимать их смысл. "Таинственное дело", заговор "глухонемых демонов" – вот начало и основа всей мировой истории. Положительное светлое начало космоса сдерживает эту темную беду и постепенно преодолевает ее. В последнем, высшем произведении мирового процесса – человек – внешний свет природы становится внутренним светом сознания и разума, – идеальное начало вступает здесь в новое, более глубокое и тесное сочетание с земною душою; но соответственно этому глубже раскрывается в душе человека и противоположное демоническое начало хаоса. Ту темную основу мироздания, которую он чувствует и видит во внешней природе под "златотканым покровом" космоса, он находит и в своем собственном сознании, –

*И в чуждом, неразгаданном, ночном
Он узнает наследье родовое.*

Главное проявление душевной жизни человека, открывающее ее смысл, есть любовь, и тут опять наш поэт сильнее и яснее других отмечает ту самую демоническую и хаотическую основу, к которой он был чужок в явлениях внешней природы. Этому вовсе не противоречит прозрачный одухотворенный характер тютчевской поэзии. Напротив, чем светлее и духовнее поэтическое создание, тем глубже и полнее, значит, было прочувствовано и пережито то темное, не-духовное, что требует просветления и одухотворения.

Жизнь души, сосредоточенная в любви, есть по основе своей злая жизнь, смущающая мир прекрасной природы:

*Что это, друг? Иль злая жизнь не даром,
Та жизнь, – увь! – что в нас тогда текла,
Та злая жизнь, с ее мятежным жаром,
Через порог заветный перешла?*

Эта злая и горькая жизнь любви убивает и губит:

*О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!*

И это не есть случайность, а роковая необходимость земной любви, ее предопределение:

*Любовь, любовь, – гласит преданье –
Союз души с душой родной –
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье,
И... поединок роковой...*

*И чем одно из них нежнее
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изноет наконец...*

VII

"Злая жизнь", превращающая саму любовь в роковую борьбу, должна кончиться смертью. Но в чем же тогда смысл существования? Смысл природы был в создании разумного существа – человека. Но разум в природном человеке оказывается лишь формальным преимуществом; он не в силах овладеть самою жизнью, сделать ее разумною и бессмертною; назло разуму и на погибель человека поднимается и в нем демоническое и хаотическое безумие. Как в мировом процессе природы темное начало хаоса преодолевалось внешним образом, чтобы произвести светлое мироздание, увенчанное явлением человеческого разума, – так теперь та же самая темная основа, открывшаяся на новой высшей ступени в жизни и сознании человека, должна быть побеждена внутренним образом, в самом человечестве и при его собственном содействии. Достойная и вечная жизнь, которая требуется, но не дается разумом, должна быть добыта духовным подвигом. Носитель мирового смысла не может иметь свой смысл вне себя. Если я, как человек, могу понимать откровение абсолютного совершенства и сознательно стремиться к нему, то зачем же мне переставать быть человеком, чтобы достигнуть этого совершенства? Если мое сознание, как форма, может вместить бесконечное, то зачем же мне искать другой формы? Очевидно, я должен быть не сверх-человеком, а только совершенным человеком, т.е. соответствующим в действительности идеалу человечности.

Смысл человека есть он сам, но только не как раб и орудие злой жизни, а как ее победитель и владыка. Если загадка мирового сфинкса – души и любви человеческой – разрешается явлением духовного человека, действительного и вечного царя мироздания, покорителя греха и смерти. И как первое явление разумного сознания произошло в природе и из природы, но не от природы, а от того разума, который изначально устроил саму природу для этого явления и целесообразно направлял естественный ход всемирного процесса, – подобным образом и первое явление совершенной духовной жизни произошло в человечестве и из человечества, но не от человечества, а от Того, Кто изначально вложил в свой образ и подобие зародыш высшего совершенства, и как Грядущий приготавливал чрез всю историю необходимые условия своего действительного воплощения.

Примкнуть к "Вождю на пути совершенства", заменить роковое и убийственное наследие древнего хаоса духовным и животворным наследием нового человека, или Сына человеческого, – первенца из мертвых, – вот единственный исход из "злой жизни" с ее коренным раздвоением и противоречием, – исход, которого не могла миновать вещая душа поэта:

*О вещая душа моя!
О сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..*

*Так, ты жилица двух миров,
Твой день – болезненный и страстный,
Твой сон – пророчески-неясный,
Как откровение духов...*

*Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые –
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.*

VIII

“Роковое наследие” темных сил в нашей душе не есть что-нибудь личное, оно одинаково принадлежит всему человечеству, – таково же и духовное наследие Христово: оно явилось не для одиночного утешения отдельного человека, а для спасения всего человечества. Но что такое это человечество, в чем оно реально воплощается, где его действительное единство? На это у Тютчева был определенный ответ, который я здесь только укажу, не оспаривая и не подтверждая его.

Как во всей природе наш поэт признавал живую душу, которую держится единство и целостность мира, подобным же образом он признавал и живую душу человечества и видел ее – в России. Как, по словам одного учителя церкви, душа человеческая по природе христианка, так Тютчев считал Россию по природе христианским царством. Так как смысл истории в христианстве, то Россия, как страна по преимуществу христианская, призвана внутренне обновить и внешним образом объединить все человечество.

Для Тютчева Россия была не столько предметом любви, сколько веры – “в Россию можно только верить”. Личные чувства его к родине были очень сложны и многоцветны. Было в них даже некоторое отчуждение, с другой стороны – благоговение к религиозному характеру народа: “всю тебя, земля родная, – в рабском виде Царь Небесный – исходил благословляя”, – бывали в них, наконец, минутные увлечения самым обыкновенным шовинизмом.

Тютчев не любил Россию тою любовью, которую Лермонтов называет почему-то “странною”. К русской природе он скорее чувствовал антипатию. “Север роковой” был для него “сновиденьем безобразным”; родные места он прямо называет не милыми:

*Итак, опять увиделся я с вами,
Места немилые, хоть и родные,
Где мыслил я и чувствовал впервые*

*Ах нет, не здесь, не этот край безлюдный
Был для души моей родимым краем –
Не здесь расцвел, не здесь был величаем
Великий праздник молодости чудной.
Ах, и не в эту землю я сложил
Все, чем я жил и чем я дорожил!*

Значит, его вера в Россию не основывалась на непосредственном органическом чувстве, а была делом сознательно выработанного убеждения. Первое, еще неопределенное, но зато высоко-поэтическое выражение этой вере он дал еще в молодости – в прекрасном стихотворении “На взятие Варшавы”. В своей борьбе с братским народом Россия руководилась не зверскими инстинктами, а только необходимостью “державы целостность соблюсти”, для того, чтобы –

*Славян родные поколенья
Под знамя русское собрать
И весть на подвиг просвещенья
Единомысленных как рать.*

*Сие-то высшее сознанье
Вело наш доблестный народ –
Путей небесных оправданье
Он смело на себя берет.*

*Он чует над своей главою
Звезду в незримой вышоте
И неуклонно за звездою
Спешит к таинственной мете!*

Эта вера в высокое призвание России возвышает самого поэта над мелкими и злобными чувствами национального соперничества и грубого торжества победителей. Необычную у патристических певцов гуманностью дышат заключительные стихи, обращенные к Польше:

*Ты ж, братскою стрелой пронзенный,
Судеб свершая приговор,
Ты пал, орел одноплеменный,
На очистительный костер!
Верь слову русского народа:
Твой непл мы свято сбережем,
И наша общая свобода
Как феникс, возродится в нем.*

Позднее – вера Тютчева в Россию высказывалась в пророчествах более определенных. Сущность их в том, что Россия делается всемирною христианскою монархией, –

...и не преидет во век,

Как то провидел Дух и Даниил предрек.

Одно время условием для этого великого события он считал соединение Восточной церкви с Западною чрез соглашение царя с Папой, но потом отказался от этой мысли, находя, что папство несовместимо со свободой совести, т.е. с самою существовою принадлежностью христианства.

Отказавшись от надежды мирного соединения с Западом, наш поэт продолжал предсказывать превращение России во всемирную монархию, простирающуюся по крайней мере до Нила и до Ганга с Царьградом как столицей. Но эта монархия не будет, по мысли Тютчева, подобием звериного царства Навуходоносорова, – ее единство не будет держаться насилем. По поводу известного изречения Бисмарка Тютчев противопоставляет друг другу два единства:

*“Единство, – возвестил оракул наших дней, –
Быть может спаяно железом лишь и кровью...”
Но мы попробуем спаять его любовью, –
А там увидим, что прочней...”*

Великое призвание России предписывает ей держаться единства, основанного на духовных началах; не гнилою тяжестью земного оружия должна она облечься, а “чистою ризою Христовою”.

*Над этой темною толпой
Непробужденного народа
Взойдешь ли ты когда, свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?..*

*Блеснет твой луч и оживит,
И сон разгонит и туманы...
Но старые, гнилые раны,
Рубцы насилий и обид,*

*Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет, –
Кто их излечит, кто прикроет?..
Ты, риза чистая Христа...*

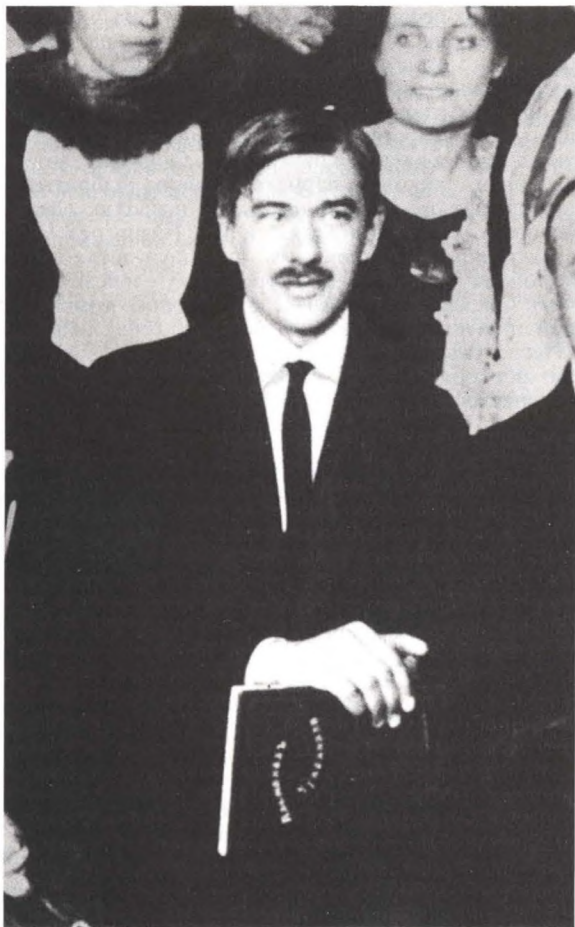
Мне остается только прибавить несколько слов, чтобы из патристических пророчеств нашего поэта извлечь их окончательный смысл.

Допустим, становясь на точку зрения Тютчева, что Россия – душа человечества. Но, как в душе природного мира и в душе отдельного человека светлое духовное начало имеет против себя темную хаотическую основу, которая еще не побеждена, еще не подчинилась высшим силам, – которая еще борется за преобладание и влечет к смерти и гибели, – точно так же, конечно, и в этой собирательной душе человечества, т.е. в России. Ее жизнь еще не определилась окончательно, она еще двоятся, увлекаемая в различные стороны противоборствующими силами. Воплотился ли уже в ней свет Истины Христовой; спаяла ли она единство всех своих частей любовью? Сам поэт признает, что она еще не покрыта ризою Христа.

Значит, – можно сказать поэту, – судьба России зависит не от Царьграда и чего-нибудь подобного, а от исхода внутренней нравственной борьбы светлого и темного начала в ней самой. Условие для исполнения ее всемирного призвания есть внутренняя победа добра над злом в ней, а Царьград и прочее может быть только следствием, а никак не условием желанного исхода. Пусть Россия, хотя бы без Царьграда, хотя бы в настоящих своих пределах, станет христианским царством в полном смысле этого слова – царством правды и милости – и тогда все остальное – приложится ей.

Сопроводительная заметка, подготовка текстов и примечания
СЕРГЕЯ БЛИНОВА

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ ИЗ ДНЕВНИКА о Максиме Горьком



Сегодня мы предлагаем вниманию читателей страницы дневника Чуковского, посвященные М.Горькому.

Свой дневник Чуковский вел почти семьдесят лет – с 1901 по 1969 год. Перепечатанный на машинке, он насчитывает свыше двух с половиной тысяч страниц, один только указатель упомянутых в тексте имен занял бы страниц триста. Основное содержание дневника – литературные события, впечатления от читаемых книг, от разговоров с писателями, художниками, актерами. Это единственное крупное произведение К. Чуковского, остающееся пока достоянием архива.

М.Горький и К. Чуковский
Фрагмент шуточного ребуса



М.Добужинского "Сто рож"
из сборника "Елка" (1918 год)

Однако в "Литературном наследстве", в газетах и журналах – "Юности", "Новом мире", "Знамени", "Огоньке", "Неделе" – уже печатались отрывки из дневника: о Блоке, Маяковском, Ахматовой, Бунине, Зошенко. Сейчас в издательстве "Советский писатель" начата работа над изданием дневника Чуковского за 1901–1934 годы. В книгу войдет и значительная часть переписанных записей.

Особенно интересны записи 1918–1922 годов, когда К. Чуковский был деятельным сотрудником коллегии "Всемирная литература", во главе которой стоял М. Горький.

"Горького захватила широкая мысль: дать новому советскому читателю самые лучшие книги, какие написаны на нашей планете самыми лучшими авторами, чтобы этот новый читатель мог изучать мировую словесность по самым лучшим переводам", – вспоминал Чуковский в своем мемуарном очерке о Горьком в книге "Современники".

Литературные связи М. Горького и К. Чуковского не ограничивались "Всемирной литературой". В качестве критика Чуковский опубликовал несколько статей о произведениях М. Горького, выступал с лекцией "Большая Россия и ее целитель Горький", а в 1924 году выпустил книгу "Две души М. Горького" (одна из статей Горького называлась "Две души"). В 1918 году в издательстве "Парус" вышла книжка для детей "Елка". Сборник составили А. Бенуа и К. Чуковский под редакцией М. Горького. В 1928 году, в период "борьбы с чуковщиной", М. Горький опубликовал в "Правде" письмо в защиту сказки "Крокодил".

Однако читатель, который заинтересуется отношениями Чуковского с Горьким, легко обнаружит, что отношения эти были совсем не идиллическими. Об этом свидетельствуют, например, упоминания о Чуковском в письмах М. Горького к Л. Андрееву или К. Федину. Об этом же говорят и многие дневниковые записи К. Чуковского. В 1918–1919 годах Чуковский пишет о Горьком: "Я при нем глупею, робею... – и нравится мне он очень", "я видел прекрасного Горького – и упивался зрелищем", "вот "музыкальный" всепонимающий талант", а годом позже: "Нет уже его прежнего со мною кокетства, нет игры, нет милого "театра для себя", который бывал у Горького с новыми людьми", "он сух и мне чужд".

Обширная переписка Горького с Чуковским, которая дала бы возможность более полно представить их отношения, напечатана пока лишь выборочно и в настоящее время подготавливается к печати. Известные воспоминания Чуковского о Горьком, написанные в 40–60-е годы, как это стало теперь очевидно, полностью опираются на дневник. Однако они окрашены другой, менее непосредственной тональностью, а кроме того, далеко не все дневниковые записи о Горьком вошли в текст воспоминаний. Как нам кажется, знакомство с некоторыми ранее неизвестными страницами дневника Чуковского позволит читателю представить себе Горького "озорным, веселым, талантливым, взволнованным, живым человеком", поможет сохранить в памяти "образ подлинного, не иконописного Горького".

вот, все это на моей земле – неужто доставаться англичанам – нет, нет!" – ругает англичан. Вдруг видит карточку фотографическую на столе. "Кто это?" – "Англичанин." – "Чем занимается?" – "Да вот этими делами... Покупает..." – "Голубчик, нельзя ли познакомить? Я бы ему за миллион продал"...]

Я пошел домой и не спал всю ночь.

1918

28 октября. Тихонов⁴ пригласил меня недели две назад редактировать английскую и америк[анскую] литературу для "Издательства Всемирной Литературы при Комиссариате Народного Просвещения", во главе которого стоит Горький. Вот уже две недели с утра до ночи я в вихре работы. Составление предварительного списка далось мне с колоссальным трудом. Но мне так весело думать, что я могу дать читателям хорошему Стивенсона, О. Генри, Сэмюэля Бетлера, Карлейля, что я работаю с утра до ночи – а иногда и ночи напролет. Самое мучительное – это заседания под председательством Горького. Я при нем глупею, робею, говорю не то, трудно повернуть шею в его сторону – и нравится мне он очень, хотя мне и кажется, что его манера наигранная. Он приезжает на заседания в черных лайковых перчатках, чисто выбритый, угрюмый, прибавляет при каждой фразе: "Я позволю себе сказать", "Я позволю себе предложить" и т.д. (Один раз его отозвали в другую комнату перекусить, он вынул после еды из кармана коробочку, из коробочки зубочистку – и возился с нею целый час). Обсуждали вопрос о Гюго: сколько томов давать? Горький требует поменьше. «Я позволю себе предложить издать "Несчастных"... да, издать. Не надо "Несчастных"» (он любит повторять одно и то же слово несколько раз, с разными оттенками, – эту черту я заметил у Шалыпина и Андреева). Я спросил, почему он против "Несчастных", Горький заволновался и сказал:

– Теперь, когда за катушку ниток (вот такую катушку... маленькую...) в Самарской губернии дают два пуда муки... два пуда (он показал руками, как это много: два пуда) вот за такую маленькую катушку...

Он закашлялся, но и кашля показывал руками, какая маленькая катушка.

– Не люблю Гюго.

Он не любит "Мизераблей" <"Отверженных"> за проповедь терпения, смирения и т.д.

Я сказал:

– А "Труженики моря"?..

– Не люблю...

– Но ведь там проповедь энергии, человеческой победы над стихиями, это мажорная вещь...

(Я хотел поддеть его на его удочку.)

– Ну если так, – то хорошо. Вот вы и напишите предисловие. Если кто напишет такое предисловие – отлично будет.

Он заботится только о народной библиотеке. Та, основная, к[ото]рую мы затеваем параллельно – к ней он равнодушен. Сведения его поразительны. Кроме нас участвуют в заседании: проф. Ф.Д. Батюшков [...], проф. Ф.А. Браун, поэт Гумилев (моя креатура), прив[ат] доц[ент] А.Я. Левинсон⁵ – и Горький обнаруживает больше сведений, чем все они. Называют имя франц[узского] второстепенного писателя, которого я никогда не слышал, профессорá, как школьники, не выучившие урока, опускают глаза, а Горький говорит:

– У этого автора есть такие-то и такие-то вещи... Эта вещь слабоватая, а вот эта (тут он просияывает) отличная... хорóшая вещь...

Собрания происходят в помещении бывшей конторы **Новая Жизнь** (Невский, 64). Прислуга новая, Горького не знает. Один мальчишка разогнался к Горькому:

– Где стаканы? Не видали вы, где тут стаканы? (Он принял Горького за служителя.)

– Я этим делом не заведу.

Ноябрь 12. [...] Вчера заседание – с Горьким. Горький рассказывал мне, какое он напишет предисловие к нашему конспекту – и вдруг потупился, заулыбался вкось, заиграл пальцами.

– Я скажу, что вот, мол, только при Рабоче-Крестьянском Правительстве возможны такие великолепные издания. Надо же задобрить. Да, задобрить. Чтобы, понимаете, не придира-

1916

Сентябрь 22. Вчера познакомился с Горьким. Гржебин¹ сказал, что едем к Репину в 1 ч. 15 м. Я на вокзал. Не нашел. Но, глянув в окно купе 1-го класса, – увидел оттуда шершавое нелепое лицо – понял, это он. Вошел. Он очень угрюм: сконфузился. Не глядя на меня, заговорил с Гржебиным: "Чем торгует этот бритый, на перроне? Пари, что это русский под англичанина. Он из Сибири – пари! Не верите, я пойду, спрошу". Я видел, что он от застенчивости, и решил деловитыми словами устранить неловкость. [...]

Заговорили о Венгрове², Маяковском – лицо его стало нежным, голос мягким – преувеличенно, – он заговорил в манере Миролюбова³. "Им надо Библию читать... Библию... Да, Библию. В Маяковском что-то происходит в душе... да, в душе". [...]

У Репина [Горький] чувствовал себя связанным. Уныло толкался из угла в угол. Р[епин] посадил его в профиль и стал писать. Но он позировал дико – болтал головою, смотрел на Репина – когда надо [было] смотреть на меня и на Гржебина. Рассказал несколько любопытных вещей. [...] "Был у нас в Нижнем купец – ах, странные русские люди! – так он недавно пришел из тех мест и из одного кармана вынимает золото, из другого вольфрам, из третьего серебро и т.д. "Вот, вот,

лись. А то ведь они, черти, – интриганы. Нужно, понимаете ли, задобрить... [...] Как по-стариковски напяливает Горький свои серебряные простоватые очки – когда ему надо что-нибудь прочитать! Он получает кучу писем и брошюр (даже теперь – из Америки) – и быстро просматривает их – с хватками хозяина москательной лавки, истово перебирающего счета.

22 ноября. Заседания нашей “Всемирной Литературы” идут полным ходом. Я сижу рядом с Горьким. Он ко мне благоволит. [...] Вчера я впервые видел на глазах у Горького его знаменитые слезы. Он стал рассказывать мне о предисловиях к книгам “Всемирной Литературы”: “Вот сколько икон люди создали, и каких великих – черт возьми! (и посмотрел вверх, будто на небо, – и глаза у него стали мокрыми, и он, разжигая в себе экстаз и умиление) – дураки, они и сами не знают, какие они превосходные, и все, даже негры... У всех одни и те же божества – есть, есть... Я видел, был в Америке... видел Букара Вашингтона... да, да, да...”

Меня это как-то не загло; это в нем волжское, сектантское; тут есть что-то отвлеченное, догматическое. Я говорил ему, что мне приятнее писать о писателе не *sub specie*⁶ человечества, не как о деятеле планетарного искусства, а как о самом по себе, стоящем вне школ, направлений, – как о единственной, не повторяющейся в мире душе, – не о том, чем он похож на других, а о том, чем он не похож. Но Горький теперь весь – в “коллективной работе людей”. [...]

24 ноября. Вчера во “ВсеЛите” должны были собраться переводчики, и Гумилев должен был прочитать им свою **Декларацию**. Но вчера б[ыло] воскресенье, “ВсеЛит” заперт, переводчики столпились на лестнице, и решено было всей гурьбой ехать к Горькому. Все в трамвай! Гумилев прочел им программу максимум и минимум – великолепную, но неисполнимую – и потом выступил Горький.

Скуксив физиономию в застенчиво-умиленно-восторженную гримасу (которая при желании всегда к его услугам), он стал просить-умолять переводчиков переводить честно и талантливо. “Потому что мы держим экзамен... да, да, экзамен... Наша программа будет послана в Италию, во Францию знаменитым писателям, в журналы – и надо, чтобы все было хорошо* ... Именно потому, что теперь эпоха разрушения, развала, мы должны созидать... Я именно потому и взял это дело в свои руки, хотя, конечно, с моей стороны не будет рисовкой, если я скажу, что знаю его меньше, чем каждый из вас...” Все это очень мне не понравилось почему-то, может быть, потому, что я увидел, как **по заказу** он вызывает в себе умиление. Переводчики тоже не растрогались. Горький ушел. Они загалдели.

Вот уже 1919 год.

12 января. Воскресение. [...] У Горького был в четверг. Он ел яичницу. “Не хотите ли? стакан молока? хлеба с маслом?” Множество шкафов с книгами стоят не пламя на стене, а бок. [...] На шкафах – вазы голубые, редкие. Маска Пушкина, стилизованный (гнусный) портрет Ницше – чуть ли не поляка Стыка; сам Горький – весь доброта, деликатность, желание помочь. Я говорил ему о бессонницах, он вынул визитную карточку и тут же, не прекращая беседы, написал рекомендацию к Манухину. “Я позвоню ему по телефону, вот.” [...]

Горький хлопотал об Изгоеве⁷, чтобы Изгоева вернули из ссылки. Теперь хлопочет о сыне К.Иванова – Александре Константиновиче – прапорщике.

5 марта 1919. Вчера у меня было небывалое собрание знаменитых писателей: М.Горький, А.Куприн, Д.С.Мережковский, В.Муйжель, А.Блок, Слезкин, Гумилев и Эйзен⁸. Это нужно описать подробно. У меня болит нога. Поэтому решено устроить заседание у меня – заседание Деятелей Худож[ественного] Слова. Раньше всех пришел Куприн [...] и сел играть с нами в “пять в ряд” – игра, которой мы теперь увлекаемся. Побил я его два раза, – входит Горький. “Я у вас тут звонок оторвал, а дверь открыта”. У Горького есть два выражения на лице: либо умиление и ласка, либо угрюмость отчужденность. Начинает он большей частью с угрюмого. Куприн кинулся к нему,

любовно и кротко: “Ну как здоровье, А[лексей] М[аксимо-вич]? Все после Москвы поправляетесь?” – “Да, если бы не Манухин, я подох бы. Опять надо освещаться, да все времени нет. Сейчас я из **Главбума** – потеха! Вот официальный документ – (пошел и вынул из кармана пальто) черти! – и читает, что бумаги нет никакой, что “из 70.000 пудов 140.000 нужно Комиссариату” и т.д. Безграмотные ослы, даже сосчитать не умеют. На днях едем мы с Шаляпиным на Кронверкский – видим, солдаты везут орудия. “Куда?” – “Да на Финский вокзал.” – “А что там?” – “Да сражение, – в восторгом, – бьют, колют, колотят... здорово!” – “Кого колотят?” – “Да нас!” Шаляпин всю дорогу смеялся. Тут пришел Блок. За ним Муйжель. [...] Я читал доклад о “Старике” Горького и зря пустился в философию. Доклад глуповат. **Горький** сказал: “Не люблю я русских старичков”. **Мережковский**: “То есть, каких старичков?” – “Да, всяких... вот этаких.” (И он великолепно соорудил стариковскую рожу.) **Куприн**: “Вы молодцом... Вот мне 49 лет.” **Горький**: “Вы передо мной мальчишка и щенок: мне пятьдесят!!” **Куприн**: “И смотрите: ни одного седого волоса!”

Вообще заседание ведется раскидисто. [...]

12 марта. Вчера во “Всемирной Лит[ературе]” заседание. Впервые присутствовал Блок, не произнесший ни единого слова. У меня все еще болит нога, Маша⁹ довезла меня на извозчике. Когда я вошел, Горький поднялся ко мне навстречу, пожал обеими руками руку, спросил о здоровье. Потом сел. Потом опять подошел ко мне и дал мне “Чукоккалу”. Потом опять сел. Потом опять встал, отвел меня к печке и стал убеждать лечиться у Манухина. [...] В “Чукоккалу”¹⁰ он написал мне отличные строки, которые меня страшно обрадовали, – не рассуждения, а краски и образы. Заседание кончилось очень скоро.

14 [марта]. Я и не подозревал, что Горький такой ребенок. Вчера во “Всемирной Литературе” (Невск., 64) было заседание нашего Союза. Собрались: Мережковский[ий], Блок, Куприн, Гумилев и др., но, в сущности, никакого заседания не было, ибо Горький председательствовал и потому – при первом удобном случае – отвлёкся от интересующих нас тем и переходил к темам, интересующим его. Мережковский заявил, что он хочет скорее получить свои деньги за “Александра”, т.к. он собирается уехать в Финляндию, Горький говорит:

– Если бы у нас не было бы деловое собрание, я сказал бы: не советую ездить и вот почему... – Следует длинный перечень причин, по которым не следует ездить в Финляндию: там теперь называют две революции – одна монархическая, другая – большевистская. Тех россиян, которые не монархисты, поселяют в деревнях – в каждой деревне не больше пяти ч[елове]к – и т.д.

– Стати, о положении в Финляндии. Вчера приехал ко мне оттуда один белогвардеец, “деловик”, говорит, у них положение отчаянное: они наготовили лесу, бумаги, плугов, а “Антанта” говорит: не желаю покупать, мне из Канады доставят эти товары дешевле! Прогадали финны. Многие торговцы становятся русофилами: Россия – наш естественный рынок... А Леонид Андреев воззвание к “Антанте” написал – манифест: “вы, мол, победили благодаря нам”. Никакого впечатления. А Арабажин в своей газете... и т.д., и т.д. [...]

Так прошло почти все заседание... В этой недисциплинированности мышления Горький напоминает Репина. И[лья] Е[фимович] вел бы себя точь в точь так.

30 марта. Чествование Горького во “Всемирной Литературе”. Я взял Бобу, Лиду, Колю и айда! По дороге я рассказывал им о Горьком, вдруг смотрим, едет он в сероватой шапке – он снял эту шапку и долго ею махал. Потом он сказал мне: “Вы ужасно смешно шагаете с детьми, и... хорошо... Как журавль”. Говорились ему пошлости. Особенно отличилась типография: “выы – авангард революции и нашей типографии”. “вы поэт униженных и оскорбленных”. Особенно ужасна была речь Ф.Д.Батюшкова. Тот напел: “гуманист, гуманный человек, поэт человека” – и в конце сказал: “еще недавно вы даже в загадочном старце открыли душу живу” (намек на пьесу Горького “Старик”). Горький встал и ответил не по-юбилейному, а просто и очень хорошо. “Конечно, вы преувеличиваете... Но вот что я хочу сказать: в России так повелось, что человек с двадцати лет проповедует, а думать начинает в

* Хотя как знаменитые писатели Франции и Англии узнают, хороши ли переводы или плохи, – это тайна Горького. (Примеч. К.Чуковского).

сорок или этак в тридцать пять (т.е. что теперь он не написал бы ни “Челкаша”, ни “Сокола”). Что делать, но это так! Это так! Это так. Я вообще не каюсь... ни о чем не жалею, но кому нужно понять то, что я говорю, тот поймет... А Федору Дмитриевичу я хочу сказать, что он ошибся... Я старца и не думал одобрять. Я старичков ненавижу... он подобен тому дрянному Луке (из пьесы “На дне”) и другому, в “Матвее Кожемякине”, которому говорили: “Есть Бог?” – а он: “Есть, отстаньте”. Ему говорили: “Нет Бога?” – “Нет, отстаньте”. Ему ни до чего нет дела, а есть дело только до себя, до своей маленькой мести, которая часто бывает очень большой. Вот!” – и он развел руками. Во время фотографирования он сел с Бобой и Лидой, и все время с ними разговаривал. Бобе говорил: “Когда тебе будет 50 лет, не празднуй ты юбилеев – скажи, что тебе 51 год или 52 года, а все печения сам съешь”.

Тихоновы постарались: много устроили печений, на дивном масле, в бокалах подавали чай. Горький сидел между Любовью Абрамовной в Варварой Васильевной.¹¹

2 апреля. [...] Вчера Г[орький] был простуженный, хмурый, больной. Устал тащиться с тяжелым портфелем. Принес (как всегда) кучу чужих рукописей – исправленных до неузнаваемости. Когда он успевает делать эту гигантскую работу, зачем он ее делает, непостижимо! Я показал ему лодочку, которую он незаметно для себя сделал из бумаги. Он сказал: “Это все, что осталось от волжского флота,” – и зашептал: “А они опять арестовывают...”

18 апреля. Пятница. Ночь. [...] Решил записывать о Горьком. Я был у него на прошлой неделе два дня подряд – часов по пяти, и он рассказывал мне многое о себе. Ничего подобного в жизни я не слышал. Это в десять раз талантливее его писания. Я слушал зачарованный. Вот “музыкальный” всепонимающий талант. Мне было особенно странно после его сектантских, наивных статей о Толстом выслушать его сложные, многообразно окрашенные воспоминания о Льве Николаевиче. Как будто совсем другой Горький. [...]

– Я был молодой человек, только что написал Вареньку Олесову и “Двадцать шесть и одну”, пришел к нему, а он меня спрашивает такими простыми мужицкими словами [...] где и как (не на мешках ли) лишил невинности девушку герой рассказа “Двадцать шесть и одна”. Я тогда был молод, не понимал к чему это и, помню, рассердился, а теперь вижу: именно, именно об этом и надо было спрашивать. О женщинах Толстой говорил розановскими горячими словами – куда Розанову!¹² [...] Цветет в мире цветок красоты восхитительной, от которого все акафисты, и легенды, и все искусство, и все героизм, и всё. Софью Андреевну он любил **половой** любовью, ревновал ее к Танееву, и ненавидел, и она ненавидела его, эта гнусная антрепренерша. Понимал он нас всех, всех людей: только глянет и готово – пожалуйте! Раскусит вот как орешек мелкими хищными зубами, не угодно ли! Врать ему нельзя было – все равно все видит. “Вы меня не любите, Алексей Максимович?” – спрашивает меня. – “Нет, не люблю, Лев Николаевич,” – отвечаю. (Даже Поссе тогда испугался, говорит: как тебе не стыдно, но **ему** нельзя соврать.) С людьми он делал, что хотел. “Вот на этом месте мне Фет стихи свои читал,” – сказал он мне как-то, когда мы гуляли по лесу. – “Ах, смешной был ч[еловек] Фет!” – “Смешной?” – “Ну да, смешной, все люди смешные, и вы смешной, Алексей Максимович, и я смешной – все”. С каждым он умел обойтись по-своему. Сидят у него, например: Бальмонт, я, рабочий социал-демократ (такой-то), великий князь Николай Михайлович (портсигар с бриллиантами и монограммами), Танеев, – со всеми он говорит по-другому, в стиле своего собеседника, – с князем по-княжески, с рабочим демократически и т.д. Я помню в Крыму, иду я как-то к нему – на небе мелкие тучи, на море маленькие волночки, – иду, смотрю, внизу на берегу среди камней – он. Вдел пальцы снизу в бороду, сидит глядит. И мне показалось, что и эти волны, и эти тучи – все это сделал он, что он надо всем этим командир, начальник, да так оно в сущности и было. Он – вы подумайте, в Индии о нем в эту минуту думают, в Нью-Йорке спорят, в Кинешме обожают, он самый знаменитый на весь мир человек, одних писем ежедневно получал пуда полтора – и вот должен умереть. Смерть ему была страшнее всего – она мучила его всю жизнь. Смерть – и женщина.

Шаляпин как-то христосует с ним: “Христос Воскресе!” Он смолчал, дал Шаляпину поцеловать себя в щеку, а потом и говорит: “Христос не воскрес, Федор Иванович”¹³.

Когда я записываю эти разговоры, я вижу, что вся их сила – в мимике, в интонациях, в паузах, ибо сами по себе они, как оказывается, весьма простенькие и даже чуть-чуть плосковатые. На другой день говорили о Чехове:

... Чехов... Мои “Воспоминания” о нем плохи. Надо бы написать другие: он со мной все время советовался, жениться ли ему на Книппер. [...]

Во второе свое посещение он пригласил меня остаться завтракать. В кабинет влетела комиссарша Марья Федоровна Андреева, отлично одетая, в шляпке – “да, да, я распоряжусь, вам сейчас подадут”, но ждать пришлось часа два, и боюсь, что мой затянувшийся визит утолил Алексея Максимовича.

Во время беседы с Горьким я заметил его особенность: он отлично помнит сотни имен отчеств, фамилий, названий городов, главней книг. Ему необходимо рассказывать так: это было при губернаторе **Леониде Евгеньевиче фон Крузе**, а митрополитом был тогда **Амвросий**, в это время на фабрике у **братьев Кудашиных – Степана Степановича и Митрофана Степановича** был бухгалтер **Корнев, Александр Иванович**. У него-то я и увидел книгу **Михайловского** “О Шедрине” издания 1889 года. Думаю, что вся его огромная и поражающая эрудиция сводится именно к этому – к номенклатуре. Он верит в названия, в собственные имена, в заглавия, в реестр и каталог.

29 апреля. [...] Горький дал мне некоторые материалы – о себе¹⁴. Много его статей, писем, набросков. Прихожу к заключению, что всякий большой писатель – отчасти графоман. Он должен писать хотя бы чепуху – но писать. В чайнике сделаться большим писателем, даю себе слово, при всякой возможности – водить пером по бумаге. Розанов говорил мне: когда я не ем и не сплю, я пишу.

7 июня. Воскресение. Мы с Тихоновым и Замятиным затеяли журнал “Завтра”. Горькому журнал очень люб. Он набросал целый ряд статей – некоторые читал, некоторые пересказывал [...]

Я поехал в Смольный к Лисовскому¹⁵ просить разрешения; Лисовский разрешил, но, выдавая разрешение, сказал: прошу каждый номер доставлять мне предварительно на просмотр. Потому что мы совсем не уверены в Горьком.

Горький член их исполнительного комитета, а они хотят цензурировать его. Чудеса!

20 сентября. Вчера Горький читал в нашей “Студии” о картинах для кинематографа и театра. Слушателей было мало. Я предложил ему сесть за стол, он сказал: “Нет, лучше сюда!” – и сел за детскую парту: “В детстве не довелось посидеть на этой скамье”. Он очень удручен смертью Леонида Андреева. “Это был огромный талант. Я такого не видал. У него было воображение – бешеное. Скажи ему, какая вещь лежала на столе, он сразу скажет все остальные вещи. Нужно написать воспоминания о Леониде Андрееве. И Вы, Корней Ив[анович], напишите. Помню, на Капри мы шли и увидели отвесную стену, высокую, и я сказал ему: вообразите, что там наверху – человек. Он мгновенно построил рассказ “Любовь к Ближнему” – но рассказал его лучше, чем у него написало”.

28 октября. Должно было быть заседание Исторических картин, но не состоялось (Тихонов заболтался с дамой – Кемеровой) – и Горький стал рассказывать нам разные истории. Мы сидели как очарованные. Рассказывал конфузливо, в усы, а потом разошелся. Начал с обезьяны – как он пошел с Шаляпиным в цирк и там показывали обезьяну, которая кушала, курила и т.д. И вот неожиданно – смотрю: Федор тут же, при публике, делает все обезьяньи жесты – чешет рукою за ухом и т.д. Изумительно! [...]

5 ноября. [...] Вопрос о Жуковском кончился очень забавно: Гумилев поспорил с Г[орьким] о Жуковском – и ждал, что Г[орький] прогонит его, а Горький поручил Гум[илеву] редактировать Жуковского для Гржебина. [...] Обсуждали мы, какого художника пригласить в декораторы к пьесе Гумилева. Кто-то предложил Анненкова¹⁶. Горький сказал: **Но ведь у него будут всё треугольники**. Предложили Радакова. **Но ведь у него все первобытные люди выйдут похожи на Аверченко**. Сейчас Оцуп¹⁷ читал мне сонет о Горьком. Начинается “с улыбкой

хитрой". Горький хитрый?! Он не хитрый, а простодушный до невменяемости. Он ничего в действительной жизни не понимает – младенчески. Если все вокруг него (те, кого он любит) расположены к какому-н[и]б[удь] человеку, и он инстинктивно, не думая, не рассуждая – любит этого ч[елове]ка. Если кто-н[и]б[удь] из его близких (м-те Шайкевич, Марья Федоровна, "купчиха" Ходасевич¹⁸, Тихонов, Гржебин) вдруг невзлюбят кого-н[и]б[удь] – кончено! Для тех, кто принадлежит к **своим**, он делает все, подписывает всякую бумагу, становится в их руках пешкою. Гржебин из Горького может веревки вить. Но все чужие – враги. Я теперь (после полугодовой совместной работы) так ясно вижу этого человека, как втянули его в "Новую жизнь" [...] во что хотите – во "Всемирную Литературу". Обмануть его легче легкого – наш Боба обманет его. В кругу **своих** он доверчив и покорен. Оттого, что спекулянт Махлин живет рядом с Тихоновым, на одной лестнице. Г[орький] высвободил этого ч[елове]ка из Чрезвычайки, спас от расстрела.

23 ноября. [...] Горький о Мережковском: он у меня, как фокстерьер, повис на горле – вцепился зубами и повис.

29 ноября 1919 г. [...] Было у нас заседание по программе для Гржебина. Горький говорил, что нужно расширить – не сто книг, а двести пятьдесят. Впервые на заседании присутствовал Иванов-Разумник¹⁹ [...] молчаливый, чужой. Блок очень хлопотал привлечь его на наши заседания. Я научил Блока, как это сделать: послать Горькому письмо. Он так и поступил. Теперь они явились на заседание вдвоем, я отодвинулся и дал им возможность сесть рядом. И вот – чуть они вошли – Г[орький] изменился, стал "кокетничать", "играть", "рассыпать перлы". Чувствовалось, что все говорит для **нового человека**. Г[орький] очень любит нового человека – и всякий раз при первых встречах волнуется романтически – это в нем наивно и мило. Но Ив[анов]-Разумник оставался неподатлив и угрюм.

1920

2-ой день Рождества 1920 г. [...] Вечером в 4 часа – к Горькому. В комнате на Кронверкском темно, топится печка – Горький, Марья Игнатьевна, Ив[ан] Николаевич и Крючков²⁰ сумерничают. [...] Возится с печью и говорит сам себе: "Глубокоуважаемый Алексей Максимович, позвольте вас предупредить, что Вы обожгетесь... Вот, К[орней] Ив[анович], пусть Федор[Шалапин] расскажет вам, как мы одного гофмейстера в молоке купали. Он, понимаете, лежит, читает, а мы взяли крынки – и льем. Он очнулся – весь в молоке. А потом поехали купаться, в челне, я предусмотрительно вынул пробки, и на середине реки стали погружаться в воду. Гофмейстер просит, нельзя ли ему выстрелить из ружья. Мы позволили..." Помолчал. "Смешно Лунач[арский] рассказывал, к[а]к в Москве мальчики товарища съели. Зарезали и съели". [...]

19 января. [...] Вчера утром звонит ко мне Ник. Оцуп: нельзя ли узнать у Горького, расстрелян ли Павел Авдеевич (его брат). Я позвонил, подошла Марья Игнатьевна. "Да, да, К[орней] Ив[анович], он расстрелян". Мне очень трудно было сообщить об этом Ник[олаю] Авд[еевичу], но я в конце концов сообщил.

9 февраля. Это нужно записать. Вчера у нас должно было быть заседание по гржебинскому изданию классиков. Мы условились с Горьким, что я приду к Гржебину в три часа, и он (Горький) придет за нами своего рысака. Прихожу к Гржебину, а у него в вестибюле внизу, возле комнаты швейцара сидит Горьк[ий], молодой, синеглазый, в серой кепке, красивый. "Был у Константина Пятницкого²¹... Он тифом сыпным заболел – его обрили... очень смешной... в больнице грязь бурграми... сволочи... Доктор говорит: это не мое дело...". Потом мы сели на лихача и поехали – я на облучке. Марья Игн[атьевна] Бенкендорф окончательно поселилась у Горького – они в страшной дружбе – у них установились игриво-полемиические отношения: она шутя бьет его по рукам, он говорит: "ай-ай-ай, как она дерется!" Словом, ей отвели на Кронверкском комнату, и она переехала туда со всеми своими предками (портретами Бенкендорфов и... забыл чьими еще). На собрании были Замятин, Гржебин, Горький, Лернер, Гумилев и я.

12 февраля. [...] В три часа суп и картошка – и бегом во Всемирную. Там заседание писателей, коих я хочу объединить

в **Подвижной Университет**. Пришли Амфитеатров, обросший бородой, Вольтинский, Лернер²² [...] Все нескладно и глупо. Явился на 5 мин. Горький и, когда мы попросили его сообщить его взгляды на это дело, сказал: "Нужно читать просто... да, просто... Ведь все это дети – милиционеры, матросы и т.д.". Шкловский заговорил о том, что нужны школы грамоты, нужно, чтобы и мы преподавали грамоту... Штрайх (сам малограмотный) заявил, что он – арабская лошадь и не желает возить воду. И все признали себя арабскими лошадьми. Оттуда к Ахматовой (бегом) [...] оттуда (бегом) к Каплуну²³ на Дворцовую Площадь. Его нету, я опоздал, он уже у Горького. [...] Я еду к Горькому. От голода у меня мутится голова, я почти в обмороке. У Горьк[ого] в двух комнатах заседания – и он ходит из комнаты в комнату, словно шахматист, играющий одновременно несколько партий. Потом оба заседания соединяются. Профессора и – мы.

30 марта. [...] Горький по моему приглашению читает лекции в Горохре (Клуб милиционеров) и Балтфлоте. Его слушают горячо, он говорит просто и добродушно, держит себя в высшей степени демократично, а **его все боятся**, шарахаются от него – особенно в милиции. "Не простой он человек!" – объясняют они.

19 апреля. Сегодня впервые я видел **прекрасного** Горького – и упивался зрелищем. Дело в том, что против "Дома Искусств" уже давно ведется подкоп. Почему у нас аукцион? Почему централизация буржуазии? Особенно возмущался нами Пунин²⁴, комиссар изобразительных искусств. Почему мы им не подчинены? Почему мы, получая субсидии у них, делаем какое-то постороннее дело, не соответствующее коммунистическим идеям? И проч.

Горький с черной широкополой шляпой в руках очень свысока, властным и свободным голосом:

– Не то, государи мои, вы говорите. Вы, как и всякая власть, стремитесь к концентрации, к централизации – мы знаем, к чему привело централизацию самодержавие. Вы говорите, что у нас в "Доме Искусств" буржуи, а я вам скажу, что это все ваши же комиссары и жены комиссаров. И зачем им не наряжаться? Пусть люди хорошо одеваются – тогда у них вшей не будет. Все должны хорошо одеваться. Пусть и картины покупают на аукционе – пусть! человек повесит картинку – и жизнь его изменится. Он работать станет, чтоб купить другую. А на нападки, раздававшиеся здесь, я отвечать не буду, они сделаны из-за личной обиды: человек, к[ото]рый их высказывает, баллотировался в "Дом Искусств" и был забаллотирован...

Против меня сидел Пунин. На столе перед ним лежал портфель. Пунин то закрывал его ключиком, то открывал, то закрывал, то открывал. Лицо у него дергалось от нервного тика. Он сказал, что он гордится тем, что его забаллотировали в "Дом Искусств", ибо это показывает, что буржуазные отбросы ненавидят его...

Вдруг Горький встал, кивнул мне головой на прощанье – очень строгий стал надевать перчатку – и, стоя среди комнаты, сказал:

– Вот он говорит, что его ненавидят в "Д[оме] И[скусств]". Не знаю. Но я его ненавижу, ненавижу таких людей, как он, и... в их коммунизм не верю.

Подождал и вышел.

Октябрь 1920. [...] Когда встречали Wells'a, Горький не ответил на поклон Пунина – не ответил сознательно. Когда же я сказал ему: зачем Вы не ответили Пунину? – он пошел рыскал Пунина и поздоровался.

* * *

Замятин беседовал с Уэллсом о социализме. Уэллс б[ыл] против общей собственности. Горький защищал ее. "А зубные щетки у вас тоже будут общие?" – спросил Уэллс.

3 октября 1920 г. Третьего дня б[ыл] у Горького. Говорил с ним о Лернере. История такая: месяца полтора назад Горький вдруг явился во **Всемирную** и на заседании назвал Лернера подлецом. "Лернер передает всякие цифры и сведения, касающиеся "Всемирной Литературы", нашим врагам, Лемке и Ионову²⁵. Поэтому его поступок подлый, и сам он подлец, да, подлец". Лернера эти слова раздавили. Он перестал писать, есть, пить, спать – ходит по улицам и плачет. Ничего подобного я не видал. В Сестрорецке мне больному приходилось

вставать с постели и водить его по берегу – целые часы, как помешанного. Оскорбление, нанесенное Горьким, стало его манией. Ужаснее всего было то, что, оскорбив Лернера, Горький уехал в Москву, где и пребывал больше месяца. За это время Лерн[ер] извёлся совсем. Наконец Горький вернулся, но приехал Wells и началась **неделя о Уэллсе**. Было не до Лернера. Я попробовал было заикнуться о его деле, но Горький нахмурился: “Может быть, он и не подлец, но болтун мерзейший... Он и Сергею Городецкому болтал о “Всем[ирной] Литературе” и т.д.”. Я отошел ни с чем. Но вот третьего дня вечером я пошел к Ал[ексею] М[аксимовичу] на Кронверкский – и, несмотря на присутствие Уэллса, поговорил с Горьким вплотную. Горький прочел письмо Лернера и сказал: “**Да, Лернер прав, нужно вот что: соберите членов “Всем[ирной] Лит[ературы]” в том же составе, и я виновно перед Лернером – причем отнесусь к себе так же строго, как отнесся к нему**”. Это меня страшно обрадовало. “Почему вы разлюбили “Всем[ирную] Лит[ературу]”? – спросил я. – Теперь вы любите “Дом Ученых”?” – “Очень просто! Ведь из “Дома Ученых” никто не посылал на меня доносов, а из “Всем[ирной] Лит[ературы]” я сам видел 4 доноса в Москве, в Кремле (у Каменева). В одном даны характеристики всех сотрудников “Всем[ирной] Лит[ературы]” – передано все, что говорит Алексеев, Вольинский и т.д. **Один только Амфитеатров представлен в мягком, деликатном виде**”. (Намек на то, что Ам[фитеатров] и есть доносчик.)[...]

Сейчас Горький поссорился с властью и поставил Москве ряд условий. Если эти условия не будут приняты, Горький, по его словам, уйдет от всего: от Гржебина, от “Всем[ирной] Лит[ературы]”, от “Дома Искусств” и проч.

19 ноября. Встретил на Невском Амфитеатрова: “Слыхали, Горький уезжает за границу: Горький, Марья Федор[овна] и Родэ”²⁶.

1921

4 января. Вчера должно было состояться первое выступление “Всемирной Литературы”. Ввиду того, что правительство относится к нам недоверчиво и небрежно, мы решили создать себе рекламу среди публики, “апеллировать к народу”. Это была всецело моя затея, одобренная коллегией, и я был уверен, что эта затея отлично усвоена Горьким, которому она должна быть особенно близка. Мы решили, что Горький скажет несколько слов о деяниях “Всемирной Литературы”. Но случилось другое.

Начать с того, что [Горький] прибыл в “Дом Искусств” очень рано. Зашел зачем-то к Шкловскому, где стоял среди комнаты – нагоняя на всех тоску. (Шкловского не было.) Потом прошел ко мне. Я с Добужинским²⁷ попробовали вовлечь его в обсуждение программы Народных чтений о литературе в деревне, но Горький понес такую скучную учительную чепуху, что я прекратил разговор: он говорил, напр[имер], что Достоевского не нужно, что вместо характеристик Гоголя и Пушкина нужно дать “краткий очерк законов развития литературы”. Это деревенским бабам и девкам. Потом пришел Белопольский²⁸, Горький еще больше насупился. Только с Марьей Игнатьевной Бенкендорф у него продолжался игривый и интимный разговор. Торопился он выступать ужасно. Я насилу удержал его до четверти 8-го. Публика еще собиралась. Тем не менее он пошел на эстраду, сел за стол и сказал: “Я должен говорить о всемирной литературе. Но я лучше скажу о литературе русской. Это вам ближе. Что такое была русская литература до сих пор? Белое пятно на щеке у негра, и негр не знал, хорошо это или это болезнь... Мерили литературу не ее достоинствами, а ее политическим направлением. Либералы любили только либеральную литературу, консерваторы только консервативную.

Очень хороши[й] писатель Достоевск[ий] не имел успеха, потому что не б[ыл] либералом. Смелый молодой человек Дмитрий Писарев уничтожил Пушк[ина]. Теперь то же самое. Писатель должен быть коммунистом. Если он коммунист, он хорош. А не коммунист – плох. Что же делать писателям-некоммунистам? Они поневоле молчат. Конечно, в каждом деле, как и в каждом доме, есть два выхода, парадный и черный. Можно было бы выйти на парадный ход и заявить требования, заявить протест, но приведет ли это к амфи-

театру? [...] Если кто хочет мне возразить – пожалуйста!”

Никто не захотел. “Как любит Г[орький] говорить на два фронта”, – прошептал мне Анненков. Я кинулся за Горьк[им]. “Ведь нам нужно было совсем не то”. И рассказал ему про нашу затею. Оказывается, он ничего не знал. Только теперь ему стало ясно – и он обещал завтра (т.е. сегодня) прочитать о “Всем[ирной] Лит[ературе]”.

7 марта. Необыкновенный ветер на Невском, не устоять. Вчера меня вызвали к Горькому – я думал по поводу журнала, оказалось – по поводу пайков. [...] Заговорили о комиссиях, подкомиссиях и т.д., и я ушел в комнату Горького.

Горький раздражительно стучал своими толстыми и властными пальцами по столу – то быстрее, то медленнее, – как будто играл какой-то непрерывный пассаж, иногда только отрываясь от этого, чтобы послушать свою правую руку и закрутить длинный рыжий ус (движение судорожное, повторяемое тысячу раз). Мы с Замятиным сели за его стол – на котором (на особом подносике) дюжины полторы длинных и коротких, красных и синих карандашей, красные (он пишет только красными), Ибн Туфейль, только что изданный “Всемирной Литературой” – все в дивном порядке. На другом столе – груда книг. “Вот для библиотеки Дома Искусств... я отобрал книги... вот...” – сказал он мне. Он сух и мне чужд.

22 мая. [...] Был у Горького. Он только что приехал из Москвы. По дороге к нему встретил Родэ – на извозчике. Тот помахал мне ручкой. Я подошел. Родэ показал мне бумагу, что для литераторов специально сюда приезжает Комиссия (для обсуждения вопроса о пайках), и сказал: “Вы к Горькому? Не ходите. Устал Алексей Максимович!” Родэ, оберегающий Горького от меня! Я сказал, что авось Горький сам решит, хочет он меня видеть или нет, – и все же по дороге оробел. После Москвы Горький приезжает такой измученный. Я сел в садике насупротив. Сидела какая-то старуха в синих очках. Потом к ней подошли двое – старичок и женщина. “Что?” – спросила старуха. “Плохо! – сказал старичок. – Простоял весь день напрасно. (И он открыл футляр и показал серебряные ложки.) Никто не покупает. Все пришли на рынок с товарами, одни продавцы, а покупателей нет. Да и продуктов нет никаких”.

Тут я узнал, что уже 20 м[инут] шестого, и пошел к Горькому. Меня окликнул Шкловский, и мы пошли через кухню (парадный заперт). Вошли – Горький в прихожей говорит по телефону. Говорит и кашляет. Я ему: “Если вы очень устали, мы скажем всё Валентине Михайловне (Ходасевич)”. – “Нет, уж лучше прямо (без улыбки). Идите”. (Нет уже его прежнего со мною кокетства, нет игры, нет милого “театра для себя”, который бывает у Горького с новыми людьми, которых он хочет почему-то примагнитить.) Мы вошли, он усталый, но бодрящийся, сел и стал слушать.[...] Никакого интереса к Дому Искусств у него нет. Литераторы чужды ему совершенно. Немного оживился, когда Шкловский стал говорить ему о Всеволоде Иванове. “Неужели у него штанов нет? Нужно будет достать... Нужно будет достать”. Второе дело: мое письмо к Гржебину. По поводу плохо изданных книг. Я дал Горькому прочитать. Он читал по-горьковски, как он читает все: медленно, строка за строкой. Он никогда не пробегает писем, не ищет главного, пропускает второстепенное, а читает добросовестно, по-стариковскому в очках. Кончил и сказал равнодушно: “Ну что ж, устраивайте коллегию: вы, Лернер и Ходасевич. Чего же лучше”. Но я видел, что лично ему все равно. Он охладел и к Гржебину. Это уже третье охлаждение Горького. Я помню его влюбленность в Тихонова. На первом месте у него был Тихонов и Тихонов. Без Тихонова он не дышал. Во всякое дело, куда его приглашали, звал Тихонова. Потом его потянуло к более толстому Гржебину. За Гржебина он был готов умереть. И вот теперь еще более толстый Родэ. Но как он утомлен: хрипит. Мы ушли – он не задерживал.

1924

10 июня. Дождь. До чего омерзительен З[иновьев]! Я видел его у Горького. Писателям не подает руки. Были я и Федин. Он сидел на диване и даже не поднялся, чтобы приветствовать нас.

Горький говорит по телефону либо страшно угрюмо, либо – душа на распашку! Середины у него нет²⁹.

1928

30 января. [...] Сегодня я читаю лекцию о Горьком и по этому случаю ночью, проснувшись, стал перелистывать “Жизнь Самгина”. Отдельные куски хороши, а все вместе ни к чему. Не картина, а панорама, на каждой странице узоры. [...]

31 августа. Вчера утром узнал в ГИЗе, что приехал Горький. Приехал инкогнито, так как именно сегодня в утренней “Красной” сказано, что он приезжает 3 или 4 сентября. Мы с Маршаком направились к нему в “Европейскую”. В “Европейской” швейцары говорят, что его нету, что он строго приказал никого к себе не пускать и т.д. Но на счастье в кулуарах встретили мы репортера “Правды”, который уже видел его в коридоре и пытался разговаривать с ним, но “убедился, что основное свойство Горького угрюмость”. Репортер сообщил нам по секрету, что Г[орький] остановился в 8-м номере, т.е. внизу в коридоре, в лучшем номере гостиницы. Мы пошли, робко постучали: вышел Крючков, стал говорить, что Г[орький] занят; мы не настаивали, но, узнав наши фамилии, он пригласил нас войти в 8-й номер, к[ото]рый оказался пустым, и там мы прождали минут десять-двенадцать. [...]

Нас позвали в соседний 7-й номер, где и был Горький. Он вышел нам навстречу, в серой куртке, очень домашний, с рыжими отвислыми усами, поздоровался очень тепло (с Маршаком расцеловался, М[аршак] потом сказал, что он целует, как женщина, – **прямо в губы**), и мы вошли в 7-й номер. Там сидели 1) Стецкий (агитпроп)³⁰, 2) толстый угрюмый ч[еловек] (как потом оказалось, шофер), 3) сын Горького Максим (лысоватый уже, стройный мужчина) и Горький – на диване. Сидели они за столом, на котором была закуска, водка, вино; Горький ел много и пил – и завел разговор

исключительно с нами, со мной и М[аршаком] (главным образом, с М[аршаком], которого он не видел 22 года!!)

Во время этого разговора я вспомнил, что, когда М[аршак] начинал свою карьеру и приехал в П[етер]б[ург] из Краснодара, Г[орький] был еще в Питере. М[аршак] предложил во “Всемирную” свои переводы из Блэйка, и Горький забраковал их (из-за мистики). Но теперь он встретил М[аршака] как долгожданного друга – и очень оживленно стал рассказывать, как он, Г[орький], ловко надул всех и приехал в П[етер]б[ург] так, что его не узнали. Даже в поезде никто не узнал, на вокзале ни души. “А то, знаете, надоело. В каждом городе, на каждом вокзале стоят как будто одни и те же люди, и говорят одно и то же, теми же словами. И баба в красной косынке, с равнодушными глазами – ужас! В одном месте одна сказала так:

– Товарищи! Перед вами пролетарский поэт Демьян Бедный!

Так что я должен был сказать ей, что я не бедный, а богатый. И кто-то поправил ее: “Дура! Бедный – толстый, а Горький – тонкий”. Знают, подлецы, литературу. Знают...”

Горький действительно тонкий. Плечи очень сузились, но талия юношеская, и вообще чувствуется способность каждую минуту встать, вскочить, побежать. Максим по-прежнему при людях находится в иронических с ним отношениях, словно он не верит серьезным словам, которые произносит отец, а знает про него какие-то смешные. Когда отец рассказывал анекдоты о своих триумфах в провинции, сын вынул узкую большую записную книжку – и угрожающе смеясь, сказал:

– Вот здесь у меня все записано.

Я сказал:

– Эта книга будет напечатана в тысяча девятьсот...

– ...восемьдесят девятом году! – подхватил он и хотел прочитать оттуда что-то очень смешное, но отец сказал: “Не надо!” – и он спрятал книгу в карман.

Заговорил Горький о том, как во всей Европе теперь вот такие биографические романы, как “Кюхля” Тынянова, – о



Чествование М.Горького в издательстве “Всемирная литература” 30 марта 1919 года
М.Горький – в центре, перед ним на коврике сидят дети К.Чуковского
Среди присутствующих (в первом ряду): А.Блок (третий справа), рядом с ним З.Гржебин, затем Н.Гумилев;
К.Чуковский (пятый слева) с “Чукоккалой” в руках

великих людях, какой они имеют успех и как они хороши; перечислил десятки французских, немецких и даже испанский назвал – о Тирсо де Молина, причем имя Рембо произнес на французский манер. Упомянул при сей okazji О.Форш. А потом перешел к Замятину. “Вам нравится его “Атилла”? Словом, решил с п[етербургскими] литераторами говорить о петерб[ургской] литературе. Кроме того, он усвоил милонасмешливый [тон] по отношению ко всем овам, которым он подвергается. Сейфуллина рассказывала мне, что ей он сказал в Москве:

– Всюду меня делают почетным. Я почетный булочник, почетный пионер... Сегодня я еду осматривать дом сумасшедших... и меня сделают почетным сумасшедшим, увидите.

О “строительстве” в личных беседах он говорит так же восторженно как и в газетах, но с огромной долей насмешливости, которая сводит на нет весь его пафос. Ему как будто неловко перед нами и он говорит в таком стиле:

– Нужен сумасшедший, чтобы описать Днепрострой. Сумасшедшая затея, черт возьми! В степи морской порт!

Не понять, говорит ли он: “ах, какие идиоты!” или: “ах, какие молодцы”.

Пригласил нас к себе. Велел позвонить Крючкову в 8 часов утра.

Условиться, когда он будет свободен.

“Хозяин времени во вселенной Крючков!” – объявил он. Пошел со Стецким – ехать на завод. Вышел на улицу. В вестибюле его не узнали – какой-то прохожий даже толкнул его, но вся прислуга гостиницы, обычно столь равнодушная к знаменитостям, выбежала поглядеть на него.

1930

16/IX. [...] Тихонов [...] о Горьком: Горький в плохих руках. Петр Крючков не может дать ему совета, какой линии держаться в разных мелких делах (в крупных – Горький и сам знает), но все эти мелочи, которые должны бы ставить Горького в выгодном свете перед литераторами, учеными и пр., он, Крючков, не умеет организовать. [...]

Кольцов приехал сюда (в Кисловодск – Е.Ч.) третьего дня [...] По поводу статьи Горького “Две книги” (о ГАХНе и Асееве)³¹ он говорит: “Горький не знает, как велик резонанс его голоса. Ему не подобает писать рецензии. Человек, которого на вокзале встречало Политбюро в полном составе, по пути к[ото]рого воздвигают триумфальные арки, не должен вылавливать опечатки в писаниях второстепенного автора.[...]”

Кроме того, – прибавил Кольцов, – в статье об Асееве чувствуется и личная обида”.

Я горячо возражал. Г[орький] так объелся похвалами, что похвалы уже не имеют для него никакого вкуса.

– Он, напротив, любит тех, кто его ругает, – сказал Тихонов.

Кольцов засмеялся.

– Верно. Когда Брюсов, к[ото]рый травил Г[орького], приехал к нему на Капри и стал его хвалить, Горький даже огорчился: потерял хорошего врага.

1932

16/VIII. [...] Вчера единственный сколько-н[и]б[удь] путный день моего пребывания в Москве. С утра я поехал в ГИХЛ. [...] Оттуда в “Мол[одую] Гвардию” [...] Оттуда к Горькому, то есть к Крючкову. Московский Откомхоз вновь ремонтирует б[ывший] дом Рябушинского, где живет Горький, и от этого дом сделался еще безобразнее. Самый гадкий образец декадентского стиля. Нет ни одной честной линии, ни одного прямого угла. Все испакошено похабными загогулинами, бездарными наглыми кривулями. Лестница, потолок, окна – всюду эта мерзкая пошлятина. Теперь покрашена, залакирована и оттого еще бесстыднее. Крючков, сукин сын, вилает, врет, ни за что не хочет допустить меня к Горькому. Мне, главное, хочется показать Горькому “Солнечную”. Я почему-то уверен, что “С[олнечная]” ему понравится. Кроме того, черт возьми, я работал с Горьким три с половиной года, состоял с ним в долгой переписке, имею право раз в десять лет повидаться с ним однажды. “Нет... извините... А[лексей]

М[аксимович] извиняется... Сейчас он принять вас не может, он примет вас твердо... в 12 часов дня 19-го”. И не глядит в глаза, и изо рта у него несет водкой.

28/IX. Третьего дня в Аккапелле мы, писатели, чествовали Горького. Зал был набит битком. За стол сели какие-то мрачные серые люди казенного вида – под председательством Баузе, б[ывшего] редактора “Красной Газеты”. Писатели (нас было трое – я, Эйхенбаум и Чапыгин) чувствовали себя на этом празднике лишними. Выступил какой-то жирный, самоуверенный – агитаторского стиля оратор – и стал доказывать, что Горький всегда был стопроцентным большевиком, что он всегда ненавидел мешанство, – и страшно напористо, в течение полутора часов, нудно бубнил на эту безнадежную и мало кому интересную тему. Я слушал его с изумлением; видно было, что истина этого человека не интересовала нисколько. Он так и понимал свою задачу: подтасовывать факты так, чтобы получилась заказанная ему по распоряжению начальства официозная версия о юбиларе. Ни одного живого или сколько-н[и]б[удь] человеческого слова: штампы официозной стилистики, из глубоко провинциальной казенной газеты. Публика до такой степени обалдела от этой казенщины, что, когда оратор оговорился и вместо “Горький” сказал “Троцкий”, никто даже не поморщился. Все равно! Потом выступил Эйхенбаум. Он вышел с бумажкой – и очень волновался, т.к. уже три года не выступал ни перед какой аудиторией. Читал он маловразумительно – сравнивал судьбу Тургенева и Толстого с горьковской – резонерствовал довольно вяло, но вдруг раздался шумный аплодисмент, т.к. это было хоть и слабое, но человеческое слово. После Эйх[енбаума] выступил Чапыгин. Он “валял дурака”, это его специальность: что с меня возьмешь, уж такой я – дуралей уродился! Такова его манера. [...] Все это “чествование” взволновало меня: с одной стороны – с государственной, – целые тонны беспроблемной казенной тупости, с другой стороны – со стороны литераторов – со стороны Всероссийского Союза Писателей – хилый туманный профессор и гороховый шут. И мне захотелось сообщить о Горьком возможно больше **человеческих** черт, избразить его озорным, веселым, талантливym, взволнованным, живым человеком. Я стал говорить о его острогах, его записях в Чукоккалу, забавных анекдотах о нем, читал отрывки из своего дневника – из всего этого возник образ подлинного, не иконописного Горького – и толпа отнеслась к моим рассказам с истинной жадностью, аплодировала в середине речи и, когда я кончил, так бурно и горячо выражала свои чувства, что те, казенные, люди нахмурились. Потом выступил какой-то проститут и мертвым голосом прочитал телеграмму, которую **писатели**, русские писатели, посылают М.Горькому. Это было собрание всех трафаретов и пошлостей, которые уже не звучат даже в Вятке. В городе Пушкина, Щедрина, Достоевского **навязать писателям такой** адрес и послать его другому **писателю!** И какой длинный, строк на 300! И как будто нарочно старались, чтобы даже нечаянно не высказалась там какая-н[и]б[удь] самобытная мысль или собственное задушевное чувство. Горькому дана именно такая оценка, какая требуется последним циркуляром. И, главное, даже не показали нам того адреса, который послали от нашего имени. Да и странно вели себя по отношению к нам: словно мы враждебный лагерь, даже не глянули в нашу сторону.

II/X. Видел Бор[иса] Лавренева. Он говорит по поводу того, что Нижний переименован в Горький. Беда с русскими писателями: одного зовут Мих. Голодный, другого Бедный, третьего Приблудный – вот и называй города. [...]

1935

27/I. [...] В “Литературных забавах” Горького и в его пре с Заславским есть много фактич[еских] ошибок³². Так, например, Белинского Горький объявил сыном священника и проч., и проч., и проч. Но в споре с Зас[лавским] Горький совершенно прав: “Бесы” гениальнейшая вещь из гениальнейших. Заславский возражает ему: “Этак вы потребуете, чтобы мы и нынешних белогвардейцев печатали”. А почему бы и нет? Ведь потребовал же Ленин, чтобы мы печатали Аркадия Аверченко “Семь ножей в спину революции”. Ведь печатали же мы Савинкова, Шульгина, генерала Краснова. [...]

Июнь. Только что узнал, что умер Горький. Ночь. Хожу по саду и плачу... и строки написать не могу.

Бросил работу... Начал было стихи – о докторе Айболите – и ни строчки. Как часто я не понимал А[лексей] М[аксими]вича, сколько было в нем поэтического, мягкого – как человек он был выше всех своих писаний.

31 августа. [...] Был у меня вчера Пастернак – счастливый, молодежавый, магнетический, очень здоровый. Рассказывал о Горьком. Как Горький печатал (кажется, в “Современнике”) его перевод пьесы Клейста – и поправил ему в корректуру стихи. А он не знал, что корректура была в руках у Горького, и написал ему ругательное письмо: “Какое варварство! Какой вандал испортил мою работу?” Горький был к Пастернаку благосклонен, переписывался с ним; Пастернак написал ему восторженное письмо по поводу “Клима Самгина”, но он узнал, что П[астернак] одновременно с этим любит и Андрея Белого, кроме того Горькому не понравились Собакин и Зоя Цветаева, которых он считал друзьями П[астернака], и по-

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Зиновий Исаевич Гржебин (1869–1929) – художник, издатель. После революции заведовал издательской частью “Всемирной литературы”. Основал “Издательство З.И.Гржебина”, которым руководил Горький.

² Натан Венгров (1894–1962) – поэт и литературовед.

³ Виктор Сергеевич Миролубов (1860–1939) – журналист, редактор-издатель “Журнала для всех”.

⁴ Александр Николаевич Тихонов (Серебров) (1880–1956) – член редакционно-издательской группы, стоявшей во главе “Всемирной литературы”.

⁵ Федор Дмитриевич Батюшков (1857–1920) – историк литературы и критик, Федор Александрович Браун (1862–1942) – филолог-германист, Андрей Яковлевич Левинсон (1887–1933) – художественный и театральный критик.

⁶ с точки зрения (латин.).

⁷ Изгоев (псевдоним Александра Соломоновича Ланде, 1872–1935) – публицист, сотрудник журнала “Русская мысль”, участник сборника “Вехи”.

⁸ Из этого “собрания знаменитых писателей” в наши дни мало известны Виктор Васильевич Муйжель (1880–1924), Юрий Львович Слэзкин (1885–1947) и журналист Илья Моисеевич Эйзен, бывший редактор “Нивы”.

⁹ Мария Борисовна Чуковская (1880–1955) – жена К.И.Чуковского.

¹⁰ “Чукоккала” – рукописный альманах Корнея Чуковского. Альманах в основном опубликован в 1979 году в издательстве “Искусство”. В книгу включены некоторые записи М.Горького (см. с. 189–199).

¹¹ Любовь Абрамовна Ческис – секретарь издательства “Всемирная литература”; Варвара Васильевна Шайкевич – жена А.Н.Тихонова.

¹² Василий Васильевич Розанов (1856–1919) – писатель, критик, философ, публицист, сотру-

дник газеты “Новое время” и журналов “Русский вестник”, “Новый путь”.

¹³ Интересно сопоставить записи Чуковского с воспоминаниями М.Горького о Льева Николаевиче Толстом, которые были опубликованы впервые несколько позже, в том же 1919 году в издательстве З.И.Гржебина. Записанный Чуковским рассказ Горького (за некоторыми исключениями) почти дословно совпадает с напечатанными воспоминаниями. Это подтверждает тщательность и достоверность записей Чуковского. Владимир Александрович Поссе (1864–1940), упомянутый Горьким в его рассказе о Толстом, – член т-ва “Знание”; редактор журналов “Жизнь” и “Жизнь для всех”.

¹⁴ В 1919 году, к 50-летию М.Горького, было задумано издать сборник, посвященный юбилею. Редактировать сборник поручили К.И.Чуковскому и А.А.Блоку. “Мы обратились к Алексею Максимовичу с просьбой помочь нам при составлении его биографии. Он стал присылать мне ряд коротких заметок о своей жизни”, – пишет Чуковский в своих воспоминаниях. В “Чукоккале” опубликованы две такие заметки (с. 198).

¹⁵ М.Лисовский – комиссар печати и пропаганды в Петрограде.

¹⁶ Юрий Павлович Анненков (1889–1974) – художник, первый иллюстратор “Двенадцати” Блока. Ю.П.Анненкову принадлежит также марка издательства “Алконост” и рисунки к “Мойдодыру”. В 1922 году в издательстве “Петрополис” вышла книга Ю.П.Анненкова “Портреты”, где на стр. 33 воспроизведен портрет М.Горького, а на стр. 57 – портрет К.Чуковского.

¹⁷ Николай Авдиевич Оцуп (1894–1959) – поэт.

¹⁸ Валентина Михайловна Ходасевич (1894–1970) – художница, племянница поэта В.Ф.Ходасевича, автор портрета М.Горького и воспоминаний о нем (см: “Новый мир”, 1968, № 3, с. 11–66).

этому после одного очень запутанного и непонятного письма, полученного им от Бориса Леонидовича, написал ему, что прекращает с ним переписку³³.

О Гоголе – восторженно; о Лермонтове – говорить, что Лерм[онтов] великий поэт, это все равно, что сказать о нем, что у него были руки и ноги. Не протезы же! – ха-ха-ха! О Чехове: наравне с Пушкиным: здоровье, чувство меры, прямое отношение к действительности. Горького считает великим титаном, океаническим человеком.

2 мая. [...] Встретил генерала Вас[илия] Степ[ановича] Попова³⁴. Он рассказал, как чувствовали тов. Буденного. Мы сложились и поднесли ему вазу с рисунком Грекова. За ужином зашел разговор о том, что Конармия до сих пор никем не воспета. “Не только не воспета, но оклеветана Бабелем”, – сказал кто-то. “Я ходил к Горькому, – сказал Б[уденный]. – Но Горький мне не помог. Он встал на сторону Бабея. Я пошел к Ленину. Ленин сказал:” Делами литературы у нас ведает Горький. Предоставим ему это дело. Не стоит с ним ссориться.”

¹⁹ Разумник Васильевич Иванов-Разумник (наст. фамилия Иванов) (1878–1946) – литературовед и критик.

²⁰ Мария Игнатьевна Будберг (Бенкендорф) (1892–1974) – секретарь и друг М.Горького. Иван Николаевич Ракицкий (1883–1942) – художник, живший в то время на Кронверкском у Горького. Петр Петрович Крючков (1889–1938), секретарь М.Ф.Андреевой, впоследствии секретарь М.Горького.

²¹ Константин Петрович Пятницкий (1864–1939) – директор-руководитель издательства “Знание”.

²² Александр Валентинович Амфитеатров (1862–1938) – писатель. Аким Львович Волинский (1863–1926) – критик, философ, за книгу о Леонардо да Винчи был избран почетным гражданином города Милана. Николай Осипович Лернер (1877–1934) – историк литературы, пушкин-ист.

²³ Соломон Яковлевич Штрайх (1879–1957) – литературовед. Борис Гитманович Каплун (1894–?) – работник управления Петровета.

²⁴ Николай Николаевич Пунин (1888–1953) – искусствовед, в 20-е годы заместитель наркома просвещения А.В.Луначарского по делам музеев и охраны памятников.

²⁵ Михаил Константинович Лемке (1872–1923) – историк русской общественной мысли и цензуры, прокомментировал и издал первое собрание сочинений А.И.Герцена. В 1920-м году – член редколлегии журнала “Книга и революция”. Илья Ионович Иванов (1887–1942) – в те годы заведующий петроградским отделением Госиздата.

²⁶ Адолий Сергеевич Родэ (ум. 1930) – директор петроградского Дома ученых.

²⁷ Мстислав Валерианович Добужинский (1875–1957) – театральный художник и живописец, член объединения “Мир искусства”. В 20-е годы издавал вместе с Чуковским, Эфросом и Замятинским журнал “Дом ис-

кусств”, выходивший под редакцией М.Горького.

²⁸ Иосиф Романович Белопольский (1879–1956) – журналист.

²⁹ М.Горький в это время жил в Италии. Очевидно, Чуковский записывает свои давние впечатления.

³⁰ Алексей Иванович Стецкий (1896–1938) – в то время заведующий отделом культуры и пропаганды ЦК ВКП(б).

³¹ В статье М.Горького “О двух книгах”, опубликованной в “Известиях” 11 сентября 1928 года, обсуждаются книги: “Писатели современной эпохи”, ред. Б.П.Козьмин, изд-во ГАХН и Н.Асеева “Разгримированная красавица”. ГАХН – Государственная Академия Художественных Наук.

³² “Литературные забавы” – три статьи М.Горького, опубликованные в “Правде”: 1934, № 162; 1935, № 18 и 23 (М.Горький Собр. соч. в 30-ти т., т. 27, М., “Худож. лит.”, 1953, с. 252–276).

В статьях подвергнуты критике тогдашние литературные нравы. Кроме того, М.Горький вступил в полемику с Д.Заславским, который протестовал в печати против переиздания романа Ф.М.Достоевского “Бесы” в издательстве “Academia”. Подробнее см.: Д.Заславский. Литературная гниль. – “Правда”, 1935, 20 янв.; М.Горький. Об издании романа Ф.М.Достоевского “Бесы”. – “Правда”, 1935, 24 янв.; Д.Заславский. По поводу замечаний А.М.Горького. – “Правда”, 1935, 25 янв.

³³ К.Чуковский неточно записал фамилии Пастернак говорил о Б.М.Зубакине и А.И.Цветаевой. Переписка Б.Л.Пастернака с М.Горьким теперь полностью опубликована (см.: Известия АН СССР, Серия литературы и языка, 1986, т. 45, № 3, с. 261–283).

³⁴ Василий Степанович Попов (1894–1967) – генерал, сосед К.И.Чуковского в Переделкине.

Вступлении, комментарии и публикация ЕЛЕНА ЧУКОВСКОЙ

Владимир Кемецкий – поэт, чья судьба сложилась трагически. Не только личная, но и поэтическая. Первая публикация стихов Кемецкого относится, видимо, к 1924 году, когда в московском журнале “Недра” появились три его стихотворения. Сейчас найдено еще около ста пятидесяти, собранных в рукописную книгу “Каменные цветы”. Под многими указаны даты, место, где писалось стихотворение. Это пока основной документальный источник сведений о биографии поэта, рассказывающий хоть что-то о его жизненном пути, в котором можно выделить такие вехи: 1922–1925 годы – стихи из Берлина, Парижа. 1926–1927 – годы возвращения в Россию. Стихи этих лет писались в Тифлисе, Москве, тюрьмах Москвы и Харькова. 1928–1931 – стихи из Соловков, Кеми. Архангельска (циклы “Север”, “Из дневника”). Из рассказов людей, знавших Кемецкого по Соловкам, узнаем, что после революции совсем юного Володю Свешникова (Кемецкий – псевдоним, взятый по фамилии матери) родители увезли за границу. Но интерес к революции, новой России был слишком силен. За границей Кемецкий и другие молодые эмигранты создают комсомольскую организацию и вопреки воле родителей добиваются возвращения на родину. Еще в Берлине он пишет:

*О, радость встреч... О, горечь
расставаний...
Ах, на листе бумажном и сухом
Какими я поведаю словами,
Смогу каким отобразить стихом
Всю радость встреч, всю горечь
расставаний?*

Судя по датировке под стихами, Кемецкий вернулся в Россию в 1927 году.

*Оставь свой дом, где долгими годами
Твоя давно пресытилась душа,
И обойди в медлительном скитаньи
Земной вращающийся шар <...>*
(Москва, 1927)

Или еще:

*<...> отдохни, мой друг, и не спрашивай
Ни о чем,
Позабудь счастья нашего
Недочет <...>*
(Тифлис, 1927)

В том же 1927 году появляются стихи, говорящие об изменениях в судьбе поэта:

*<...> за порогом ждут дороги и снега,
И ветер падает на выпуклые воды,
Что мой удел – кривые берега,
И непригожие погоды...*

*Ах, не жалею беспутного лентяя!
Начну душить, повесничать опять <...>*
(Москва, 1927)

Говорят, что на Соловках Кемецкий выглядел очень молодым, лет двадцати с небольшим, незащищенным, неприспособленным, ранним. Поражали его искренность и непосредственность. Такие же и его стихи.

Видимо, в 1931 году Кемецкий был освобожден. Об этом “Песнь о возвращении” (1931):

*<...> Разбиваются льды, звеня,
Хрипый ветер кричит, смеясь...
Ты едва ли узнаешь меня
В нашей встрече вечерний час.*

*Снег блестит на моих висках,
На лице морщины легли –
Ибо тяжко ранит тоска
Ни холодном краю земли <...>*

После освобождения он жил будто бы какое-то время в Керчи. Потом снова заключение. Дальнейшая судьба Кемецкого неизвестна.

Может быть, эта публикация вызовет отклики, которые прольют свет на судьбу поэта.

СТИХИ ВЛАДИМИРА КЕМЕЦКОГО

ПАРИЖСКИЕ СОНЕТЫ IV

Бывает так, что видеть не хочу я
Вино и дым, и липкие столы,
И я тогда до наступленья мглы
По городу без усталости кочую.

И часто в сквере где-нибудь ночью,
Над головою тополей стволы,
И хоть скамейки тверды и малы,
Но сплю я так, что ничего не чую.

А просыпаюсь – холодок и рань...
Уже слышны на ближнем перекрестке –
Собачий лай и чей-то смех и брань,

А на домах, совсем простых и плоских,
Вся золотится старая извесстка,
И так свежа под окнами герань.

Париж, 1922

* * *

Непрестанное движенье...

Реки и миры текут.
Нет минут без зарожденья –
– И без смерти нет минут.

Беззакатно солнце жизни –
– В польхающей воде
На один я луч нанизан
С поколеньями людей...

Будет страх, и холод будет,
Часа позднего гонец,
В медленном ночном безлюдье
Смерть придет – всему конец.

Но едва лишь стон затихнет,
Слабый мой, последний стон –
– В тот же самый миг воскликнет
Мысль моя – я вновь рожден!

Москва, 1927

* * *

В эту ночь я не сплю, в эту ночь я замер,
Слушая вздохи соседних камер
И яснейшую из всех речей –
– В коридорах звяканье тяжких ключей.
Черною тенью, превыше всех мер,
Громко по двору ходит смерть...
Плач за стеной возник, продлился и

потух.

Ворвался ветер – и об решетку – в

ключья...

Заутреню моей последней ночи

Пропел петух –

– Ночей внимательный пастух.

Шагает ночь. Минуты – все длинней.

Шагает ночь. В моем окне

Рассветные едва синеватые воды –

– Утра потерянный след.

Отсвет дальней свободы

На побледневшем от страха стекле.

Харьков, 1927

* * *

Как преждевременная седина
Вплетаются серебряные нити
В усталый воздух. Холод. Тишина...
И солнце позабыло о зените.

Оскудевает осени рука,
Напрасным золотом прикрыть пытаюсь
тленье,

И запечатлевают облака
Немых полей блаженное успенье. –

– И безучастный медленный покой
Меня все более объемлет...
Мне странно, что и ныне под ногой,
Шагая вдаль, я ощущаю землю.

Последней нежности роняю лепестки...

Еще твои, как прежде, кудри глазу
И что-то говорю, и улыбаюсь даже,
Твоей касаюсь трепетной руки.

Но мнится мне, что я давно покинул
Тебя, прекрасный друг, что в холод
голубой

Я отлетаю светлой паутиной
Над молча умирающей землей.

Соловки, 1928



* * *

Из темных уст недремлющей судьбы
Ответ исторгнуть ты напрасно

хочешь...

Глупим богам ты шлешь свои
мольбы,
И чуда ждешь, и на костер
восходишь.

А я скажу – бездействовать прими
Решенье горестное и простое. –
– Знай, ни любви, ни жертвы этот мир,
Ни даже ненависти не достоин.

Надеждой малодушною ласкать
Не стоит сердце. Падших поколений
Слепая жизнь, бессмысленна, низка,
Пусть кружится в безмерном отдалении.

Способна только издали она
Утехой быть рассеянного взгляда –
– И нам единственная суждена
Вина и звезд бесстрастная улада.

Соловки, 18/I-1929

ФЕВРАЛЬ НА ОСТРОВЕ

О жизни и о радости вестей
Нам даже ветер не приносит боле...
Я покорила беспощадной воле
Судьбы – и хмелем пройденных путей

Упитья вновь не мыслю. Все черствей
И равнодушной становлюсь в неволе,
И чуждым внемлю я без прежней боли
Звучаниям полярных областей.

О, жизнь моя, ты полюса достигла
Недвижного – и дремлешь: вокруг тебя
Пурга взметает снеговые иглы,
И, льды нагромождая и дробя,
Рокошет вал полуночного моря,
И стонут берега, глубинам вторя.

1929

ПРОЩАНИЕ

Большая и торжественная птица
Летит в закат. И лиловеет лес.
Мне хочется безгорестно проститься
С земным теплом, с прозрачностью
небес.

И я несу изношенное тело
В смолой и влагой полные часы,
Чтоб было легче разум охладельный
Пролить на землю каплями росы.

Медлительно и сладко расставанье
С тенями чувств, ошибок и отрад...
В бесхитроном полусуществованьи
Да растворится соль моих утрат.

И странно мне и радостно сознание,
Что плоть мою победно обовьют
Кривые сосны алчными корнями
И выпьют, не спеша, как воду пьют,

Что все забудется и все простится,
Все догорит, как солнца алый дым.
И будет только вечер, и над ним
Полет большой и одинокой птицы.

1930

ДРУГУ

Еще над городом твоим
В туманах солнце не поблекло,
И розовеет синий дым,
И красной медью блещут стекла...

И расточительного дня,
Прощального свидетель пира,
Мой друг, ты вспомнишь ли меня?
Твоя задумчивая лира

Чуть слышной жалобой струны –
Проговорится ли случайно
О нежности и грусти тайной,
О днях утраченной весны?

О, если так, – покорен чуду
Любви твоей, невольник твой,
Я неизменно счастлив буду
В моей пустыне снеговой.

И пусть соленые просторы
Взнуздает непреклонный лед,
Пусть бореальная Аврора
Свой пламень мертвенный прольет,

Пусть молча ночь стоит на страже
И черных не смыкает глаз, –
Внимаю прошлого рассказ,
И та же боль, и радость та же
Звездой мерцающей зажглась.

Соловки, 19/XII-1930

ПОЛУСТАНОК

Уложились в четыре квадрата
Замутненного пылью окна
Водокачка с пристройкой досчатой,
Семафор на краю полотна.

Дни проходят бесшумно, как воры,
Исчезая в пустом забытьи,
И напрасно крыло семафора
Говорит, что открыты пути.

Не уйти. Медный маятник глухо
Шепчет: много воды утекло...
Не уйти... Ошалевшая муха
Тщетно бьется в тугое стекло.

День как день, без тревог и вопросов,
Полустаночный медленный день...
Можно выпить, скурить папиросу,
Иль писать, если думать не лень.

Можно слушать, как ветер по крыше
Ржавой жестью протяжно гремит,
Как за печкою возьмется мыши
Да собака скулит за дверьми...

А потом – равнодушнее смерти,
Неотвязней бессвязного сна,
Дождь косыми штрихами зачертит
Все четыре квадрата окна.

1930

* * *

Зима души грядет неотвратимо.
Полет ночей безжалостен и быстр.
Так некогда глядел изгнанник Рима
На сумрачный, обледелый Истр.

Метели Скифии... Тоска... Овидий...
Тепло косматых варварских овчин.
И злая память о былой обиде –
Ей не дано сгореть в чужой печи.

Поют снега. Как белый ястреб, кружит
Над домом вьюга в черной вышине.
Мир исчезает в полночи и стуже –
– А дружбы голос глуше и нежней.

Я тщетно струн касаюсь полусонных –
– Молчат они, смертельно ослабев...
Старинные гексаметры Назона
Скандируют метели нараспев.

1931

ПИВНАЯ

Хозяин, пива. Нынче – пленница
Моя душа. Не стоит думать...
Чадит махорка, пиво пенится,
И пробки хлопают угрюмо.

Скорей, еще давай полдюжины.
В пустом стакане – мало толку...
Я смерть зову своею суженой,
И с нею праздную помолвку.

Еще глоток, тяжелый, длительный,
И дым – как небо голубое...
Раскачиваются медлительно
Цветы на выцветших обоях.

Что смотрите обеспокоенно?
Вот – подошла. Все крепче, крепче
Жмет руку мне, вот надо мной она
Склоняется и шепчет, шепчет –

– Люблю... Да, знаете ль вы, пьяницы,
Что сей кабак – святое место...
Она со мною не расстанется,
Моя нежнейшая невеста...

А жизнь, как нищенка, которую
Имели в очередь в потемках,
Уйдет походкою нескорою
С набитой корками котомкой.

1931

* * *

Дикой тройкой мчалось небо вороное,
Фонари шарахались во все концы,
Звезд позвякивали надо мною
Пьяные, серебряные бубенцы...

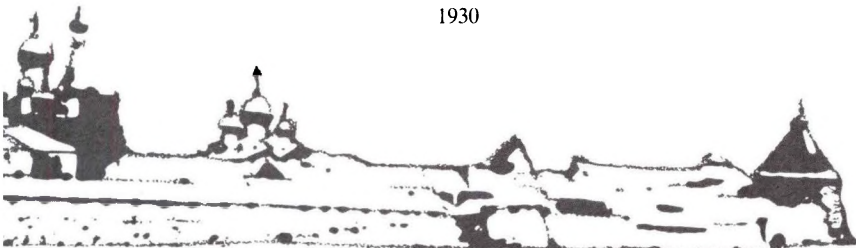
Вспугнутыми птицами взлетали годы,
Ветер непутевый обжигал лицо...
Где ж вы, ночи юные шальной свободы,
Пальцы бледных рук и тонкое кольцо?

Лишь одно осталось – белая дорога,
Убегающих полозьев дальний стон.
Да за поворотами кружится немного
Снежной пыли в воздухе пустом.

Что ж, пойду, шагая по сугробам,
Памяти непрошеной скажу – молчи...
Молча надо мной горят огнем суровым
Звезд недвижимых мертвые лучи.

1931

Материал для публикации предоставила
ЭЛЛА СТРАХОВА

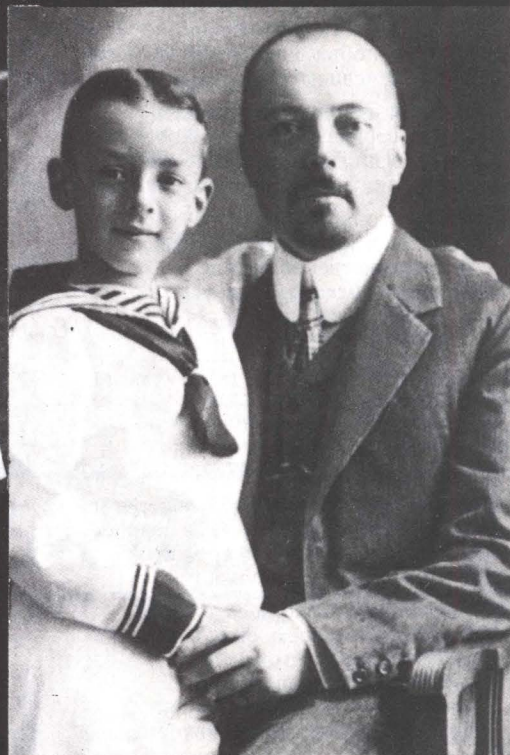




Двухлетний Владимир Набоков с годовалым братом Сергеем. Биариц, 1901



Отец писателя Владимир Дмитриевич Набоков и мать писателя Елена Ивановна (урожденная Рукавишникова). Имение Выра Санкт-Петербургской губернии, 1900



Семилетний Владимир Набоков с отцом. Петербург, 1906



Владимир Набоков. Петербург, 1915



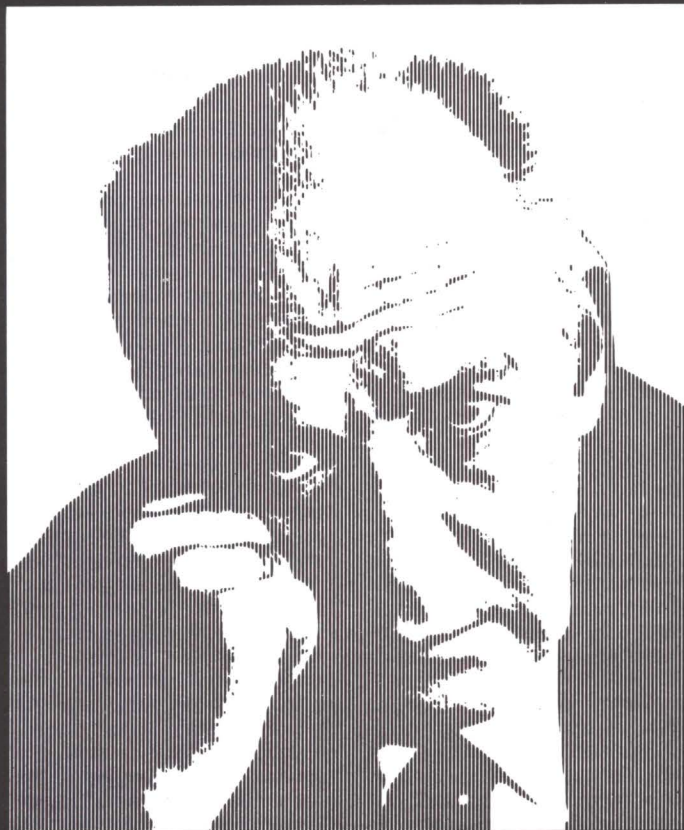
Владимир Набоков в период работы над романом "Защита Лужина". Ле Булу, Восточные Пиренеи, 27 февраля 1929 года

ДАР СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ

В.В.Набоков родился в Петербурге (Морская, 47 – ныне ул. Герцена). Лето семья проводила по большей части в имении Выра на реке Оредеж в 60 верстах от Петербурга. Детство Набокова было, по его признанию, “совершеннейшим и счастливейшим”, и воспоминания о нем чудесным образом сплавлялись с драгоценной “экологической нишей”, которую во всех мельчайших подробностях будет он дарить затем многим и многим героям своих книг. А в мемуарах: “...Я с праздничной ясностью восстанавливаю родной, как собственное кровообращение, путь из нашей Выры в село Рождество, по ту сторону Оредежи: красноватую дорогу, – сперва шедшую между Старым Парском и Новым, затем колоннадой толстых берез, мимо некошенных полей; – а дальше: поворот, спуск к реке, искрящейся промеж парчовой тины, мост, вдруг разговорившийся под копытами, ослепительный блеск жестянки, оставленной удильщиком на перилах, белую усадьбу дяди на муравчатом холму...”

Семья Набоковых покинула Россию в 1919 году, когда Владимиру Владимировичу было двадцать лет. Его мать – Елена Ивановна – происходила из богатого рода сибирских золотопромышленников Рукавишниковых. Отец – Владимир Дмитриевич Набоков был юристом, известным либералом, одним из основателей конституционно-демократической партии и газеты “Речь”, членом Первой государственной думы и членом Временного правительства. Погиб он в 1922 году в Берлине от пули террориста.

В.В.Набоков, получив прекрасное домашнее образование (английским и французским языками овладел раньше, чем русским), окончил в Петербурге известное Тенишевское училище, а в 1922 году – Кембриджский университет, где изучал славянские и романские языки и литературу. Еще в России Набоков начал писать стихи, а в эмиграции, перебиваясь сначала частными уроками, опубликовал восемь романов и рассказы под псевдонимом Сирий (Берлин, 1922–1937). В 1937 году он переехал из Германии во Францию, а в 1940 – в США. В Америке Набоков стал писать по-английски и под своим именем. Кроме романов и рассказов, принесших ему большую славу, На-



Владимир Набоков

боков сделал перевод с русского на английский “Слова о полку Игореве” с примечаниями, совершил огромный труд по переводу и составлению пространного комментария к “Евгению Онегину”, написал монографию о Гоголе, перевел Тютчева. С 1941 по 1958 годы Набоков преподавал русскую и европейскую литературу в Уэльсском университете. Занимался энтомологией, исследуя чешуекрылых в Музее сравнительной зоологии при Гарвардском университете. “Сыздетства утренний блеск в окне говорил мне одно и только одно: есть солнце – будут и бабочки. Началось все это, когда мне шел седьмой год”. Затем всю жизнь Набоков будет ловить и изучать бабочек, его именем даже названы несколько видов, а махаоны и пяденицы всегда будут порхать на страницах его стихов и прозы. Ученому ли, склонявшемуся над микро-

скопом, обязаны читатели Набокова, мельчайшим деталям бытия или пристальному писателю, одаренному поразительной зоркостью, обязана энтомология – как знать?

Последние годы жизни провел Набоков в Швейцарии, где и скончался в мае 1977 года в возрасте 78 лет.

Набоков никогда не обзаводился на чужбине собственным домом, предпочитая отели, и никогда не рискнул посетить Россию:

“Меня может удовлетворить лишь точная копия детства”, – писал Набоков, для которого даже “тоска по родине лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству”. Набокова часто называют “холодным” писателем. Но внимательный читатель поймет, что Набокову всю жизнь приходилось тщательно прятать свою беспомощность, которую он всякий раз испытывал при сопоставлении собственного личного

и бесконечного чувства любви и конечности существования.

“Что-то заставляет меня как можно сознательнее примеривать личную любовь к безличным неизмеримым величинам, – пустотам между звезд, к туманностям (самая отдаленность коих уже есть род безумия), к ужасным западням вечности, ко всей этой беспомощности, холоду, головокружению, крутизнам времени и пространства, непонятным образом переходящим одно в другое”.

В Америке он и его семья были защищены в годы второй мировой войны от ужасов фашизма. Но вот что пишет он сестре:

“<...> как ни хочется спрятаться в свою башенку из слоновой кости, есть вещи, которые язвят слишком глубоко, например, немецкие мерзости, сжигание детей в печах, – детей, столь же упоительно забавных и любимых, как наши дети. Я ухожу в себя, но там нахожу такую ненависть к немцу, ко всякому тиранству, что как убежище *ce n'est pas grandichose* <это не великое дело>”.

Лучший свой роман, написанный по-русски, Набоков назвал “Дар”. Его собственный дар был поистине уникален. В прозе Набокова практически нет слабых, безмускульных страниц. Книги его можно любить или не принимать, но мастерство писателя бесспорно и “возвращение” Владимира Владимировича Набокова закономерно и радостно.

Мы представляем в этом номере три рассказа писателя из сборников “Весна в Фиальте”, “Возвращение Чорба”, “Соглядатай” и неопубликованное письмо В.Набокова Ю. Айхенвальду, хранящееся в ЦГАЛИ СССР.

В.ПЕТРОВ



Весна в Фиальте

Весна в Фиальте облачна и скучна. Все мокро: пегие стволы платанов, можжевельник, ограды, гравий. Далеко, в бледном просвете, в неровной раме синеватых домов, с трудом поднявшихся с колен и ощупью ищущих опоры (кладбищенский кипарис тянется за ними), расплывчато очерченная гора св. Георгия менее чем когда-либо похожа на цветные снимки с нее, которые тут же туриста ожидают (с тысяча девятьсот девятого года примерно, судя по шляпам дам и молодости извозчиков), теснясь в застывшей карусели своей стойки между оскалом камня в аметистовых кристаллах и морским рококо раковин. Ветра нет, воздух тепл, отдает гарью. Море, опоенное и опресненное дождем, тускло оливково; никак не могут вспениться неповоротливые волны.

Именно в один из таких дней раскрываюсь, как глаз, посреди города на крутой улице, сразу вбирая все: и прилавок с открытками, и витрину с распятиями, и объявление заезжего цирка, с углом, слизанным со стены, и совсем еще желтую апельсиновую корку на старой, сизой панели, сохранившей там и сям, как сквозь сон, странные следы мозаики. Я этот городок люблю; потому ли, что во впадине его названия мне слышится сахаристо-сырой запах мелкого, темного, самого мятого из цветов, и не в тон, хотя внятное, звучание Ялты; потому ли, что его сонная весна особенно умащивает душу, не знаю; но как я был рад очнуться в нем, и вот шлепать вверх, навстречу ручьям, без шапки, с мокрой головой, в макинтоше, надетом прямо на рубашку!

Я приехал ночным экспрессом, в каком-то своем, паровозном, азарте норовившем набрать с грохотом как можно больше туннелей; приехал невзначай, на день, на два, воспользовавшись предыдущкой посреди делового путешествия. Дома я оставил жену, детей: всегда присутствующую на ясном севере моего естества, всегда плывущую рядом со мной, даже сквозь меня, а все-таки вне меня, систему счастья.

Со ступеньки встал и пошел, с выпученным серым, пупастым животом, мужского пола младенец, ковыляя на калачиках и стараясь нести зараз три апельсина, неизменно один роняя, пока сам не упал, и тогда мгновенно у него все отняла тремя руками девочка с тяжелым ожерельем вокруг смуглой шеи и в длинной, как у цыганки, юбке. Далее, на мокрой террасе кофейни официант вытирал столики; с ним беседовал, опершись с моей стороны на перила, безнадежно усатый продавец сложных, с лунным отливом, сластей в безнадежно полной корзине. Моросить не то перестало, не то Фиальта привыкла, и уже сама не знала, чем дышит, влажным ли воздухом или теплым дождем. На ходу набивая из резинового кисета трубку, прочного вывозного сорта англичанин в клетчатых шароварах появился из-под арки и вошел в аптеку, где за стеклом давно изнемогали от жажды большие бледные губки в синей вазе. Боже мой, какое я ощущал растекающееся по всем жилам наслаждение, как все во мне благодарно отзывалось на шорохи, запахи этого серого дня, насыщенного весной, но в себе еще ее не чующего! Голова у меня была прозрачна после бессонной ночи; я все понимал: свист дрозда в миндальном саду за часовней, и мирную тесноту этих жилых развалин вместо домов, и далекое за вуалью воздуха, дух переводящее море, и ревнивый блеск взъерошенных бутылочных осколков по верху стены (за ней штукатурная гордость местного богатея), и объявление цирка, на эту стену наклеенное; пернатый индеец, на всем скаку выбросив лассо, окрутил невозможную зебру, а на тумбах, испещренных звездами, сидят озадаченные слоны.

Тот же англичанин теперь обогнал меня. Мельком, за одно со всем прочим, впитывая и его, я заметил, как, в сторону скользнув большим аквамариновым глазом с воспаленным лузгом, он самым кончиком языка молниеносно облизнулся. Я машинально посмотрел туда же и увидел Нину.

Всякий раз, когда мы встречались с ней, за все время нашего пятнадцатилетнего... назвать в точности не берусь: приятельства? романа?... она как бы не сразу узнавала меня; и ныне она на мгновение осталась стоять, полубернувшись, натянув тень на шею, обвязанной лимонно-желтым шарфом, в исполненной любпытства, приветливой неуверенности... и вот уже

вскрикнула, подняв руки, играя всеми десятью пальцами в воздухе, и посреди улицы, с откровенной пылкостью давней дружбы (с той же лаской, с какой быстро меня крестила, когда мы расставались), всем ртом трижды поцеловала меня и зашагала рядом со мной, висая на мне, прилаживая путем прыжка и глissады к моему шагу свой, в узкой рыжей юбке с разрезом вдоль голени.

– Фердинандушка здесь, как же, – ответила она и тотчас в свою очередь вежливо и весело осведомилась о моей жене.

– Шатается где-то с Сегюром, – продолжала она о муже, – а мне нужно кое-что купить, мы сейчас уезжаем. Погоди, куда это ты меня ведешь, Васенька?

Собственно говоря, назад в прошлое, что я всякий раз делал при встрече с ней, будто повторяя все накопление действия сначала вплоть до последнего добавления, как в русской сказке подбирается уже сказанное при новом толчке вперед. Теперь мы свиделись в туманной и теплой Фиальте, и я не мог бы с большим изяществом праздновать это свидание (перечнем, с виньетками от руки крашенными, всех прежних заслуг судьбы), знай я даже, что оно последнее; последнее, говорю; ибо я не в состоянии представить себе никакую потустороннюю организацию, которая согласилась бы устроить мне новую встречу с нею за гробом.

Я познакомился с Ниной очень уже давно, в тысяча девятьсот семнадцатом, должно быть, судя по тем местам, где время износилось. Было это в какой-то именованный вечер в гостях у моей тетки, в ее Лужском имении, чистой деревенской зимой (как помню первый знак приближения к нему: красный амбар посреди белого поля). Я только что кончил лицей; Нина уже обручилась; ровесница века, она, не смотря на малый рост и худобу, а может быть благодаря им, была на вид значительно старше своих лет, точно так же, как в тридцать два казалась намного моложе. Ее тогдашний жених, боевой офицер из аккуратных, красавец собой, тяжеловатый и положительный, взвешивавший всякое слово на всегда вычищенных и выверенных весах, говоривший ровным ласковым баритоном, делавшимся еще более ровным и ласковым, когда он обращался к ней; словом, один из тех людей, все мнение о которых исчерпывается ссылкой на их совершенную порядочность (прекрасный товарищ, идеал секунданта), и которые, если уже влюбляются, то не просто любят, а боготворят, успешно теперь работает инженером в какой-то очень далекой тропической стране, куда за ним она не последовала.

Зажигаются окна и ложатся, с крестом на спине, ничком на темный, толстый снег; ложится меж них и всеерный просвет над парадной дверью. Не помню, почему мы все повысыпали из звонкой с колоннами залы в эту неподвижную темноту, населенную лишь елками, распухшими вдвое от снежного дородства: сторожа ли позвали поглядеть на многообещающее зарево далекого пожара, любовались ли мы на ледяного коня, изваянного около пруда швейцарцем моих двоюродных братьев; но воспоминание только тогда приходит в действие, когда мы уже возвращаемся в освещенный дом, ступая гуськом по узкой тропе среди сумрачных сугробов с тем скрип-скрип-скрипом, который, бывало, служил единственной темой зимней неразговорчивой ночи. Я шел в хвосте; передо мной в трех скользких шагах шло маленькое склоненное очертание; елки молча торговали своими голубоватыми пирогами; оступившись, я уронил и не сразу мог нащупать фонарь с мертвой батареей, который мне кто-то всучил, и тотчас привлеченная моим чертыханием, с торопящимся, оживленно повернулась ко мне. Я зову ее Нина, но тогда едва ли я знал ее имя, едва ли мы с нею успели что-либо, о чем-либо... “Кто это?” – спросила она любознательно, а я уже целовал ее в каленную лисий мехом, навязчиво мне мешавшим, пока она не обрнула ко мне и к моим губам не приладила, с честной простотой, ей одной присущей, своих отзывчивых, исполнительных губ.

Но взрывом веселья мгновенно разлучая нас, в сумраке началась снежная свалка, и кто-то, спасаясь, падая, хрустя, хоча с запышкой, влез на сугроб, побежал, охнул сугроб, произвел ампутацию валенка. И потом до самого разъезда так мы друг с дружкой ни о чем и не потолковали, не сговаривались насчет тех будущих, в даль уже тронувшихся, пятнадцати дорожных лет, нагруженных частями наших несобранных

встреч, и следя за ней в лабиринте жестов и теней жестов, из которых состоял вечер (его общий узор могу ныне восстановить только по другим, подобным ему, вечерам, но без Нины), я был, помнится, поражен не столько ее невниманием ко мне, сколько чистосердечнейшей естественностью этого невнимания, ибо я еще тогда не знал, что, скажи я два слова, оно сменилось бы тотчас чудной окраской чувств, веселым, добрым, по возможности деятельным участием, точно женская любовь была родниковой водой, содержащей целебные соли, которой она из своего ковшика охотно поила всякого, только напоми.

– Последний раз мы виделись, кажется, в Париже, – заметил я, чтобы вызвать одно из знакомых мне выражений на ее маленьком скуластом лице с темно-малиновыми губами; и действительно: она так усмехнулась, как будто я плоско пошутил или, подробнее, как будто все эти города, где нам рок назначал свидания, на которые сам не являлся, все эти платформы и лестницы, и чуть-чуть бутафорские переулки, были декорациями, оставшимися от каких-то других доигранных жизней и столь мало относившимися к игре нашей судьбы, что упоминать о них было почти безвкусно.

Я сопроводил ее в случайную лавку под аркадами; там, в бисерной полутьме, она долго возилась, перебирая какие-то красные кожаные кошельки, набитые нежной бумагой, смотря на подвески с ценой, словно желая узнать их возраст; затем потребовала непременно такого же, но коричневого, и когда, после десятиминутного шелеста, именно такой чудом отыскался, она было взяла из моих рук монету, но вовремя опомнилась, и мы вышли, ничего не купив.

Улица была все такая же влажная, неоживленная; чадом, волнующим татарскую мою память, несло из голых окон бледных домов; небольшая компания комаров занималась штопаньем воздуха над мимозой, которая цвела, спустя рукава до самой земли; двое рабочих, в широких шляпах, закусывали сыром с чесноком, прислонившись к афишной доске, на которую были наклеены гусар, укротитель в усах и оранжевый тигр на белой подкладке, причем в стремлении сделать его как можно строже художник зашел так далеко, что вернулся с другой стороны, придав его морде кое-что человеческое.

– Au fond* я хотела гребенку, – сказала Нина с поздним сожалением.

Как мне была знакома ее зыбкость, нерешительность, спохватки, легкая дорожная суета! Она всегда или только что приехала или сейчас уезжала. Если бы мне надо было предъявить на конкурс земного бытия образец ее позы, я бы, пожалуй, поставил ее у прилавка в путевой конторе, ноги свиты, одна бьет носком линолеум, локти и сумка на прилавке, за которым служащий, взяв из-за уха карандаш, раздумывает вместе с ней над планом спального вагона.

В первый раз за границей я встретил ее в Берлине, у знакомых. Я собирался жениться; она только что разошлась с женихом. Я вошел, увидел ее издалека и машинально, но безошибочно, определил, оглянув других мужчин в комнате, кто из них больше знает о ней, чем знал я. Она сидела с ногами в углу дивана, сложив свое небольшое, удобное тело в виде зета; у каблучка стояла на диване пепельница; и всмотревшись в меня, и вслушавшись в мое имя, она отняла от губ длинный, как стебель, мундштук и протяжно, радостно воскликнула: “Нет!” (в значении “глазам не верю”), и сразу всем показало, ей первой, что мы в давних приятельских отношениях: поцелуя она не помнила вовсе, но зато (через него все-таки) у нее осталось общее впечатление чего-то задушевного, воспоминание какой-то дружбы, в действительности никогда между нами не существовавшей. Таким образом весь склад наших отношений был первоначально основан на небывшем, на мнимом благе, если, однако, не считать за прямое добро ее беспечного, тороватого, дружеского любострастия. Встреча была совершенно ничтожна в смысле сказанных слов, но уже никакие преграды не разделяли нас, и, оказавшись с ней рядом за чайным столом, я бессовестно испытывал степень ее тайного терпения.

Потом она пропадает опять, а спустя год я с женой провожал брата в Вену, и когда поезд, поднимая рамы и отворачиваясь, ушел, и мы направились к выходу по другой стороне дебаркадера, неожиданно около вагона парижского экспресса я

увидел Нину, окунувшую лицо в розы, посреди группы людей, мне раздражительно незнакомых, кольцом стоявших и смотревших на нее, как зеваки смотрят на уличное препирательство, найденыша или раненого, то есть явно провожавших ее. Она махнула мне цветами, я познакомил ее с Еленой Константиновной, и на этом ускорявшем жизнь вокзальном ветерке было достаточно обмена нескольких слов для того, чтобы две женщины, между собой во всем различные, уже со следующей встречи друг дружку называли по именам, так свободно уменьшая их, точно они у них порхали на устах с детства. Тогда-то, в синей тени вагона, был впервые упомянут Фердинанд: я узнал, что она выходит за него замуж. Пора было садиться, она быстро, но набожно всех перецеловала, влезла в тамбур, исчезла, а затем сквозь стекло я видел, как она располагалась в купе, вдруг забыв о нас, перейдя в другой мир, и было так, словно все мы, державшие руки в карманах, подглядывали ничего не подозревавшую жизнь за окном, куда она не очнулась опять, по стеклу барабана, затем вскидывая глаза, вешая картину, но ничего не получалось; кто-то помог ей, и она высунулась, страшно довольная; один из нас, уже вынужденный шагать, передал ей журнал и Таухниц (по-английски она читала только в поезде), все ускользало прочь с безупречной гладкостью, и я держал скомканный до неузнаваемости перонный билет, а в голове назойливо звенел, бог весть почему выплывший из музыкального ящика памяти, другого века романс (связанный, говорили, с какой-то парижской драмой любви), который пела дальняя моя родственница, старая дева, безобразная, с желтым, как церковный воск, лицом, но одержимая таким могучим, упоительно-полным голосом, что он как огненное облако поглощал ее всю, как только она начинала:

*on dit que tu te maries,
tu saisque j'en vais mourir.**

и этот мотив, мучительная обида и музыкой вызванный союз между венцом и кончиной, и самый голос певицы, сопроводивший воспоминание, как собственник напева, несколько часов подряд не давали мне покоя, да и потом еще возникали с расступями перерывами, как последние, все реже и реже рассеянное приплескивающие, плоские, мелкие волны или как слепые содрогания слабющего била, после того как звонарь уже сидит снова в кругу своей веселой семьи. А еще через год или два я был по делу в Париже, и у поворота лестницы в гостинице, где я ловил нужного мне актера, мы опять без сговору столкнулись с ней: собиралась вниз, держала ключ в руке. “Фердинанд фехтовать уехал”, – сказала она непринужденно, и посмотрев на нижнюю часть моего лица, и про себя что-то быстро обдумав (любовная сообразительность была у нее бесподобна), повернулась и меня повела, вилляя на тонких лодыжках, по голубому бобрику, и на стуле у ее номера стоял вынесенный поднос с остатками первого завтрака, следами меда на ноже и множеством крошек на сером фарфоре посуды, но комната была уже убрана, и от нашего сквозняка всосался и застрял волан белыми дالياми вышитой кисеи промеж оживших половинок дверного окна, выходившего на узенький чугунный балкон, и лишь тогда, когда мы заперлись, они с блаженным выдохом отпустили складку занавески; а немного позже я шагнул на этот балкончик, и пахло с утренней пустой и пасмурной улицы сиреневой сизостью, бензином, осенним кленовым листом: да, все случилось так просто, те несколько восклицаний и смешков, которые были нами произведены, так не соответствовали романтической терминологии, что уже негде было разложить парчовое слово: измена; и так как я еще не умел чувствовать ту болезненную жалость, которая отравляла мои встречи с Ниной, я был, вероятно, совершенно весел (уж она-то наверное была весела), когда мы оттуда поехали в какое-то бюро разыскивать какой-то ею утерянный чемодан, а потом отправились в кафе, где был со своей тогдашней свитой ее муж.

Не называя фамилии, а из приличия даже меняю имя этого венгерца, пишущего по-французски, этого известного еще писателя... мне не хотелось бы распространяться о нем, но он выпирает из-под моего пера. Теперь слава его потускнела, и это меня радует: значит не я один противился его демонскому обаянию; не я один испытывал оффиологический холодок, ко-

* В сущности (франц.).

* Говорят, что ты женщина,
Ты знаешь, что из-за этого я умру (франц.).

гда брал в руки очередную его книгу. Молва о таких, как он, носится резво, но вскоре тяжелеет, охлаждаясь до полужизни, а уж история только и сохранит, что эпитафию да анекдот. Насмешливый, высокомерный, всегда с цианистым каламбуром наготове, со странным выжидательным выражением египетских глаз, этот мнимый веселчок действовал неотразимо на мелких млекопитающих. В совершенстве изучив природу вымысла, он особенно кичился званием сочинителя, которое ставил выше звания писателя; я же никогда не понимал, как это можно книги выдумывать, что проку в выдумке; и, не убоясь его издевательски любезного взгляда, я ему признался однажды, что будь я литератором, лишь сердцу своему позволял бы иметь воображение, да еще, пожалуй, допускал бы память, эту длинную вечернюю тень истины, но рассудка ни за что не возил бы по маскарадам.

О ту пору, когда я встретился с ним, его книги мне были известны; поверхностный восторг, который я себе сперва разрешал, читая его, уже сменялся легким отвращением. В начале его поприща еще можно было сквозить расписные окна его поразительной прозы различить какой-то сад, какое-то сонно-знакомое расположение деревьев... но с каждым годом роспись становилась все гуще, розовость и лиловизна все грознее; и теперь уже ничего не видно через это страшное драгоценное стекло, и кажется, что если разбить его, то одна лишь ударит в душу черная и совершенно пустая ночь. Но как он опасен был в своем расцвете, каким ядом прыскал, каким бичом хлестал, если его задевали! После вихря своего прохождения он оставял за собой голую гладь, где ровнехонько лежал бурелом, да вился еще прах, да вчерашний рецензент, воя от боли, волчком вертелся во прахе. Гремел тогда по Парижу его "Passage à niveau"* , он был очень, как говорится, окружен, и Нина (у которой гибкость и хваткость восполняли недостаток образования) уже вошла в роль, я не скажу музы, но близкого товарища мужа-творца; даже более: тихой советницы, чутко скользкой по его сокровенным извилинам, хотя на самом деле вряд ли одолела хоть одну из его книг, изумительно зная их лучшие подробности из разговора избранных друзей. Когда мы вошли в кафе, там играл дамский оркестр; я мимоходом заметил, как в одной из граненых колонн, облицованных зеркалами, отражается страусовая ляжка арфы, а затем тотчас увидел составной стол, за которым, посреди долгой стороны и спиной к плюшу, председательствовал Фердинанд, и на мгновение эта поза его, положение расставленных рук и обращенные к нему лица сотрапезников напомнили мне с кошмарной карикатурностью... что именно напомнили, я сам тогда не понял, а потом, поняв, удивился кощунственности сопоставления, не более кощунственного, впрочем, чем самое искусство его. Он поглядывал на музыку; на нем был под каштановым пиджаком белый вязаный свитер с высоким сборчатым воротом; над зачесанными с висков волосами нимбом стоял папиросный дым, повторенный за ним в зеркале; костистое и, как это принято определять, породистое лицо было неподвижно, только глаза скользили туда и сюда, полные удовлетворения. Изменив заведением очевидным, где профан склонен был бы искать как раз его, он облюбовал это приличное, скучноватое кафе и стал его завсегдатаем из особого ему крайне свойственного чувства смешного, находя восхитительно забавной именно жалкую приманку этого кафе: оркестр из полудюжины прядущих музыку дам, утомленный и стыдливый, не знающий, по его выражению, куда девать грудь, лишнюю в мире гармонии. После каждого номера на него находила эпилепсия рукоплесканий, уже возбуждавших (так мне казалось) первое сомнение в хозяине кафе и в его бесхитростных посетителях, но весьма веселивших приятелей Фердинанда. Тут были: живописец с идеально голгой, но слегка обитой головой, которую он постоянно вписывал в свои картины (Саломея с кегельным шаром); и поэт, умевший посредством пяти спичек представить всю историю грехопадения; и благовоспитанный, с умоляющими глазами, педераст; и очень известный пианист, так с лица ничего, но с ужасным выражением пальцев; и молодцеватый советский писатель с ежом и трубочкой, свято не понимающий, в какое общество он попал; сидели тут и еще всякие господа, теперь спутавшиеся у меня в памяти, и из всех двое, трое, наверное, погуляли с Ниной. Она была единственной женщиной за столом, сутулилась, присо-

савшись к соломинке, и с какой-то детской быстротой понижался уровень жидкости в бокале, и только когда у нее на дне забулькало и запищало, и она языком отставила соломинку, только тогда я наконец поймал ее взгляд, который упорно ловил, все еще не постигая, что она успела совершенно забыть случившееся утром; настолько крепко забыть, что, встретившись со мной глазами, она ответила мне вопросительной улыбкой, и, только всмотревшись, спохватилась вдруг, что следует улыбнуться иначе. Между тем Фердинанд, благо дамы, отодвинув, как мебель, инструменты, временно ушли с эстрады, потешался над севшим неподалеку чужим стариком, с красной штучкой в петлице и седой бородой, в середине вместе с усами образующей уютное желтоватое гнездо для жадно жующего рта. Фердинанда всегда почему-то смешили регалии старости.

Я в Париже пробыл недолго, но за три дня совместного валандания у меня с Фердинандом завязались те жизнерадостные отношения, которые он был такой мастер починал. Впоследствии я даже оказался ему полезен: моя фирма купила у него фабулу для фильма, и уж он тогда замучил меня телеграммами. За эти десять лет мы и на ты перешли, и оставили в двух-трех пунктах небольшое депо общих воспоминаний... Но мне всегда было не по себе в его присутствии, и теперь, узнав, что и он в Фиальте, я почувствовал знакомый упадок душевных сил; только одно ободряло меня: недавний провал его новой пьесы.

И вот уж он шел к нам навстречу, в абсолютно непромокаемом пальто с поясом, клапанами, фотоаппаратом через плечо, в пестрых башмаках, подбитых гуттаперчей, сося невозмутимо (а все же с оттенком смотрите-какое-сосу-смешное) длинный леденец лунного блеска, специальность Фиальты. Рядом с ним чуть пританцовывающей походкой шел Сегюр, хлыщеватый господин с девичьим румянцем до самых глаз и гладкими иссиня черными волосами, поклонник изящного и набитый дурак; он на что-то был Фердинанду нужен (Нина, при случае, с неподражаемой своей стонущей нежностью, ни к чему не обязывающей, вскользь восклицала: "душка такой, Сегюр", но в подробности не вдавалась). Они подошли, мы с Фердинандом существенно поздоровались, стараясь побольше втиснуть, зная по опыту, что это, собственно, все, но делая вид, что это только начало; так у нас водилось всегда: после обычной разлуки мы встречались под аккомпанемент взволнованно настроиваемых струн, в суе дружеского, в шуме рассаживающихся чувств; но капелдинеры закрывали двери, и уж больше никто не впускался.

Сегюр пожаловался мне на погоду, а я даже сперва не понял, о какой погоде он говорит: весеннюю, серую, оранжевую-влажную сущность Фиальты если и можно было назвать погодой, то находилась она в такой же мере вне всего того, что могло служить нам с ним предметом разговора, как худенький Нинин локоть, который я держал между двумя пальцами, или сверкание серебряной бумажки, поодаль брошенной посреди горбатой мостовой. Мы вчетвером двинулись дальше, все с той же целью неопределенных покупок. "Какой чудесный индеец!"; – вдруг крикнул с неистовым аппетитом Фердинанд, ссылая меня за рукав, пихая меня и указывая на афишу. Немного дальше, около фонтана, он подарил свой медленный леденец туземной девчонке с ожерельем; мы остановились, чтобы его подождать: присев на корточки, он что-то говорил, обращаясь к ее опущенным, будто смазанным сажой, ресницам, а потом догнал нас, осклабясь и делая одно из тех похвальных замечаний, которыми любил орлить свою речь. Затем внимание его привлек выставленный в сувенирной лавке несчастный уродливый предмет: каменное подобие горы св. Георгия с черным туннелем у подножия, оказывавшимся отверстием чернильницы, и со сработанным в виде железнодорожных рельсов желобом для перьев. Разинув рот, дрожа от ликования, он повертел в руках эту пыльную, громоздкую и совершенно невменяемую вещь, заплатил не торгуясь, и, все еще с открытым ртом, вышел, неся урода. Как деспот окружает себя горбунами и карликами, он пристраивался к той или другой безобразной вещи, это состояние могло длиться от пяти минут до нескольких дней, и даже дольше, если вещь была одушевленная.

Нина стала мечтать о завтраке и, улучив минуту, когда Фердинанд и Сегюр зашли на почтамент, я поторопился ее увести. Сам не понимаю, что значила для меня эта маленькая

* Железнодорожный переезд (франц.).

узкоплечая женщина, с пушкинскими ножками (как при мне сказал о ней русский поэт, чувствительный и жеманный, один из немногих людей, вздыхавших по ней платонически), а еще меньше понимаю, чего от нас хотела судьба, постоянно сводя нас. Я довольно долго не видел ее после той парижской встречи, а потом как-то прихожу домой и вижу: пьет чай с моей женой и просматривает на руке с просвечивающим обручальным кольцом какие-то шелковые чулки, купленные по дешевке. Как-то осенью мне показали ее лицо в модном журнале. Как-то на пасху она мне прислала открытку с яйцом. Однажды, по случайному поручению зайдя к знакомым людям, я увидел среди пальто на вешалке (у хозяев были гости) ее шубку. В другой раз она кивнула мне из книги мужа из-за строк, относившихся к эпизодической служанке, но приоткрывших ее (вопреки, быть может, его сознательной воле): “Ее облик, – писал Фердинанд, – был скорее моментальным снимком природы, чем кропотливым портретом, так что припоминать его, вы ничего не удерживали, кроме мелькания разьединенных черт: пушистых на свет выступов скул, янтарной темноты быстрых глаз, губ, сложенных в дружескую усмешку, всегда готовую перейти в горячий поцелуй”. Вновь и вновь она впопыхах появлялась на полях моей жизни, совершенно не влияя на основную текст. Раз, когда моя семья была на даче, а я писал, лежа в постели, в мучительно солнечную пятницу (выколачивали ковры), я услышал ее голос в прихожей: захала, чтобы оставить какой-то в дорожных орденах сундук, и я никогда не дописал начатого, а за ее сундуком, через много месяцев, явился симпатичный немец, который (по невыразимым, но несомненным признакам) состоял в том же, очень международном союзе, в котором состоял и я. Иногда, где-нибудь, среди общего разговора, упоминалось ее имя, и она сбегала по ступеням чьей-нибудь фразы, не оборачиваясь. Попав в пиренейский городок, я провел неделю в доме ее друзей, она тоже гостила у них с мужем, и я никогда не забуду первой ночи, мною проведенной там: как я ждал, как я был убежден, что она проберется ко мне, но она не пришла, и как бесновались сверчки в орошенной луной, дрожащей бездне скалистого сада, как журчали источники, и как я разрывался между блаженной, южной, дорожной усталостью и дикой жаждой ее вкрадчивого прихода, розовых щиколоток над лебяжьей опушкой тувфелек, но гремела ночь, и она не пришла, а когда на другой день, во время общей прогулки по вересковым холмам, я рассказал ей о своем ожидании, она всплеснула руками от огорчения и сразу быстрым взглядом прикинула, достаточно ли удалились спины жестикулирующего Фердинанда и его приятеля. Помню, как я с ней говорил по телефону через половину Европы, долго не узнавая ее лающего голоса, когда она позвонила мне по делу мужа; и помню, как однажды она снилась мне: будто моя старшая девочка прибежала сказать, что у швейцара несчастье, и когда я к нему спустился, то увидел, что там, в проходе, на сундуке, подложив свернутую рогожку под голову, бледная и заматанная в платок, мертвым сном спит Нина, как спят нищие переселенцы на богом забытых вокзалах. И что бы ни случилось со мной или с ней, а у нее тоже, конечно, бывали свои семейные “заботы-радости” (ее скороговорка), мы никогда ни о чем не расспрашивали друг дружку, как никогда друг о дружке не думали в перерывах нашей судьбы, так что, когда мы встречались, скорость жизни сразу менялась, атомы перемещались, и мы с ней жили в другом, менее плотно, времени, измержавшемся не разлуками, а теми несколькими свиданиями, из которых сбивалась эта наша короткая, мнимо легкая жизнь. И с каждой новой встречей мне делалось тревожнее; при этом подчеркиваю, что никакого внутреннего разрыва чувств я не испытывал, ни тени трагедии нам не сопутствовало, моя супружеская жизнь оставалась неприкосновенной, а с другой стороны Фердинанд (сам эклектик в плотском быту, изобретательнейшими способами обирающий природу) предпочитал на жену не оглядываться, хотя, может быть, извлекал косвенную и почти невольную выгоду из ее быстрых связей. Мне делалось тревожно, оттого что попусту тратилось что-то милое, изящное и неповторимое, которым я злоупотреблял, выхватывая наиболее случайные, жалко очаровательные крупички и пренебрегая всем тем скромным, но верным, что, может быть, шепотом обещало оно. Мне было тревожно, оттого что я как-никак принимал Нину жизнь, ложь и бред этой жизни. Мне было тревожно, оттого что, несмотря на отсутствие разлада, я все-таки был вы-

нужден, хотя бы в порядке отвлеченного толкования собственного бытия, выбирать между миром, где я, как на картине, сидел с женой, дочками, доберман-пинчером (полевые венки, перстень и тонкая трость), между вот этим счастливым, умным, добрым миром... и чем? Неужели была какая-либо возможность жизни моей с Ниной, жизни едва воображимой, напоенной наперед страстной, нестерпимой печалью, жизни, каждое мгновение которой прислушивалось бы, дрожа, к тишине прошлого? Глупости, глупости! Да и она, связанная с мужем крепкой каторжной дружбой... Глупости! Так что же мне было делать, Нина, с тобой, куда было сбить запас грусти, который исподволь уже накопился от повторения наших как будто беспечных, а на самом деле безнадежных встреч!

Фиальта состоит из старого и нового города; но между собой новый и старый переплелись... и вот борются, не то чтобы распутаться, не то чтобы вытеснить друг друга, и тут у каждого свои приемы: новый борется честно пальмовой проседью, фасадом меняльной конторы, красным песком тенниса, старый же из-за угла выползает улочкой на костылях или папёртью обвалившейся церкви. Направляясь к гостинице, мы прошли мимо еще недостроенной, еще пустой и сорной внутри, белой виллы, на стене которой: опять все те же слоны, расставя чудовищно младенческие колени сидели на тумбищах; в эфирных пачках наездница (уже с нарисованными усами) отдыхала на толстом коне; и клоун с томатовым носом шел по канату, держа зонтик, изукрашенный все теми же звездами: смутное воспоминание о небесной родине циркачей. Тут, в белэтаже Фиальты, гораздо курортнее хрустел мокрый гравий, и слышнее было ленивое уханье моря. На заднем дворе гостиницы повараенок с ножом бегал за развившей гоночную скорость курицей. Знакомый чистильщик сапог с белозубой улыбкой предлагал мне свой черный престол. Под платанами стояли немецкой марки мотоциклетка, старый грязный лимузин, еще сохранивший идею каретности, и желтая, похожая на жука, машина: “Наша, то есть Сегюра, – сказала Нина, добавив: – поезжай-ка ты, Васенька, с нами, а?, хотя отлично знала, что я не могу поехать. По лаку надкрыльников пролегал гуаш неба и ветвей; в металле одного из снарядоподобных фонарей мы с ней сами отразились на миг, проходя по окату, а потом, через несколько шагов, я почему-то оглянулся и как бы увидел то, что действительно произошло через полтора часа: как они втроем усаживаются в автомобильных чепцах, улыбаясь и помахивая мне, прозрачные, как призраки, сквозь которые виден цвет мира, и вот дернулись, тронулись, уменьшились (Нинин последний десятипальый привет): но на самом деле автомобиль стоял еще неподвижно, гладкий и цельный, как яйцо, а Нина со мной входила на стеклянную веранду отельного ресторана, и через окно мы уже видели, как (другим путем, чем пришли мы) приближаются Фердинанд и Сегюр.

На веранде, где мы завтракали, не было никого, кроме недавно виденного мной англичанина; на столике перед ним стоял большой стакан с ярко алым напитком, бросавшим овальный отсвет на скатерть. Я заметил в его прозрачных глазах то же упрямое вождение, которое уже раз видел, но теперь оно никоим образом не относилось к Нине, на нее он не смотрел совершенно, а направлял пристальный, жадный взгляд на верхний угол широкого окна, у которого сидел.

Содрав с маленьких сухощавых рук перчатки, Нина последний раз в жизни ела моллюски, которые так любила. Фердинанд тоже занялся едой, и я воспользовался его голодом, чтобы завести разговор, дававший мне тень власти над ним: именно я упомянул о недавней его неудаче. Пройдя небольшой период модного религиозного прозрения, во время которого и благодать сходила на него, и предпринимались им какие-то сомнительные паломничества, завершившиеся и вовсе скандальной историей, он обратил свои темные глаза на варварскую Москву. Меня всегда раздражало самодовольное убеждение, что крайность в искусстве находится в некоей метафизической связи с крайностью в политике, при настоящем соприкосновении с которой изысканнейшая литература, конечно, становится, по ужасному, еще мало исследованному свиному закону, такой же затасканной и общедоступной серединой, как любая идейная дребедень. В случае Фердинанда этот закон, правда, еще не действовал: мускулы его музы были еще слишком крепки (не говоря о том, что ему

было наплевать на благосостояние народов), но от этих озорных узоров, не для всех к тому же вразумительных, его искусство стало еще гаже и мертвее. Что касается пьесы, то никто ничего не понял в ней; сам я не видел ее, но хорошо представлял себе эту гиперборейскую ночь, среди которой он пускал по невозможным спиральям разнообразные колеса разъятых символов; и теперь я не без удовольствия спросил его, читал ли он критику о себе.

– Критика! – воскликнул он. – Хороша критика! Всякая темная личность мне читает мораль. Благодарю покорно. К моим книгам притрагиваются с опаской, как к неизвестному электрическому аппарату. Их разбирают со всех точек зрения, кроме существенной. Вроде того, как если бы натуралист, толкуя о лошади, начал говорить о седлах, чепраках или Mme de V.* (он назвал даму литературного света, в самом деле очень похожую на оскаленную лошадь). Я тоже хочу этой голубиной крови, – продолжал он тем же громким, рвущим голосом, обращаясь к лакею, который понял его желание, посмотрев по направлению перста, бесцеремонно указывавшего на стакан англичанина. Сегюр упомянул имя общего знакомого, художника, любившего писать стекло, и разговор принял менее оскорбительный характер. Между тем англичанин вдруг решительно поднялся, встал на стул, оттуда шагнул на подоконник и, выпрямившись во весь свой громадный рост, снял с верхнего угла оконницы и ловко перевел в коробок ночную бабочку с бобровой спинкой.

– ...это, как белая лошадь Вувермана, – сказал Фердинанд, рассуждая о чем-то с Сегюром.

– Tu es très hipérique ce matin,** – заметил тот.

Вскоре они оба ушли телефонировать. Фердинанд необыкновенно любил эти телефонные звонки дальнего следования и особенно виртуозно снабжал их, на любое расстояние, дружеским теплом, когда надобно было, как например сейчас, заручиться даровым ночлегом.

Откуда-то издали доносились звуки трубы и цитры. Мы с Ниной пошли бродить снова. Цирк, видимо, выслал гонцов: проходило рекламное шествие; но мы не застали его начала, так как оно завернуло вверх, в боковую улочку; удалялся золоченый кузов какой-то повозки, человек в бурнусе провел верблюда, четверо неважных индейцев один за другим пронесли на древках плакаты, а сзади, на очень маленьком пони с очень большой челкой, благоговейно сидел частный мальчик в матроске.

Помню, мы проходили мимо почти высохшей, но все еще пустой кофейни; официант осматривал (и, может быть, потом приголубил) страшного подкидыша: нелепый письменный прибор, мимоходом оставленный на перилах Фердинандом. Помню еще: нам понравилась старая каменная лестница, и мы полезли наверх, и я смотрел на острый угол Нининого восходящего шага, когда, подбирая юбку, чему прежде учила длина, а теперь узость, она поднималась по седьмым ступеням; от нее шло знакомое тепло, и, поднимаясь мыслью рядом с ней, я видел нашу предпоследнюю встречу, на званом вечере в парижском доме, где было очень много народу, и мой милый друг Jules Darboux желая мне оказать какую-то тонкую эстетическую услугу, тронул меня за рукав, говоря: “Я хочу тебя познакомить...”, и подвел меня к Нине, сидевшей в углу дивана, сложившись зетом, с пепельницей у каблочки, и Нина отняла от губ длинный бирюзовый мундштук и радостно, протяжно произнесла: “Нет!”, и потом весь вечер у меня разрывалось сердце, и я переходил со своим липким стаканчиком от группы к группе, иногда издали глядя на нее (она на меня не глядела), слушал разговоры, слушал господина, который другому говорил: “смешно, как они одинаково пахнут, горелым сквозь духи, все эти сухие хорошенькие шатеночки”, и, как часто бывает, пошлость, неизвестно к чему относившаяся, крепко обвилась вокруг воспоминания, питаюсь его грустью.

Поднявшись по лестнице, мы очутились на шербоатой площадке: отсюда видна была нежно-пепельная гора св. Георгия с собранием крапинок костяной белизны на боку (какая-то деревушка); огибая подножье, бежал дымок невидимого поезда и вдруг скрылся; еще ниже виден был за разнородом крыш единственный кипарис, издали похожий на завернутый кончик акварельной кисти; справа виднелось море, серое, в светлых

морщинах. У ног наших валялся ржавый ключ, и на стене полуразрушенного дома, к которой площадка примыкала, остались висеть концы какой-то проволоки... я подумал о том, что некогда тут была жизнь, семья вкушала по вечерам прохладу, неумелые дети при свете лампы раскрашивали картинки. Мы стояли, как будто слушаю что-то; Нина, стоявшая выше, положила руку ко мне на плечо, улыбаясь и осторожно, так чтобы не разбить улыбки, целуя меня. С невыносимой силой я пережил (или так мне кажется теперь) все, что когда-либо было между нами, начиная вот с такого же поцелуя, как этот; и я сказал, наше дешевое, официальное ты заменяя тем одухотворенным, выразительным вы, к которому кругосветный пловец возвращается, обогащенный кругом: “А что, если я вас люблю?” Нина взглянула, я повторил, я хотел добавить... но что-то, как летучая мышь, улыбаясь по ее лицу, и она, которая запросто, как в раю, произносила непристойные словечки, смутилась; мне тоже стало неловко... “Я пошутил, пошутил”, – поспешил я воскликнуть, слегка обнимая ее под правую грудь. Откуда-то появился у нее в руках плотный букет темных, мелких, бескорыстно пахучих фиалок, и, прежде чем вернуться к гостинице, мы еще постояли у парапета, и все было по-прежнему безнадежно. Но камень был, как тело, теплый, и внезапно я понял то, чего, видя, не понимал дотоле, почему давеча так сверкала серебряная бумажка, почему дрожал ответ стакана, почему мерцало море: белое небо над Фиальтой незаметно налилось солнцем, и теперь оно было солнечное сплошь, и это белое сияние ширилось, ширилось, все растворялось в нем, все исчезало, и я уже стоял на вокзале, в Милане, с газетой, из которой узнал, что желтый автомобиль, виденный мной под платанами, потерпел за Фиальтой крушение, влетев на полном ходу в фургон бродячего цирка, причем Фердинанд и его приятель, неуязвимые пройдохи, саламандры судьбы, василиски счастья, отделались местным и временным повреждением чешуи, тогда как Нина, несмотря на свое давнее, преданное подражание им, оказалась все-таки смертной.

Обида

Ивану Алексеевичу Бунину

Пути сидел на козлах, рядом с кучером (он не особенно любил сидеть на козлах, но кучер и домашние думали, что он это любит чрезвычайно, Пути же не хотелось их обидеть, – вот он там и сидел, желтолицый, сероглазый мальчик в нарядной матроске). Пара откормленных вороных, с блеском на толстых крупах и с чем-то необыкновенно женственным в долгих гривах, пышно похлестывая хвостами, бежала ровной плещущей рысью, и мучительно было наблюдать, как, несмотря на движение хвостов и подергивание нежных ушей, несмотря также на густой дегтярный запах мази от мух, тусклый слепень или овод с переливчатыми глазами навикате присасывался к атласной шерсти.

У кучера Степана, мрачного пожилого человека в черной безрукавке поверх малиновой рубахи, была крашенная борода клином и коричневая шея в тонких трещинках. Пути было неловко, сидя с ним рядом, молчать; поэтому он пристально смотрел на постромки, на дышло, придумывая любознательный вопрос или дельное замечание. Изредка у той или другой лошади приподнимался напряженный корень хвоста, под ним надувалась темная луковица, выдавливая круглый золотой ком, второй, третий, и затем складки темной кожи вновь стягивались, опадал вороной хвост.

В коляске сидела, заложив ногу на ногу, Путина сестра, смуглая молодая дама (ей было всего девятнадцать лет, но она уже успела развестись), в светлом платье, в высоких белых сапожках на шнурках с блестящими черными носками и в широкополой шляпе, бросавшей кружевную тень на лицо. У нее с утра настроение было дурное, и когда Пути в третий раз обернулся к ней, она в него нацелилась концом цветного зонтика и сказала: “Пожалуйста, не вертись!”

Сначала ехали лесом. Скользящие по синеве великолепные облака только прибавляли блеска и живости летнему дню.

* Мадам де В.

** Ты очень расположен к лошадиной теме этим утром (франц.).

Ежели снизу смотреть на вершины берез, они напоминали пропитанный светом, прозрачный виноград. По бокам дороги кусты дикой малины обращались к жаркому ветру бледным исподом листьев. Глубина леса была испещрена солнцем и тенью, – не разберешь, что ствол, что просвет. Там и сям райским изумрудом вдруг вспыхивал мох; почти касаясь колес, пробегали лохматые папоротники.

Навстречу появился большой воз сена, – зеленоватая гора в дрожащих тенях. Степан поприветствовал лошадей, гора накренилась на одну сторону, коляска в другую, – едва разминувшись на узкой лесной дороге, и повеяло острым полевым духом, слышался натруженный скрип тележных колес, мелькнули в глазах вялые скабиозы и ромашки среди сена, – но вот Степан причмокнул, тряхнул вожжами, и воз остался позади. А погода распустился лес, коляска свернула на шоссе, и дальше пошли скошенные поля, – звон кузнечиков в канавах, гудение телеграфных столбов. Сейчас будет село Воскресенское, а еще через несколько минут – конец.

“Сказаться большим? Свалиться с козел?”, – уныло подумал Путя, когда показались первые избы.

Тесные белые штанишки резали в паху, желтые башмачки сильно жали, неприятно перебирали в животе. День предстоял гнетущий, отвратительный, но неизбежный.

Уже ехали селом, и откуда-то из-за изб и заборов отзывалось деревянное эхо на согласный копытный плеск. Мальчишки играли в городки на заросшей травой обочине, со звоном взлетали рюхи. Мелькнули серебряные шары и ястребиное чучело в саду местного лавочника. Собака, молча, копя лай, выбежала из-за ворот, перемахнула через канаву, и только тогда залилась лаем, когда догнала коляску. Протрусил верхом на гнедой, мохнатой деревенской лошадке, широко расставив локти и весь трясясь, мужик в рубахе, раздутой ветром и порванной на плече.

В конце села, на пригорке, среди густых лип, стояла красная церковь, а рядом с ней – небольшой белокаменный склеп, похожий формой на пасху. Раскрылся вид на реку, – вода была зеленая, цветая, местами словно подернутая парчой. Сбоку от спускающегося шоссе жалась приземистая кузница, – кто-то вывел на ее стене крупными меловыми буквами: “Да здравствует Сербия!” Стук копыт сделался вдруг звонким, упругим: ехали по мосту. Босой старик, опершись на перила, удил рыбу; у его ног блестела жестяная банка. Стук копыт смягчился снова; мост и рыбак и речная излучина отстали неоправимо.

Теперь коляска катилась по пыльной, пухлой дороге, обсаженной дородными березами. Сейчас, вот сейчас из-за парка, выглянет зеленая крыша, – усадьба Козловых. Путя знал по опыту, как все будет неловко и противно, и с охотой отдал бы свой новый велосипед “Свифт” – и что еще впридачу? – стальной лук, скажем, и пугач, и весь запас пробок, начиненных порохом, – чтобы сейчас быть за десять верст отсюда, у себя на мызе, и там проводить летний день, как всегда, в одиноких, чудесных играх.

Из парка пахло грибной сыростью, еловой темнотой, а затем показался угол дома и кирпичный песочек перед каменным подъездом.

“Дети в саду”, – сказала Анна Федоровна (Козлова), когда Путя с сестрой, пройдя через прохладные комнаты, где пахло гвоздиками, вышел на веранду; там сидело человек десять взрослых; Путя перед каждым расшаркивался, стараясь не чмокнуть по ошибке руку мужчине, как это однажды случилось. Сестра держала ладонь у него на темени, чего никогда не делала дома. Затем она села в плетеное кресло и необычайно повеселела. Все заговорили разом. Анна Федоровна взяла Путя за кисть, повела его вниз по ступеням, между лавровых и олеандровых кустов в зеленых кадках, и таинственно указала пальцем в сад. “Они там, – сказала она, – ты пойди к ним”. После чего она вернулась к гостям. Путя остался один на нижней ступени.

Начиналось прескверно. Необходимо было пройти через красную садовую площадку вон туда, в аллею, где среди солнечных пятен прыгали голоса, и что-то пестрело. Надо было проделать этот путь одному, приближаться, без конца приближаться, постепенно входить в поле зрения многих глаз.

Именинником был Володя Козлов, бойкий, насмешливый мальчик, одних с Путей лет. У Володи был брат Костя и две сестры, Бэби и Леля. Из соседнего имения приехали в шара-

банчике двое маленьких Корфов и сестра их Таня, милостивая девочка с прозрачной кожей, синевой под глазами и черной косой, схваченной над тонкой шеей белым бантом. Кроме них были три гимназиста и тринадцатилетний, крепкий, ладный, загорелый Вася Тучков. Играми руководил студент, Яков Семенович, воспитатель Володи и Кости, пухлявый, грудастый молодой человек, в белой косоворотке, с бритой головой и с пенсне без ободков на точеном носу, вовсе не шедшем к яйцевидной полноте его лица. Когда Путя, наконец, подошел, Яков Семенович и дети метали копьё в большую мишень из разноцветной соломы, прибитую к еловому стволу.

Последний раз Путя был у Козловых в Петербурге, на пасеке, и тогда показывали туманные картины: Яков Семенович читал вслух “Мцыри”, а другой студент орудовал волшебным фонарем. На мокрой простыне, в световом кругу, появлялась (судорожно набежав и остановившись) цветная картина, – например: Мцыри и прыгающий на него барс. Яков Семенович, прервав на минуту чтение, указывал палочкой на Мцыри и затем на барса; при этом палочка окрашивалась в цвета картины, и цвета потом соскальзывали, когда он палочку отодвигал. Каждая картина оставалась на простыне долго, так как их было только десять штук на всего “Мцыри”. Вася Тучков иногда поднимал в темноте руку, дотягивался до луча, и на полотне возникали растопыренные черные пальцы. Раза два студент у фонаря вставлял пластинку неправильно, картина выходила вверх ногами. Тучков хохотал, а Путя мучительно краснел за студента, – и вообще старался делать вид, что он страшно интересуется. Тогда же он познакомился с Танечкой Корф и с тех пор часто думал о ней, представляя себе, как спасает ее от разбойников, как пособляет ему и преданно любит его смелостью Вася (у которого, по слухам, был дома настоящий револьвер с перламутровой рукояткой).

Сейчас, расставив загорелые ноги, небрежно опустив левую руку на свой холщовый пояс с цепочкой и кожаным кошельком, Вася метил легким копьём в мишень, – вот раскочулся, вот попал в самую середину, и Яков Семенович громко сказал: “браво”. Путя осторожно вытащил копьё, тихо отошел, тихо прицелился и попал тоже в середину; этого, впрочем, никто не заметил, так как игра кончилась, и все были заняты другим: приволокли и поставили посреди аллеи нечто вроде низенького поставца, с круглыми дырками по верху и толстой металлической лягушкой, широко разинувшей рот. Следовало попасть свинцовым пятаком либо в одну из дырок, либо лягушке в рот. Пятак проваливался в отделение с цифрами, лягушкин рот оценивался в пятьсот очков. Бросали по очереди, каждый по несколько раз. Игра была довольно тягучая, и в ожидании своей очереди некоторые из детей залезли в черничные заросли под деревьями. Ягода была крупной, матово-синяя, и загоралась лиловым блеском, если тронуть ее замусоленным пальцем. Путя, присев на корточки и кротко покрякивая, набирал чернику в ладонь и потом совал в рот всю горсть. Так получалось особенно вкусно. Иногда попадал в рот вместе с ягодами жесткий листик. Вася Тучков нашел маленькую гусеницу с разноцветными пучками волосков вдоль спины (вроде как у зубной щетки) и спокойно проглотил ее, к общему восхищению. В парке постукивал дятел, над травой жужжали тяжелые шмели и вползали в бледные, склоняющиеся венчики боярских колокольчиков. С аллеи доносился стук бросков и зычный картавый голос Якова Семеновича, советовавший кому-то лучше целиться. Рядом с Путей нагнулась Таня и с необыкновенно внимательным выражением на бледном лице, полуоткрыв фиолетовые блестящие губы, ошаривала кустик. Путя, набравший в ладонь ягоду, молча предложил ей всю горсть, она милостиво ее приняла, и Путя начал набирать для нее еще порцию. Но тут настала ее очередь бросать пятак, и она побежала к аллее, высоко поднимая тонкие ноги в белых чулках.

Игра в лягушку начинала всем надоедать, одни пропустили свой черед, другие швыряли кое-как, а Вася Тучков запустил в лягушку камнем, и все рассмеялись, кроме Якова Семеновича и Пути. Володя, именинник, стал требовать, чтобы сыграли в палочку-стукалочку. Мальчишки Корф присоединились к этому, Таня запрыгала на одной ноге, хлопая в ладоши. “Нельзя, ребята, нельзя, – сказал Яков Семенович. – Через каких-нибудь полчаса мы поедем с вами на пикник, а если вы будете разгоряченные, то не исключена простуда”. “Ну пожалуйста, пожалуйста!” – затянули все. “Пожалуйста”, – тихо повторил

за другими Путя, решив, что устроится так, чтобы спрятаться вместе с Васей или Таней.

“Придется общую просьбу исполнить, – сказал Яков Семенович, любивший округлять свою речь. – Но только где же необходимое орудие?” Володя бросился по направлению куртин.

Путя подошел к зеленой скамье качалки, на которой стояли Таня, Леля и Вася; последний скакал и притоптывал так, что доска, кряхтя, дрыгала, и девочки вскрикивали и балансировали руками. “Падаю, падаю!” – воскликнула Таня и вместе с Лелей прыгнула на траву. “Хотите еще черники?” – предложил Путя. Она покачала головой, потом покосилась на Лелю и, обратившись к Путе, сказала: “Мы с Лелей решили больше с вами не разговаривать”. “Почему?” – пробормотал Путя, густо покраснев. “Потому что вы ломака”, – ответила она и, отвернувшись, вскочила на скамейку. Путя притворился, что поглощен разглядыванием курчаво-черной кротовинки с краю аллеи.

Между тем запыхавшийся Володя принес палочку, зеленую, острую, из тех, коими подкрепляют на клумбах пионы и георгины. Стали решать, кому быть стучальщиком. “Раз. Два. Три, – смешным повествовательным тоном начал Яков Семенович, тыча при каждом слове пальцем. – Четыре. Пять. Вышел зайчик. Погулять. Вдруг охотник (Яков Семенович остановился и сильно чихнул). Выбегает (...продолжал он, поправив пенсне). Прямо в зайчика. Стреляет. Пиф. Паф. Ой. Ой. Ой. У. Ми. Ра. Ет (слоги веско замедлялись). Зай. Чик. Мой”.

“Мой” пал на Путя. Но тут все остальные еще теснее обступили Якова Семеновича, умоляя, чтобы искал он. Раздавались возгласы: “Пожалуйста, это будет гораздо интереснее”. “Так и быть. Я согласен”, – ответил он, даже не взглянув на Путя.

В том месте, где аллея выходила на садовую площадку, стояла белая, местами облупившаяся скамейка с решетчатой, тоже белой, тоже облупившейся спинкой. На эту скамейку сел, держа в руках палочку, Яков Семенович, сгорбил жирную спину, плотно зажмурился и стал вслух считать до ста, давая этим время спрятаться. Вася и Таня, словно сговорившись, побегали в глубину парка, один из гимназистов стал за липу, в трех шагах от скамейки, – а Путя, с тоской посмотрев на пестрые тени парка, отвернулся и направился в другую сторону, к дому, решив засесть на веранде, – не на той, конечно, где взрослые пили чай и где пел по-итальянски граммофон со сверкающим рупором, – а на другой, наискосок от аллеи. Веранда, к счастью, оказалась пуста. Под цветными стеклами, бросавшими на них цветные отражения, тянулись мягкие лавки, обитые сизым сукном в махровых розах. Была там еще венская качалка, чисто вылизанная миска на полу и круглый стол, покрытый клетчатой клеенкой. На столе ничего не было, кроме чьих-то одиноко лежавших стариковских очков.

Путя подполз к многоцветному окну и замер у белого подоконника. Был виден поодаль на розовой скамейке розовый Яков Семенович неподвижно сгорбленный, под мелкой, рубиново-черной листвой. План Путия был прост: как только Яков Семенович досчитает до ста, стукнет палочкой, положит ее на скамейку и отойдет по направлению к парковым кустам, где были наиболее правдоподобные места для засады, – ринуться с веранды к скамейке, к палочке. Прошло полминуты. Голубой Яков Семенович сидел, согнувшись, под черносиними листьями и топал носком по серебристому песку в такт счету. Как весело было бы так ждать и поглядывать сквозь разные стекла, если бы Таня... За что? Что я такого сделал?

Меньше всего было простых белых стекол. Вот просеменяла по песку трясюгузка. В углах ромбовидных оконных рам были паутины. На подоконнике лежаладохлая муха. Яркойжелтый Яков Семенович встал с золотой скамейки и застучал по ней палочкой. В то же мгновение дверь на веранду открылась, и из полутемных комнат появилась сперва толстая рыжая такса, а затем – седая стриженная старушка в черном платье с тугим пояском, с большой брошкой в виде трилистника на груди и с цепочкой от часов вокруг шеи, – часы же были засунуты за пояс. Собака, очень лениво, бочком, спустилась по ступенькам в сад, а старушка, подойдя к столу, сердито схватила очки, за которыми и пришла. Вдруг она заметила Путя, сползшего на пол. “Priate-qui? Priate-qui?” – произнесла она (с тем шутовским выговором, с каким изъясняются по-русски старые француженки, прожившие у нас лет сорок). “Toute

n'est caroché”, – продолжала она, ласково глядя на смущенное, умоляющее Путино лицо. – “Sichasse rosajou caroché messt.”

Изумрудный Яков Семенович стоял, подбоченясь, на бледно-зеленом песке и смотрел сразу по всем направлениям. Путя, боясь скрипучего и светливого голоса старушки, – а еще пуще боясь ее обидеть отказом, – поспешно за ней последовал, но чувствовал при этом, что получается страшная чепуха. Она шла, цепко держа его за руку, через прохладные комнаты, – мимо белого рояля, гвоздик и гортензий, голубого ломберного стола, трехколесного велосипеда, деревянной болванки селезня, лосьих рогов, шкапов с книгами, – все это бестолково выскакивало из разных углов, и Путя с ужасом соображал, что старушка уводит его далеко, на другую сторону дома, – а как объяснить ей, не огорчив ее, что игра, в которую он играет, скорее засада, чем прятки, что нужно ловить мгновение, когда Яков Семенович достаточно далеко отойдет от палочки, дабы успеть добежать до нее и постучать? Она провела его через пять-шесть комнат, потом через коридор, потом вверх по лестнице, потом через светлую горницу, где на сундуке у окна сидела румяная женщина и вязала на спицах; женщина подняла глаза, улыбнулась и, опустив опять ресницы, продолжала вязать. Старушка ввела его в следующую комнату: там стоял обитый кожей диван и пустая птичья клетка. Между огромным, красно-бурым бельевым шкафом и изразцовой печкой была как бы темная ниша. “Votte”, – сказала старушка и, легким нажимом вправив его туда, удалилась в соседнюю комнату, где продолжался разговор, никакого отношения к Путе не имевший, и слушательница, та, что вязала, изредка восклицала с удивлением: “Скажите пожалуйста!”

Путя стоял в своем закуте (сначала на коленках, словно он, в самом деле, таился, но потом выпрямился), и смотрел оттуда на стену в равнодушно-лазурных завитках, на окно, за которым мерцала верхушка тополя. Равномерно и хрипло стучали часы, и это почему-то напоминало всякие скучные и грустные вещи.

Прошло очень много времени. Вдруг разговор по соседству стал медленно уплывать и замер в отдалении. Тишина. Путя вылез.

Спустившись по лестнице, он на цыпочках пробежал через комнаты (шкапы, рога, велосипед, голубой стол, рояль), и вот, в глубине ударила полоса цветного солнца, открытая дверь на веранду. Путя, крадучись, пробрался к стеклам и выбрал белое. На скамейке лежала зеленая палочка. Якова Семеновича не было видно; он, вероятно, отошел за те елки.

Путя, улыбаясь и волнуясь, прыгнул в сад и опрометью бросился к скамейке. Он еще бежал, когда заметил какую-то странную кругом неотзывчивость. Все же, не уменьшая скорости, он достиг скамейки и трижды стукнул палочкой. Впустую. Никого кругом не было. Трепетали солнечные пятна. По ручке скамейки ползла божья коровка, неряшливо выпустив из-под своего маленького крапчатого купола прозрачные кончики кое-как сложенных крыл.

Путя подождал несколько минут, озираясь исподлобья, и вдруг понял, что его забыли, игра давно кончилась, а никто не спохватился, что есть еще кое-кто ненайденный, тающийся, – забыли и уехали на пикник. Пикник же был единственным более или менее приятным обещанием этого дня, – приятно было, что взрослые не поедут, приятно было думать о печеном на костре картофеле, ватрушках с черникой, холодном чае в бутылках. Пикник отнялся, но с этим лишением можно было примириться. Главное состояло в другом.

Путя переглотнул и неуверенно направился к дому, помахивая зеленой палочкой и стараясь сдержать слезы. На веранде играли в карты, – донесся смех сестры, неприятный смех. Он обошел дом с другой стороны, смутно думая, что там где-то должен быть пруд, и можно оставить на берегу платок с меткой и свисток на белом шнурке, а самому незаметно отправиться домой... Вдруг, завернув за угол дома, к водокачке, он услышал знакомый шум голосов. Все тут были, – Яков Семенович, Вася, Таня, все остальные; они окружили мужика, который принес показать только что пойманного совенка. Совенок, толстенный, рябой, с прищуренными глазами, вертел головой, – вернее, не головой, а своим очкастым личиком, ибо нельзя было разобрать, где начинается голова и где кончается тело.

Путя приблизился. Вася Тучков оглянулся и, обратившись к Тане, сказал со смешком: “А вот идет ломака”.

Рождество

I

Вернувшись по вечеряющим снегам из села в свою мызу, Слепцов сел в угол, на низкий плюшевый стул, на котором он не сживал никогда. Так бывает после больших несчастий. Не брат родной, а случайный неприметный знакомый, с которым в обычное время ты и двух слов не скажешь, именно он толково, ласково поддерживает тебя, подает оброненную шляпу, – когда все кончено, и ты, пошатываясь, стучишь зубами, ничего не видишь от слез. С мебелью – то же самое. Во всякой комнате, даже очень уютной и до смешного маленькой, есть нежилой угол. Именно в такой угол и сел Слепцов.

Флигель соединен был деревянной галереей – теперь загроможденной сугробом – с главным домом, где жили летом. Не зачем было будить, согреть его, хозяин приехал из Петербурга всего на несколько дней и поселился в смежном флигеле, где белые изразцовые печки истопить – дело легкое.

В углу, на плюшевом стуле, хозяин сидел, словно в приемной у доктора. Комната плавала во тьме, в окно, сквозь стеклянные перья мороза, густо синел ранний вечер. Иван, тихий, тучный слуга, недавно сбривший себе усы, внес заправленную, керосиновым огнем налитую, лампу, поставил на стол и беззвучно опустил на нее шелковую клетку: розовый абажур. На мгновение в наклоненном зеркале отразилось его освещенное ухо и седой еж. Потом он вышел, мягко скрипнув дверь.

Тогда Слепцов поднял руку с колена, медленно на нее посмотрел. Между пальцев к тонкой складке кожи прилипла застывшая капля воска. Он растопырил пальцы, белая чешуйка треснула.

II

Когда на следующее утро, после ночи, прошедшей в мелких нелепых снах, вовсе не относившихся к его горю, Слепцов вышел на холодную веранду, так весело выстрелила под ногой половица, и на белую лавку легли райскими ромбами отраженные цветные стекла. Дверь поддалась не сразу, затем сладко хрюснула, и в лицо ударил блистательный мороз. Песком, будто рыжей корицей, усыпан был ледок, облепивший ступени крыльца, а с выступа крыши, остриями вниз, свисали толстые сосули, сквозящие зеленоватой синевой. Сугробы подступали к самым окнам флигеля, плотно держали в морозных тисках оглушенное деревянное строенье. Перед крыльцом чуть вздувались над гладким снегом белые купола клумб, а дальше сиял высокий парк, где каждый черный сучок окаймлен был серебром, и елки поджимали зеленые лапы под пухлым и сверкающим грузом.

Слепцов, в высоких валенках, в полушубке с каракулевым воротником, тихо зашагал по прямой, единственной расширенной тропе в эту слепительную глубину. Он удивлялся, что еще жив, что может чувствовать, как блестит снег, как ноют от мороза передние зубы. Он заметил даже, что оснеженный куст похож на застывший фонтан, и что на склоне сугроба – песьи следы, шафранные пятна, прожегшие наст. Немного дальше торчали столбы мостика, и тут Слепцов остановился. Горько, гневно столкнул с перил пушистый слой. Он сразу вспомнил, каким был этот мост летом. По склизким доскам, усеянным сережками, проходил его сын, ловким взмахом сачка срывал бабочку, севшую на перила. Вот он увидел отца. Неповторимым смехом играет лицо под загнутым краем потемневшей от солнца соломенной шляпы, рука тербит запечку и кожаный кошелек на широком поясе, весело расставлены милые, гладкие, коричневые ноги в коротких, саржевых штанах, в промокших сандалиях. Совсем недавно, в Петербурге, – радостно, жадно поговорив в бреду о школе, о велосипеде, о какой-то индийской бабочке, – он умер, и вчера Слепцов перевез тяжелый, словно всю жизнь наполненный гроб, в деревню, в маленький белокаменный склеп близ сельской церкви.

Было тихо, как бывает тихо только в погожий, морозный день. Слепцов, высоко подняв ногу, свернул с тропы и, оставая за собой в снегу синие ямы, пробрался между стволов

удивительно светлых деревьев к тому месту, где парк обрывался к реке. Далеко внизу, на белой глади, у проруби, горели вырезанные льды, а на том берегу, над снежными крышами изб, поднимались тихо и прямо розоватые струи дыма. Слепцов снял каракулевый колпак, прислонился к стволу. Где-то очень далеко кололи дрова, – каждый удар звонко отпрыгивал в небо, – а над белыми крышами придавленных изб, за легким серебряным туманом деревьев, слепо сиял церковный крест.

III

После обеда он поехал туда, – в старых санях с высокой прямой спинкой. На морозе туго хлопала селезенка вороного мерина, белые веера проплывали над самой шапкой, и спереди серебряной голубиной лоснились колеи. Приехав, он просидел около часу у могильной ограды, положив тяжелую руку в шерстяной перчатке на обжигающий сквозь шерсть чугун, и вернулся домой с чувством легкого разочарования, словно там, на погосте, он был еще дальше от сына, чем здесь, где под снегом хранились летние неисчислимы следы его быстрой сандалий.

Вечером, сурово затосковав, он велел отпереть большой дом. Когда дверь с тяжелым рыданием раскрылась, и пахло каким-то особенным, не зимним холодком из гулких железных сеней, Слепцов взял из рук сторожа лампу с жестяным рефлектором и вошел в дом один. Паркетные полы тревожно затрещали под его шагами. Комната за комнатой заполнялись желтым светом: мебель в саванах казалась незнакомой; вместо люстры висел с потолка незвонящий мешок, – и громадная тень Слепцова, медленно вытягивая руку, проплывала по стене, по серым квадратам занавешенных картин.

Войдя в комнату, где летом жил его сын, он поставил лампу на подоконник, и наполовину отвернул, ломая себе ногти, белые створчатые ставни, хотя все равно за окном была уже ночь. В темно-синем стекле загорелось желтое пламя – чуть коптящая лампа, – и скользнуло его большое, бородатое лицо.

Он сел у голого письменного стола, строго, исподлобья, оглядел бледные в синеватых розах стены, узкий шкаф вроде конторского, с выдвигаемыми ящиками снизу доверху, диван и кресла в чехлах, – и вдруг, уронив голову на стол, страстно и шумно затрясся, прижимая то губы, то мокрую щеку к холодному пыльному дереву и цепляясь руками за крайние углы.

В столе он нашел тетради, расправилки, коробку из-под английских бисквитов с крупным индийским коконом, стоившим три рубля. О нем сын вспоминал, когда болел, жалел, что оставил, но утешал себя тем, что куколка в нем, вероятно, мертвая. Нашел он и порванный сачок – кисейный мешок на складном обруче, и от кисеи еще пахло летом, травяным зноем.

Потом, горбясь, всхлипывая всем корпусом, он принялся выдвигать один за другим стеклянные ящики шкафа. При тусклом свете лампы шелком отливали под стеклом ровные ряды бабочек. Тут, в этой комнате, вон на этом столе, сын расправлял свою поимку, пробивал мохнатую спинку черной булавкой, втыкал бабочку в пробковую шель между раздвижных дощечек, распластывал, закреплял полосами бумаги еще свежие, мягкие крылья. Теперь они давно высохли – нежно поблескивают под стеклом хвостатые махаоны, небеснолазурные мотыльки, рыжие крупные бабочки в черных крапинках, с перламутровым исподом. И сын произносил латынь их названий слегка картаво, с торжеством или пребрежением.

IV

Ночь была сизая, лунная; тонкие тучи, как свиные перья, рассыпались по небу, но не касались легкой ледяной луны. Деревья – груды серого инея – отбрасывали черную тень на сугробы, загоравшиеся там и сям металлической искрой. Во флигеле, в жарко натопленной плюшевой гостиной, Иван поставил на стол аршинную елку в глиняном горшке и как раз подвязывал к ее крестообразной макушке свечу, – когда Слепцов, озябший, заплаканный, с пятнами темной пыли, приставшей к щеке, пришел из большого дома, неся деревянный ящик под мышкой. Увидя на столе елку, он спросил рассеянно, думая о своем:

– Зачем это?

Иван, освобождая его от ящика, низким круглым голосом ответил:

– Праздничек завтра.

– Не надо, – убери... – поморщился Слепцов, и сам подумал: “Неужто сегодня сочельник? Как это я забыл?”

Иван мягко настаивал:

– Зеленая. Пускай постоит...

– Пожалуйста, убери, – повторил Слепцов и нагнулся над принесенным ящиком. В нем он собрал вещи сына – сачок, бисквитную коробку с каменным коконом, расправилки, булавки в лаковой шкатулке, синюю тетрадь. Первый лист тетради был наполовину вырван, на торчавшем клочке осталась часть французской диктовки. Дальше шла запись по дням, названия пойманных бабочек и другие заметы: “Ходил по болоту до Боровичей...”, “Сегодня идет дождь, играл в шашки с папой, потом читал скучнейшую “Фрегат Палладу”, “Чудный жаркий день. Вечером ездил на велосипеде. В глаз попала мошка. Проезжал, нарочно два раза, мимо ее дачи, но ее не видел...”

Слепцов поднял голову, проглотил что-то – горячее, огромное. О ком это сын пишет?

“Ездил, как всегда, на велосипеде”, стояло дальше. “Мы почти переглянулись. Моя прелесть, моя радость...”

– Это невысказано, – прошептал Слепцов, – я ведь никогда не узнаю...

Он опять наклонился, жадно разбирая детский почерк, поднимающийся, заворачивающийся на полях.

“Сегодня – первый экземпляр траурницы. Это значит – осень. Вечером шел дождь. Она, вероятно, уехала, а я с нею так и не познакомился. Прощай, моя радость. Я ужасно тоскую...”

“Он ничего не говорил мне...” – вспоминал Слепцов, потирая ладонью лоб.

А на последней странице был рисунок пером: слон – как видишь его сзади, – две толстых тумбы, углы ушей и хвостик.

Слепцов встал. Затряс головой, удерживая приступ страшных сухих рыданий.

– Я больше не могу... – простонал он, растягивая слова, и повторил еще протяжнее: – не – могу – больше...

“Завтра Рождество, – скороговоркой пронеслось у него в голове. – А я умру. Конечно. Это так просто. Сегодня же...”

Он вытащил платок, вытер глаза, бороду, щеки. На платке остались темные полосы.

– ... Смерть, – тихо сказал Слепцов, как бы кончая длинное предложение.

Тикали часы. На синем стекле окна теснились узоры мороза. Открытая тетрадь сияла на столе, рядом сквозила светом кисея сачка, блестел жестяной угол коробки. Слепцов зажмурился, и на мгновение ему показалось, что до конца понятна, до конца обнажена земная жизнь – горестная до ужаса, униженно бесцельная, бесплодная, лишенная чудес...

И в то же мгновение шелкнуло что-то – тонкий звук – как будто лопнула натянутая резина. Слепцов открыл глаза и увидел: в бисквитной коробке торчит прорванный кокон, а по стене, над столом, быстро ползет вверх черное сморщенное существо величиной с мышь. Оно остановилось, вцепившись шестью черными мохнатыми лапками в стену, и стало странно трепетать. Оно вылупилось оттого, что изменяющийся от горя человек перенес жестяную коробку к себе, в теплую комнату, оно вырвалось оттого, что сквозь тугий шелк кокона проникло тепло, оно так долго ожидало этого, так напряженно набиралось сил и вот теперь, вырвавшись, медленно и чудесно росло. Медленно разворачивались смятые лоскутки, бархатные бахромки, крепи, наливаясь воздухом, веерные жилы. Оно стало крылатым незаметно, как незаметно становится прекрасным мужающее лицо. И крылья – еще слабые, еще влажные – все продолжали расти, расправляться, вот развернулись до предела, положенного им богом, – и на стене уже была – вместо комочка, вместо черной мыши, – громадная ночная бабочка, индийский шелкопряд, что летает, как птица, в сумраке, вокруг фонарей Бомбея.

И тогда простертые крылья, загнутые на концах, темно-бархатные, с четырьмя слюдяными оконцами, вздохнули в порыве нежного, восхитительного, почти человеческого счастья.

ПОДРАЖАНИЕ ДРЕВНИМ

Дия, мой бледный цветок, поверь ты случайному другу!
Звезд непорочных полна мраморной просади глубь.
Муж твой не видит, вставай, уходи ты отсюда, молю я!
Дышит стоокая ткань, сердце амфоры горит:
Ластятся к тучному богу блудницы, как легкие волны:
брови блаженно подняв, пьет он, чудовищный Вахк:
Пьет он, и липкая влага, рыжую шерсть обагрив,
льется по жирной груди. Тут же, в сияньи цветном,
выпятив смуглый живот, пьяный мальчик, смеясь орошает
смятый, упавший венок рдяных, уродливых роз.
Песни. Бесстыдные стоны. Золотоногая дева
вьется средь томных гостей, вторя движеньям любви:
вот разбежался один, поймал на лету глясунью,
и покатился тимпан по полу, празднo звеня.

Дия, молю я, уйдем! Твой муж поседелый, беззубый,
спит, благодарно прильнув к вялому юноше... Встань,
выйдем мы в сад незаметно: там тихо, пустынно: грозди
лунного света и мглы пышно свисают с ветвей.
Сочная ночь над землей алмазным стоит вертоградом;
жажду полней утолит сладость холодная звезд.

Дия, мои корабли ожидают в недалеком заливе!
В край увезу я тебя стройный, как зодчего сон...
Горы там, горы одне! Голубые, немые вершины,
гордо проворвав облака, внемлют бесплотным богам...
Будем мы там пировать в гостях у луны величавой,
рядом, на черной скале... Дия, мой бледный цветок...

Стихотворение Набокова не датировано. Беловой автограф, написанный по старой орфографии черными чернилами на листе линованной бумаги, хранится в ЦГАЛИ в фонде писателя Виктора Яковлевича Ирецкого. Фонд этот поступил в Советский Союз вместе с богатейшим собранием Русского заграничного исторического архива в Праге, подаренным после второй мировой войны правительством Чехословакии СССР.

Стихотворение “Подражание древним” не вошло в посмертно изданный том стихов Набокова. Автор сам пересматривал и отбирал стихотворения для издания; отбор, по свидетельству вдовы писателя, которая после смерти Набокова выпустила книгу, был весьма строг и взыскателен.

Стилизация в духе античности для поэтов XIX в. была как бы обязательным упражнением в мастерстве. В XX в. высокие образцы этого жанра дал М.А.Кузмин в “Александрийских песнях”. Для поэзии же Набокова подобные стилизации – явление нехарактерное; насколько нам известно, публикуемое стихотворение – единственное в этом роде.

* * *

На смерть Ю.И.Айхенвальда

Перешел ты в новое жилище,
и другому отдадут на днях
комнату, где жил писатель нищий,
иностранец с книгою в руках.

Тихо было в комнате: страница
изредка шуршала; за окном
вспыхивала темная столица
голубым трамвайным огоньком.

В плотный гроб судьба тебя сложила,
Как очки разбитые в футляр...
Тихо было в комнате, но жило
в ней волнение, сокровенный жар.

Ничего не слышали соседи,
а с тобою голос говорил,
то как гул колышущейся меди,
то как трепет ласточкиных крыл,

голос муз, высокое веселье...
Для тебя тот голос не потчух
там, где неземное новоселье
ныне празднует твой дух.

Берлин. 1929

Творчество Набокова, составляющее неотъемлемую часть русской литературы, со временем займет принадлежащее ему по праву место в отечественной культуре. Подобно тому, как лет тридцать назад это произошло с написанными в эмиграции произведениями И.А.Бунина.

Вслед за публикацией текстов, их осмыслением, критической и литературоведческой интерпретацией и анализом должно последовать изучение биографии автора. Ни научной, ни сколько-нибудь подробной биографии Набокова у нас пока нет. Разумеется, такая биография должна опираться на соответствующую источниковую базу в виде архивных документов, переписки, дневников, мемуаров и т.д. Документы, связанные с именем Набокова, хранящиеся в советских архивах, в основном отражают первые десятилетия его жизни (можно предположить, что такие документы обнаружатся, например, в фонде Тенишевского училища, где Набоков учился, или в редакционном портфеле газеты "Речь", где печатались его юношеские стихи). Документы же, отражающие эмигрантский, наиболее значительный для его творчества период жизни, по понятным причинам в архивохранилищах СССР насчитываются единицами. Тем больший интерес представляет письмо В.В.Набокова с припиской его жены Веры, адресованное литературоведу и критику Ю.И.Айхенвальду (1872-1928), с 1922 г. жившему в Берлине (ЦГА-ЛИ, ф. 1175, оп. 2, ед. хр. 133). Выше можно прочесть стихотворение Набокова, написанное на смерть Айхенвальда, одновременно погибшего по нелепой случайности под колесами трамвая. Письмо отправлено в Берлин из курортного пансиона "Вилла Брунгильда" на берегу Балтики, где Набоковы отдыхали летом 1927 года. Написано черными чернилами, красивым отчетливым почерком на листе почтовой бумаги. Орфография старая. Приписка Веры Набоковой не уместилась на листе полностью, и последние строки написаны ею на полях. Вот текст письма:

29/15 VII – 27. Villa Brunhilda. Binz
Дорогой Юлий Исаевич,
не знаю, как и благодарить вас за "ангельскую" телеграмму! С тех пор как именины и чужбина стали рифмовать, мне несвело 15-го числа. Горькая и довольно скверная рифма. И я вспоминаю деревенские именины, белый стол в пятнах теней, накрытый в аллее, русский вечер, русских мошек, запах грибов и гелиотропа, зеленую гусеницу, спускающуюся на ниточке прямо в бокал. Сколько лет прошло, – а не слабеет удар воспоминанья.

Я сегодня пробежал по пляжу верст пять, снял трусики, свернул в лесок и там совершенно один и совершенно голый бродил, лежал на траве, высматривал бабочек, – и чувствовал себя сущим Тарзаном: чудесное ощущение! Тут хорошо. Верин загар розоватокоричневый, мой же глубокого оранжевого оттенка. Мы с ней часами лежим на песке – а не то бархатаемся в воде или играем в мяч. Мальчики, наши учени-

Письмо Веры и Владимира Набоковых Ю.И.Айхенвальду



Паспорт жены писателя Веры Набоковой. Справа – фотография сына Набоковых Дмитрия в возрасте пяти лет. Париж. Апрель 1940 года

ки, оказались прелестными: они измываются над моим немецким языком. Море – не байроново море и не Черное море Пушкина ("... неизъяснимой синевой...") и не тютчевское море ("... копыта брошишь в звонкий брег..."), а скорее море Блока, сизое, легкое, едва соленое. И это море, и белесый песок, и сосны, и тысяча полосатых будок на пляже, и русская чета в вилле Брунгильда, – все зовет вас, дорогой Юлий Исаевич, приехать покупаться в море и покопаться в песке. Решитесь! Тут, между прочим, есть настоящие русские оводы (но комаров и домашних насекомых нет).

Беру в библиотеке французские романы и читаю на пляже. Попался мне "Le roman Rouge" Catulle Mendès. Это о России (в семидесятых годах). Ну и клюква! (вероятно, потому роман и назван "rouge"). Автор рассказывает, что всякая исповедь доносится священником в трюме отдельнее и что поп всегда женится на вдове другого попа. У каждого "noble" имеются "doroovies" (дворовые!).

Сейчас вечер, тепло, скоро будем ужинать. Позвольте еще раз вам сказать, как я тронут был вашей телеграммой, и крепко, крепко пожать вашу руку. Бедный член четвертой Думы!

В.Набоков

Милый, славный Юлий Исаевич, мы очень тронуты Вашей телеграммой.

Очень хотела бы, чтобы Вы приехали хоть немного отдохнуть от Берлинской пыли. Здесь прелестно и солнечно (кроме нескольких дождливых дней, которых мы стараемся не замечать). Володя разленился вконец, ни о каких писаньях не слышать. Как живется Вам в Берлине? Скучно, я думаю: все разъехались. Вернулись ли Татариновы, или не испугались революции? Сердечный привет. Приезжайте.

В.Набокова

Это небольшое письмо написано по сугубо конкретному поводу, – дабы выразить благодарность Ю.И.Айхенвальду за поздравления и пригласить его отдохнуть в пансионат. Тем не менее оно немаловажно для будущих биографов Набокова и исследователей его творчества.

Прежде всего, обращает на себя внимание чувство ностальгии, которое проходит через все короткое послание Айхенвальду и выражено со свойственным Набокову стилистическим блеском. Он был талантлив и в письмах, но литературный блеск не затмевает отчетливо прочитывающейся горечи.

Мотив, связывающий письмо Набокова с его произведениями – ненависть к мешанству, к пошлости (слово, для которого Набоков не смог найти эквивалента ни в одном европейском языке). Набоков чувствует пошлость даже в самых, казалось бы, неуловимых ее проявлениях. Так, писать обращение "вы" с заглавной буквы, Набоков считал "писарской вежливостью", не предусмотренной правилами грамматики (его жена, не вдаваясь в такие тонкости, пишет "Вы", как и принято с заглавной буквы). Сюда примыкает и вышучивание "Красного романа" Катюля Медеса, французского автора, который, плохо зная Россию, попытался удовлетворить интерес буржуазных обывателей к жизни русских революционеров-нигилистов XIX в.

Письмо Айхенвальду может служить и своеобразным комментарием к некоторым произведениям Набокова, помогающим понять отдельные приемы его художественного метода. Это относится, в первую очередь, к роману "Дар", с которым познакомил читателей журнал "Урал". Герою "Дара", Годунову-Чердынцеву, alter ego автора, могли бы принадлежать мысли о пушкинском, тютчевском и блоковском море, высказанные Набоковым. Больше того, описание Набоковым того, как он загорал в лесу, прямо соотносится с одной из сцен романа, с той разницей, что Набоков почувствовал себя в лесу Тарзаном – героем боевика Э.-Р.Берроуза, бывшего тогда в большой моде, а Годунов-Чердынцев в сходной ситуации ощущает себя Адамом.

"Бедный член четвертой Думы", о котором вспоминает Набоков – это его отец, Владимир Дмитриевич Набоков. Как известно, В.Д.Набоков был застрелен в 1922 г. в Берлине, когда произошло покушение на лидера кадетской партии П.Н.Милюкова и В.Д.Набоков прикрыв его собой от пули.

Публикация стихов и письма и комментарий С.В.ШУМИХИНА

Театральный мир
отмечает в этом году
125-летие

К.С.Станиславского,
гения отечественной культуры,
великого реформатора сцены,
великого режиссера.

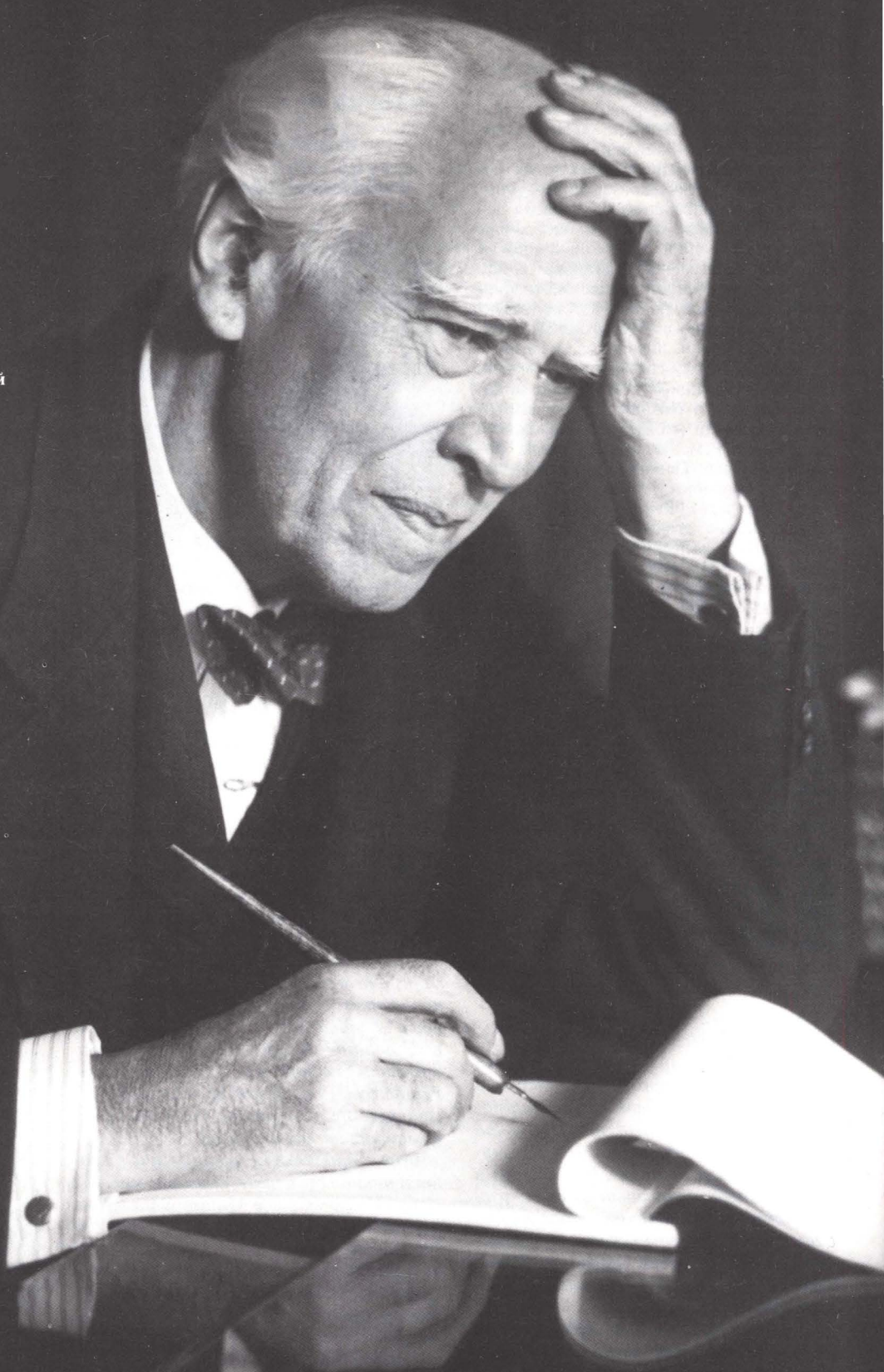
Сам юбилей
был торжественным,
но и деловым.

Во всяком случае,
он не был чисто ритуальным.
Оказалось, что Станиславский
близок и нужен сейчас всем,
нужен его мужественный голос,
его вера в театр и в то,
что основой театра может быть
лишь "жизнь человеческого духа".

Наследие Станиславского
вновь, как и полвека назад,
вызывает повышенный и повсеместный
интерес.

Не меньший интерес вызывает
и сама его личность.

Урок Станиславского
не забывается
и никогда не будет забыт.
Его "жизнь в искусстве" –
вечный пример.



МОСКОВСКИЙ ГАМЛЕТ

ВАДИМ ГАЕВСКИЙ

В молодости Станиславский мечтал быть оперным певцом, в зрелые годы – актером-трагиком, наподобие Томмазо Сальвини. Он брал уроки пения (у тенора Федора Комиссаржевского, отца знаменитой актрисы), у него был природный бас, и ему была дана природная музыкальность, но по каким-то причинам, за которые мы должны быть благодарны судьбе, певец из Станиславского не получился. Сам Константин Сергеевич говорит об этом не без сожаления, но и без обиняков, в обычной своей подкупающе-искренней манере. Оперная карьера так и осталась обманувшей юношеской мечтой. Но увлечение оперой не прошло бесследно. В сезоне 1918/19 годов Станиславский организовал Оперную студию при Большом театре и вскоре поставил “Евгения Онегина” с молодыми певцами, которых он учил проживать каждую роль и дорожить каждой нотой. “Онегин” – первый ностальгический спектакль на русской сцене. В него вошла никогда не покидавшая Станиславского любовь к Чайковскому, Пушкину и пушкинской Москве, но кроме того, “жажда основ и мастерства, с одной стороны, и отвращение к дилетантизму – с другой”: вопреки устойчивому предрасудку, Станиславский ставил виртуозность очень высоко, не представлял без нее театра.

Существовала и более глубокая связь между оперой и Станиславским-актером. По-видимому, та красочная идеальность, которая была присуща ему, питалась впечатлениями детских и юношеских лет, ярчайшими впечатлениями, полученными в Большом театре. Достаточно перечитать страницы “Моей жизни в искусстве”, посвященные гастролерам – великим итальянским певцам, или же многочисленные строки о Шаляпине (а это был один из немногих людей, с которыми Станиславский был на “ты”), чтобы представить себе, каким могучим было воздействие оперных корифеев на феноменально восприимчивого любителя-москвича, притом что вкус к опере в Москве был особенным, похожим на культ, сравнимым лишь с петербургским культом балета.

Здесь надо искать генезис художественного облика Станиславского-актера. Гениальность же его состояла в другом – в целой серии блестящих психологических открытий. Станиславский по-новому взглянул на театральный персонаж. Он открыл для себя существование внутреннего образа человека. За несколько лет до появления чеховских пьес Станиславский стал строить характер на парадоксе, на алогичной игре, на несовпадении внешнего и внутреннего образа, чего не делал ни один характерный актер традиционного типа. Но именно это предполагала сентенция, к которой Станиславский пришел еще в сезоне 1889–1890 годов: “Когда

играешь злого, ищи, где он добрый”. Школа Станиславского – школа разгадчиков человеческих тайн, исследователей, виртуозов аналитиков, виртуозов-поэтов. Не довольствуясь более внешней техникой и речевой манерой старых мастеров, Станиславский дал новое измерение актерской работе. Он развернул ее вглубь. Он заговорил о “подводном течении”, о “сверхсознательном” и “интуитивном”. Первостепенное значение получил подтекст. Станиславский первым понял, – а может быть, угадал – спасительную роль подтекста для судеб театра и в жизни самих людей наступающего века. Подтекст Станиславского есть пространство души и есть условие человеческой свободы. Подтекст есть то, что поддерживает связи между людьми. Текст может разрушить эти связи, подтекст может их восстановить. Из такого понимания подтекста возникли знаменитые паузы Художественного театра. И, как ни парадоксально, отсюда возникли и не менее знаменитые “шумы”, все эти звуки и голоса, над которыми так много и так недобро смеялись. Человек в спектаклях Художественного театра существовал не сам по себе, а в связи с живущим миром и живущими другими людьми, в одушевленной среде, подобной воздушной среде, открытой художниками-импрессионистами. Негромкая музыка жизни наполняла спектакли, скрытая музыка человеческих ожиданий. В конечном счете все сводилось к разрушению рационалистических стереотипов, на которые опирался традиционный театр. Станиславский по-новому – и в духе новых идей – представлял себе структуру внутреннего мира человека. Он и играл новизну, обновление, новых прекрасных героев.

Проще сказать, Станиславский играл новых людей, появившихся в России, и прежде всего в Москве, на рубеже двух столетий. А может быть, именно он дал им облик и силуэт, перевел неуловимый и только еще определявшийся душевный склад на язык интонаций и жестов. Почти каждый его чеховский, а отчасти и горьковский и тургеневский персонаж – портрет просвещенного московского интеллигента. Это совсем не петербургский разночинец и тем более не петербургский дворянин, он чужд роковых страстей и несбыточных социальных стремлений. Это человек высокой мечты, а вместе с тем – реального дела. Это деятельный идеалист, деятельный подвизник. Это московский Гамлет. Впрочем, Б.Алперс, известный советский театровед, писал, что во всех ролях Станиславского присутствовал “вечный спутник”, – Алперс имел в виду Дон Кихота. Но постоянным спутником Станиславского был и гамлетизм, в той или иной мере присущий москвичам его времени и его круга.

К Шекспиру и к высокой трагедии Станиславский тянулся всю жизнь. Мы уже говорили, как много для него значил Сальвини в роли Отелло. Еще до организации Художественного театра, еще в Московском обществе искусства и литературы во второй половине 90-х годов, Станиславский сам сыграл “Отелло” – отчасти, чтобы проверить себя, отчасти, чтобы освободиться от магической власти своего кумира. Успеха он не имел, хотя обликом и статью своей, казалось, был создан для трагического репертуара. С тех пор повелось считать, что Станиславский не трагедийный актер, так полагал Немирович-Данченко, с этим соглашались критики и друзья, в конце концов в это поверил и сам Станиславский. И лишь один человек несколько не сомневался в том, что Станиславский – великий трагик, может быть, первый трагик Европы. Этого человека звали Гордон Крэг. Роль Гамлета в своем знаменитом спектакле он предназначал для Станиславского, но Немирович-Данченко настоял, и Гамлета сыграл Качалов.

Не нам вступать в давний спор, но очевидно, что Крэг исходил из нетрадиционного представления о шекспировском театре. Ему нужна была необыкновенная красота Станиславского, его внутреннее одушевление, его почти неправдоподобная внутренняя свобода. А более всего ему нужно было мужество Станиславского, героическое приятие жизни. Стихийным темпераментом Станиславский не обладал, он был Гамлетом чеховской эпохи. Внешняя манера его нередко была очень простой, а внутренний образ – красочным и укрупненным. Точный в деталях, в жанровых красках, как и любой мхатовский актер, Станиславский выходил далеко за пределы характерности, за рамки жанра. Он играл характерные черты людей и играл царственную сущность человека. Царственным выглядел и карточный шулер, и неродовитый князь, и старый измученный музыкант, и полный сил артиллерийский подполковник. Даже увидев лишь фотографию, лицо подполковника Вершинина – Станиславского трудно забыть: оно и в самом деле прекрасно. Вспоминаются слова Астрова, другого персонажа Станиславского: “В человеке должно быть все прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли”. Есть абсолютная достоверность в этом военном с эполетами, со шпагой и в чеховском пенсне с длинным шнурком, и есть какая-то ослепительная театральность. Это подлинный Чехов, но и что-то еще. А может быть, это тот Чехов, которого нам предстоит открывать; Чехов высокой трагедии, Чехов – театральный романтик.

Очевидно, что и эту роль окрашивал гамлетизм. Впрочем, вся жизнь Константина Сергеевича Станиславского складывалась по законам шекспировской драмы.

С приходом Станиславского возникла ситуация, которую старый театр не знал, да и, по-видимому, не считал возможной. Дала трещину классическая гармония артиста и времени, артиста и среды, пришел конец патриархальным отношениям публики и артиста. Станиславского ожидала иная, более драматичная судьба. Он был художником, порывавшим со своей средой и опережавшим свое время. По темпераменту Станиславский несколько не походил на Мейерхольда, вечно мятущегося и вечно мятежного ученика, которого "страсть к разрывам", говоря пастернаковскими словами, и в самом деле манила. От фабриканта-отца, от своих предков, ярославских крестьян, Станиславский унаследовал совсем другую страсть: страсть к упорядоченному труду, к хорошо и надолго поставленному делу. Он был безукоризненный семьянин, безупречный деловой человек и основал Художественный театр как бы на началах некоторой идеальной семьи и некоторого идеального дела. Своих учителей он бесконечно почитал, своих учеников опекал и нежно любил, а в трудную минуту, как это случилось с Мейерхольдом в 1938 году, приходил им на помощь, поднявшись над былыми распрями, не вспоминая пережитых обид и не думая об опасностях, которым подвергал его благороднейший и бескорыстнейший жест: благодеяние было его второй натурой. И все-таки наступал момент, когда соображения обычного порядка отступали на второй план, деловые интересы переставали играть какую бы то ни было роль, человеческие привязанности не останавливали больше, и Станиславский с болью в душе шел на разрыв со многим из того, что было дорого для него, что составляло смысл его жизни. Так складывались его отношения с Малым театром, традиции которого он впитал, и точно так же складывались отношения с Художественным театром, традиции которого им создавались. Идиллия возникала редко, а чаще возникал конфликт. И сколько раз этот великий искатель оказывался в оппозиции к большинству, и сколько раз великий оппозиционер попадал в положение одиночки в собственном стане!

Совершенно случайно две лучшие роли Станиславского его ранней поры, принесшие ему огромный успех, признание и нечто большее – совершенно особое положение, совершенно особое имя, – это Уриэль Акоста и доктор Штокман, два максималиста, бросающих вызов старым догмам и сплоченной толпе, жертвующих личным счастьем, два человека идеи.

Идея, которой Станиславский служил, была идея высшей правды. Он искал к высшей правде различные пути (все эти известные, сменявшие друг друга "линии" Художественного театра: "линия историко-бытовая", "линия фантастики", "линия символизма и импрессионизма", "линия интуиции и чувства"), он понимал высшую правду широко – как художник, как мыслитель и как моралист, а главное, самое суще-

ственное для него: в высшую правду он глубоко верил. В высшую правду верил и каждый его лирический персонаж: и Сатин, и князь Абрезков, и подполковник Вершинин. Вне высшей правды, по Станиславскому, нет ничего, ради чего стоит жить, нет ни искусства, ни человека.

Понятие это для Станиславского имеет универсальный смысл: оно важнейший, если не единственный, критерий режиссуры и актерской игры и в то же время важнейший, если не единственный, императив человеческого духа. Носитель же высшей правды – это актер, актер драматического и музыкального театра.

Здесь узел противоречий, с которыми Станиславский сталкивался всю жизнь, здесь источник внутренних драм, причина бурных внезапных разрывов. Потому что Станиславский, поднявший образ актера на небывалую высоту и все делавший для того, чтобы утвердить главенствующую роль актера на современной сцене, Станиславский, сам актер по призванию, по страсти и по крови своей, сам гипнотическая личность и в ярчайших словах описавший актерский гипнотизм, этот Станиславский если кого и ненавидел всю жизнь, то именно актера, Актер Актеровича, актера-каботина. Актер-лицедей казался ему актером-лжецом, олицетворением художественной, человеческой, и социальной неправды. Разоблачению актера-лжеца посвящены его книги, а также статьи, к разоблачению актера-лжеца нередко сводились его бесчисленные, длительные и часто казавшиеся инквизиторскими режиссерские эскерсисы. Хотя как сказать: кто был инквизитором, а кто – жертвой? Знаменитое "не верю!" Станиславского, отвергавшее актерскую приблизительность, неточность и фальшь, – это "не верю!" звучало и как заклятие, и как "сгины!", и как "чур, меня!", и как голос упорствующей истины, и как глас вопиющего в пустыне. Читаешь рассказы о репетициях, прерываемых "не верю!" на каждом шагу, и видишь мизансцену, напоминающую современный спектакль: на сцене молодежь, да и не очень молодые артисты, которые все умеют, все понимают и не веруют ни во что, а за режиссерским столиком одинокий вдохновенный старик, и в глазах у него – аввакумов огонь, а в душе страсть Гамлета, Штокмана или Уриэля Акосты.

Режиссерская техника Станиславского сводилась к тому, чтобы мотивировать и обосновать каждую реплику, каждый жест и каждое действие актера на сцене. А его общая художественная установка заключалась в том, чтобы дать высокие этические оправдания театру. Сын фабриканта и сам фабрикант, весьма успешный в делах и весьма умелый в практических вопросах, Станиславский отвергал какой бы то ни было цинизм – все равно, практический или идейный, издавна распространенный в актерской среде и особенно широко распространившийся в XX веке.

Отвергал он способность актеров с равным усердием служить добру и злу,

свободе и деспотии. И особенно яростно отвергал он актерское презрение к труду, привычку к праздности, бездеятельности духа.

Среди множества славных имен, упомянутых на страницах "Моей жизни в искусстве", лишь одно поминается безо всякого энтузиазма. Этот враг Станиславского, его антипод в пантеоне великих имен – англичанин Эдмунд Кин, правда не Кин из реальной истории, а из пьесы Дюма, герой неумирающей театральной легенды. Пьеса Дюма называется "Кин, или Беспутство и гениальность", создан образ гениальности, не опирающейся ни на труд, ни на долг, ни на мысль, ни на какую бы то ни было культуру, и сотни актеров, все свободное время проводившие в миллиардных и портерных, хранили в душе этот образ, лелеяли эту мечту в уверенности, что в нужный момент их посетит озарение, дар Аполлона, бесценный дар небес и что в этом-то состоит благородная привилегия актера. С подобной философией творчества Станиславский боролся всю жизнь. "Гений и беспутство" – для него две вещи несовместные. Слово "беспутство" вообще не из его словаря, он предпочитал другое слово – "работа". "Работа актера над собой" – называется одна из его книг, "Работа актера над ролью" – другая. Книги давно стали хрестоматийными, и нас перестал задавать заключенный в названиях полемический смысл. А между тем надо было обладать немалой решимостью, чтобы так озглавить театральный трактат, чтобы так – с открытым забралом – бросить вызов тирании толпы и закоренелым актерским предрассудкам.

Конечно же, и до Станиславского выдающиеся актеры работали и "над ролью", и "над собой", и Станиславский знал это лучше других: примерами такой напряженной работы пестрят страницы его воспоминаний. Но Станиславский был, по-видимому, первым, кто заговорил об этом вслух, и, что важнее, он поднялся над эмпирическим индивидуальным опытом одиноких мастеров и создал глубоко разработанную универсальную систему. Он разработал комплекс понятий, придумал терминологию, которой отныне пользуется театральный мир, дал наименование многим непознанным сторонам актерской игры – к загадкам актерской игры он подошел как к научной проблеме. Вот о ком можно сказать, что он поверил алгеброй гармонию, и это будут не пустые слова. Тема Сальери занимает особое место в его жизни.

В 1915 году Станиславский сыграл Сальери в пушкинском спектакле, поставленном в Художественном театре Немировичем-Данченко и Александром Бенуа. Многое было вложено в эту роль. "За каждым словом роли накоплен огромный духовный материал, каждая мелочь которого была так дорога, что я не мог расстаться с нею", – пишет Станиславский, а чуть раньше объясняет свой замысел, очень глубокий, пророческий, по-пушкински необозримый. Станиславский задумал сыграть то, с чем столкнет нас нынешний век: трагедии

дию теоретического мышления, трагедию преступного долга. И тем не менее роль не получилась, с самого начала не пошла, и пушкинский спектакль стал страшнейшим провалом в его жизни. “Я жестоко провалился в роли Сальери”, – признается он сам, объясняя неудачу свою неумением произносить стихотворную речь на сцене.

Подумаем и мы, что означает этот провал, а означает он вот что: актер Станиславский, которого образ Сальери волновал, не смог до конца идентифицировать себя с ним, не смог оправдать убийство Моцарта, не смог убедительно сыграть неверие в высшую правду. Ненавидя всем сердцем мнимых моцартов, праздных гуляк, Станиславский сам был Моцартом, сам был богом. Он это знал, и он знал, что Моцарт и есть высшая правда.

Он это знал, но, может быть, не всегда с этим соглашался.

В душе Станиславского от рождения жил аскетический моралист и артист мольеровского склада и типа – недаром он любил оперу, оперетту, балет, и сам замечательно играл Мольера. Артистичность и аскетизм – два полюса этой сложной, очень много воспринявшей натуры. Аскет–Станиславский предпочитал правдоподобие и строгий коричневый цвет, в который окрашен зал Художественного театра. Артист–Станиславский любил праздники, буйную фантазию и яркий колорит, любил радостную иррациональную театральность. Ведь именно под руководством Станиславского возник у Михаила Чехова его гениальный и ни на что не похожий Хлестаков. А на премьере ослепительной “Принцессы Турандот” именно Станиславский воскликнул, что Вахтангов нашел то, к чему он, Станиславский, шел долгие годы. И

разве не он поставил “Горячее сердце” и “Безумный день” – самые яркие, самые театральные спектакли Художественного театра?

В книге “Моя жизнь в искусстве” есть знаменитый рассказ о встрече с Толстым. Толстой шел по улице и “с большим темпераментом” обличал армию, военных, “узаконенное убийство человека”. Но затем, как пишет Станиславский, “точно выросли из-под земли два конногвардейца... они были великолепны. Толстой замер на полуслове и впился в них глазами, с полуоткрытым ртом и застывшими в незаконченном жесте руками. Лицо его светилось. “Ха-ха! – вздохнул он на весь переулочек. – Хорошо! Молодцы!” – и тут же с увлечением начал объяснять значение военной выправки. В эти минуты легко было узнать в нем старого опытного военного”.

Это, конечно, не только портрет, но отчасти и автопортрет. О нем, Станиславском, тоже можно рассказывать немало подобных историй. И он, как и Толстой, бывал божественно непоследователен, возвышенно несправедлив. Да и сами его драматические отношения с музами складывались потолстовски. Нелишне напомнить, что с Толстым связаны режиссерский дебют Станиславского (он поставил “Плоды просвещения”) и одна из его неоспоримых актерских удач (князь Абрезков в “Живом трупе”). Не будет поэтому тяжелой предположить, что образ Толстого становился духовной опорой и в черные дни, в те дни, когда по болезни Станиславский достаточно долго (несколько лет) не посещал театра в Камергерском переулке. В те дни, когда он думал – не мог не думать – об уходе.

Он не ушел: не позволила страстная привязанность, не позволило чувство долга.

Но терзания его были жестоки.

Об этих терзаниях, о невидимых миру слезах рассказывает Василий Орлов, вспоминая о посещении больного Станиславского в начале 30-х годов труппой мхатовских актеров и режиссеров: “Станиславский лежал в постели. Его большая голова в ореоле седых волос покоилась на подушке. Не глядя на нас, он произнес глухим голосом: “Общий поклон”. И после паузы: “Садитесь”. Мы сели подле кровати. Стояло тягостное молчание. И.М.Москвин, желая как-то разрядить атмосферу, сострил: “Если руководитель не идет к производству, то производство идет к руководителю”. Мертвая тишина. Было слышно, как тяжело задышал Москвин. После томительной паузы – нет слов, чтобы передать все это так, как было, – после паузы Станиславский заговорил: “Я отдал вам, театру всю свою жизнь! Я, купец Алексеев, актер Станиславский, я болен, а вы разваливаете дело моей жизни, мой труд...” На глазах изменились лица Москвина и Тарханова, Раевского и Сахновского. Обращаясь по очереди к каждому из нас, Станиславский жег нас словами, как каленым железом. Это было ужасно! И вдруг он заплакал, заплакал, как обиженный ребенок, горько со всхлипываниями, слезы лились по его морщинистым щекам, глаза беспомощно моргали, голова еще глубже вдавливалась в подушку. Как передать нашу боль, наш стыд, наше горе?”

Этот волнующий и достоверный рассказ дает нам возможность увидеть подлинный образ Станиславского – театрального вождя, Станиславского – московского Гамлета, в старости – московского короля Лира. С тех пор прошло более пятидесяти лет, но глухой голос его достигает нас и поныне.

ОТВЕТ СТАНИСЛАВСКОМУ

1

ЕЖИ ГРотовский

Некоторые вопросы не имеют смысла. “Важен ли Станиславский для нового театра?” Я не знаю. Есть вещи, новые, как журналы мод. И есть вещи новые, но такие же старые, как источники жизни. Зачем спрашивать, значит ли что-нибудь Станиславский для нового театра? Дай свой ОТВЕТ СТАНИСЛАВСКОМУ, который должен быть основан не на поверхностном знании предмета, но на практическом его постижении. Открой себя как существование. Ты или творец, или нет. Если да – переступишь каким-то образом, если нет – ты верен, но бесплоден.

Не надо мыслить категориями типа: “важен ли он сегодня?” Если он что-то для тебя значит, спроси себя – почему? Не спрашивай, необходим ли он другим или театру вообще. “Актуальна ли сегодня книга “Работа актера над собой?” Это бессмысленный вопрос по той же самой причине. Чем является работа се-

Ежи Гротовский – всемирно известный польский режиссер, реформатор, теоретик, философ театра. Окончил Краковскую театральную школу, стажировку прошел в ГИТИСе, в Москве, под руководством Ю.А.Завадского. Прославился в 60-е годы, организовав в Польше Театр-Лабораторию, ставший местом паломничества актеров и режиссеров из различных стран. Публикуемые здесь наиболее интересные фрагменты выступления в Бруклинской академии искусств в феврале 1969 года дают представление о стиле и характере мысли Гротовского и о том, как интерпретируют наследие Станиславского его последователи за рубежом.

годня? Это ведь значит, что сегодня существует некая работа, которая – в силу причин – отличается от работы вчера. А разве работа сегодня одинакова для всех? Есть твоя собственная работа. Итак, ты сам себя можешь спросить, необходима ли тебе в твоей работе эта книга. Не спрашивай об этом меня. Нельзя давать ответы за другого.

2

Одно из предварительных недоразумений, связанных с этой проблемой, происходит от того, что большинство путают технологию и эстетику. Итак: я считаю метод Станиславского одним из сильнейших импульсов для европейского театра, особенно в формировании актера; одновременно я ощущаю себя далеким его эстетике. Эстетика Станиславского была порождением его времени, страны, личности. Все мы сформированы соединением наших традиций и потребностей. Это то, чего

нельзя переносить из одного места в другое, не впадая в штампы, стереотипы, в нечто мертворожденное. Также и в случае Станиславского, нашего и любого другого.

3

В профессиональном смысле я воспитан на системе Станиславского. Я верил каким-то образом в профессионализм. Теперь уже не верю. Есть два вида ширм, два способа побега. Можно сбежать в дилетанство, называя это “свободой”. Можно сбежать и в профессионализм, в технику. И то и другое может стать предлогом к искуплению грехов. Когда-то я верил в профессию. В этой области образцом был для меня Станиславский. Когда я начинал свою работу, я вышел из его техники. Своеобразной основой для меня стал и его принцип открывать заново каждый этап жизни.

Станиславский всегда был в пути. Он поставил ключевые вопросы в профессии. Если говорить об ответах, я вижу, скорее, различие между нами. Но я очень уважаю его. Я часто думаю о нем тогда, когда вижу, какой можно сотворить хаос. Ученики... Думаю, то же самое случилось и со мной.

Настоящие ученики никогда не являются учениками. Настоящим учеником Станиславского был Мейерхольд. “Систему” он не применял схоластично. Он дал собственный ответ. Он был соперником, а не добрым малым, который покрикивает, что не согласен. В конечном счете он и поплатился. Настоящим учеником Станиславского был Вахтангов. Он не сопротивлялся Станиславскому. Но когда стал применять “систему” на практике, это оказалось так индивидуально и так обусловлено его контактами с актерами (а также влиянием времени, изменениями, которые происходили, точкой зрения нового поколения...), что результаты отличались от спектаклей Станиславского.

Станиславский был старым мудрецом. Среди учеников он больше всего ценил Вахтангова. На премьере “Принцессы Турандот”, когда многие считали, что он уже не в состоянии будет принять этот чуждый его работам спектакль, Станиславский избрал позицию абсолютного, полного притягивания. Он понял, что Вахтангов сделал то же самое, что когда-то сделал он сам, – дал собственный ответ на вопросы, которые ставило призвание, которые он имел мужество задать самому себе, избежав при этом штампов, даже – штампов самого Станиславского.

Вот почему при каждом удобном случае я твержу, что не желаю иметь учеников. Хочу, чтобы у меня были товарищи по оружию. Хочу братства по оружию. Хочу, чтобы у меня были побратимы и те, кто далеко и кто, быть может, от меня получает импульсы, но стимулирует их собственная природа. Другие отношения бесплодны: они порождают или разновидность дрессировщика, усмиряющего актеров моим именем, или дилетанта, прикрывшегося моим именем.

4

В сущности, я в состоянии только, как до сих пор и другие, раскрыть свой собственный миф Станиславского, не зная при этом, до какой степени предыдущие мифы походили на действительность. Когда я учился в драматической школе на актерском отделении, базу своего театрального знания я выстраивал, исходя из принципов Станиславского. Как актер, я был одержим Станиславским. Я был фанатиком. Мне казалось, это ключ, которым открываются все двери в творчество. Мне хотелось понять его лучше, чем понимали другие. Я много работал, чтобы знать все, что он говорил или что говорил о нем. Это привело – по законам психоанализа – к периоду подражания, то есть к периоду поисков своего места. Чтобы сыграть для других ту роль в профессии, которую он сыграл для меня... Потом я понял, что это был опасный путь и нечестный. Я стал думать, что, может быть, это была новая стадия мифотворчества.

Когда я пришел к выводу, что стремление построить свою собственную систему иллюзорно и что нет ни одной идеальной системы, которая стала бы универсальным ключом к творчеству, тогда слово “метод” потеряло для меня значение.

Есть вызов, на который каждый должен дать свой ответ. Каждый должен быть верен своему существованию. Это не значит исключение других, напротив, – их включение. Жизнь наша зиждется на контактах с другими, и именно другие являются ее сферой. И живой мир. В нас разные потребности и разный опыт. Мы стремимся понимать этот опыт как своего рода сообщение, ниспосланное нам судьбой, жизнью, историей, родом человеческим или трансценденцией... (Все эти слова не имеют, в сущности, никакого значения.) Во всяком случае, опыт жизни – это вопрос, а созидание в истине – это просто ответ. Он начинается с попытки не прятаться и не лгать. Тогда и метода в значении системы не существует. Он не может существовать в другом виде, чем как вызов или призыв. И никогда нельзя знать заранее, каков будет ответ другого. Очень важно быть готовым к тому, что ответы других будут отличаться от твоего. Если ответ такой же, он почти наверняка фальшив. Нужно понимать это, это момент принципиальный.

Органично и понятие профессионализма. Возможно, где-то в глубине театра есть место для какой-то деятельности в чистом виде. Но это не настолько существенно, чтобы посвящать ей всю свою жизнь. Ну или, уж если хочется этим заниматься, нужно уйти в это полностью. Только является ли театр чем-то настолько существенным, чтобы отдавать ему всю жизнь? Мне кажется, нужно относиться к театру как к покинутому уже дому, как к чему-то уже ненужному. Еще не понимают, что это всего-навсего руины. Потому он еще функционирует. Но есть другие сферы человеческой деятельности, ко-

торые занимают место театра. Не только кино, телевидение, мюзикл. Речь о том, что исчезает очевидная в прошлом функция театра. Больше действует культурный автоматизм, нежели сама потребность. Люди культурные знают, что в театр следует ходить. Они не ходят в театр ради него самого, а лишь по культурной обязанности. Театр старается организовать себе зрителя, как-то звать его наиболее эффективным образом, заставить его придти. Где-то – системой абонементов, где-то еще – порнографией. Как обеспечить себе зрителей любой ценой? Думаю, правильно было бы говорить о театре как о разрушенном доме, почти покинутом.

Так вот, в начале нашей эры поисков правды искали брошенные места, чтобы там исполнить назначенное жизнью. Или шли в пустыню (не считаю, что это естественное решение, хотя оно и бывает необходимо в определенные периоды жизни: нужно уходить, чтобы потом возвращаться вновь)...

Понятие профессионализма давно отделяется от меня. В первый период самостоятельной режиссерской работы я понял, что дилетантизм становится ширмой, за которую прячется актер, чтобы избежать ошутимой, конкретной искренности. Он ничего не способен сделать, но уверен, что делает. Я не изменил на этот счет мнения. Но и техника тоже может играть роль ширмы. Мы можем тренироваться в различных системах, приемах, различными средствами, мы можем стать большими мастерами и жонглировать своим умением ради демонстрации техники, а не ради самообнажения. Парадокс, но необходимо преодолеть и дилетанство, и технику. Дилетанство – это недостаток дисциплины. Дисциплина – это усилие преодолеть иллюзию. Когда ты неискренен внушая себе, что совершаешь поступок, получается только нечто невразумительное, аморфное. Из техники мы должны взять только то, что вскрывает глубинные процессы в человеке.

5

Я очень глубоко и всесторонне уважаю Станиславского. Уважение это основано на двух моментах. Один – его постоянная самореформа, постоянное стремление подвергать сомнению предыдущие этапы. Это не было связано с потребностью оставаться современным. Это было последовательным продолжением все тех же поисков правды. В результате он подвергал сомнению новшества. Если его поиски и остановились на методе физических действий, то не потому что он нашел в нем высшую истину профессии, а потому лишь, что смерть прервала его дальнейшие изыскания. Второе – это опыт конкретного мышления на основе того, что принадлежит практике. Каким образом прикоснуться к тому, что неприкосновенно? Он хотел найти конкретные пути к скрытым, тайным процессам. Не средства – с этим боролся, называя “штампами”, – но пути.

Перевод с польского Т. ПЛОШКО

КАК ПО УЛИЦАМ КИЕВА-ВИЯ...

ВАДИМ СКУРАТОВСКИЙ

История Киева загадочна и даже таинственна. Красота же его открыта любому человеческому взору. Хотя красота – тоже тайна. Но она хотя бы отчасти видима, и ее сияние высветляет закрытую от нас глубину времен. Настоящие заметки – это и восхищение Киевом, и способ раскрыть некоторые его “шифры”. Исторический Киев, в сущности, можно обойти за день – между восходом и закатом киевского солнца. Как и повсюду, в древнее городское пространство здесь вплетена временная мера, соответствующая нормальному суточному ритму человеческой мышцы. Не исключено, что Киев в эпоху своих первых зодчих летом расширялся, а зимой как бы возвращался в прежние пределы.



Фото А. РОЗАНОВА

Умелец строитель летом строил, скажем, Симеонов монастырь на “Копыревом конце”, зимой же достраивал сруб соседу где-нибудь у подножия детинца – Владимирграда. Может быть, археологи будущего сумеют выявить такую календарную цикличность в городском пространстве прошлого? А пока обойдите Первокиев за день. И лучше всего – в конце мая – начале лета, когда это время всего длиннее, а соответствующее ему пространство будет отчетливо означено гигантской зеленой и воздушной массой, такой же зеленой и такой же голубой, как и тысячу лет назад.

Киев перенасыщен временем. Здесь, как ни в одном другом обжитом людьми месте Восточной Европы, ощущаешь

дент-медик Михаил Булгаков рассказывал друзьям разные смешные истории, а другие студенты, более основательные и радикальные, обменивались историями и литературой куда более серьезными.

За этими столиками несколько ранее художник Михаил Врубель, спасаясь от галлюцинаций, в которых прекрасные кроткие женские лица превращались в демонические, оглушал себя вином.

Вот ныне “отурившая”, если вспомнить горькое словцо Н.К.Рериха, Лавра, наполненная толпами, вытеснившими паломников, но еще не до конца иссушившими разлитую в ней мысль о неизбывной красоте и столь же неизбывных горестях нашего мира. Вот Киев барочный, вот киевскорусские

Самое древнее в Киеве – его Земля и Небо.

В первое десятилетие прошлого века, в пору цветения романтизма в умственной истории европейского человечества произошло чрезвычайно важное событие. Город окончательно отмыслил себя от деревни, окончательно обрел способность к самосознанию, к пониманию себя как некоей совершенно отдельной от других форм человеческой общительности величины. Процесс этот начинается еще в эпоху Просвещения с его неприменной антитезой “варварства” и “цивилизации” – своего рода дорожных знаков, расставленных им при выезде из тогдашней деревни, при въезде в тогдашний город. Впрочем, уже Руссо предельно заостряет эту антитезу в



Киев. Вид с Днепра
Фотография начала XX века

всю его неимоверную тяжесть: восприятие и сознание постоянно текут вспять – сквозь хаос современной городской жизни поначалу в недавнее, а затем во все более и более отдаленное прошлое.

Вот железнодорожный вокзал, под сводами которого всего несколько лет тому назад отбушевал эвакуационный ад черновыльского лета.

Вот совсем недавно поставленный памятник ученому, в начале века это лето предсказавшему, – Владимиру Ивановичу Вернадскому.

Улицы, по которым текли людские волны к месту своего вечного успокоения – в урочище под некогда идиллическим названием Бабий Яр.

Израненные гражданской войной стены Арсенала.

Дома прошлого века, напоминающие более о сценографии, чем об архитектуре.

Кофейные столики на приднепровских склонах, за которыми некогда сту-

древности, а далее – уже сама мать матери наших городов. Земля, на которой стоит Киев, вполне сохранила свои первоначальные изгибы, свои холмы-формы и сейчас, несмотря на все судороги современного урбанизма, наглядно объясняющие, отчего в самых авторитетных древних языках “город” непременно женского рода. А уж сама эта земля до дна, до “палеолита” начинена тем, что сопровождало первочеловека в его попытках завоевать и время и вечность – от каменного рубила до утвари из металлов “первого поколения”.

А над ней в той же стереометрии днем – солнце, ночью – месяц и звезды точно в тех же с ней соотношениях, в тех же своих днепровских отражениях, что и в пору, когда эти места огласили первые звуки когда-то единой индоевропейской речи.

пользу если и не собственно “варварства”, то доцивилизованного, “естественного” состояния. Кажется, он и ввел в общемировой обиход термин “урбанический” в значении, достаточно близком современному. Женевский мещанин, как иногда именуется Руссо на титульных страницах его старинных русских изданий, предавая сентиментальной анафеме городской мир, заодно с удивительной меткостью набрасывает его основные социокультурные контуры, определяет его главный психологический регистр. Романтизм (Фридрих Шлегель) уже заговорил об “урбаничности” как особой форме человеческого существования и осуществления – городского, “открытого” в противовес “замкнутому”, деревенскому.

Романтизм породил и огромную собственную историографическую литературу о городе – от многотомных курсов до путеводителей, теперь уже практически необозримую. А с начала века, с

блестящей монографии культуролога Макса Вебера "Город", в гималаях этой литературы образовалась специальная социологическая гряда.

Город – средоточие уникального. В своих пейзажах. В наборе достопримечательностей – от собственно архитектурных до городских легенд и городских же сумасшедших. Не случайно эпоха Барокко создает городские музеи редкостей вроде петровской кунсткамеры – уникальное, вдвинутое в уникальное, усиливающее его неповторимое звучание. Словом, город в диалектической логике мира занимает сторону "конкретного", наделенного своим и только своим местом во времени и пространстве. Оттого о любом городе начинают говорить, начиная с

Бальзака до декадента Октава Мирбо, который счел киевские городские сады лучшими в мире. Есть строчки Пастернака, Миколы Зерова. Но мы почти наугад берем из хаоса образов, клубящихся вдоль знаменитых киевских "склонов", следующий.

"С грохотом мчались мы по высокому железному мосту. Широкая лазурная река, по которой плыли большие белые и голубые пароходы, протекала под нами. Пахло смолой, рыбой и водорослями. Кричали белогрудые серые чайки – птицы, которых я видел первый раз в жизни. Высокий цветущий берег крутым обрывом спускался к реке. И он шумел листвою, до того зеленой и сочной, что, казалось, прыгни на нее сверху – без всякого парашюта, а просто так, широ-

Одна из лучших страниц в обширном беллетристическом бедекере по Киеву. Она длительное время волнующе предвзяла знакомство едва ли не каждого советского ребенка с Киевом. "Высокий цветущий берег", круто спускающийся к реке, и громоздящиеся на нем "дворцы и башни" – это и последнее "прижизненное" художественное описание великого, на протяжении тысячелетия накапливавшегося урбанического пейзажа. Спустя несколько лет он будет поруган войной, спустя десятилетия – уже навсегда и безвозвратно – порушен бюрократической эстетикой, ее лживым классицизмом, ее канцелярским пафосом количества, стремлением искоренить все выросшее естественно – и природное, и историческое.



Крещатик
Фотография начала XX века

отведенного ему конкретного пространства и с его уже нигде в мире не повторяющейся формации. И голос искусства, хорошо обжившего "конкретное", здесь уместнее и убедительнее самого строгого голоса науки. Любимый образ – это всегда окоем такого пространства, окно, выходящее на ту или иную делянку нашего мира.

Киев утопает в таких образах. Они громоздятся в сознании, тесня друг друга. Легко понять, что в последние десятилетия среди них заметнее всего булгаковские: Город, чей Север оторочен "бесконечными черниговскими пространствами" ("Белая гвардия"), "потрясающий по красоте вид, что открывался от подножия памятника Владимиру", упомянутый в "Мастере и Маргарите". Но есть и множество других образов других художников, образов, возникших вследствие того же потрясения. Скажем, тот же вид вдохновил целый ряд заезжих образотворцев – от реалиста

ко раскинув руки – и ты не пропадешь, не разобьешься, а нырнешь в этот шумливый густой поток и, раскидывая, как брызги, изумрудную пену листьев, вынырнешь опять наверх, под лучи ласкового солнца.

А на горе, над обрывом, громоздились белые здания, казалось – дворцы, башни светлые, величавые. И пока мы подъезжали, они неторопливо разворачивались, становились вполоборота, проглядывая одно за другим через могучие каменные плечи, и сверкали голубым стеклом, серебром и золотом...

– Это что? – как в полусне, спросил я, указывая рукой на окошко.

– А, это? Это все называется город Киев".

Цитата – из повести Аркадия Гайдара "Судьба барабанщика" (1938).

А ведь киевские склоны, расшитые зеленью, покрытые, по меткому выражению краеведа Ивана Белокопя, "фрагментами джунглей", представляют собой последнее напоминание о великой мистерии рождения Города из материи живого вещества благодаря и вопреки стихиям биосферы. Здесь, по видимому, пролегла какая-то граница бесконечного евразийского леса, межа между ним и спускающимся к Черному морю гигантским "полем". Но здесь также пролегает уже и внепространственная граница между природой и человеком, естественным ритмом и культурным усилием. Где-то здесь, еще как бы на самом дне, но уже собственно человеческого, "ноосферного" времени, начинается пульсировать человеческая жизнь, теснящая природную. Сама "геометрия" берега, бегущего вниз, напоминает о том, как культура здесь, естественно предпочитающая "горизонталь", то есть "нормальные"

отношения с гравитацией, явно воспользовалась и вертикалью, научилась использовать ее как средство и защиты, и сообщения, и, наконец, даже как место постоянного жительства.

В общем, восточные славяне впоследствии, исключая карпатских горцев, всегда будут предпочитать плоскость, но Киев научится обживать холмы круче римских. Вместе с тем можно представить, что такое постоянное состязание “вертикального” и “горизонтального” со временем идеализируется и отношениям “верха” и “низа” здесь будет придан некий ценностный смысл. Процесс этот завершился созданием “монастыря Печерского”. Любопытен и многозначителен пространственный парадокс, содержащийся в нем в виде

ж, образованнейший А.С.Хомяков некогда подобным образом сочетал англичан и угличан. Современный же украинский беллетрист сочинил роман, в котором следующим образом представил пейзаж V века нашей эры: Атилла, “бич божий” – это “киевский князь” Богдан Гатыло (от укр. “гатыты”, то есть “коллотить кого-то”), с берегов Днепра сотрясающий дряхлеющие империи (Иван Билык, “Меч Ароя”). Впрочем, украинский романист в своем замысле восходит к “историческим” гипотезам и разысканиям русского романиста прошлого века А.Ф.Вельтмана, весьма подверженного, по меткому слову Белинского, “археологическому мистицизму”. В связи с этим нелишне вспомнить его современника, киевского пи-

поражает трипольская культура, культура меднокаменного, земледельческо-скотоводческого характера. Вещный мир ее отмечен не только высокой функциональностью, но и высокой же художественностью, как бы интеллектуалистической по своему направлению.

Таков многотысячелетний пролог к киевскорусскому рукотворному миру с его чрезвычайно дифференцированным трудом, удивительным чувством материала, возможности и способов его технологической обработки, удивительным же синтезом “полезного” и “красивого” начал, впоследствии в мире так безнадежно и далеко разошедшихся.

Археология и лингвистика роют предкиевскую древность с разных сторон, в



Старый город
Фотография начала XX века

его пещер: они необходимо “внизу”, но в то же время столь же необходимо “вверху”, в лессовых недрах Печерского возвышения. Возможно, отсюда их особое значение во всем богатом комплексе киевской сакральной традиции.

Кто же были насельники пракиевских берегов? До поры до времени мировая письменность о них загадочно молчит. Информация, содержащаяся в античных, византийских и восточных источниках, с трудом достигает современного адресата, перекрываемая многообразными “шумами” мифологического, точнее, мифологизирующего характера.

Путь к истине пролегает через объективные данные археологии и лингвистики. Правда, есть еще один путь, легчайший, “воздушными путями” нового мифа. Речь идет о попытках разъяснения дописьменных периодов киевской истории. Попытках, скажем, возводящих “русских” к “этрускан”... Что

сателя и лингвиста Платона Лукашевича, легко выявившего в украинском языке древнегреческий субстрат. Следует только добавить, что Лукашевич так же легко обнаружил сходство русского с китайским и затем уже посмертно был объявлен футуристами-заумниками их отдаленным предтечей. Словом, мифифицированное “киевоведение” чрезвычайно увлекательно – но уже не для медиевиста, но для историка, изучающего разнообразное мифотворчество прошлого и нашего веков.

Киевская археология в свою героическую эпоху (последняя треть XIX – начало XX века) открывает многоцветный спектр первобытных культур от палеолита до энеолита и далее, расположившихся на своих стоянках на территории современного Киева и вблизи него. В особенности современника

разных направлениях и сомкнутся лишь в неблизком будущем. Археологическая и лингвистическая карты “предкиева” еще не накладываются друг на друга. “Предмет” и “слово” той эпохи не только добываются разными эвристическими средствами, но и по-разному истолковываются.

Долетописная история Киева во многом загадочна. “Предметы” ее говорят без “слов”, “слова” же – без “предметов”. И сегодня потрясают воображение длиннейшие, в несколько тысяч километров, достигающие порой немалой высоты, загадочные и по своему происхождению, и по своим – военно-стратегическим ли, сакральным ли – целям мощные земляные насыпи, образующие сложнейшую тектоническую систему – “Змиевы валы”. Вообще-то архаический “вкус к колоссальному” – неперемнная составная первобытной эстетики (циклопические, мегалитические сооружения средиземно-

морской и другой древности). Нет никакой окончательной уверенности ни в одной из гипотез, воздвигнутых археологией вокруг "Змиевых валов". Может быть, праславянский инженерный гений перевел в иной, доступный ему материал – землю – идею "мегалита", возникшую не только в "каменном" веке, но и в "каменных" странах? Или это навечная память об исчезнувшем из современной цивилизации содружестве первобытного созидательного инстинкта с ландшафтом (таинственные валы замечательно сочетают свои возможные рубежные функции с естественными ландшафтными границами)? Народное сознание всегда связывало их с "городом Киевом", противопоставляя его "логову змиеву", а не отождествляя

Точнее, почти полное их отсутствие. "Протокиевляне" не оставили даже протописьмен не по патологической безграмотности, иногда поражающей более позднее сознание, но по мировоззренческим особенностям и соображениям. Письменное их молчание – такая же их объективная характеристика, как и земледельческое, металлургическое, инженерно-строительное, ювелирное и тому подобное искусство, отмеченное немалым совершенством, но, разумеется, иным, чем современная агрономия или технология...

Понятно, что это всего лишь предположение, но оно идет по гносеологическим следам той архаической реальности, которую по тем или иным причинам современной науке все же

тому "первоатому", из которого вследствие исторических взрывов и образовалась национальная вселенная. Поэма "Руслан и Людмила", по словам молодого Ивана Киреевского, зиждется на доверии героя к своей судьбе.

В школьных учебниках постоянно перечисляются династические союзы Ярослава Мудрого, но нелишне было бы также указать, что уже в самом прозвище князя, фактически ставшего императором или по крайней мере активно готовившегося к этой роли, – некое смысловое противопоставление с прозвищем Олега, явственный отзвук иного союза с историей: мудрость мира уступает место мудрости индивидуальной, личностной. "Веще" теснится рациональным, трезвым, административным,



Киево-Печерская лавра. Вид с Днепра
Фотография начала XX века

их, как в стихотворных строчках Н.С.Гумилева. Фольклорный строитель валов киевский ремесленник Кожемяка, одолевший змия и распахавший на нем всю киевскую ойкумену, – это борьба созидательного первоначала с разрушительным, воплощенным в драконе, – сквозной мотив решительно всех мифологических традиций мира, как интерпретировал бы специалист по мифам народов мира.

Но если "Змиевы валы" – граница, то кто был ее стражем, а кто драконом? Кем и к кому она была повернута? Лесостепью к степи? Степью к лесостепи? Кто были ее зоркие часовые? "Протокиевляне" или воины короля остготов Эрманариха, сторожившие своих "красных готских девушек"?

История безмолвствует. Ее молчание омывает даже непосредственное основание Киева, его варяжско-княжеский цоколь. Это не просто молчание, но молчание письменных источников.

посчастливилось зафиксировать. Согласно этим наблюдениям так называемое традиционное общество живет не в линейной, однонаправленной в некое неведомое будущее, но в циклической истории, постоянно возвращающейся на свои круги. Категория "события" в таком обществе совершенно иная, чем, скажем, в нашей современности, – ее истоки, протекание, перспектива отмечены такой информационной полнотой и отчетливостью, что она не нуждается в какой либо внешней фиксации, в том числе и письменной.

"Песнь о вещем Олеге", кстати, и воспроизводит такой мир и такое сознание – "веще", то есть ведомое этим миром. В известном смысле, работу над ним Пушкин начал еще в первом своем великом произведении, также необходимо обращенном к тому сверхплот-

стратегическим, дипломатическим расчетом, полагающимся прежде всего на собственное разумение. На Киевщине до сих пор слово "мудрый" означает преимущественно "житейски опытный", а то и вовсе совершенно синонимично слову "хитрый", "мудраватый". Ярослав, чередовавший новгородский сепаратизм с централизаторской беспощадностью киевского "самовластца", "на рати был храбр", был великим мастером ловкого компромисса, но и гневливым и коварным государем, устроившим резню своих новгородских противников, бросившим в "порубь" своего брата Судислава. Словом, это был активный делатель своей политической судьбы, опытный воитель, а не, скажем, Марк Аврелий, интеллектуал-пессимист, или император-литератор Константин Багрянородный.

Возникновение "империи Рюриковичей", по своим размерам немногим уступавшей мировым державам древности,

столь же загадочно, сколь и неожиданно. Внезапно и появление ее столицы – исторического, “княжеского” летописного Киева, на протяжении, в сущности, одного столетия занявшего на общеевропейской и тем более восточноевропейской сцене незаместимое, резко отмеченное место. Поражает уже как бы сама акустическая разница между веками долетописной немоты и многообразными, громкими военнополитическими хартиями этого столетия – от первых Олеговых походов до громокопящих времен Владимира. Поражает железная воля молодого государства к самоосуществлению в самых широких, едва ли не континентальных рамках. Это действительно был прыжок из заколдованного царства некоей мас-

не в норманской легенде, до сих пор смущающей патристическое сознание.

Легенда эта в общих чертах сводится к тому, что собственно восточнославянская история начинается с “призвания” варягов-конунгов, с внесения в “пассивное” славянское начало “германского”, “западного”, “фаустовского” “активизма” (сравни его начатки в поведении пушкинского Олега).

Есть летописный рассказ об этом призвании и есть мегалитические нагромождения-построения историков, принимающих или отвергающих его. Разобраться в этом и сегодня еще крайне трудно. После каждого концептуального усилия в том или противоположном направлении постоянно вспоминаются острые слова, сказанные князем

хтонна”. “Со стороны” приходят самые крупные византийские государи – уж не захотелось ли и летописцу города, становившегося “соперником Константинополя”, шепотки византийского престижа? Аравийские шейхи готовы были избрать Т.Э.Лоуренса арабским императором – именно в пылу своего арабского патриотизма.

И, наконец, еще одно важное обстоятельство. События конца I тысячелетия эры, которую мы столь двусмысленно называем “нашей”, во многом еще принадлежат заключительному фазису некогда единой индоевропейской истории, истории, исподволь дробящейся на отдельные друг от друга народы-величины. Скажем, славяне и скандинавы – этнические и языковые “кузены”. Тре-



Вид Подола с паперти Андреевской церкви
Фотография начала XX века

сивной мифопоэтической необходимости в мир самой широкой исторической инициативы, свободного исторического деяния – того, что римляне некогда называли *Res gestae*. Первые киевские князья настолько активны, что их главному городу грозит опасность превратиться едва ли не в захолустье их предполагаемой империи с предполагаемой столицей на Балканах (соответствующий проект Святослава). Откуда все это?

В основание великих государств весьма часто заложена историческая легенда, прикрепляющая их к некоему былому величию, вдохновляющая их этим величием. Киевлянин М.И.Ростовцев, один из самых интересных историков нашего века, предполагал (впрочем, не он один), что в артериях молодого мира течет загадочно сохранившаяся кровь политических организмов прошлого, скажем, союза племен и народов короля Эрманариха. Но, по-видимому, дело не только в этом. И, по-видимому, дело и

П.А.Вяземским в 1861 году после публичного диспута по этому вопросу в Петербургском университете между Подолыным и Костомаровым: “Прежде мы не знали, куда идем, а теперь не знаем и откуда” (разрядка Вяземского. – В.С.). Но нельзя ли отойти от этих нагромождений в сторону обыкновенного здравого смысла, в основных фигурах которого вполне закреплен даже самый сложный опыт нашего мира-лабиринта?

Нужно понять, что вся мировая история, в особенности архаическая, живет на действительно имевших место или впоследствии вымышленных ритуалах приглашения “человека со стороны”. До недавнего времени он вполне сохранялся в династической политике. Фигура монарха подчас тем более предпочтительна, чем менее она “авто-

нированный лингвистический слух вполне слышит своего рода переключку самых глубоких слоев их языков.

Но легко представить себе также, что в ситуации таких антагонизмов трудовое средостение общества, необходимо нуждающееся в стабильности, в спокойных условиях для пастушества и пахоты, явочным порядком стремится к праву отвергнуть или, наоборот, привлечь защитника или даже молельщика.

Восточные славяне оттого могли призвать к себе варягов, могли решиться на разнообразный идеологический импорт из Византии. Но первоосновой киевского мира все же были не воители, потрясавшие своим щитом врата Царграда, не греческие миссионеры – при всем громадном значении тех и других для нашей истории. Таковой основой были продуктивные силы Поднепровья, накапливавшиеся на протяжении столетий и тысячелетий. Весь диапазон археологических находок, связанных с

их деятельностью, свидетельствует о непрерывном возрастании их умения, о совершенствовании их самых разных трудовых операций. При такой колоссальной трудовой занятости и нужно было приискать профессиональных защитников именно "на стороне" для более рачительного сбережения указанных сил. И можно было также спокойно призвать идеологов более высокого мировоззренческого ранга.

Спокойно отнесемся к событиям 862 и 988 годов. (Указанные даты, возможно, не столько собственно хронологическое, сколько идеологическое обозначение грандиозного мировоззренческого сдвига в тогдашнем сознании, потрясенном христианством. Как бы числовые образы такого потрясения,

точнее, в "реку времен", в которую можно войти только единожды, которая мчит мир к своему неведомому устью. Весь Киев так же поплыл за этим кумиром... Крещение Руси – это посвящение ее в историю, в динамический, непрерывный порыв к ее грядущим, столько же абсолютным, сколько и таинственным целям. Уже **сам рассказ** о крещении – исторический факт того же ряда, что и великие события, в нем описанные.) Это могло быть достаточно нормальным завершением тысячелетнего индоевропейского кружения военнореческих сословий, их периодических "призваний" и отвержений. Но между этими датами, этими кастами – неопалимая народно-трудовая купина приднепровских автохтонов, методично и спо-

Второе тысячелетие от Рождества Христова Киев встречает во всем напряжении своих рукотворных возможностей, накапливавшихся на протяжении столь длительного времени, воздвигает то, что на все это тысячелетие определило архитектурный пейзаж города, его "легенду", отраженную в массовом сознании, в литературе, пластических и даже музыкальном искусствах. София Киевская (о ней ниже) и фортификационная система, опоясавшая "город Ярослава". Драгоценная пряжка-застежка этого "пояса" – Золотые ворота (их "позолотила" именно легенда, хотя их сакральная отмеченность бесспорна: чисто прагматическое назначение ворот дополняется символической функцией,



Житный базар
Фотография начала XX века

созданные славянином, ставшим христианином и, следовательно, восториком... Из мирового множества времени это сознание, прежде убежденное в его нескончаемой цикличности, повторяемости, взаимозаменяемости, теперь привлекает и выбирает некие твердые и навечные точки. Может быть, в реальном историческом времени призвание конунгов произошло раньше или позже – если оно вообще имело место. Может быть, миссионерский процесс на Руси в 988 году имел характер гораздо менее массовый, преимущественно локальный, киевский, чем, скажем, в последующие десятилетия, реально этот процесс завершившие. Но уже само появление даты крещения – подлинное свидетельство о подлинном крещении, о вхождении в купель истории, где все текуче, неповторимо, однократно, уникально, произошло тогда-то и тогда-то. Многозначителен уже сам образ языческого кумира, низвергнутого в Днепр,

койно при естественном и благородном консерватизме трудящегося человека накапливающих этот труд.

Время, традиционно означаемое именем Ярослава, по множеству самых разных причин в особенности насыщено таким трудом. На протяжении XI века Киев становится одним из красивейших городов – и не только европейского материка. Его храмы, хоромы и просто жилища, его исчисляющиеся уже десятками и десятками ремесла, его разветвленнейшие торговые коммуникации и военные укрепления, его, по видимому, очень прочная сельскохозяйственная база – все это предстает, в сущности, как необходимая историческая сумма тех трудовых навыков, которые нарождались, разрабатывались и совершенствовались едва ли не со времен трипольской культуры.

подчеркнутой возвышающейся над ними Благовещенской церковью). Около 1073 года заложен Успенский монастырь – одновременно и архитектурная, и идеологическая надстройка над пещерным монастырем, первую пещеру которого выкопал пресвитер Иларион, впоследствии первый собственно киевский митрополит. Разумеется, в Киеве той эпохи не было четырехсот церквей, как то утверждал немецкий епископ-хронист Титмар Мерзебургский. Но архитектурный бум все же действительно потряс киевские холмы, несказанно преобразив и украсив их.

Удивителен и другой, уже малый рукотворный космос киевского века – от предметов, украшавших человеческое тело, до разнообразных орудий труда для производства орудий же (тогдашнее производство средств производства).

Первое, что в нем поражает и привлекает, – это непременно сохраняющаяся

его связь с живым, органическим. В каменное, железное или медное, золотое или серебряное здесь всегда имплицирована живая жизнь мира. Собор ли, женский ли браслет, золотые ли “колты”, глиняный горшок-светильник, подольский жилой сруб – в основе их структуры и необходимый технический, подчас даже изощренный расчет, и еще неостывшая органическая жизнь. И не столько в виде темы – скажем, растительный или звериный орнамент-сюжет, хотя он здесь и обычен, – сколько в самом замысле, в самом его материальном выполнении. Киевское искусство антропоморфно и биоморфно, согревая неживое живым, зажигая даже в непроницаемом для жизни материале некую “искорку” (старинная, средневековая метафора жизни).

Софийский собор при всей тысячелетней муке разрушений и реставраций и сегодня сохраняет сходство с напряженной, еще не застывшей зеленой массой. В этих камнях – память о дереве, об извечной асимметрии живого, лишь теперь становящейся научной темой, о его неформальной, “неэвклидовой” геометрии, для которой всего предпочтительнее округлое, холмящееся, волнообразное. София, словно Анадиомена, выходит из драгоценной – не бесформенной, но доформной – пены жизни, из вечно клубящихся стихий биосферы. А внутри словно в гигантском выдолбленном дереве. Или в жизнехранительном чреве. Акустика здесь явно стремилась к охране живого человеческого голоса, лестницы и сегодня заботливо оберегают нормальную метрику человеческого шага, древние же фрески сохранили тогдашнего человека во всем его возможном психологическом диапазоне – от веселых (пляшущие скоморохи) до необходимой ритуальной неподвижности (семья Ярослава Мудрого).

Золотые купола киевских храмов (цвет идеала), вспыхивающие на столь же абсолютном – голубом – фоне киевского неба, – отчетливейшая его печать, искусно положенная на приднепровские холмы. Это зримый, отражающийся в самых чувствительных “фацетах” человеческого глаза союз горнего и дольного, предполагаемого, но едва ли достижимого и того, что находится здесь, по сю сторону бытия, на расстоянии вытянутой руки древодела, каменотеса и других носителей еще доброй полусотни киевских, по-современному говоря, “профессий” (бывших, очевидно, жизненными позициями, а не узкими “специальностями”).

София Киевская – это не только предымперская каменная легенда Ярослава (в крещении Георгия), политика и полководца, усмирившего степь, а заодно местные сепаратистские страсти и уже подумывавшего о соперничестве со стремительно дряхлеющей Византией. Да, София в Киеве символически, семиотически повторяет константинопольский храм – эмблематическое представление византийского беспредельного духовного и политического могущества. Вообще топография и

сакрального, и, наверное, мирского Киева во многом воспроизводила принципиальное устройство мирового города на Босфоре с его пафосом господства и превосходства. Собор св. Софии был заложен на самой высокой точке “Ярослава города” и был виден со всевозможных точек тогдашнего Киева, что, разумеется, вполне соответствовало символической политической оптике “ото востока до запада” (митрополит Иларий), в которой должно было просматриваться недавно обретенное величие. Но, весьма возможно, у Софии Киевской были и другие, географически более близкие, онтологически же гораздо далее идущие цели.

Чем было христианство для киевской (да и не только киевской) элиты? Во многом – политикой. Войной и администрированием иными средствами. В саксонском эпосе “Хелианд” (“Спаситель”), возникшем в пору чуть позже Рюрика и чуть раньше Олега, Христос предстает в неожиданном для нас облике победоносного конунга, а его апостолы – в виде доблестных дружинников. Но что такое христианство для киевского ремесленника? Что мог означать для него один из существеннейших в системе этого миропонимания образов?

София Киевская – храм во славу размеренного трудового освоения мира, того строительства, которое тысячелетие спустя В.И.Вернадский определяет как “ноосферное”. (И неслучайно великий киевлянин, обдумывая свою великую идею, весьма внимательно заглядывал в труды П.А.Флоренского, посвященные Софии...)

И все же судьбой киевского ремесленника стала политика. Его созидательная работа время от времени brutally прерывалась. Домонгольский Киев сотрясан яростные усобицы. Город явственно членился на княжескую резиденцию, временами едва ли не временную ставку, в любое мгновение склонную к любой авантюре, и на Киев промышленной массы, жаждущей политической стабильности. Столь несходные принципы с переменным успехом оспаривали друг у друга киевскую историю, но она уже катастрофически быстро приближалась к тому событию, которое едва ли не стало в ней последним.

Быть может, не случайно великий русский ученый В.В.Докучаев изучал членение мировой почвы на семь ее главных зон преимущественно здесь, на Украине. Киев пожелал родиться именно на некоем важнейшем географическом рубеже между тогдашними “мировым лесом” и “мировой степью”. Это было великим преимуществом, но и великим фатумом города, возникшего именно на перекрестке разнонаправленных хозяйственных и политических интересов этих двух субмиров.

Когда-то известный русский почвеник Н.Я.Данилевский, а вслед за ним, увы, и Л.Н.Толстой в историософском послесловии к “Войне и миру” определили Европу как “перешеек” азиатского континента, как его скромный отромок. Едва ли культуру дозволено ме-

рить физическим пространством, но все же есть бесспорная географическая реальность мирового естественного межевания. Метафорически говоря, с киевских холмов видны едва ли обозримые вершины всеевропейского “леса” и уж совсем необозримая евразийская и трансасийская “степь” – мины, в которых люди при всей своей известной антропологической и психологической однородности жили во многом по-разному. Накапливаясь столетиями и тысячелетиями, эта разность затем преломлялась в резкое противостояние, а затем и вооруженный конфликт. Нашествие разноэтнической амальгамы степных народов на Русь и продвижение их далее, в сторону “вечерних стран” – события, уже вполне предсказанные в грандиозных коллизиях “великого переселения народов” и затем исторически исчерпанные лишь с развитием способов существования, менее зависимых от его чисто естественных условий. Киев стал жертвой в этой мировой драме антагонистических интересов. В считанные часы, последовавшие за падением города под ударами стенобитных устройств монгольского, а в сущности, общепланетного войска, перестала существовать бурно становившаяся городская традиция, обещавшая стать великой, богатая огромными возможностями. Погиб некий совершенно уникальный восточноевропейский шанс создания уникальной же восточноевропейской структуры, постепенного и равномерного “ноосферного” насыщения пространства от Днестра до Волги.

Киев был обречен не только его географией, разделенной между Западом и Востоком, но и разделением его труда на военно-административный и прочий. В одной руке он держал меч и иные знаки власти, в другой – мастерок или молоток. Действия же их почти всегда были рассогласованы. “Княжеский город”, средоточие властолюбия, и трудолюбивая мастерская у его подножия – в самом прямом, пространственно-топографическом смысле город “пролетарский” и “бюргерский” – они, очевидно, не находили общего языка даже в самые цветущие мгновения домонгольской истории. Так много было сказано о призвании новгородцами скандинавских конунгов. Но ведь новгородцы надолго оставили за собой историческое право деавуировать князя-на-час. Киевские массы так же явно стремились к государственно-юридическим формам, предполагающим такое же устранение государя, не оправдавшему народных чаяний. Вместе с тем в городе так и не были доведены до своего логического, институционального конца принципы ни автократии, ни демократии. Характерно, что роковое нашествие Киев встретил без князя, всего лишь с его храбрым воеводой – не более того.

Если киевская “демократия” оставила в истории вполне материальные, “вещные” следы, то киевская элита – следы преимущественно символическо-семиотического характера. Так, при всем значении “княжеского заказа” едва ли

убедительным является выражение “Ярослав построил храм Софии в Киеве”. И Ярослав, и его преемники создавали не храмы, но свои “репутации”.

Характерно следующее обстоятельство: на Украине вокруг главного былинного города былины начисто отсутствуют. Их хранил преимущественно Север, для которого Киев был идеальным городом, а не политической и другой реальностью. Такое умолчание достаточно сообщительно, если вспомнить, что и по каким причинам народная память табуирует, а к чему обращается постоянно. Домонгольская киевская государственность как-то ускользнула из украинского фольклорного репертура. И это при том, что около-киевский крестьянский мир всегда был трогательно привязан к городу, к его достопримечательностям (паломничество крестьянина и особенно крестьянки в Киев – постоянная тема украинской народнической беллетристики прошлого века). И это также при том, что вплоть до недавнего времени в киевских и черниговских деревнях царил культ богатырей, но не былинных, а местных силачей вроде Кореня-Блистовского, черниговского соперника Поддубного. Такое фольклорное немотствование, вероятно, следует рассматривать как акт позднейшего возмездия киевскорусским властителям. Так ведь и сам киевский цикл во многом представляет собой не столько историческое предание в собственном смысле, сколько именно позднейшую, “северную”, идеализацию упомянутой – “юго-западной” – государственности, как бы ее народно-утопическое переосмысление и “исправление”. Былинные богатыри – опрокинутый в прошлое народный идеал, по видимому, весьма далекий от военнотрудовой действительности, от реальных “пиров” Владимира. К тому же демократический инстинкт русских рапсодов – крестьян, рыбаков, лесорубов – возвращает их к конфликту между богатырем и аристократическим окружением князя, да и самим князем.

Так или иначе, а великий город пал едва ли не в самом начале своей бесспорно грандиозной исторической миссии, предположительно объемлющей всю Восточную Европу. Смерть его можно сравнить с безвременной гибелью полного сил отрока при самом его вступлении в пору созревания. С того времени киевская тема в чутком сознании едва ли не постоянно сопровождается печалью, а то и тревогой.

В горьковской “Исповеди” герой, охваченный жаждой истины, “был в дивном городе Киеве, поражался красотой и величием древнего гнезда русского...”

Вечер был. Торопливо катит воды свои мутный Днепр, а за ним вся гора расцвела храмами: трепещет на солнце кичливое золото церковных глав, сияют кресты, даже стекла окон, как драгоценные камни, горят, – кажется, что земля разверзла недра и с гордой щедростью показывает солнцу сокровища свои.

А человек рядом со мною говорит негромко и печально...

Словно сказка, кем-то мудрым и великим рассказанная, застыла там за рекой...

– Как сильно было начато, как могуче строено!

Как старый сон, вспоминаю я князя Владимира, Антония, Феодосия, богатырей русских – и жалко мне чего-то...

Разумеется, у послемонгольского Киева также есть свои грандиозные цели. Он постоянно в лесах нового исторического строительства. Происходит как бы второе рождение поверженного народа, этногенез в новой его редакции, еще раз раздался скрип резной славянской – теперь уже украинской – колыбели. Отбиваясь от “степи”, город ввиду малых своих сил попадает в зависимость от “леса”, в котором еще возносились жертвы Перуну. Им завладевают литовские князья, которые на протяжении столетий будут колебаться между отраженным светом погибшего киевскорусского великолетия и все более ослепительным блеском предбарочной Польши.

Весь же XVII век на Украине проходит под знаком мощного политического инстинкта к реставрации киевскорусской государственности. В героическом свете этого проекта Киев должен был снова обрести свое былое могущество. И снова воскресает былая “трихотомия” этого могущества, хотя и в новых ее формах. Происходит чрезвычайно интенсивный по своему характеру, весьма важный идеологический процесс, разумеется, менее важный, чем крещение Руси, но несколько сходный с ним по своей мировоззренческой структуре. Сохраняя свое своеобразие, одноумственную независимость, город одновременно входит в семиотические стихии Запада – позднесредневековой и барочной. Возникает учебное заведение, весьма и весьма напоминающее западный университет в пору его аристотелевско-схоластической ориентации. Византийское наследие дополняется европейским...

По самым разным причинам киевский политический барочный проект все же не был осуществлен. Вернее, он затянулся на многие столетия. После века казацкой греоики и предельного интеллектуального напряжения киевского Барокко город снова уходит из зоны активной истории под слезы Яна Собеского, окончательно отказывающегося от него в пользу Москвы, под грохот петровских барабанов, возвестивших рождение империи, столица которой неизменно отвергала соперничество самой Москвы, не то что ее исторической матери. Киев исподволь превращается в провинцию. Впрочем, весьма уютную.

Екатерининский век прошел под знаком гигантских экспансионистских усилий этой империи в сторону полуисламского-полуничейного Причерноморья. Там возникает разветвленная система городов, долженствующих со временем стать спутниками российского Константинополя, грядущего “греческого царства” в его новом и уже окончательно зависимом от “третьего Рима”

издании. Естественно, места в этой системе для бывшего “соперника Константинополя” не предусматривалось. Вот тогда-то Киев и превращается в “спящую красавицу” Поднепровья.

Разумеется, город обстраивался, торговал, хорошел, привечал паломников со всех концов православной ойкумены, дорожил своей академией, пусть и жестко реформированной из “Киево-Могилянской” в “Духовную”, основал университет, объединивший под своей крышей украинцев, поляков и великороссов, создавал скромные, но доброкачественные научные школы и направления. Кроме того, Киев “петербургской эпохи”, начисто потеряв свое политическое значение, все же сохранил свой исторический ландшафт, в котором “новое” гармоничнейше вписывалось в “старое” (самый сильный пример тому – Андреевская церковь, воздвигнутая украинскими зодчими по проекту Растрелли, удивительное место встречи западнобарочной изысканности и тектонического гения восточного славянства).

И все же крах украинского барочного политического проекта надолго, на целые столетия, сообщает городу, его “языку” некую чрезмерно меланхолическую, хотя и проникновенно лирическую интонацию. Методичность, неспешность, благоговение перед “преданием”, непремный, хотя и скромный, “комфорт” – вот основные черты киевского жизненного стиля той эпохи. Разумеется, преимущественно на его “Горе”, а не на “Подоле” или на пути от него к ней, скажем, на Андреевском спуске, где проживало семейство профессора Духовной академии Афанасия Булгакова.

В этой весьма своеобразной духовной атмосфере натуры нервные, артистические, затронутые общеевропейским “концом века” и вовсе создают философию-недоверия-к-истории. После короткого увлечения марксизмом киевляне Николай Бердяев, Сергей Булгаков (кстати, дальний родственник упомянутого профессора) и отчасти Лев Шестов становятся именно оппонентами и полемистами истории, пытаются заглянуть в ее метафизическое “ззеркалье”. Их философствование – это во многом мыслительное производное от старинного киевского разочарования историей, не исполнившей своих обещаний и проектов, от усталости пребывания в ней. Возникает даже своего рода “массовая культура” вокруг такого чувства (писатели Закржевский, Пантюхин, Прохаско, как бы дублирующие мэтров киевского иррационализма, известные сегодня лишь в нешироком кругу любителей-киевоведов). Но вокруг него возникает и лирика самого высокого ранга – начиная с Райнера Мария Рильке и Иннокентия Анненского, создававших ее в пещерах Лавры и под ее каштанами, доньше сохранившимися.

Так Киев вошел в наш век. При своих святых, некогда впервые в стихиях восточнославянского языкачества с его циклическим, исключаящим какую-либо неповторимость, однократность,

уникальность мировоззрением научавших это язычество именно неповторимому, однократному, уникальному как основе исторического процесса. Вошел при уникальности своего архитектурного и ландшафтного облика, удержавшегося даже в нашу эпоху, в которой такое постоянно вытесняется тиражирующим и массовидным. Вошел при уникальности своей политической и национальной судьбы, постоянно исторгающей вздох о том, как “сильно начато”. Таковы составные “киевской легенды”, занимающей въяе незаместимое место не только в национальном, но и общемировом культурно-историческом контексте.

Киев вошел в XX век и обойденный историей, и пресыщенный ею, и во многом готовый к ее многотрудным испытаниям. “Велик и страшен был год 1918-й...”. Киевский поздний “мистицизм” возник, по-видимому, и как следствие предшествующей суммы затихающей и затухающей истории, и как предчувствие ее вскоре забушевавшего урагана. Наше сознание еще слишком бедно для того, чтобы понять все его ветры и силы. Велик и страшен был тот год, но 1941-й был его страшнее.

Киев некогда изведал всю интенсивность истории, всю полноту ее страстей и устремлений. Затем он надолго застыл в столь сладкой для многих лириков и философов “какой-то вневременности”. Но его не минула затем ни одна гроза или буря нашего полуапокалиптического века, включая его самые страшные, теперь уже хорошо известные силы ... Писать же об этом нужно уже не статью, но библиотеку.

Как сильно было начато...



Памятник князю Владимиру.
Скульптор В. И. Демут-Малиновский.
Фигуру в натуре выполнил П. К. Клодт.
Проект постамента – архитектор К. А. Тон.
1853 год.
Фото А. Розанова

ЖРОНИКАСФК

МОСКВА

В Государственном центральном концертном зале "Россия" прошел благотворительный вечер "Во славу женщины".

Открылся он выступлением артистов ансамбля "Московский балет". Тепло встречали зрители Рената Ибрагимова, Геннадия Хазанова, Александра Скворцова, лауреатов Всесоюзного конкурса артистов цирка и мужскую группу Государственного русского хора Союза ССР.

Средства, вырученные от продажи билетов, направлены на сооружение монумента, посвященного русским женщинам, который будет воздвигнут в Рязани. Этот памятник станет символом героизма советских женщин, самоотверженных тружениц и защитниц нашей страны, проявивших стойкость и мужество в годы тяжелых для Родины испытаний.

ИРКУТСК

Александра Шипицына, художника-графика, в шутку стали называть "иркутским Хаммером" после того, как он передал областному отделению Советского фонда культуры свою коллекцию работ графиков. 121 лист – целая музейная экспозиция – станет основой картинной галереи в молодом сибирском городе Саянске. По приблизительным подсчетам подаренная коллекция оценивается в 11 тысяч рублей, так что шутка шуткой, но доля истины в ней вполне достойная.

Дар Шипицына не первый и далеко не единственный после того, как весной 1987 года было создано Иркутское областное отделение Советского фонда культуры. Скажем, поэт Марк Сергеев передал областной библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского более двухсот книг иностранных писателей с автографами. Вдова известного иркутского художника Евтихия Конева подарила пять его работ...

Для иркутян такие дарения не в диковинку. А.Н.Радищев, декабристы, сибирские просветители XIX века, ученые-исследователи и путешественники по крупицам складывали мозаику духовного наследия города. Жители Иркутска гордятся лучшей в Сибири картинной галереей. Основа ее – дар городского головы В.П.Сукачева. Коллекция биофила и летописца Иркутска Н.С.Романа

нова составляет большую часть фонда редких книг в университетской и областной публичной библиотеках.

Традиция продолжается.

АРХАНГЕЛЬСК

Первыми делами архангельского Фонда культуры (когда у него не было ни своего помещения, ни счета в банке) стали фольклорный праздник в Верколе, посвященный памяти Федора Абрамова, и фотовыставка, устроенная в залах краеведческого музея. Героем всех снимков был один человек – Владимир Высоцкий.

Праздник в Верколе Фонд культуры проводил совместно с мемориальным музеем Абрамова. Его директор, В.А.Шелл, был инициатором первых Абрамовских литературных чтений, проведенных несколько лет назад. Теперь состоялись вторые чтения, которые отныне станут традиционными.

Фотовыставка работ В.Плотникова и А.Стернина "Жизнь и смерть в театре", посвященная 50-летию со дня рождения Высоцкого, была организована усилиями заместителя председателя областного Фонда культуры Татьяны Игоревны Шлык и ее добровольных помощников – шоферов, грузчиков, плотников. Экспозицию разместили в палатах XVII века. Когда в сводчатых залах зазвучали фонограммы ролей и песен Высоцкого, у тех, кто сюда пришел, возникло ощущение, что артист вернулся на подмостки.

В книге отзывов посетителей есть и такая запись: "Вот редкое место в городе, где можно подумать и осмыслить себя".

За две недели на выставке побывало полторы тысячи человек. Каждому из них вручалась фотокопия автографа, на котором значилось одно лишь слово, начертанное рукой нашего замечательного современника: "Добра!"

Кстати сказать, Архангельск – далеко не единственный город, где бережно относятся к творческому наследию певца и поэта. Клубы Высоцкого действуют и в других отдаленных от столицы местах России. Один из них в Норильске. Руководитель норильского клуба "Нерв" Валерий Петрович Сахаров недавно был гостем нашей редакции и рассказывал, что у них вот уже несколько лет действует обширная фонотека записей поэта, демонстрируются фильмы с участием Высоцкого, организуются

вечера воспоминаний о нем. Гостями клуба "Нерв" были хорошо знавшие Высоцкого кинорежиссеры Геннадий Полока, автор фильма "Интервенция", Станислав Говорухин, снимавший актера в фильме "Место встречи изменить нельзя".

ЛЕНИНГРАД

Первый международный контракт Советского фонда культуры был заключен со швейцарской фирмой "Бартон", специализирующейся, в частности, на выпуске фото-репродукций высочайшего класса. Сотрудники фирмы справедливо замечают, что в нескольких шагах копия неотличима от подлинника. Тираж репродукций одной картины обычно весьма мал. Каждая копия имеет свой собственный номер, что дает фирме возможность продавать свою продукцию по тысяче долларов за экземпляр и выше.

В соответствии с контрактом зарубежные партнеры Фонда культуры прибыли в СССР. Возглавлял рабочую делегацию руководитель компании Ричард Бартон. Наибольшее внимание фирма уделила технической стороне дела: фотографы и ретушеры были "выписаны" из США, причем вес фотооборудования составил несколько сот килограммов! Всего было отснято десять картин, пять – в Москве, в Государственном музее образительных искусств им. А.С.Пушкина, и пять – в Ленинграде, в Эрмитаже.

– Наш первый контракт должен быть успешным, – сказал Ричард Бартон. – Поэтому мы отобрали самых известных мастеров – Писсаро, Сезанна, Ван Гога, Пикассо, Матисса. Если дело пойдет хорошо, фирма будет репродуцировать и русских художников.

Фонд культуры, взявший на себя всю организационную сторону переезда, получает оговоренную в контракте часть прибыли. Эти доходы будут использованы на выполнение программ Фонда, направленных на сохранение и развитие культурных ценностей нашего общества.

ТОМСК

По инициативе областного отделения Фонда культуры в Томске состоялся первый благотворительный концерт. С программой "От истоков рус-

ской хоровой культуры" выступила хоровая капелла Томского университета под руководством заслуженного работника культуры РСФСР Виталия Вячеславовича Сотникова.

Капелла – лауреат премии Ленинского комсомола, яркий и самобытный коллектив, гордость Томской области.

Концерт начался с напева XVI века "Глас господень" – мужского одноголосия. Прозвучали духовный концерт одного из первых русских композиторов Василия Титова "Безвестно дево", духовный концерт номер 19 талантливого композитора XVIII века Дмитрия Бортнянского, знаменитая "Херувимская песнь" Михаила Глинки и другие произведения. Каждое музыкальное выступление предварял краткий рассказ для тех слушателей, кто только знакомится с русской хоровой культурой.


Вечер прошел в Малом концертном зале, бывшей церкви при доме Осташева, и привлек много молодежи.

ПЕНЗА

Пензенское отделение Советского фонда культуры начало сбор средств на памятник М.Ю.Лермонтову.

– Мысль о мемориале возникла в среде русской интеллигенции вскоре после гибели поэта, – рассказывает председатель отделения Фонда культуры профессор К.Вишневский. – В 1889 году в Пятигорске на народные средства был сооружен памятник работы скульптора А.М.Опекушина. Три года спустя в Пензе открыт бюст поэта. Он стоит до сих пор в Лермонтовском сквере. Но это, скорее, памятный знак, не отражающий в полной мере величие гениального творца. Сбор средств на памятник включен в план работы общества. Уже получены первые взносы. Надеемся к 175-летию со дня рождения Михаила Юрьевича заложить памятный камень. Выбор места для него в городе выносится на обсуждение, в котором могут принять участие все почитатели таланта поэта.

Предложения можно послать по адресу: 440601 Пенза, Советская площадь, 3, Пензенское отделение Советского фонда культуры. Текущий счет № 702703 открыт в операционном управлении жилищбанка. В денежных переводах необходимо указать "На памятник Лермонтову".

A photograph of a park with large, old trees in the foreground and a pond in the background. The trees are dark and silhouetted against a lighter sky. The pond is calm, reflecting the trees and the sky. In the distance, a bridge is visible over the water.

*„Детская”
пушкинского
Дома*

Захарово.
Старые липы возле пруда

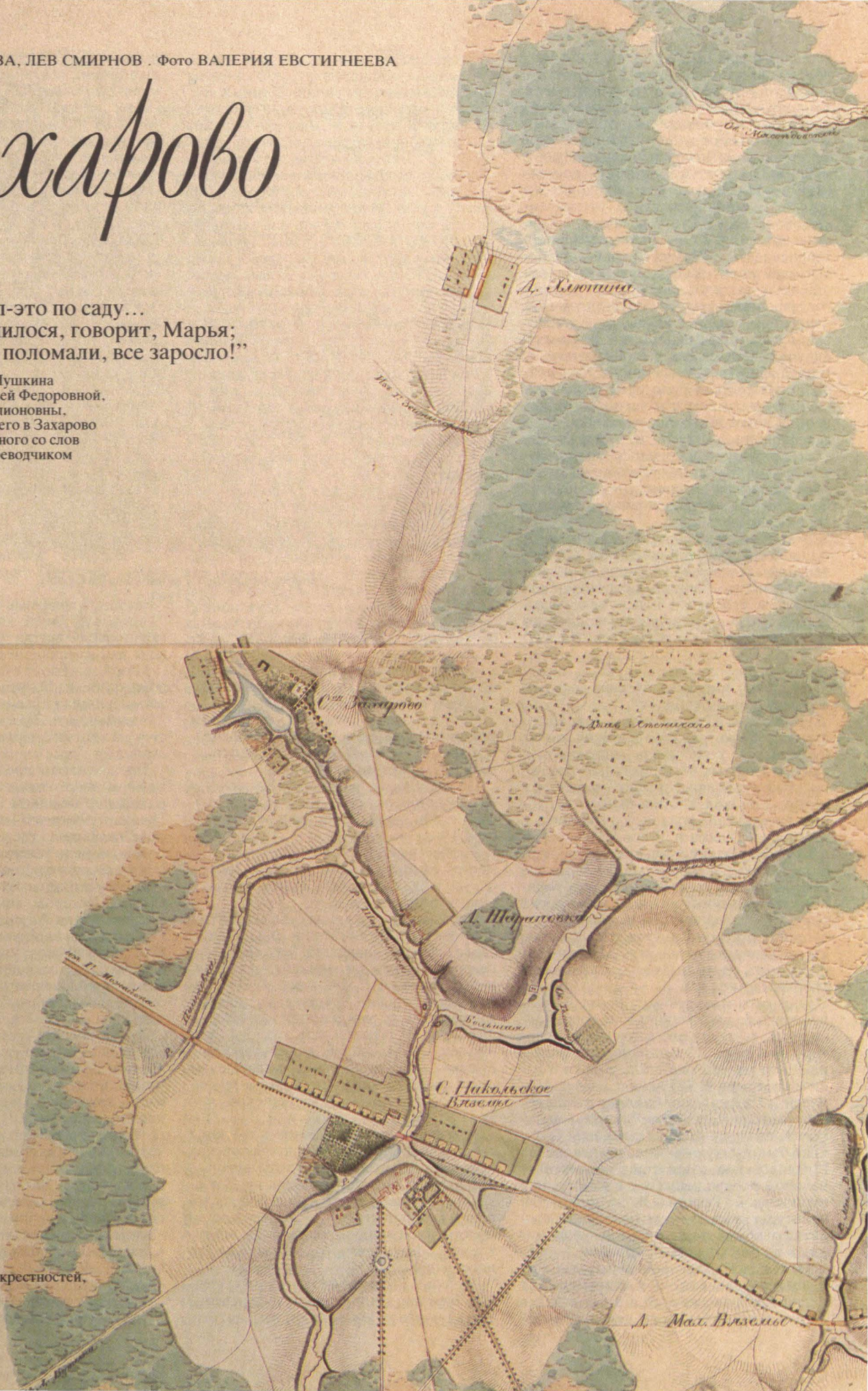
Захарово

“... Он пошел-это по саду...
все наше решилося, говорит, Марья;
все, говорит, поломали, все заросло!”

Из разговора А.С.Пушкина
с крестьянкой Марьей Федоровной,
дочерью Арины Родионовны,
в последний приезд его в Захарово
в 1830 году, записанного со слов
Марьи поэтом и переводчиком
Николаем Бергом
в 1851 году.

№ 14.

Карта Захарова,
Больших Вязем и окрестностей,
30-е годы XIX века



Пушкин однажды сказал: “Я числюсь по России”.

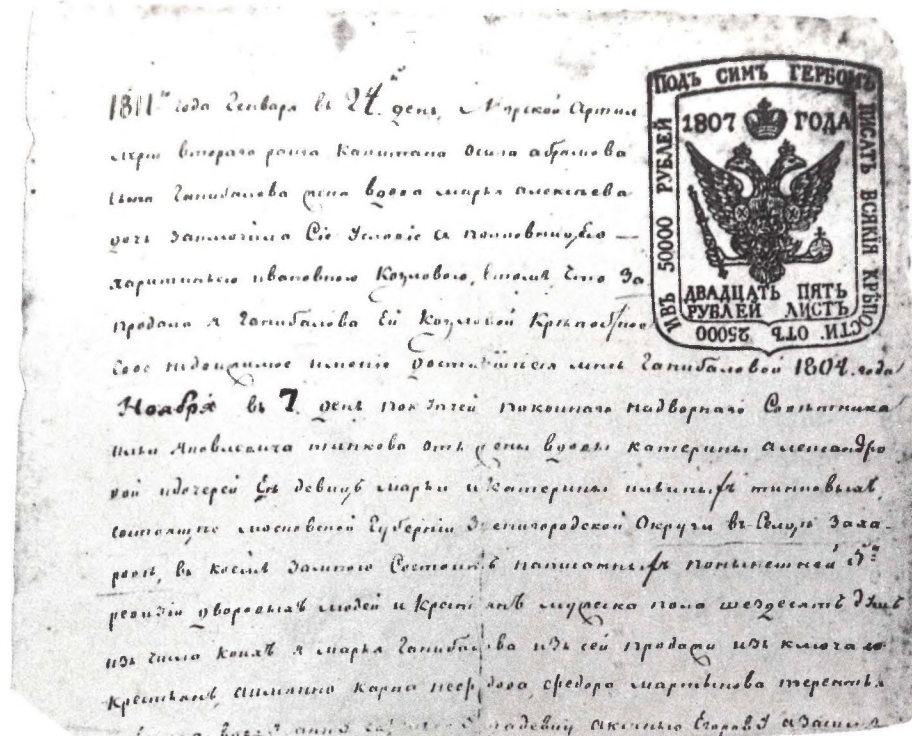
Надо помнить, что это было сказано в то время, когда переписка современников была наполнена дорожными жалобами. Как раз на пушкинское время приходится открытие философской мыслью, литературой, поэзией российской протяженности как специфически русского миропереживания и жизненной проблемы. Русское пространство становится одной из напряженнейших творческих тем. Чаадаев первым из мыслителей увидел в бесконечности отечественных пределов злой рок для русской государственности и культуры. В дорожной лирике – жанре, сложившемся в это время, – поэзия извлекает одну из своих самых жалобных нот. А гениальный гоголевский пафос преодоления русских просторов срывается на тоску и тревогу измученного бесконечной дорогой путешественника. Чаадаев перестал выходить из дома, Гоголь обрек себя на непрерывные переезды – в жизненной участи обоих можно увидеть метафору расплаты за дерзость преодоления мыслью и словом российской беспредельности.

В противоположность им Пушкин, в сущности бездомный человек, с поразительной легкостью освоил и обжил необъятность России. Современников поражала его охота к перемене мест. Автор “Бесов” – мучительнейшей из фантазмагорий, навеянных русской дорогой, – сделал российскую территорию своим домом. Он так и писал: “Петербург прихожая, Москва девичья, деревня же наш кабинет”.

И Русское Пространство сохранило память об этом. С того времени, когда пушкинская тема стала вырастать в одну из главных мемориальных тем нашей культуры, практически все места, в которых он жил, гостил, бывал, в которые он заезжал, ссылался – Кишинев и Оренбург, Одесса и Тверь, Бахчисарай и Торжок, Болдино, Михайловское, Арбат, Мойка, – постепенно оказались неотделимыми от его имени, его родной, пушкинским домом. Сразу после революции этим именем называли сокровищницу русской словесности. А сегодня им уже можно назвать всю множественность мест, связанных с жизнью и творчеством поэта.

Они осознавались как неотъемлемо пушкинские постепенно. Уже современники поэта чтит его последнюю квартиру на Мойке, 12 как памятную святыню, хотя музеем она стала только в нашем столетии. В 1870-е годы создаются музей и Пушкинская библиотека в царскосельском “отечестве” поэта – в Лице. К столетию со дня рождения Пушкина было выкуплено в казну псковское Михайловское, и это стало незаметным началом превращения его в жемчужину пушкинской России. В трудные для культуры двадцатые годы нашего столетия открывается пушкинская экспозиция в подмосковном Остафьеве.

Нет надобности проследить всю последовательность возникновения пушкинских экспозиций, чтобы уловить в этом одну особенность: первым памя-



Запродажная М.А.Ганнибал на Захарово, 1811 год

ным местом стал дом, где поэт скончался, а последним – оно открывается в качестве пушкинской реликвии прямо на наших глазах – место детства поэта.

О нем и пойдет речь – о Захарове.

Что же такое Захарово, о котором так много говорено и писано в последнее время? Чем оно было для Пушкина, чем оно может стать для нас?

Почти у всех пушкинских музеев – в разной степени, но уже сложились – свой стиль, свой жанр, своя аудитория, свой Пушкин.

Лирико-поэтическое Михайловское – место летнее, паломнический поток влечет сюда в основном людей, понимающих толк в природе.

Изначальная традиция существовать в покровительственной тени Екатерининского дворца перешла от Лицея к теперешним его наследникам – экспозициям Музея А.С.Пушкина и Царскосельского лицея. Здешнее туристское многолюдье устремлено прежде всего к шедеврам Растрелли и Камерона, так что эти музеи, скорее, камерные, серьезные – для тех немногих, которые, не прельщаясь дворцовым золотом, специально едут только к заветной скромной арке.

Арбат из типичной московской улицы стал улицей-сувениром для московских приезжих. Какой бы ни задумывалась когда-то “Квартира Пушкина на Арбате”, стала она типично арбатской достопримечательностью – средоточием облегченной информации, общих впечатлений, всеобщего и обязательного посещения.

Мойка, 12 – место тихое и приглушенное, никакие экспозиционные перемены здесь ничего не изменили и изменить не

могут: сюда всегда шли и до сих пор идут как на прощание.

Музей в Торжке стал экспозицией дорожной жизни пушкинской эпохи, музеем Пушкина-путника.

Чем же стать Захарову в этой пестроте и разноголосице музейных жанров и стилей?

Прежде всего определим сам масштаб мемориального значения Захарова. Мы до сих пор не знаем точно, где родился Пушкин; все часто менявшиеся московские квартиры, где он жил со своими родителями в течение двенадцати детских лет, находились в ныне уже не существующих домах. Поэтому подмосковное Захарово, имение бабушки по матери Марии Алексеевны Ганнибал, в котором будущий поэт проводил лето с 1805 по 1810 год, оказывается единственным сохранившимся адресом всего пушкинского детства. Захарово среди мемориальных мест выступает как “детская” поэта.

Но что значит “детская”?

Конечно, в первую очередь это сама картина пушкинского детства, которая уже во второй половине прошлого века была воссоздана первым поколением пушкинистов, П.В.Анненковым и П.И.Бартеневым, и с тех пор практически не претерпела существенных изменений. Характерно, что именно пребывания в Захарове оказываются в этой картине наиболее живописными и полнокровными эпизодами.

Селение с традиционным русским укладом – шумными праздниками, хоровами, песнями, с заборами в реке волнистой, с мостом и рощей тенистой зеркалом вод отражено; удачно расположенный среди живописной при-

роды барский дом (судя по запродажной 1811 года – с типичными приметами усадебного быта: мебель красного дерева, сафьяновые кресла, бронза, зеркала); скромные флигели, один из которых занимали дети с гувернантками (возможно, он описан в лицейском стихотворении “Сон”); кудрявый смуглый мальчик, шалун и непоседа, который в играх любит воображать себя богатырем; дворовые дети, заботливая старая бабушка, добрая сказочница няня, рассеянные и невнимательные к ребенку родители, старшая сестра Оля, младший брат Левушка, хождение всей семьей в соседнее село Вяземы к обедне, стол посреди березовой рощи – место обедов и чаепитий; *соседи шумно толобу взошли, прервали тишину*; скамейка на берегу старого усадебного пруда – для обозрения полей, лугов, для размышлений; *ночью сон, поутру чай, прогулки в роще и первые стихи; там можно жить и праздно и беспечно, там прямо рай*. “Здесь будущий поэт впервые узнал русскую деревню. Это знакомство принесло много счастья ребенку, и летние пребывания в с. Захарове сделали для него на всю жизнь золотыми воспоминаниями...” (С.А. Венгеров. Биографическое введение в Собрание сочинений Пушкина 1904 года).

У Пушкина было счастливое детство. Он сам говорил об этом. Возможно, именно по причине “беспроблемности” детство поэта, осев в хрестоматиях, по сути, никогда не было серьезной исследовательской темой. Но в последнее время и как раз одновременно с привлечением общественного внимания к Захарову (главным образом благодаря юбилейному пушкинскому выпуску “Огонька” за 1977 год) сразу в двух монографиях о поэте (Ю.Лотман “А.С.Пушкин” и Е.Маймин “Пушкин. Жизнь и творчество”) идиллия ранних лет была поставлена под сомнение. Скорее всего, именно потому, что так долго оставалась хрестоматийно незыблемой. В этих работах важна не позиция (“детство он вычеркнул из своей жизни”) – далеко не бесспорная, а сама попытка сделать этот период жизни поэта исследовательской проблемой, “открыть тему” отношения Пушкина к своему детству. В вышедшей в прошлом году монографии о Пушкине Н.Скатова (“Русский гений”) эта проблема уже обстоятельно разбирается.

Фигура Пушкина одна из самых символических в русской культуре. Имеет символический смысл и то, что память о поэте овеществлялась и материализовывалась в экспозициях в обратном его жизненному пути направлении. Место смерти, последняя квартира на Мойке, открыла анфиладу мемориального пушкинского дома, “детская” Захарово спустя полтора столетия замыкает ее. Это значит, к детству поэта мы подходим через весь мемориальный опыт пушкинской темы. Возможно, и не осознавая этого, мы воспринимаем его в обратной жизненной перспективе, как могло бы оно предстать умиравшему Пушкину – сквозь все уже про-

житое, последним воспоминанием. Об разом начала, представшим в конце.

В жизни Пушкина мы видим глубокие духовные примеры отношения к чести семьи, к друзьям, к власти и черни. К этим примерам следует прибавить его отношение к детству и детям.

Пушкин часто и по-разному обращался к собственному детству. Многие сведения о ранних годах поэта, известные от его друзей (тогда еще его не знавших) П.В.Нащокина и С.П.Шевырева, имеют своим источником рассказы самого, уже взрослого, Пушкина, что свидетельствует о значимости для него этого периода жизни.

В черновых записях, составленных около 1830 года, известных у исследователей как “Первая программа записок”, ранним, долицейским годам уделено не меньше внимания, чем пребыванию в Лицее. Емкость содержания проступает в самом названии тем: “Первые впечатления”, “Няня”, “Ранняя любовь”, “Смерть Николая”, “Нестерпимое состояние”, “Охота к чтению” и так далее. Возможно, это было бы первая в русской литературе – до Аксакова и Толстого – книга о детстве.

Общеизвестен рассказ о посещении Захарова Пушкиным спустя двадцать лет после отъезда в Лицей, записанный Бергом со слов Марьи (дочери Арины Родионовны, оставшейся в давно проданном имении), и его полные горечи слова “все наше решилось... все поломали, все заросло”. На первый взгляд сетования Пушкина непонятны. Записавший этот рассказ в 1851 году (то есть спустя еще двадцать лет после Пушкина) Николай Берг характеризует усадьбу как хорошо сохранившуюся. Действительно, разрушение усадьбы началось гораздо позже, уже в нашем столетии. Это значит, поэт был потрясен тем, что не узнал в неизменившейся усадьбе своего Захарова; естественные для протекших лет перемены, неумовленные для постороннего, сделали для Пушкина родное место разоренным и чужим. Это одно из самых сильных свидетельств того, насколько близко и дорого было ему Захарово, насколько ярко оно жило в его памяти.

Впечатление от посещения мест детства оказалось настолько сильным, что уже спустя несколько месяцев нашло отражение в его творчестве: в “Истории села Горюхина”, написанной болдинской осенью 1830 года, мы как бы от самого Пушкина узнаем о его переживаниях в Захарове. “... Нетерпение вновь увидеть места, где провел я лучшие свои годы, так сильно овладело мной, что я поминутно погонял моего ямщика... Наконец завидел Горюхинскую рощу; и через десять минут въехал на барский двор. Сердце мое сильно билось – я смотрел вокруг себя с волнением неопытным. Восемь лет не видал я Горюхина. Березки, которые при мне посажены были около забора, выросли и стали теперь высокими, ветвистыми деревьями. Двор, бывший некогда украшен тремя правильными цветниками, меж которых шла широкая дорога, усыпанная песком, теперь обращен был в некошенный

луг...” Дальше, возможно, мог бы последовать и рассказ Марьи.

Через несколько лет Пушкин повторит это описание в “Дубровском”, где герой также после долгого отсутствия возвращается на родину.

Характерная деталь. Время, которое герои не видели своего родного дома, разное: восемь лет – герой “Горюхина”, двенадцать – Владимир. Почему же описание деревьев совпадает в обоих отрывках дословно? Потому что оно соответствует другому, жизненному – захаровскому – источнику: только за двадцать лет березки могли стать высокими, ветвистыми деревьями.

Тема детства появляется в творчестве Пушкина в самом его начале, в лучших произведениях лицейского периода: “Воспоминания в Царском Селе”, “Послание к Юдину”; в “деревенских” стихах “Городок”, “Сон” также скрыто присутствуют образы сельских захаровских впечатлений. Поражает пафос отношения к детству – спустя всего несколько лет в счастливом Лицее Пушкин не “вспоминает”, а воспекает детство как лучшую свою пору!

*Края Москвы, края родные,
Где на заре цветущих лет
Часы беспечности я тратил золотые,
Не зная горести и бед...*

Уже в этом раннем поэтическом творчестве проявляется характернейшее для всего последующего русского писательства, как мы сейчас сказали бы, краеведческое отношение к местам детства, то есть стремление (и умение) соединить их с ключевыми процессами истории, ввести в контекст всеобщего духовного достояния.

*И вы их видели, врагов моей отчизны!
И вас багрила кровь и пламень пожирал!
И в жертву не принес я мщенья вам и жизни;
Вотще лишь гневом дух пылал!..*

– это о Захарове и Вяземах, занятых в 1812 году войсками Наполеона. А в “Послании к Юдину” не только документально точное и узнаваемое описание деревенских мест детства (что сегодня очень важно, например, для реставраторов), но и волшебное легкое перенесение их в Антологию Буколической Лирики.

*Ни холме домик мой; с балкона
Могу сойти в веселый сад,
Где вместе Флора и Помона
Цветы с плодами мне дарят,
Где старых кленов темный ряд
Возносится до небосклона
И глухо тополы шумят.
Туда зарею поспеваю
С смиренным заступом в руках,
В лугах тропинку извиваю,
Тюльпан и розу поливаю –
И счастлив в утренних трудах;
Вот здесь под дубом наклоненным
С Горацием и Лафонтеном
В приятных погружен мечтах.*

В произведениях зрелого периода общения с детством обретает характер тонкой творческой игры. В “Борисе Годунове” окрестности Захарова как бы случайно и по недосмотру помещены в стороне от их истинного местонахождения. Но это не оплошность, а расчет. Оказавшись среди характерных территориальных примет разбойной эпохи – разоренных государственных границ (Кромы, корчма на литовской границе), старинные названия родных мест – бывших вотчинных владений Годуновых – яснее звучат как топонимы Смутного времени. Автор превращает тропинки детства в Тропы Истории и сам готов провести по ним: “... свороти влево, да бором иди по тропинке до часовни, что на Чеканском ручью, а там прямо через болото на Хлопино, а оттуда на Захарьево, а тут уж всякой мальчишка (разрядка наша) доведет до Лувых гор”. Пушкин и годуновской Москвой распоряжается со свободой и правом коренного москвича (чем, как известно, очень гордился), с уверенностью наследника – ведь “он дома, у первоисточника”. С шекспировским размахом разбрасывает он сцены по Кремлю и Красной площади, по монастырям, домам и палатам. Территориально “Годунов” для Пушкина – “домашняя” драма, и его предок рассказывает по Москве не только как вершитель российской истории (“Пушкин идет, окруженный народом”), но и как искони московский житель.

Захаровское детство неразрывно со старинным селом Большие Вяземы, рядом с которым расположено Захарово. Некогда Вяземы были годуновской вотчиной. Сохранившийся храм, построенный в XVI веке при Годунове, был приходской церковью Захарова, так что вся семья Пушкиных часто бывала здесь на богослужениях. С Вяземами связаны начальные этапы пушкинского образования. Начитанность Пушкина поразила его будущих товарищей-лицестов при знакомстве с ним. “Все мы видели, что Пушкин нас опередил, многое прочел, о чем мы и не слышали”, – вспоминал И.Пущин. Одним из источников этой начитанности несомненно послужила библиотека в Вяземах.

Рассказывает краевед, много лет собирающий материалы по истории Захарова и Вязем, Александр Иванович Виноградов:

– В конце XVII века Большие Вяземы были подарены Петром I его сподвижнику Борису Алексеевичу Голицыну. По преданию, в доме, который сохранился (правда, в перестроенном виде), неоднократно гостил Петр. Князя Голицыны постепенно завершили благоустройство усадьбы, начатое еще Борисом Годуновым, и в конце XVIII века Вяземы представляли собой великолепный дворцово-парковый ансамбль, один из самых замечательных среди русских усадеб классицизма. Не случайно именно Вяземам был посвящен первый том из серии “Русские усадьбы”, изданный в начале нашего столетия знаменитым усадебного быта и архи-

тектурно-ландшафтных ансамблей Шереметевым.

В пушкинское время Вяземы уже были своеобразным фамильным музеем Голицыных с богатой художественной коллекцией, картинной галереей, обширной библиотекой. Очагом культуры, сопоставимым с юсуповским Архангельским. Библиотека была собрана в начале XIX века и содержала более 30 тысяч томов. Ее создателем был тогдашний владелец усадьбы Борис Владимирович Голицын, приятель поэтов Г.Р.Державина, А.Ф.Мерзлякова, сын княгини Наталья Петровна Голицыной – той самой, что послужила прообразом старой графини в “Пиковой даме”.

Вот что писал о вяземской библиотеке в середине прошлого века профессор Московского университета С.П.Шевырев (живший тогда в Вяземах) в предисловии к своей книге “История русской словесности”: “... Библиотека особенно замечательна собранием книг, изданных при Петре Великом в Голландии, Москве и Петербурге... Здесь находятся: полный экземпляр Нового Завета 1717–1719 годов, издание, как известно, довольно редкое; собрание Ведомостей, ... французский перевод новелл Боккаччо 1414 года...” Нужно добавить, что в русском и иностранном залах вяземской библиотеки помимо уникальных изданий хранились рукописи XVI–XVII столетий.

Голицыны были не только хорошо знакомы с родителями Пушкина, но и являлись их дальними родственниками. Приезжая на протяжении шести лет в Захарово, юный Пушкин вместе с отцом и дядей наверняка часто посещал Вяземы. Можно предположить, что хозяин усадьбы позволял любознательному мальчику, отличавшемуся “охотой к чтению”, пользоваться книгами своего собрания.

После смерти Бориса Владимировича Голицына от ран, полученных на Бородинском поле, Вяземы унаследовал его родной брат Дмитрий Владимирович, впоследствии московский генерал-губернатор. Он мечтал о создании публичной библиотеки в Москве, о чем пишет тот же Шевырев: “Князь был готов положить в основание этой библиотеки свою собственную, которая находилась в селе Вяземы, и уверен был, что многие владельцы библиотек, оставшихся в их имениях без всякого употребления, последуют его примеру”. Однако замыслу Голицына не суждено было исполниться, и его книги остались в Вяземах.

Уже к тому времени вяземская коллекция имела уникальную ценность, поскольку многие книжные собрания Москвы сгорели в пожаре 1812 года, а усадьба Голицыных не пострадала (может быть потому, что в ней останавливался Наполеон).

Летом 1849 года Вяземы посетил Гоголь. Он провел в усадьбе несколько дней и, вероятно, пользовался книгами усадебной библиотеки.

В 1879 году учеными А.Викторовым и Н.Барсуковым была составлена опись наиболее важных старопечатных книг в архива Голицыных, также хранившегося в вяземском дворце. Когда в 1919 году из дворянских усадеб собирались книги для московских библиотек, из Вязем было вывезено 25 тысяч томов, значительно обогативших собрания Академии наук, Московского университета, Историческую библиотеку и Государственную библиотеку СССР имени В.И.Ленина. В последнюю был передан голицынский архив.

В середине 1918 года из усадьбы Голицыных было вывезено в Москву более двухсот портретов и других полотен, миниатюр английской и французской школ, старинная бронза. В это время музейная комиссия Наркомпроса готовила в Москве выставку художественных произведений. В числе двухсот тридцати картин, отобранных для массового обозрения, двадцать девять были из вяземского дворца – столько же, сколько и из усадьбы Архангельское.

Таким образом, в настоящее время фрагменты вяземской художественной коллекции рассредоточены по музеям, а читатели московских библиотек листают книги, которые помнят Пушкина и Гоголя...

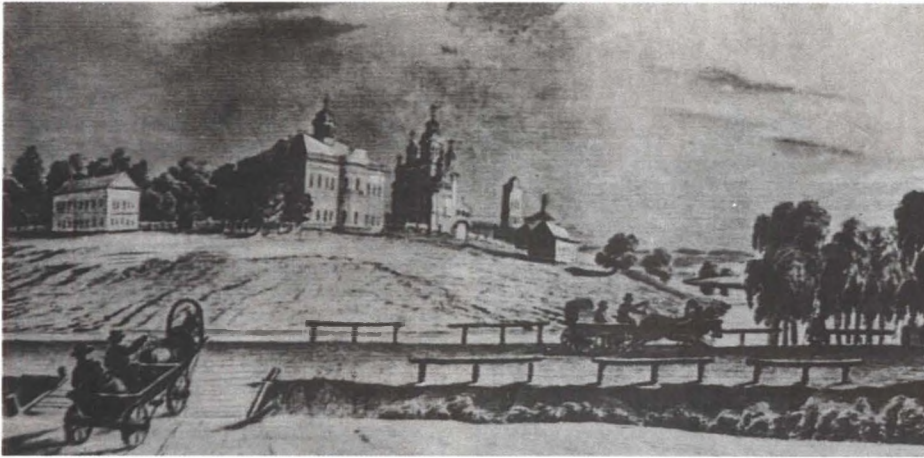
Сегодня, когда мы боремся за сохранение Захарова и Больших Вязем как архитектурно-ландшафтных памятников, за восстановление их в первоначальном виде, отстаиваем их значение как единственных мемориальных мест пушкинского детства, мы должны осознать, что и все культурно-художественные ценности тоже являются неотъемлемой частью пушкинского достояния. И библиотека, и художественная коллекция Больших Вязем должны быть выявлены, собраны во всей их полноте и восстановлены так, как сегодня восстанавливаются архитектурные памятники и мемориальный ландшафт пушкинских мест.

Каково состояние Захарова и Вязем сегодня?

Как это ни покажется невероятным, но только в прошлом году было принято Постановление Совета Министров РСФСР о создании в Захарове и Больших Вяземах Государственного музея-заповедника А.С.Пушкина.

Еще несколько лет назад на территории усадьбы Вяземы располагались различные организации, а в Захарове находился пионерский лагерь.

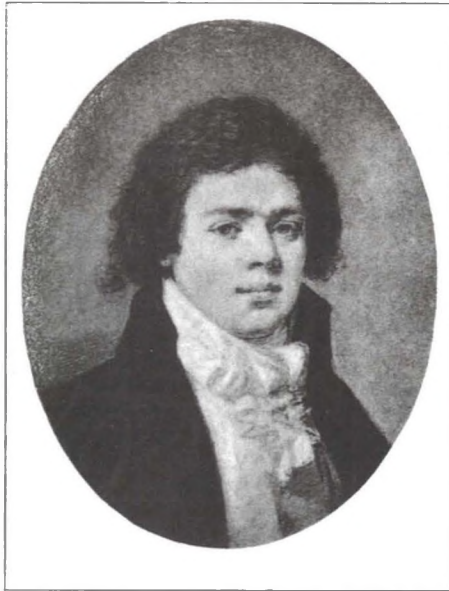
Сама история мемориализации Захарова достаточно курьезна. В 1949 году Академия наук СССР установила возле старой захаровской школы мраморный обелиск в память о приездах Пушкина в Захарово. Постановлением Совмина СССР 1960 года этот обелиск был объявлен памятником истории и культуры государственного значения. При этом в постановлении “забыли” саму усадьбу, и в течение всех последующих лет усадьба Захарово памятником не считалась и, конечно, не охранялась. Памятник “государственного значения” заботливо ограждался, украшался цветами, а в нес-



Тушин. Вид на Вяземы. Акварель, первая треть XIX века



Портрет князя Б.В. Голицына. Фотография начала XX века с акварели в Вяземах



Портрет князя Д.В. Голицына. Фотография начала XX века с акварели в Вяземах



Большие Вяземы. Библиотека Голицыных, иностранный зал. Фотография начала XX века

колыхающихся шагах от него в гибнущем пушкинском парке пасли скот.

Только в 1982 году усадьба Захарово была признана памятником местного значения, при этом не историко-культурным – пушкинским, а памятником садово-паркового искусства. Только еще через пять лет статус усадьбы повысился до государственного пушкинского заповедника.

Однако все благородно звучащие постановления, по сути дела, пока остаются только на бумаге. В 1985 году, когда Захарово уже было признано памятником и началось проектирование его охранных зон, в Одинцовском отделе районного архитектора разработали план современной застройки территории пушкинской усадьбы. Возведение первых десяти коттеджей для сортоиспытательной станции началось в 1986 году вопреки категорическим возражениям авторов проекта охранных зон Захарова. Проект этот, кстати, лежал на рабочем столе тех, кто планировал новый поселок. Таким образом, местные власти отнеслись к историко-культурному памятнику только как к территории, пригодной для хозяйственной деятельности. При этом был сделан расчет на то, что “не поднимется рука” снести уже возведенный самострой – застройку в нарушение законов и без необходимых документов. Строительство велось в быстром темпе и только осенью 1986 года после выезда на место компетентной комиссии было остановлено. Остались недостроенными десять блочных коттеджей и бетонная дамба на реке, сооружение которой привело к обмелению заповедного пушкинского пруда и заболачиванию питающей его речки.

По мнению специалистов, поддержанному газетой “Правда”, возможен и необходим перенос начатого строительства на предусмотренную проектом охранных зон резервную территорию. Однако, невзирая на выступления прессы, возражения Министерства культуры РСФСР, ВООПИК, Общества охраны природы, Академии наук СССР, Советского фонда культуры, Мосobl-исполком продолжает настаивать на застройке пушкинского Захарова – сердца будущего заповедника. Свою позицию он мотивирует многочисленными просьбами “снизу”, письмами местных жителей в высокие инстанции с требованием отменить постановление о заповеднике и завершить строительство поселка.

Можно понять нетерпение людей, желающих улучшить жилищные условия. Но вовсе не понятна близорукая позиция местных властей, не видящих перспектив развития района, которые даст организация Пушкинского мемориального центра. Например, туристский поток, привлеченный культурной программой заповедника, мог бы улучшить экономическую и социальную структуру края, способствовать его благоустройству и в конечном итоге подъему и уровня жизни местного населения.

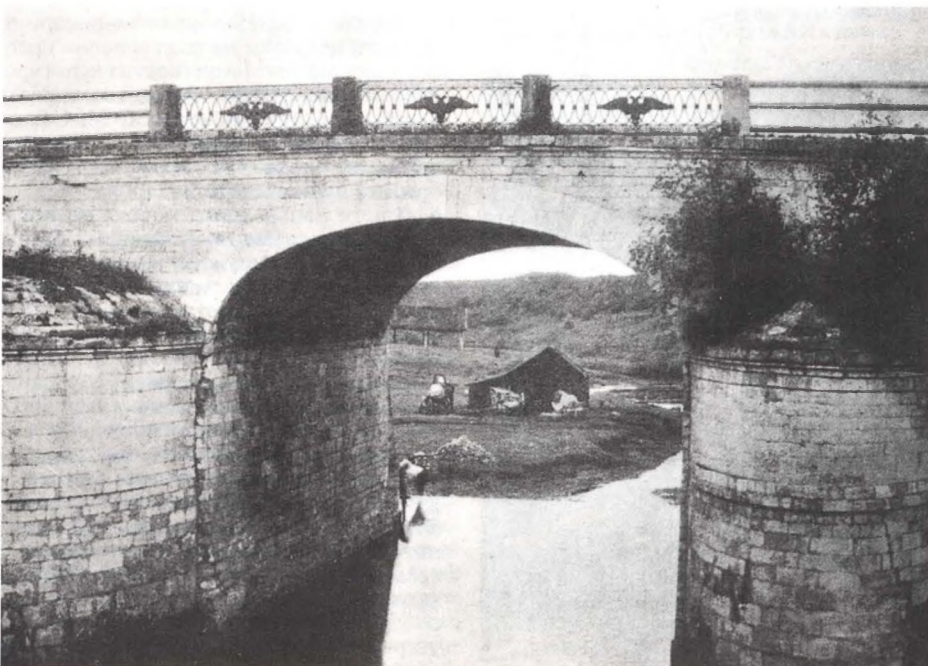
Проблемы реставрации Захарова непросты. Каковы их особенности? В



Акварель 1906 года, копия с картины А. Киселева (масло) 1879 года "Захарово"



Усадебный дом Голицыных, главный фасад. Фотография начала XX века



Большие Вяземы. Мост на Старой Смоленской дороге, XVI век (перестроен в XIX веке). Фотография начала XX века

чем трудности? Рассказывает архитектор Мастерской № 13 "Моспроект - 2", ведущая проектные работы по реставрации Захарова, Инга Борисовна Циприс:

– При реставрации всякой усадьбы особая роль обычно отводится главному дому – центру композиции усадебного комплекса. Однако в Захарове дом поздний, построенный в начале XX века, возможно, с использованием старых фундаментов дома М.А. Ганнибал. Будущие археологические работы и архивные изыскания покажут местоположение дома, его флигелей, хозяйственных построек в пушкинское время. Тогда и станет ясно, возможно ли воссоздание первоначального облика дома в Захарове, известного нам по картине художника А. Киселева и другим материалам. Это диктует особую направленность реставрационной деятельности. Парк и окрестности – вот единственное, что осталось здесь пушкинского. Поэтому главное внимание мы должны уделять сохранению и воссозданию мемориального ландшафта. Нашей мастерской разработан проект реставрации паркового ансамбля Захарова, традиционного для русских усадеб начала XIX века. Основа паркового ландшафта – центральная партерная зеленая поляна с двумя липовыми аллеями, спускающимися по холму от усадебного дома к пруду. Вместо утраченных лип в аллеях будут посажены молодые деревья.

Разросшиеся старые липы "сузили" аллеи, поэтому для прохода экскурсионных групп проектом предусмотрены специальные дорожки, параллельные оси аллей, а для сбережения газона центральной парковой куртины будут устроены цветники вдоль берега пруда и возле главного дома.

В основу восстановления цветника у северного входа в дом взято пушкинское описание в "Истории села Горюхина" и "Дубровском".

Деревья, удостоверяющие "пушкинский" возраст захаровского парка, – это старые липы, стоящие в ряд вдоль берега пруда, куда выводят центральные аллеи. Н.В. Берг оставил описание полукруглой скамейки возле "огромной липы" на берегу, где, по преданию, любил играть маленький Пушкин. Эта деревянная полукруглая скамья будет восстановлена. Здесь же сохранилась береза – несомненно, современница поэта и, возможно, одна из тех, что стали ко времени последнего посещения Пушкиным Захарова "высокими, ветвистыми деревьями". Рядом с этой березой предполагается высадить еще несколько – таких, как в пушкинском описании.

В Захарове предстоит восстановить посадки декоративных кустарников, фруктовый сад, прибрежную березовую рощу – ту самую, где, по свидетельству Нащокина, восходящему к рассказам самого Пушкина, гулял маленький Пушкин, воображая себя сказочным богатырем. В "Послании к Юдину" есть образ этой рощи ("И завес рощицы струится/Над тихо спящею волной").



Захарово
Знамя мира из Заирода

Большие Вязмы.
Церковь Преображения
и звонница XVI века.



Проект реставрации предусматривает возродить в Захарове воспетый Пушкиным ручей, от которого осталось сегодня лишь сухое ложе, и заменить современный бетонный мост деревянным "горбатым" мостиком, известным по рисунку из фондов Всесоюзного музея А.С.Пушкина.

Для пейзажного настроения усадьбы очень характерен контраст ландшафта – темного парка и солнечных открытых пространств полей и лугов. Парк с темными липовыми аллеями распахивался на светлую гладь "зеркала вод", отсюда открывалась взору панорама лугов и полей вдоль речки, бегущей к синему горизонту лесу. За деревней Захарово, к северу, местность повышается, и с холмов, заросших могучими соснами, открывался вид на "цветущие поля захарьинские", как описал их Пушкин в "Истории села Горюхина". Современная застройка территории усадьбы, если она будет завершена, необратимо изуродует захаровский ландшафт, исказит его мемориальные топографические особенности и, по существу, сведет на нет идею создания здесь пушкинского музея-заповедника.

За прошедшие сто пятьдесят лет развития мемориальной пушкинщины мы видим, как время от времени, словно передавая эстафету, различные области деятельности – исследовательская, словесная, изобразительная – берут на себя лидерство в освоении пушкинского наследия. Издания пушкинских работ, исследования литературоведов, памятники поэту, юбилейные выставки, графические циклы, живописные полотна, концертные программы в разное время, разными средствами, с разных сторон открывали нового Пушкина, делали его всеприсутствие в нашей культуре еще более насыщенным и полным. Прямо скажем, пушкинская экспозиция еще не брала на себя лидерства в этом деле, еще не открыла нового пути к постижению образа поэта.

Последний крупный пушкинский юбилей, в отличие от юбилеев 1899, 1937, 1949 годов, несмотря на свой внешний размах, – по единодушным оценкам – не дал крупных творческих результатов, не стал настоящим плодотворным культурным событием. Наше огромное, разнообразное пушкинское дело словно замерло, словно чего-то ждет. Не настала ли пора пушкинской экспозиции взять на себя творческое лидерство, сделать новый шаг к поэту?

В двадцатые годы нашего столетия с выходом работ П.И.Бартенева, В.В.Вересаева, П.Е.Щеголева русской культуре открылся "Пушкин в жизни" – равновеликая его гениальному творчеству, неисчерпаемая в своей бытийной полноте и свободе личность поэта. Живая человеческая неповторимость сразу стала одной из масштабных тем и плодотворнейших творческих проблем изобразительного искусства. В последующие десятилетия практически все виды и жанры изобразительности буквально оживили Пушкина, представив облик поэта как некий жизненно-зрительный аналог его поэтического слова.

Но "Пушкин в жизни" практически не вошел в музейную экспозицию, не ожил в ней, она так и осталась экспозицией преимущественно литературной. "Пушкинский дом" пока не имя, а только метафора.

У пушкинского центра Захарово есть все основания стать новым типом пушкинского музея. Замыкая долгий мемориальный цикл, начавшийся с Мойки, 12, захаровская "детская" может стать началом осмысления всех мемориальных мест как единого пушкинского Дома страны.

Борьба за Захарово-Вяземы еще не закончена, реставрация продлится еще годы и годы. Но уже пора думать о содержании будущего Пушкинского мемориального центра. О стиле его сценарных принципов, об образе его экспозиции.

Конечно, было бы опрометчиво сейчас предопределять его характер в деталях. Это предмет большой обстоятельной работы исследователей и экспозиционеров. Но одно очевидно – решение будущего пушкинского центра не должно ограничиться узко биографическим пониманием темы детства. Менее всего хотелось бы видеть будущий центр традиционным музеем. Это должен быть музей-раскрепощение от шаблонов сложившейся пушкинской экспозиции – музей-клуб, даже музей-школа (в этом плане может быть учтено интересное начинание местных краеведов, организовавших в Захарове летнюю пушкинскую школу).

Экспозиция в Захарове должна выступить творческой альтернативой всему сложившемуся пушкинскому музейному делу, его "серьезности" – как детства по отношению к миру взрослых.

В русской литературе, давшей величайшие образцы нравственного опыта, тема детства, пусть не очень заметная – одна из самых проникновенных. Акса-

ков, Гончаров, Толстой, Достоевский, Чехов создали литературный образ русского детства. Где место Пушкина в этом ряду? Он вне ряда. Он сам – одна из самых насыщенных детством фигур, он дал не литературный образ, а нечто качественно иное: непосредственно жизненную, поведенческую стихию детства. Его творчество насыщено стихией свободы и игры, как сам он по воспоминаниям современников резко выделялся из окружения детской бескомпромиссностью жизни и поступков. "Пушкин неизменно в течение всей своей жизни утверждал, что все, что возбуждает смех, – позволительно и здорово... Он так же искренно сочувствовал юношескому пылу страстей и юношескому брожению впечатлений, как и чистосердечно, ребячески забавлялся с ребенком". Это заключение делает на основе богатого личного опыта дружбы с Пушкиным в детском возрасте сын Петра Андреевича Вяземского Павел ("душа моя, Павел").

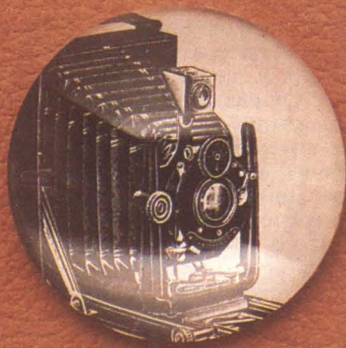
Целые поколения и не подозревали, что в жизни Пушкин был кумиром детей. Дети – его младшие современники (как, впрочем, и современники-взрослые) – часто знали его не по стихам. Он вызывал у них восторг и поклонение как человек. Он был с ними на равных. Восхищаясь им как знаменитостью, они чувствовали в нем сверстника. Его ждали как праздника, "Пушкин, Пушкин приехал!" – раздавалось по нашим детским, и все, дети, учителя, гувернантки, – все бросилось в верхний этаж, в приемные комнаты взглянуть на героя дня... – это тоже из воспоминаний Павла Вяземского.

Вот, если угодно, программа и образ пушкинского Захарова. Новый музей должен быть таким – ревущей от восторга детской, куда приехал Пушкин, знаменитый поэт и первый друг.

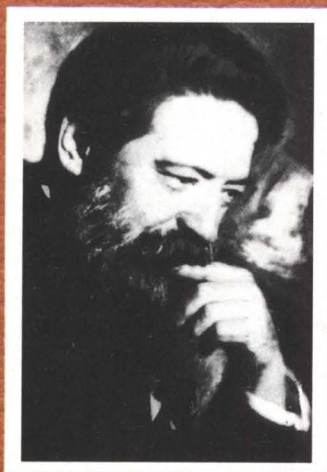
"Пушкин, Пушкин приехал!"



Вид на церковь Преображения в Больших Вяземах.
Рисунок П. Шереметева, 1913 год



ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ



ЛИКИ ДВУХ ЭПОХ

Ан.ВАРТАНОВ

В истории русской и советской фотографии немало славных имен представляет портретный жанр. И все же среди них имя Моисея Соломоновича Наппельбаума является, несомненно, наиболее значительным. Судьба распорядилась так, что ему посчастливилось встретиться с выдающимися людьми России двух важнейших исторических этапов: в пору, когда на смену XIX веку приходил век XX, и в годы становления в ней новых социальных отношений после Октября 1917-го.

Но прежде чем произошли эти встречи, Наппельбауму предстоял нелегкий путь овладения фотографическим ремеслом, с одной стороны, весьма традиционный и в то же время довольно необычный. Родился он в 1869 году. В четырнадцатилетнем возрасте его отдали учеником в минское портретное ателье "Боретти". Мальчик, как положено, должен был освоить одну за другой три основные профессии: сначала копировщика, затем ретушера и, наконец, фотографа. Обладая способностями, он проделал этот путь быстрее, чем многие другие, — за три года.

Начав получать жалование фотографа, юноша не поддавался соблазну считать, что с ученичеством покончено. В поисках знаний и опыта он отправляется в странствия по большим и малым городам России. Смоленск, Москва, Козлов, Одесса, Евпатория, Вильно, Варшава смеяются друг друга. Затем Наппельбаум уезжает в далекую Америку, работает в Нью-Йорке, Питсбурге, других городах США.

В 1895 году, вернувшись в Минск, он открывает свое портретное ателье, начинает работать самостоятельно. Пятнадцать лет, проведенных в родном городе, стали важным этапом в формировании творческих принципов фотографа. Прежде все-

го он ощутил необходимость отказаться от ряда привычных для портретистов норм. Он отверг искусственность и красоту поз, отказался от кочующих из снимка в снимок аксессуаров, перестал использовать белые или однотонно-серые фоны.

Стремясь к естественности поведения людей перед камерой, портретист вместо ставшего каноном группового "трехъярусного" снимка предлагал живые сцены общения снимающихся.

Коллегам Наппельбаума поиски молодого фотографа не внушали доверия. Он в свою очередь платил им равнодушием, и в последующие десятилетия Наппельбаум обычно сторонился профессиональной среды, предпочитая ей общение с художниками, писателями, актерами.

В 1910 году он оказался в Петербурге. У него не было ни связей, ни средств, ни даже обязательного тогда для евреев вида на постоянное жительство. В течение нескольких лет он кочевал из одной студии в другую, работая по найму и мечтая о своем деле. В это время он начинает сотрудничать в богато иллюстрированном журнале "Солнце России", где понравились его работы, сделанные еще в Минске. В связи с приближавшимся полудекадным юбилеем столичной консерватории журнал заказал ему серию портретов музыкантов-профессоров.

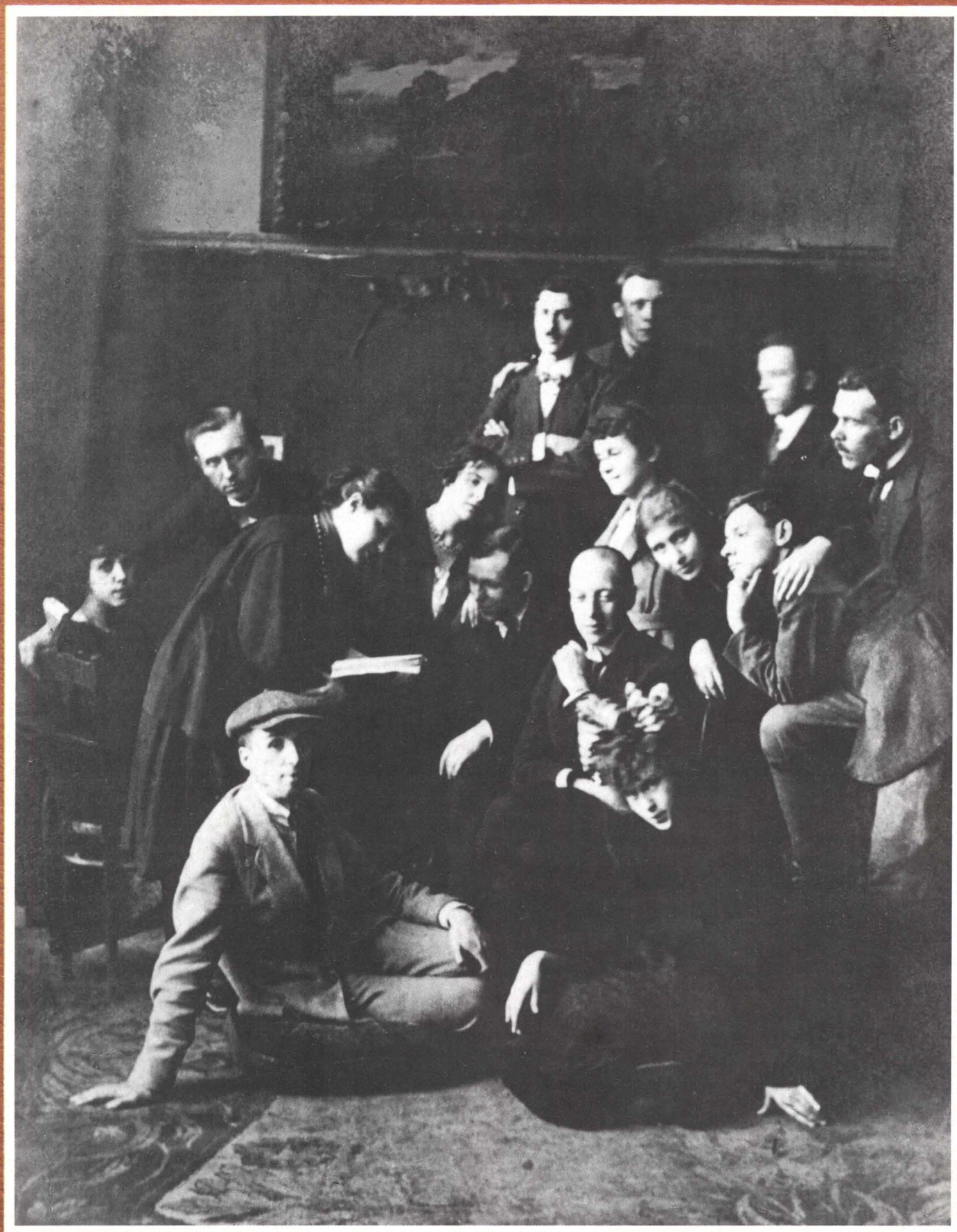
Юбилейный номер, составленный из снимков Наппельбаума, привлек к себе внимание — фотограф стал постоянным сотрудником популярного издания.

Эти годы — переломные в творчестве портретиста. Наконец-то он — владелец студии, причем расположенной в самом центре, на Невском проспекте, 72. В просторной квартире Наппельбаум отвел под ателье кроме большого павильона со стеклянными и верхним светом еще приемную и гостиную.

Последняя была обставлена так, чтобы клиенты чувствовали себя раскованно, будто они пришли в гости к своему старому приятелю.

В эту пору окончательно сформировались вкусы фотографа: его интересовали изобразительное искусство, театр, литература. Позже он не устал повторять, что учителей своих нашел в художественных музеях — в Эрмитаже и Третьяковской галерее. Это Рубенс и Ван Дейк, Репин и Серов, Рафаэль и Леонардо да Винчи. Однако самое сильное воздействие на Наппельбаума-портретиста оказал, несомненно, Рембрандт. В начале века среди фотографов было в моде так называемое рембрандтовское освещение. Изучив манеру письма великого живописца, Наппельбаум понял, что модное подражание художнику весьма далеко от сути его искусства. Развивая свои представления о значении света в фотопортрете, Наппельбаум с 1915 года стал использовать в качестве единственного источника света помещенную в самодельный софит мощную электрическую лампу. "Всю свою дальнейшую жизнь, — писал портретист, — я работал с одним источником света. Если я достиг чего-либо в искусстве фотопортрета, то в значительной мере благодаря этой довольно примитивной по конструкции лампе. Она сразу дала освещение, которого мне так не хватало".

Стоит задуматься над смыслом, который вложен в последнюю фразу. Чего же недоставало Наппельбауму в привычном освещении при съемке? Что он искал в скудном по живописным возможностям, передаваемом анафеме в любом пособии для начинающих единственном источнике света? Вкусы художественные — высокая классика, живопись, создающая могучие характеры людей; жизненные предпоч-



Н.С.Гумилев с участниками кружка "Звучащая раковина". 1921



Ф.И.Шляпин, А.М.Горький и другие участники встречи с Г.Уэллсом в Петрограде. 1920

тения – интерес к значительным творческим личностям. Таковы, если говорить коротко, особенности сформировавшейся к тому времени творческой индивидуальности фотографа. Один источник света, как известно, затрудняет создание “гладкого”, безупречно красивого портрета. Возникающие при этом световые контрасты, резкие глубокие тени позволяют, напротив, подчеркнуть не столько красоту, сколько выразительность лица. Однажды в январе 1918 года Наппельбауму сообщили, что за ним придут из издательства, чтобы сделать портрет В.И.Ленина. Эта работа стала этапной и в жизни, и в творчестве Наппельбаума. Вслед за январской съемкой в Смольном были и другие. Удача ленинского портрета стала началом целого цикла снимков руководителей молодого Советского государства: Дзержинского, Луначарского, Уриц-

кого, Свердлова, Крупской. На первой большой персональной выставке фотографа, которая состоялась в Аничковом дворце летом 1918 года, эти снимки резко выделялись на фоне его предшествующего творчества, в котором все же преобладал “комплиментарный” подход к человеку. Когда правительство переехало из Петрограда в Москву, Наппельбаум организовал в столице портретную студию ВЦИКа. Первое время он не решался расстаться со своим петроградским ателье и жил на два дома, будто не веря, что государственная фотография способна дать ему средства к существованию. Однако слава его портретов Ленина и других деятелей революции была столь велика, что к нему в студию ВЦИКа (а затем и в ателье на Петровке) стали приходить люди, составляющие элиту общественной и духовной жизни страны. Двадцать предвоенных лет

составили вершину творческих достижений фотохудожника.

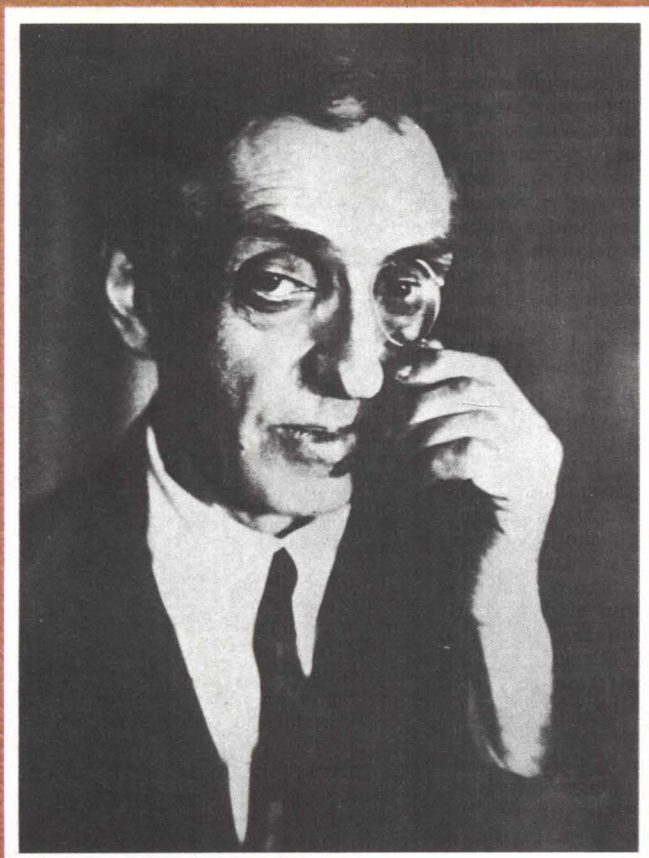
Резко контрастное освещение использовали многие портретисты, однако никто из них не смог достичь таких результатов, как Наппельбаум. Мастерство его состояло в том, что этот незамысловатый технический прием оказался у него неразрывно связанным с образным содержанием портретов.

Я уже говорил о том, что Наппельбаум всегда привлекали люди незаурядные, значительные. Вместе с тем ни одно из его произведений нельзя назвать “парадным портретом”: нигде нет стремления специально возвысить человека, придать его персоне значение. Даже в тех случаях, когда его герои занимали выдающееся место на социальной лестнице, фотограф не спешил каким-нибудь способом – позой, регалиями, антуражем – подчеркнуть это. Он всегда умел

обнаружить в человеке и показать на снимке его внутреннюю значительность, высоту и величие духа, присущее личности творческое начало.

Поэтому, наверное, Наппельбаума больше всего привлекали представители творческих профессий: писатели, художники, артисты, ученые. Со многими из них он дружил, других знал по их творчеству, третьих (и такое случалось) впервые видел у себя в ателье. Однако – удивительное дело! – во всех случаях он умел глубоко проникнуть внутрь человека, расшифровать самое главное, подчас сокровенное в нем. В этом ему помогала художественная интуиция, с одной стороны, и многолетний опыт фотопортретиста – с другой.

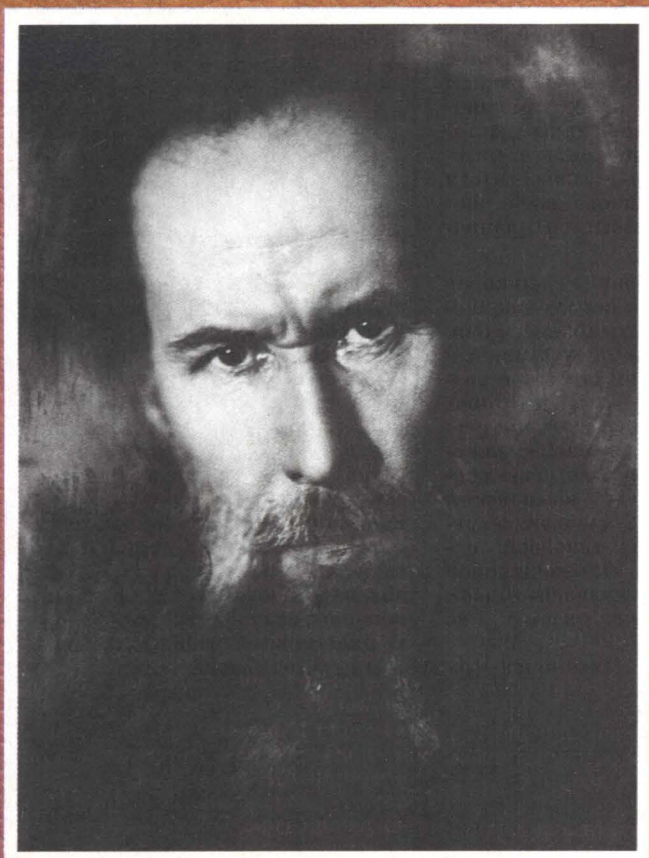
Для того чтобы рассказать о человеке, Наппельбаум никогда не прибегал к спасительной помощи аксессуаров, дающих зрителям подсказку, раскрывающих сре-



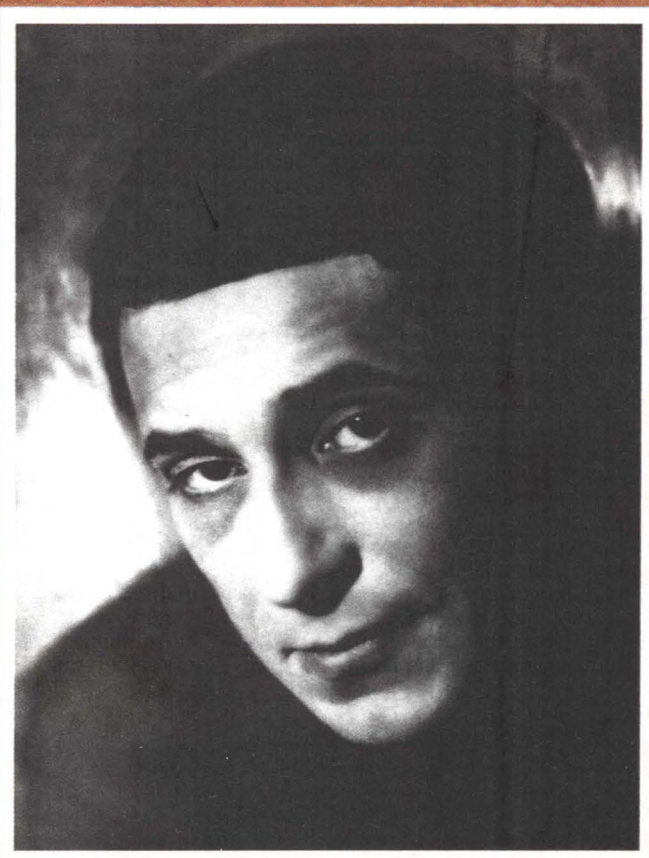
М.А.Кузмин. 1924



Ф.Г.Раневская. 1929



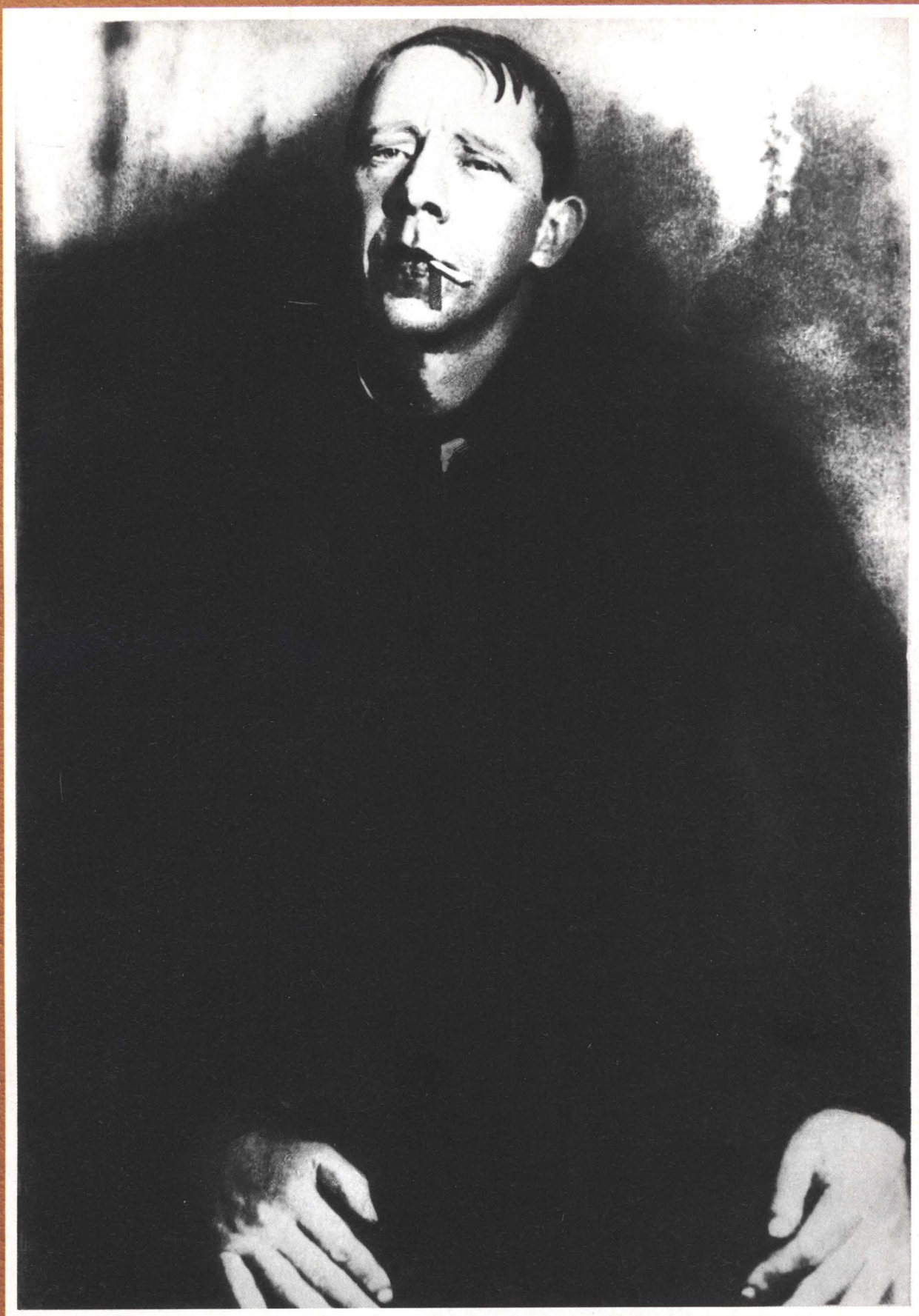
В.А.Фаворский. 1934



М.М.Зощенко. 1924



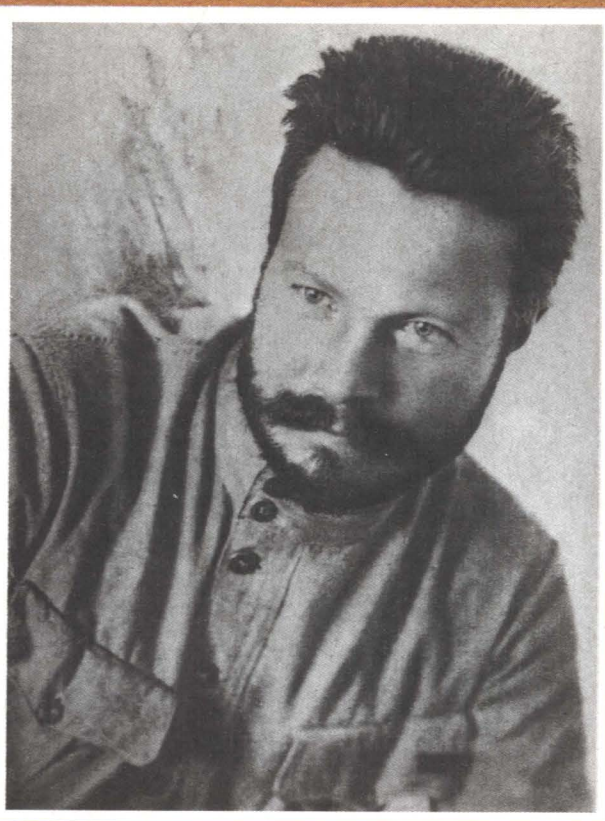
А.А.Ахматова. 1921



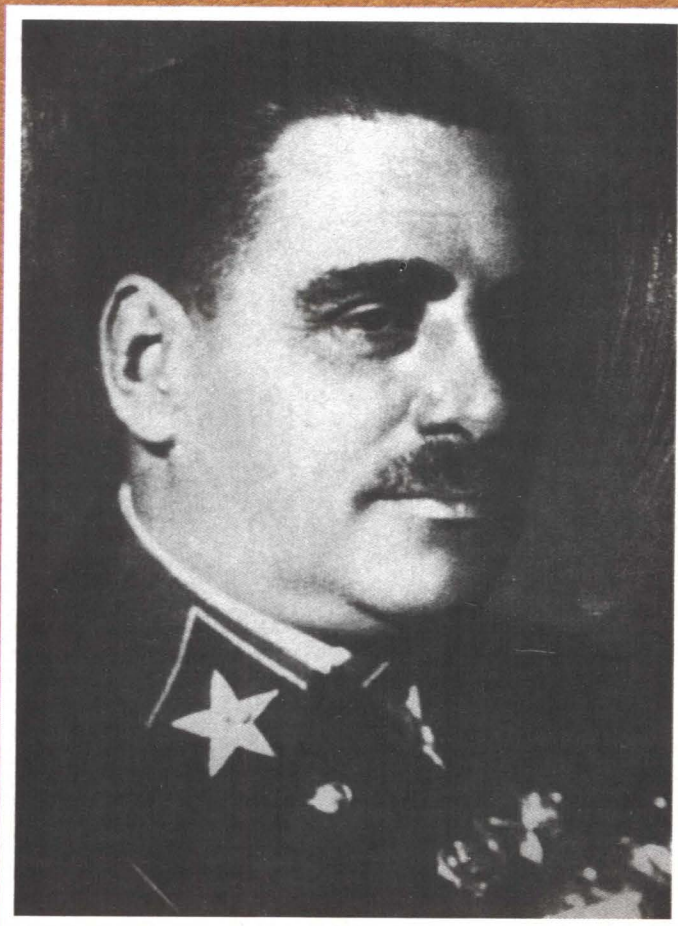
В.Е.Татлин. 1930

ду, род занятий, круг увлечений портретируемого. Он почти никогда не снимал актеров в гриме, на сцене, в уборной или дома, в окружении театральных плакатов, сценических костюмов, рисунков декораций. Лишь в редких случаях (как это было, скажем, с прикованным к постели Станиславским) Нанпельбаум отправлялся со своим громоздким аппаратом к героям будущих произведений, в основном же они приходили в его студию. Внимательно вглядываясь в лицо человека, Нанпельбаум не чурался прямого, прорывающего завесу между снимающимся и камерой взгляда. Начиная с портрета Ленина, он нередко пользовался этим приемом, свидетельствующим о контакте между фотохудожником и его героями. Это позволяет нам, зрителям, сразу же установить связь с человеком на снимке. Вместе с тем подобное решение знаменует и противоположное активное движение – от снимающегося к вам. Для портретиста, которого всегда привлекала возможность напряженного и содержательного рассказа о человеке, этот прием оказался принципиально важным.

Фотограф, освоивший целую гамму движений, заключенных в человеческом взгляде, умеет отличить в своих снимках пристальный, долгий взгляд (как в портретах А.Блока, К.Федина, В.Шкловского, А.Твардовского) от мимолетного, брошенного в сторону камеры внезапно, пронзительно (М.Зощенко, Н.Тихонов). Нанпельбаум, кроме того, владел непростым искусством воссоздания взгляда, который как бы проходит сквозь зрителя; таковы портреты Р.Роллана, где писатель находится в состоянии глубокой задумчивости и драматического напряжения, академика А.Баха, переводчицы А.Радловой. Мы остановились столь подробно на том, как портретист трактует человеческий взгляд потому, что в скупой палитре Нанпельбаума он занимает значительное место. Остальные излюбленные средства фотохудожника – поворот головы (или наклон ее, что мастер, как представитель “старой



М.В. Фрунзе. 1922



В.К. Блюхер. 1933

гвардии”, очень тонко варьирует), выразительный жест, поза.

Гораздо реже использует Нанпельбаум возможности композиционного построения снимка. В “сольных” портретах он, согласно правилам сохранения равновесия, компенсирует повороты фигур “воздухом” в другой половине снимка – вот, пожалуй, и все. Однако в своих парных, тройных портретах, в групповых снимках фотограф достигает впечатляющих результатов именно в композиционной компоновке фигур. Он в одинаковой степени владеет искусством гармонического сближения противоположностей и контрастного их разведения. Таковы у него парный портрет А.Блока и К.Чуковского, тройной портрет художников Кукрыниксов, снимок “Б.М.Кустодиев и Ф.Ф.Ноттафт у портрета Ф.И.Шаляпина”.

В 1935 году в связи с полувековым юбилеем творчества в Москве была проведена вторая персональная выставка Нанпельбаума. Она стала для фотографа триумфом. Ему было присвоено почетное звание заслуженного артиста республики – беспрецедентный случай в истории нашей фотографии. 400 портретов, составивших экспозицию, стали значительным явлением в культурной жизни страны. В годы Великой Отечественной войны, несмотря на солидный возраст, фотограф продолжал активно трудиться. Недаром на его третьей выставке, прошедшей в московском Доме ученых в 1946 году, среди 250 выставленных портретов значительную долю составляли неизвестные прежде произведения.

В последнюю пору Нанпельбаум снимал уже меньше: главным делом старого мастера стала работа над книгой, в которой он обобщил свой громадный творческий опыт. В книге подробно рассказано о пути, пройденном портретистом от постижения основ фотографического ремесла к вершинам искусства. Книга, так и названная автором – “От ремесла к искусству”, – увидела свет в 1958 году, через несколько месяцев после кончины фотографа.

В ДОМЕ ЕЛЕНА АХВЛЕДИАНИ

Когдаходишь в находящуюся в тихом квартале старого Тбилиси
Музей-квартиру Елены Дмитриевны Ахвледiani
(1901–1975),

народного художника Грузинской ССР,
смотришь картины – работ здесь собрано много, и они висят вплотную друг к другу,
образуя своеобразный прихотливо-изящный узор, –
поражаешься свободе и яркости ее таланта.

Ее картины – а писала она преимущественно Грузию, старый Тбилиси –
удивительно музыкальны, и эта музыка
красок способна завораживать и тревожить, вызывать радость и скорбь.
Ахвледiani создала свой живописный образ древней грузинской столицы.
Ответственность перед памятью вела художницу в тифлисские кварталы.
Городские пейзажи Ахвледiani не только романтичны, но и строго документальны.
Иногда она указывала на полотне даже точный адрес того или иного дома.

Е.Д.Ахвледiani была не только истинным певцом любимого города,
но и страстным его защитником.

Многие старинные дома обязаны ей жизнью.
Сумела она защитить и платан на проспекте Руставели,
знаменитое дерево, помнящее Пушкина. Теперь,
когда так бережно восстанавливаются утраченные кварталы Тбилиси,
нужно благодарно вспоминать тех, кто в прежние годы, невзирая на все противодействия,
вел благородную борьбу за сохранение исторического облика города.

Елена Ахвледiani

(Эличка, как до последних дней звали ее друзья)
была самым твердым и последовательным борцом с косностью и невежеством,
стремившимися стереть с лица земли все вещные знаки минувшего.

После кончины Е.Д.Ахвледiani
ее родственники все наследие художницы передали в дар государству.

В скором времени бывшая квартира Е.Д.Ахвледiani
стала мемориальным Домом-музеем
– филиалом Государственного музея искусств Грузии.

Здесь постарались сберечь неповторимый облик квартиры,
который создала Елена Дмитриевна.

В музее сохранились тепло, уют и нестандартность обстановки:
стол с красками и на нем палитра, мольберт с незаконченной картиной,
очки около эскиза старого Тбилиси, кисти и карандаши.

Осталось неприкосновенным и своеобразное оформление столовой:
гирлянда красного перца, шафрана, вязки чеснока,

высохшие плоды граната и мандарин,
самодельный светильник из кухонной терки.

В жизни художница довольствовалась малым,
без усталости помогая тем, кто нуждался в помощи.

Ее мастерская проста и скромна –
рояль, картины, предметы уходящего крестьянского быта,
старинная грузинская керамика, металлическая утварь,
образцы древних грузинских тканей, собранных художницей.
Ныне произведения Елены Дмитриевны находятся поистине в родной стихии,
среди тех вещей и коллекций, где они рождались.

Когда-то сюда приходили и простые люди, любящие искусство,
и выдающиеся деятели грузинской и русской культуры.

Здесь играли Г.Нейгауз и С.Рихтер,
читали стихи П.Яшвили, Т.Табидзе, Б.Пастернак, С.Чиковани...
В мастерской не смолкала музыка, устраивались литературные вечера,
выставки – Елена Дмитриевна часто уступала свой салон молодым
художникам, выставляя у себя их работы.

И сегодня гостеприимный дом Елены Ахвледiani
привлекает к себе артистов, художников, литераторов.

Музыкальные и поэтические вечера,
выставки современников художницы и ее учеников
неизменно собирают в мастерской на улице Киачели, 12 многих людей.

А в фондах музея хранится много документов и писем,
представляющих несомненный интерес. Некоторые из них
мы сегодня предлагаем читателям.



В двадцатые годы в Париже собралась группа очень талантливых грузинских художников, которые, несмотря на разницу в возрасте и творческих направлениях, образовали тесное содружество. Монмартр назвал их “Грузинской колонией”. Елена Ахвледяни среди них была самой молодой. Вот как она описывает то время, вспоминая о любимом и рано ушедшем из жизни товарище – Давиде Какабадзе:

“В бытность мою в Париже там находились Давид Какабадзе, Ладо Гудиашвили, Кетеван Магалашвили и я. По воскресеньям собирались у Датики. В остальные дни виделись редко. Все напряженно работали. Точный и последовательный в мыслях Датики был прямолинеен, чистосердечен в отношении к людям, но веселым его видели очень редко. Однажды помню 14 мая, в день взятия Бастилии, когда весь Париж веселится, поет и танцует, мы, четверка грузинских художников, собрались вместе, подошли к знакомым французским художникам. Заразившись всеобщим весельем, мы вступили в общий хоровод. Ладо танцевал национальные танцы “лекури” и “лезгинку”, Кето приплясывала. Устав бить в стул, я передала этот бубен Давиду, а сама пустилась в пляс. Потом “бубен” перешел к приятелю, и тут случилось неожиданное. Давид, расправив руки, пошел танцевать, заразительно смеясь, глаза его стали озорными. Все увидели совсем другого Датику...”

Родная Грузия, ее живописные уголки всегда влекли сердце и кисть художницы. Даже в период студенчества, будучи во Франции, она писала свои любимые грузинские пейзажи и выставляла их в различных салонах Парижа. Ее карти-



Елена Ахвледяни. Автопортрет. 1920-е годы

ны пользовались успехом, о ней писали видные критики того времени. Гюстав Кан, например, 12 октября 1926 года отмечал, что “экспозиция мадемуазель Ахвледяни далеко не безынтересна. Точности и правдивости изображения любопытных кавказских пейзажей и картин старого Тифлиса с его узкими улочками, резными балконами, бесконечными деревянными лестницами, на которых висят ковры, а также узкие окна в белых и зеленых тонах...”

В 1926 году состоялось знакомство Елены Ахвледяни с выдающимися художниками. Это были Поль Синьяк и Пабло Пикассо.

“В Париже я впервые увидела картины Брейгеля, – писала Ахвледяни, – и этот удивительный художник остался для меня любимейшим мастером. Под впечатлением его картин написала я тогда – в 1925 году – свою первую парижскую работу “Зима. Кахетия”. Вместе с холстом “Старый Тифлис”, тоже написанным в Париже по привезенным из дому зарисовкам, в 1926 году картина “Зима. Кахетия” была выставлена мною в салоне “Четырех дорог”.

Пабло Пикассо с группой художников, среди которых был и Поль Синьяк, зашли на выставку. Из множества выставленных картин Пикассо обратил внимание именно на “Зиму”. Он попросил устроителей выставки познакомить его с автором. Увидев смущенную молодую и красивую женщину, улыбнулся и пожелал Елене писать “только от души”. “Вы пишете интересно, но самое ценное, что есть в ваших вещах, это не то, где вы идете вслед за модными течениями, а то, что исходит от вас самих, так как это у вас хорошо получается...”

В знак признания Пикассо подарил ей свою работу с дарственной надписью и автографом.

Синьяк тогда же приобрел с выставки два пейзажа старого Тифлиса. а в дальнейшем оставлял открытки с просьбой сохранить за ним тот или иной пейзаж. Через годы, на родине, когда художницу спрашивали, хотела бы она вернуться во Францию, она восклицала: “Париж чудесен, но для меня чудесным был всегда Тифлис!”

ИЗ ПЕРЕПИСКИ

Е.Д. Ахвледяни – Е.М. Тагер¹
1946 г., 23 сентября

“Ах это постановление. Мне так больно за Ахматову, что я и описать Вам не могу. Блудница! Монахиня! У которой блуд смешан с молитвой! Боже! Бред какой! С ума можно сойти... Ахматову! Я не знаю ее последних стихов, но ранние те, что читала, мне нравились. Симон² мне сегодня сказал, что и про Бориса Леонидовича проехали малость. Воображаю в каком он настроении! Я читала доклад и меня мороз по коже брал, аж страшно стало. У нас здесь тоже продернули кое-кого из писателей... пробирали молодую поэтессу Каландадзе³, которую считают очень талантливой, но Симон в своем докладе ее очень хорошо защитил... Для американской делегации у меня взяли “Старый Тбилиси” и сегодня наконец уплатили. Мало, но что делать, надо помочь нашему молодому ВОКС’у. Я была на трех банкетах с американцами, было очень весело, просто и мило. Ваша слуга покорная отплясывала ди-

¹ Е.М. Тагер (1895–1964) – литературовед.

² С. Чиковани (1903–1966) – поэт.

³ А.П. Каландадзе (р. 1924 г.) – поэтесса.

кую лезгинку с кинжалом во рту, партнером был мистер Гримм. Потом Ладо¹ и я танцевали какое-то несусветное танго, потом опять лезгинку. В общем два художника были в ударе и перевернули все вверх дном... Глава делегации мистер Гримм пожилой, лет 65, дурачился вместе с нами, а кругом все хохотали до упаду... ну вот! Теперь хожу опять по Тбилиси и делаю зарисовки. Кошмар – ибо вся улица сидит у меня на голове. Дышать нечем – столько народу меня окружает, но мне наплевать, что каждый штрих бурно переживается...

Целую крепко, не ленитесь, пишите чаще. Эличка или, как вы называете, “Элька”.

Речь идет об известном докладе А.А. Жданова, в котором Анна Ахматова и Михаил Зощенко были подвергнуты уничтожающей несправедливой критике.

Е.Д. Ахвледяни – Е.М. Тагер
1946 г., 29 декабря

“Живу в “Астории”... нахожусь как в дурмане! С утра смотрю город (одно

¹ В.Д. Гудиашвили (1896–1980) – художник.

очарование), потом Эрмитаж – пока не укажут на дверь, потом опять город, смотрю при вечернем свете мои любимые фонари. Сколько чарующей музыки в линиях, колорите, ансамблях, что горло схватывает спазма восторга и даже слезы не можешь сдержать...

Крепко целую. Эличка

Р.С. Фалька поцелуйте крепко и Бориса Леонидовича тоже”.

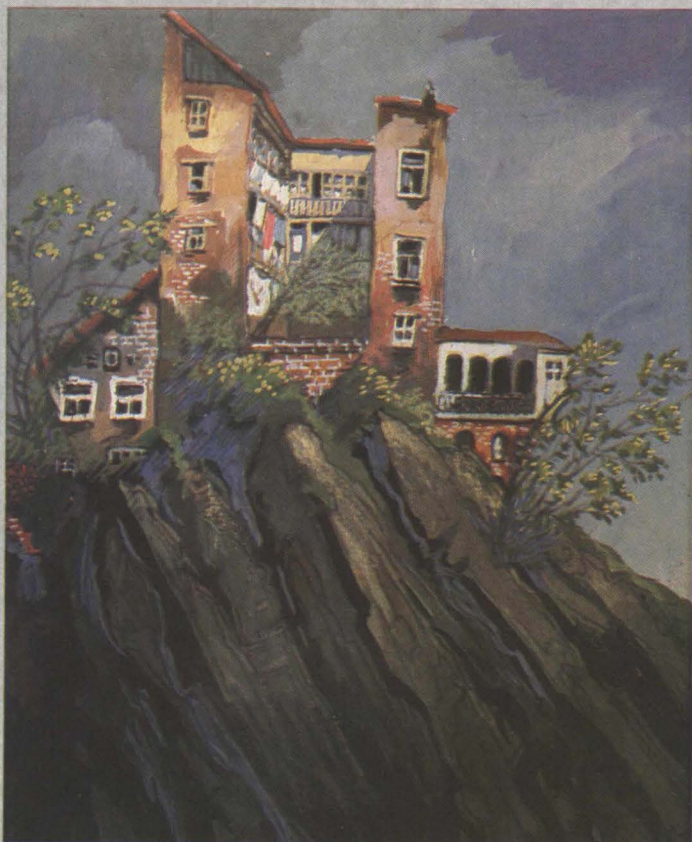
В годы пребывания Б. Пастернака в Тбилиси, он часто бывал в мастерской Е. Ахвледяни, где читал свои первые переводы с грузинского. В 1945 г. вышла книга Б. Пастернака “Грузинские поэты”. В память о милом содружестве Борис Леонидович преподнес свою книгу художнице с дарственной надписью: “Елене Дмитриевне Ахвледяни с пожеланием долголетия и богатства.

5.I–47 г.”

Г.Г. Нейгауз. – Е.Д. Ахвледяни.
1951 г. 6 января

“Дорогая, милая, горячо любимая Эличка. Наконец Вы порадовали меня своим письмом, а я уж думал, что никогда не получу ответа на мою цидулку,





Дом на скале. 1973



Зима в Кахетии. 1921



Старый духан "Не уезжай, голубчик мой." 1970



Лестницы старого Тбилиси. 1974



посланную с Ниной Чиковани¹. Эличка, мне больно думать, что Вы, такой жизнерадостный и такой сильный человек, плохо себя чувствуете, жалуется на старость. Это в Вашу прекрасную душу вкрался червь сомнения – или как это называется?! Бросьте – Вы еще молоды и, уверяю Вас, каждый возраст имеет свою прелесть. Я ни за что не хотел бы снова помолодеть... Я пролежал пять недель в больнице и последние три недели упорно, изо дня в день писал мою книгу... называется она "Искусство фортепианной игры". Моей руке все хуже, а чтобы прилично выступать, надо много играть... Простите, Эличка, что так непристойно разглаговльствую о моих совершенно неинтересных сомнениях и распутьях. Басти!

Сегодня говорил с Ниной Дорлиак² по телефону, передал ей, что Вы пишете (ведь можно?). По голосу слышал, что сокрушается. Они оба, как всегда, дико заняты. У Славы 8-го первый концерт в Большом зале (уже все продано. Конечно – только Бетховен)... как всегда С. начал готовиться слишком поздно и теперь обычная паника (ничего не знаю наизусть!). Светопредставление, играл он тут всякие "ансамбли" с Даней Шафраном³. Репетировали у меня, т.к. я еще не выхожу – игра сверхгениальная – еще поднялся выше. Я весь полон этим, ей Богу замечательный пианист, которого я когда либо слышал! О нем одном мне хотелось книгу написать. Мне страшно хочется в Тбилиси! Но когда будет возможность еще не знаю. Эличка! Пишете картины? И ничего не сказали! Я Вас очень люблю. Клаятьсясь Кетеване⁴, Куфтиним⁵, Шухаевым⁶. Целую крепко, желаю бодрости.

Ваш Энрико"

Г.Г.Нейгауз – Е.Д.Ахвледяни в Киев. 1957 г.

"Дорогая, любимая Эличка! Часто Вас, милую, вспоминаем и хотим видеть!.. Неужели Вы совсем стали киевлянкой? Не верится! Тбилиси без Вас и Вы без Тбилиси – противоестественно! Стасик⁷ и я должны быть в этом году в Киеве (также и в Баку, Тбилиси, Ереване). Собираю в Цхалтубо. Пока отказался от всех концертов. В сущности, не имеет смысла играть в моем возрасте. Пускай наша превосходная молодежь играет, а мне пора, пора! Сильвия⁸ просит сказать, что нашла очень хорошее место на стене для Вашей картины... На даче Слава Рихтер показывал у Анны

¹ Н.П. Чиковани (р. 1914) – жена С. Чиковани.

² Н.Л. Дорлиак (р. 1908) – певица, жена С. Рихтера.

³ Д.Б. Шафран (р. 1923) – виолончелист.

⁴ К.К. Магалашвили (1894–1973) – художник.

⁵ Б.А. Куфтин (1892–1953) – археолог,

В.К. Куфтина (1904–1953) – пианистка.

⁶ В.И. Шухаев (1887–1973) – художник,

В.Ф. Шухаева (1895–1979) – художник-

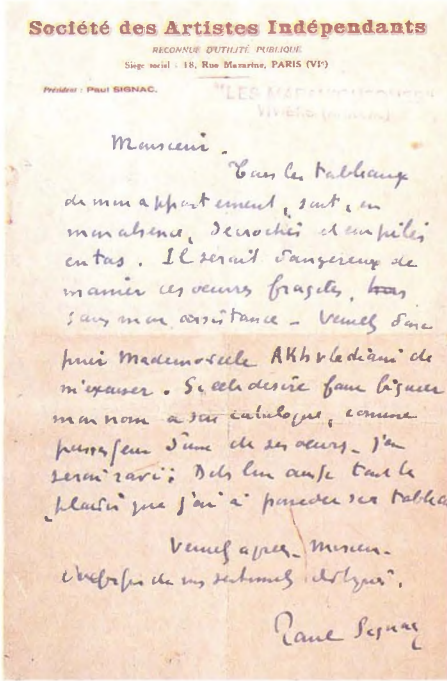
декоратор.

⁷ С.Г. Нейгауз (1927–1980) – пианист.

⁸ С.Ф. Айхингер (1906–1987) жена Г.Г. Нейгауза, альтистка.



Б.Л.Пастернак. Дарственная надпись художнице на книге "Грузинские поэты". 1946



Поль Синьяк. Письмо о покупке картин Елены Ахвледяни 1926 (?)



Пабло Пикассо. Рисунок. 1924 Дар художнице

Ивановны Т. 60 своих пастелей. Мы были в восторге. Он гениален и в этом. Эличка, приезжайте сюда.

Целуем и обнимаем Вас, дорогую и чудесную. Г.Н. и С.А.

После кончины Е.Ахвледяни С.Рихтер написал в газете "Заря Востока": "Для меня Елена Дмитриевна была не только другом, она открыла меня как живописца. за это я ей безгранично благодарен. Горжусь, что первая моя персональная выставка состоялась именно в этом доме, где жила и работала одна из лучших представительниц грузинского советского искусства".

Е.Д.Ахвледяни – Л.В.Варпаховскому¹ 1957 г.

"... Нейгауз два раза в неделю дает "концерты" и все дачники (Одишария², Шухаев, Хучуа³, Сильвия Федоровна, Курдиани⁴) с упоением слушают. Вход бесплатный. Зал – комната Генриха Густавовича. Пианино Хучуа (забранное для него из Тбилиси). Партер, балкон и кресла – это табуретки, стулья и трава. Кругом тишина, благодать Божья и Бах, затем Шопен, которые чудесно гармонируют с природой, и, действительно, благодать окутывает все твое существо. Привезла сюда своего гостя и чем могла служила ему... остался доволен очень. Ему очень понравились грузинские песни и Сережа Закариадзе⁵ устроил прослушивание по радио, и я там прослушала хоралы Сулханишвили (композитор Грузии, умер давно, можно сказать, что от голода). Чудесные хоралы.

Пригласили меня в Марджановский театр сделать "Нашествие" Л.Леонова, что мне абсолютно не улыбается, но хватит обо мне. Надеюсь, что Ваши гастроли проходят хорошо. Мир и лад с актерами?! Шлю Вам наброски. Целую. Эличка".

В 1960 году Елена Ахвледяни выставила свои многолетние труды на персональной выставке, где главной была тема старого Тбилиси. Далее пошли выставки 1961, 1963, 1964 и других годов, и каждая из этих экспозиций покоряла любителей искусства разнообразием чувств, богатством палитры, искренней любовью к родному городу.

В.И.Анджапаридзе⁶ – Е.Д.Ахвледяни 1961 г.

"Люблю тебя, потому что твой талант необычен. Люблю тебя потому, что твое искусство – источник жизни, люблю тебя потому, что ты неутомимая, вечно в поиске, вечно молодая. Твое искусство настолько волнует, что не могу успокоиться от необыкновенного желания что-то сделать новое, хорошее на сцене.

Твоя Верико Анджапаридзе".

¹ Л.В.Варпаховский (1908–1976) – режиссер.

² С.К.Одишария (1908–1985) – инженер.

³ П.В.Хучуа (1905–1987) – музыковед.

⁴ Л.Ф.Курдиани (1908–1967) – педагог.

⁵ С.А.Закариадзе (1909–1973) – артист.

⁶ В.И.Анджапаридзе (1897–1987) – актриса.



Метехи зимой. 1972

Е.Н.Гоголева¹ – Е.Д.Ахвледиа
1964 г.

“Хочу Вам сказать, дорогая, что до сих пор не могу опомниться от всего виденного у Вас; какой же Вы большой талант и как я рада, что знаю Вас. На фоне современной серости сама увядаешь и тускнееешь, а когда встречаешь такое яркое, настоящее, большое – сама подтягиваешься. Хочется жить, что-то сделать, чтобы не стыдно было перед такими, как Вы, а ведь таких, как Вы, так катастрофически мало. Очень люблю и горжусь. Ваша Елена”.

Г.Г.Нейгауз – Е.Д.Ахвледиа
Москва, 1964, 2 февраля

“Дорогая, прекрасная Елена Дмитриевна! Вот я давно Вас не видел и встреча с Вами в моем любимом, а Вашем родном городе для меня была радостью и наслаждением. Я так жалел, что не мог приехать в Тбилиси в 1960 г., когда была Ваша выставка, о которой я слышал столько восторженных отзывов! Но я ведь все-таки знаю Ваше творчество, знаю давно и люблю давно.

Сказать Вам, что я особенно люблю в Вашей живописи? Что Вы всегда себе верны и вечно меняетесь. Узнать Вас можно по нескольким штрихам, по одному уголку картины, а картины все разные. У Вас нет одного способа, одного жанра. Вы видите перед собой широкий, богатый, разнообразный мир и прежде всего Вашу святую, благословенную Грузию! Как это хорошо! (Даже величайшие художники часто изображали только себя, например чудесный Андреа дель Сарто. Вы же избегли этого).

А сколько прекрасных минут, часов, дней мне посчастливилось провести в Вашем обществе, среди Ваших и моих друзей, вместе со Святославом Рихтером, Ниной Дорлиак, Кето Магалашвили, Шухаевыми и другими!

А в Вашей большой, высокой комнате на улице Перовской (невольно возбуждает зависть у каждого москвича) как хотелось мне там часами и часами сидеть, чтобы точно запечатлеть в своем мозгу множество прекрасных картин, украшающих высокие стены (две снеж-

ные картины – Зиму 1924 года и Таллинские крыши 1958 г. я бы так охотно украл, если бы у меня был хоть минимум таланта к преступлению!). Эличка, дорогая! “Трудитесь” (Ха-ха! Разве это труд называется? Это – радость, но таковой и должен быть труд, значит я все-таки верно сказал). Трудитесь дальше во славу Вашей родины и на радость нам всем! И боритесь за искусство, как Вы это умеете) Мравалжамиер! Ваш друг и поклонник Генрих Нейгауз. P.S. Вот так всегда со мной бывает: главное забудешь сказать! А я хотел сказать, что т.к. искусство для меня одно и никаких особенных искусств нет” (как сказал еще Блок), то Ваша живопись вызывает во мне музыкальные переживания так же, как хорошая музыка вызывает зримые образы, даже философские мысли. Необходимо только, чтобы “особенное искусство” было хорошим, очень хорошим, а этому требованию Ваша живопись удовлетворяет.

Г. Нейгауз”.

Е.Д.Ахвледиа – Рыбниковым¹
(в Москву) 1965 г.

“Посылаю каталог, дорогие мои!... Посылаю, чтобы Вы имели представление о нашем старом городе, который архитекторы и вместе с ними вышестоящие люди безжалостно уничтожают, воздвигают idiotские коробки, везде одинаковые: чи Тбилиси, чи Саратов, чи Москва или Казань, и все это снято с журналов Запада. Ничего своего, ничего интересного, благо строили бы на новых местах в новых районах, так нет – надо снести все вокруг Метехи (старая часть Тбилиси), церковь VI века, построенная на скалах, – ниже чудесный ишачий мостик, рядом – замечательная голубая мечеть, и все это убрали эти ублюдки и построили такое г... кошачее, что можно треснуть от злости и удушить без сожаления мастеров. Народ вопит, ругается, но кто слушает народ! Город так катастрофически быстро разрушают, что я еле успевала его зарисовать, вот и сделала выставку, не все поместилось, ибо помещение маленькое, но ничего... Со-

общите, если будет время, о себе, о своей работе. Целую Эличка”.

Е.Д.Ахвледиа – Л.В.Варпаховскому
1965 г.

“Дорогие Варпаховские! Целую Вас крепко. Присылаю Вам каталог моей выставки “Тбилиси” (Старый, конечно)... многих мест нарисованных мною, уже нет. Старый Тбилиси разрушают наши кретины архитекторы. Несмотря на письма и протесты народа – это свинство продолжается! Если бы Вы знали, что они сделали с Метехи! Кошмар! Всегда любящая Вас Елена”.

Л.В.Варпаховский – Е.Д.Ахвледиа
1966 г., 13 июля. Свердловск

“Дорогая, любимая Елена Дмитриевна! Я долго молчал – так велико было мое потрясение, когда я получил Ваше письмо и каталог выставки... Вы заставили меня устыдиться своим мыслям о смерти. Боялся, что год, два... и пойдешь на убыль! Ан нет! Есть в Тбилиси седа, высокая, сердитая Эличка Ахвледиа, откровенная до ужаса и честная до невозможности. Я в жизни не встречал более человеческого человека. Природа наделила Вас щедростью во всем, и в Вашей жизни и в Вашем творчестве. ...Кто мог подумать десять лет назад, что Вы копите в себе такой запас творческой энергии, что сможете в течение двух, трех лет создать то, что бывает под силу избранному на протяжении всей жизни! Ваши картины Тбилиси останутся на века. По ним будут изучать наше время, как по “Человеческой комедии” Бальзака мы узнаем о Франции XIX века больше, чем по всем книгам истории. Мне трудно в полной мере оценить достоинство Ваших картин. Я не считаю себя знатоком, но все же могу судить об удивительно поэтических ракурсах и композициях. Листаю каталог – что ни страница – чудо поэзии и музыки! ... Вы вошли в историю искусства и будут писать ученые мужи в энциклопедиях: Е.Д.Ахвледиа – певец Тбилиси, крупнейший художник середины XX в. Целую, обнимаю.

Лена Варпаховский”.

Публикацию и вступительную заметку подготовили Е.А.АХВЛЕДИАНИ и Э.П.ТОПУРИДЗЕ

¹ Е.Н.Гоголева (р. 1900).

¹ А.А.Рыбников (р. 1917) – художник, режиссер, П.А.Рыбникова (р. 1922) – актриса.

Золото и сажса Хохломи

МАРИНА АРИСТОВА



На прилавках хозяйственных магазинов, в универмагах и сувенирных киосках всегда стоят букеты деревянных ложек, наборы кухонных и консервных ножей с деревянными ручками, на которых по черному фону разбросаны две-три красные ягодки да несколько желтых завитков. Считается, что эти изделия – хохлома. Хохломой называют и огромные дорогие самовары, расписанные черной, красной и желтой краской. Между тем, предметы эти весьма отдаленно напоминают подлинные произведения народного промысла, прославившегося на весь мир, и многим едва ли доводилось видеть настоящую хохлому.



Фото А. МИЛОВСКОГО

Зародился промысел давно, когда в непроходимые леса Нижегородской губернии бежали священники и монахи, не желавшие подчиняться церковным реформам патриарха Никона. Одна за другой вырастали здесь деревушки. Первая забота была, конечно, о пропитании. Посуду долбили, вырезали из древесины. Черпаки и миски трескались и высыхались от горячей похлебки, но крестьяне смекнули – обмазали деревяшки глиной, покрыли сваренной из льняного масла олифой, закалили в печи – получилась прекрасная и удобная посуда. Раскрасили ее тем, что было под рукой, а именно черной сажей, красной киноварью.

В один из неурожайных годов крестьяне попробовали вывезти свои изделия на рынок: “стаканы по 5 рублей тысяча, чашки по 2 рубля за сотню”. Рынок принял товар: его раскупали мгновенно, с удовольствием, поскольку изделия были дешевы, удобны и красивы. И тогда в Семине, Воротилове,

Проскурине, Новопокровском, Хрящах целыми семьями начали резать, долбить, разрисовывать; потом на речках построили водяные токарки, а в каждой деревне – красильни. А на рынок ездили в богатое торговое село Хохлому – это имя и закрепилось за нарядными деревяшками.

Счастливая жизнь промысла продолжалась триста лет, а потом стали появляться тревожные симптомы. Оскудевали леса, хохломская посуда дорожала, а тут как раз появилась дешевая металлическая. Конец XIX века вообще нес с собой угрозу для подлинного крестьянского искусства: открывались фабрики, которые безо всяких усилий тысячами штамповали те же самые ложки, на базарах вырастали груды пестрых фабричных свистулек и обесценивались уникальные, ручной работы полхмайданские. Хохлома пыталась выжить, подстраивалась под городскую “красоту” – выгачивала претенциозные ковши с головами змей, огромные вазоны,

копирующие фарфор и фаянс. Появлялись вещи перегруженные в орнаменте тяжелым золотистым плетением псевдурусского стиля...

В начале 20-х годов нашего века хохломских мастеров объединила первая фабрика, построенная в деревне Семино, спустя несколько лет в г.Семенове возникла еще одна, под странным для народного промысла названием “Экспорт”. Фабрика, даже если она расположена в деревне, явление чисто городское. Что это значит? Фабричный принцип работы совершенно иной, чем у деревенского мастера, – тот все же оставался человеком деревенским, крестьянином, но работал он теперь почти исключительно для города, чей вкус и потребности не очень-то понимал.

Однако промысел, а с ним и деревня, и фабрика пытались и пытаются при этих условиях все же жить.

Сначала о деревне и фабрике. Изо дня в день стекаются в Семино к восьми утра люди из сорока шести деревень. Из четырех ходят автобусы, из остальных добираются, как могут: прогаптывают зимой тропы в лесных сугробах, месят сапогами непролазную осеннюю грязь. Фабрика диктует ритм жизни, но когда в деревню приезжает машина, торгующая огурцами и сметаной, работа останавливается. Магазин здесь есть, но в нем продается только хлеб. Дети месяцами сидят на картошке и макаронах, пока родители не съездят в столицу (а это не так просто: до райцентра, потом три часа до Горького, потом ночь на поезде или десять часов автобусом) или не пришлют манную крупу родственники из более счастливых городов.

Глядя на яркие хохломские изделия, представляешь себе и село игрушкой. На самом деле это потемневшее, кое-как разбросанные по оврагам избы и несколько барачков из серого кирпича: фабрика ведет таким образом “жилищное строительство” – две квартиры в год. В квартирах рядом с газовой плитой и батареей парового отопления – русская печь, ибо батарея зимой “не тянет”, только печкой и согреваются. Провели водопровод, но бак для горячей воды топится дровами. Бревна, то есть фабричное сырье, захватили все жизненное пространство: они вдоль заборов, они вдоль дороги.

А на самой фабрике – плакат: “Будь аккуратен и опрятен во всем, не стыдись элегантности”. Элегантности стыдится не приходится: зимой и летом, осенью и весной, всегда – утонувшая по колено в стружке токарка, черный дым из трубы заготовительного цеха и опять бревна, бревна, бревна. Для грунтовок нужна глина, и карьеры роют прямо посреди деревни: нет бензина, чтобы возить откуда-нибудь. Но главное все же в другом.

Старый мастер делал свою вещь от начала до конца сам. Это была его вещь, даже если жена помогала ему шкурить или раскрашивать. Если он менял форму – менялся соответственно и узор. Если придумывалась новая раскраска – искалась и новая форма.

На фабрике же – конвейер, полный разрыв каждого с каждым. Кто-то точит болванки, кто-то их олифит, кто-то грунтует, кто-то наносит стандартный рисунок-клише, придуманный опять же другими. Впрочем, они годами на одной и той же операции не сидят, каждый день меняют цеха, и творцами становятся в день седьмой, попадая в разрисовочный. Но эта система придумана вовсе не для того, чтобы сохранить дух традиции, просто не найти иначе желающих работать в заготовительном цехе, где пыль и гарь дерут горло, разъедают глаза, ибо вентиляция не работает.

Да как же фабричные терпят это? Они и не терпят: за последние двадцать лет их количество уменьшилось вдвое. Многие перебрались в соседний богатый колхоз им. Ленина. И уходят ведь не только рабочие – мастера, последние мастера.

Спросим о делах у них. Акиндин Васильевич Красильников, рождения тысяча девятьсот шестого года. Пять поколений его предков занимались, как свидетельствует и их фамилия, исконным хохломским ремеслом; сам он с четырнадцати лет работал на фабрике в Семино, которой руководили его дед и дядя, написал книгу “Золотая хохлома”. Историю промысла знает, как автобиографию.

– Много изменилось в промысле за время существования фабрик. Раньше ведь любой предмет обихода расписывали, не только посуду. В нашем доме – он двести лет простоял – была под крышей светелка. Мой прадед расписал в ней все стены,

от пола до потолка, и сундуки, и лавки. Мне помнится, тогда узоры были не только растительные, на донцах прялок рисовали и всадников с саблями, и девиц-красавиц с косой до пят. Теперь ассортимент фабрики изменился почти полностью, выпускают большей частью так называемые декоративные украшения, панно. Изменился и характер росписи. И количество ее вариантов сузилось, вещи стали похожими друг на друга. Изменилось и качество красок, добавились новые, нехарактерные для традиционной хохломы цвета. Вместо льняной олифы, делать которую сложно и дорого, применяют различные синтетические лаки. Технология упростилась и ускорила; поскольку эти лаки не выдерживают высоких температур, закаливание в печи сменилось кратковременным обжигом. Тем самым топливо экономится. Настоящие же авторские работы исчисляются лишь несколькими десятками. Хотя, с другой стороны, считают: угасания промысла не происходит, это лишь другое его качество. Именно фабрика спасла в свое время от разорения кустарей-одиночек, именно благодаря фабрике жива вестчас все-таки хохлома. То, что происходит – нормально и закономерно...

Вот мнение мастера. А вот слова другие, сказанные одним из лучших знатоков народного искусства Виктором Михайловичем Василенко, – о том, как делали хохлому раньше: “Материалом служат липа, береза, режа – осина. Дерево выбирают просушенное, без сучков. Выточенную вещь покрывают сначала особым грунтом из глины (этот процесс носит название “ваплення”), затем многократно олифят и потом просушивают в печи. После этого начинается подготовка под живопись. Поверхность тщательно протирают тонким оловянным порошком – полудой; в последние десятилетия олово стали заменять алюминиевым порошком. На этот металлизированный серебряный фон мастер наносит кистью рисунок. Затем вещь покрывают прозрачной олифой и закаляют в печи. Олифа желтеет, и под ее слоем серебряная поверхность в тех местах, где она не закрыта рисунком, превращается в сверкающее золото. Олифа, покрывающая всю вещь, связывает краски единым тоном. Под слоем прозрачного лака-олифы пылает киноварь, переливается черный цвет. Растительные узоры, выходящие травы поблескивают золотом на красном или черном фоне больших деревянных чаш, поставков, вальков, ложек, мебели. Близкий прием окраски встречался в древней иконописи, где применяли в качестве фона хлористое серебро”.

А перед глазами сваленные в беспорядке бревна: под дождем, снегом, солнцем... Где уж тут “просушенное дерево”! Токарь гонит “белье” (нераскрашенная деревяшка), его совсем не интересует, чем, как и когда оно будет раскрашено, впрочем, как и разрисовщиков не интересуют поступающие к ним болванки – что дали, с тем и будут работать. У Василенко – “мастер”, “живопись”, здесь – разрисовщик, утвержденные, клишированные образцы. Остается лишь нанести три-четыре стандартных мазка.

А дальше? В народном искусстве это “дальше” так же необходимо, как и изготовление самой вещи. Дальше – это базар, куда сам мастер привозит свой товар, и здесь осуществляется обратная связь, жизненно необходимая для народного творчества. Рынок был настоящей школой, тут он видел, как работают другие, что нравится покупателям, а что берут неохотно, кто истинный мастер, а кто не очень умелый, тут рождались и ревность, и гордость, и хитрость, и открытая радость. И тут мастерство мерилось ценой.

Современные создатели оторваны не только от изделия, но и от его цены, от рынка. Гонят штамповку – та поступает в магазины. Авторские изделия предназначены для музеев и художественных фондов.

Наконец, большая часть продукции идет за рубеж – как экзотические сувениры.

Художников ставят в странное положение: три четверти времени они сознательно примитивизируют и классические, и собственные орнаменты, чтобы приспособить их к потоку. И только крохи оставшегося времени работают на выставки, то есть в полную силу. И тем замечательней сознавать, что остаются еще здесь и передают свое искусство другим настоящие художники.

Степан Павлович Веселов – мастер с типичной для народного умения судьбой. В начале 30-х годов наследственное ремесло перестало кормить его и он пошел работать на фабри-

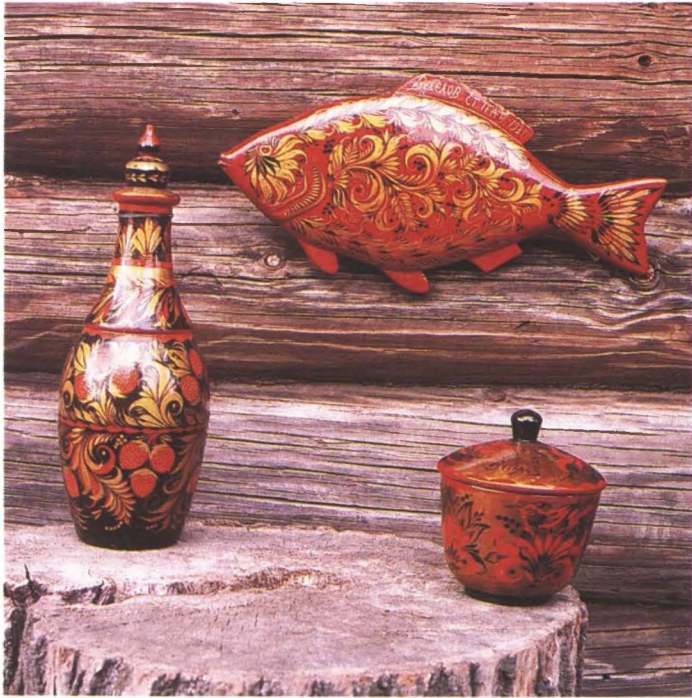


Фото А. МИЛОВСКОГО

ку, на конвейер, потом в колхоз, в полеводческую бригаду. Когда приходилось особенно туго, мастерил, как в старину, ложки и чашки, пускался с ними по Волге. А выйдя на пенсию, вернулся к своему ремеслу уже полностью. И как у всякого настоящего мастера, есть у него ученик.

Как он учил его? Да в общем, просто: показывал последовательность построения “пряника” (узор, начинающийся в центре посуды и разветвляющийся на бесконечное множество деталей). А в травном пряничном узоре нельзя разжевать зрителю весь рисунок, он бесконечен, он должен только разбудить воображение, чтобы зритель увидел, как сплетаются травинки в фантастическую птицу, а из ее крыльев вырастают ягоды, цветы, листья...

Николаю Иванову, ученику Степана Павловича, уже за сорок, работает на фабрике резчиком, режет вручную двадцать уток в месяц, две нормы: десять за себя, десять за жену (она с ребенком сидит), зарабатывает этим около трехсот рублей в месяц.

Николай – член Союза художников. Его работы покупают музеи, побывали они и на зарубежных выставках. Но занимается он ими один месяц в году – летом, во время отпуска, в крошечной баньке возле дома. Во время отпуска – потому, что от топора и зубила рука грубеет, сбивается и нужны недели, чтоб она вновь обрела чувствительность и твердость руки живописца. И как же он любит это свое дело, как говорит о нем...

“Многие искусствоведы утверждают, что хохломская роспись была своеобразным подражанием золотой и серебряной посуде древней Руси. Но это не так. Тут вызов был, а не подражание. Разве дерево прикидывалось золотом? Положите рядом серебряную или золотую ложку и деревянную, хохломскую – ничего похожего! Узорочье золотой и серебряной ложки подчеркивало тяжесть металла. А хохлома только делала вид, что прикидывается золотом, она же дурака валяет, она легкость дерева подчеркивает, звон его. Пусть теперь вместо дерева расписывают глину. Но только пусть роспись выявит особенность ее фактуры, пусть подчеркнет, что это совсем иной материал, пусть не выдает глину за золото или дерево. Тогда хохлома хохломой останется.

Если мы считаем, что хохлома – народное искусство, то почему наши фабрики относятся к министерству местной промышленности и идут по разряду щепно-бондарных изделий? Конечно, с точки зрения местной промышленности все в порядке: план выполняется, топливо экономится, время производства сокращается. А то, что план порождает потогонную систему, что технология нарушается, художественный уровень падает – кого это волнует?

Ясно же, что мы должны быть в ведении министерства культуры. Художнику можно задавать план, но реальный – такой, чтобы у него оставалось время на свободное творчество. И даже плановые изделия он должен делать сам от начала до конца, а для этого нужны творческие мастерские. Художнику нужна возможность напрямую иметь дело с фондами музеев и получать деньги не через два года после выставки, как это происходит сейчас, а сразу. Он должен иметь возможность торговать со своим покупателем напрямую, он должен знать спрос, он должен реально представлять свой художественный уровень.

Надо ли закрывать фабрику? Да нет же. Пусть делает те же ложки и поварешки. Только не надо называть это дело народным промыслом. Пусть это будут просто нарядные деревянные ложки и расписные детские наборы. Пусть будет не фабрика “Хохломской художник”, а фабрика по изготовлению деревянных ложек. А то ведь как: сейчас везде стали хохлому делать, вот и в Башкирии, и в Липецке выпускают расписные деревяшки и называют их хохломой...”

В Москве недавно организовался торгово-закупочный кооператив “Коробейники”. Поехали его представители по деревням, заглянули к Николаю Иванову, ахнули, увидев его работы. Для начала взяли два панно. Вывесили одно в своей палатке у гостиницы “Космос”. Подошел иностранец, купил. Через десять минут прибегают с пачкой денег: “Давайте все, что есть! Это – настоящее!”

Да, не все еще потеряно, хотя час бить тревогу настал давно. Ведь хохломская традиция может погибнуть. Не потому, что пришло для этого время. Не потому, что она изжила себя. Наследие нам досталось прекрасное. Просто плохо им стали распоряжаться.

НАМ ЕСТЬ, ЧТО БЕРЕЧЬ

Как-то в одной из местных радиопередач были даны результаты анкетного опроса по поводу отношения молодежи к культурному наследию. Увы, многие высказались за то, чтобы ликвидировать все памятники нашей истории, якобы не играющие никакой воспитательной роли. Это не просто тревожный факт, а страшное предупреждение о том, что в нашей идеологической работе многое было упущено. В результате – равнодушные, которое приводит к уничтожению памятников истории и культуры, нашего духовного богатства. Мы должны понять, что нет более плодотворной почвы для раскрытия и расцвета возможностей человека, чем национальная память, непрерывная связь поколений.

Между тем стерт с лица земли клуб им. Карла Либкнехта, исчезли многие памятники архитектуры в исторической части города Красноярска; наша гордость, дом-усадьба В.И.Сурикова, буквально рассыпается. Печальную картину можно наблюдать на курганах Хакасии, после проведенных раскопок они никому не нужны и постепенно исчезают. Да посмотрите на наши мемориальные доски, многие тексты на них уже с трудом читаются. Это в краевом центре, а что же делается в крае! На протяжении семнадцати лет ведется реставрация только одного памятника в Енисейске – Спасского монастыря, а их в городе десятки. Ведь не случайно Енисейск – это город-памятник Российской Федерации. Если такими темпами проводить реставрацию наших памятников, то очень скоро нам уже нечего будет сохранять.

А ведь нам есть что беречь. С давних времен ведется летопись нашего края. Она повествует о древних обитателях хакасских степей, оставивших в память о себе свыше 30 тысяч памятников археологии, каменных изваяний и наскальных изображений; рассказывает об отважных русских землепроходцах, внесших свой позитивный героический вклад в освоение енисейского Севера, Ледовитого океана, говорит и о казаках, построивших в начале XVII века остроги – крепости на берегах Енисея. А сколько горьких страниц нашей летописи посвящено трагическим судьбам декабристов и петрашевцев! Красноярская земля помнит А.Н.Радищева, который еще в 1790 году, закованный в кандалы, прошел весь наш край; помнит великого русского революционера-демо-

крата Н.Г.Чернышевского и писателя В.Г.Короленко. В конце XIX века в Красноярске бывали А.П.Чехов, А.С.Попов, С.О.Макаров, В.А.Обручев, известный полярный исследователь Ф.Нансен. Увы, наш край стал и свидетелем бесчисленных конвоев политических ссыльных.

В годы Великой Отечественной войны красноярцы внесли свой достойный вклад в борьбу с фашизмом. Среди наших земляков 174 Героя Советского Союза, 55 кавалеров ордена Славы трех степеней.

Воскрешая в нашей памяти образы славных революционеров, сибиряки-красноярцы прежде всего думают о Владимире Ильиче Ленине. Почти три года провел он на берегах Енисея. Миллионы людей приезжают в Шушенское, к Ильичу, едут со всех уголков нашей страны и из-за рубежа.

Как видите, нам есть, чем гордиться, и есть, что сохранять.

Государство десятки тысяч рублей отчисляет на реставрацию старинны, а мы спокойнозираем, как у нас на глазах умирает то, что мы обязаны сохранить не только для себя, но и для потомков. Без преувеличения можно сказать – погибает наш северный фольклор. И проблема эта очень серьезная.

Мы получаем много писем от трудящихся, из которых видно, что дело это общенародное, общенациональное и имеет большое воспитательное, нравственное и историческое значение. На страницах печати выходит много публикаций по данному вопросу, широко эта проблема обсуждается телевидением и радио. Практически на всех уровнях ведется серьезный разговор о состоянии фольклорного наследия, о том, что оно исчезает, а вместе с ним исчезает память, история народа. Но люди все-таки уходят из обжитых мест, покидают села, где некогда звучала самобытная музыка, исполнялись самобытные песни, танцевались неповторимые по красоте и своеобразию танцы.

Краевое отделение Всероссийского фонда культуры разрабатывает сейчас совместно со всеми заинтересованными организациями конкретные мероприятия по сохранению, изучению, пропаганде и развитию фольклора.

А.Н.КУЗНЕЦОВ, председатель правления краевого отделения Всероссийского фонда культуры, директор Красноярского металлургического завода им. В.И.Ленина, Герой Социалистического Труда.

“Наше наследие” в 1989 году

Роли культуры в современном обществе, проблемам осмысления исторического пути, пройденного нашей страной, острым процессам перестройки сознания и общественной жизни, важнейшим на сегодняшнем этапе вопросам литературы, искусства, науки будут посвящены выступления и интервью писателей А. Адамовича, В. Быкова, И. Васильева, Д. Гранина, Ю. Карякина, В. Распутина, композиторов В. Гаврилина, Г. Свиридова, А. Шнитке, режиссеров С. Параджанова, Г. Товстоногова, ученых Е. Велихова, Т. Заславской, Д. Лихачева.

Журнал продолжает знакомить с деятельностью Советского фонда культуры и его республиканских и областных отделений, с долговременными программами Фонда “Молодежь и культура”, “Возвращение”, “Пушкин в сердцах поколений”, с инициативами Фонда, расскажет о людях, чьи усилия много делается для сохранения отечественного многонационального наследия. К 190-летию со дня рождения А. С. Пушкина готовится “пушкиниана” “Нашего наследия”.

В разделе “Литература, история, философия” будут напечатаны не опубликованные и малоизвестные произведения В. Одоевского и Б. Зайцева, Вл. Ходасевича и С. Кржижановского, М. Волошина и Е. Замятина, М. Осоргина и Ю. Верховского, Вяч. Иванова и З. Гиппиус, архивные документы и свидетельства участников Октябрьской революции, гражданской войны, событий 20-х и 30-х годов, Великой Отечественной войны, послевоенного времени.

Будут опубликованы воспоминания Э. Герштейн об О. Мандельштаме, неизвестные страницы “Чукоккалы”, записки об А. Ахматовой П. Лукницкого и неопубликованные стихи Ахматовой, письма и автографы И. Бунина, дневники Д. Давыдова, мемуары О. Высотской о В. Мейерхольде, воспоминания В. Печерина, С. Соловьева, М. Пришвина, Е. Герцык, отрывки из театральных записок С. Волконского.

Журнал продолжает знакомить с личными коллекциями произведений живописи, графики, прикладного искусства, с запасниками центральных и провинциальных музеев, материалами государственных и личных архивов.

Будут напечатаны малоизвестные произведения П. Корина, М. Нестерова, М. Ларионова, Н. Гончаровой, Ю. Анненкова, Х. Сутина, В. Кандинского, И. Зданевича, К. Зданевича, М. Соколова, А. Архипенко.

С редкими именами и произведениями читатели познакомятся в рубриках “Среди коллекционеров”, “Запечатленное время”, “Классика”, “Пенаты”, “Память”, “Антология промыслов”, “Мосты”, “Город как мир”, “Публикация одного памятника”, “По страницам старых журналов”.

Журнал “Наше наследие” печатается в Великобритании на полиграфической базе корпорации “Максвелл комьюникейшн корпорейшн”. Распространяется в СССР агентством “Союзпечать”.

Выходит 6 раз в год. Индекс 70645.

Подписная цена шести номеров – 12 рублей.

В розничную продажу журнал поступает в ограниченном количестве.

КАРТИНА ВЕРНУЛАСЬ НА РОДИНУ



Известный бизнесмен и коллекционер, давний друг СССР Арманд Хаммер сделал очередной вклад в нашу сокровищницу произведений живописи. Он передал в дар Советскому фонду культуры картину Айвазовского "Гурзуф ночью. Дорога вдоль моря". Собрание произведений выдающегося русского мариниста в нашей стране обширно и многообразно, но вновь обретенная картина художника является ценным и важным пополнением коллекции его работ. Созданная в России, побывавшая за свою более чем вековую жизнь в руках многих владельцев, она вновь вернулась на родину. Известно, что Айвазовский умел предельно простому пейзажу придать романтическую приподнятость. Так и в этой, сравнительно небольшой по размеру работе, "Гурзуф ночью", уголок крымской природы с извилистой дорогой вдоль моря, медлительными волами, запряженными в арбу, уснувшими горами и затихшим ночным морем, приобретает картинную эффектность. Точка, взятая художником несколько сверху, и золотистый свет луны преобразуют этот пейзаж, делая его эмоционально возвышенным, необычным. Середина 1860-х годов – время наиболее плодотворного и активного творчества художника. Именно в 1865 году, когда была написана подаренная Армандом Хаммером картина, Айвазовский открыл при своей мастерской в Феодосии художественную школу, назвав ее "общей мастерской". Здесь под его руководством работали многие талантливые молодые художники, которым знаменитый мастер с готовностью передавал свой богатейший опыт живописца.

Г. ЧУРАК.

старший научный сотрудник
Всесоюзного музейного объединения "Государственная Третьяковская галерея"

Дар ФОНДУ КУЛЬТУРЫ

У БЕСКОРЫСТІЯ ЕСТЬ ИМЕНА

Продолжаем публиковать
список дарителей
Советскому фонду культуры

**МАВРИНА
ТАТЬЯНА
АЛЕКСЕЕВНА,**
заслуженный художник РСФСР,
лауреат Государственной
премии СССР, лауреат
Международной премии
Г.-Х.Андерсева

Передала в Государственный музей
А.С.Пушкина 309 авторских работ
– иллюстрации к произведениям
А.С.Пушкина.

**МОСКОВСКИЙ
ХИМИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
им. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА**

Передал в дар три комплекта
факсимильных копий медалей
Ф.Толстого из серии "Отечественная
война 1812 г.". Копии изготовлены
под руководством старшего
инженера О.Неделяева в
одной из лабораторий МХТИ им.
Д.И.Менделеева.
Комплекты переданы в Государственный
музей Л.Н.Толстого, музей-панораму
"Бородинская битва" и Государственный
Бородинский военно-исторический музей-заповедник.

**САТИНА
СОФЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА,**
членица композитора
С.В.Рахманинова,
живет в Англии

Передала работу М.В.Добужинского
"Вид узкой улицы".

**МАХОТИН
ЮРИЙ
АНДРЕЕВИЧ,**
заслуженный художник РСФСР,
живет и работает в Брянске
Передал серию авторских живописных
работ "По тютчевским местам".
Согласно воле дарителя, работы
поступили в Мемориальный музей-усадьбу
Ф.И.Тютчева в селе Музет Жуковского
района Брянской области.

КИШИШ ИШТВАН,
народный художник Венгерской
Народной Республики, почетный член
Академии художеств СССР,
ректор Академии художеств ВНР,
лауреат премии Кошута
Передал свою работу "Крик",
экспонировавшуюся на выставке
Академии художеств СССР в 1987
году.

**ЗВОНКИН
ДМИТРИЙ
АНДРЕЕВИЧ,**
писатель, живет в Москве
Подарил картину неизвестного
художника немецкой школы конца
XIX – начала XX в. из наследия
ленинградского искусствоведа и
художника В.Н.Кучумова. Картина
передана на исследование и реставрацию.

**САВАРИ
СЮЗАННА,**
французская художница,
член "Общества французских
художников" и "Общества
независимых художников",
лауреат Международных премий
Передала живописное полотно
"Фантазия", которое экспонировалось
в Салоне французских художников
на Елисейских полях в 1969 году
и на многих ее персональных
выставках, и натюрморт "Краски
лета", завоевавший приз
Международной академии лютетин
в 1985 году.

**НЕКРАСОВА
ИЯ НИКОЛАЕВНА,**
писательница,
ЕЖОВ
АНАТОЛИЙ
ИВАНОВИЧ,
доктор экономических наук,
заслуженный деятель науки
Подарили коллекцию китайских
изделий из слоновой кости и
деревянную скульптуру китайского
божества, приобретенные А.Ежовым
во время его работы в КНР в 1949–
1952 гг.
И.Некрасова передал также
часть своей библиотеки и кабинетный
рояль "Блютнер"

**ПИЩАЛЬНИКОВА
ГАЛИНА
НИКОЛАЕВНА,**
живет в Москве
Передала серебряную табакерку
работы западноевропейского
мастера XIX – начала XX века.

**ХАМДАМОВА-ВИОЛИ
СИМОНЕТТА,**
вдова художника Рустама
Усмановича Хамдамова,
живет в Италии
Передала четыре акварели работы
Р.У.Хамдамова: "Мужчина за
столком", "Девушка со скрипкой",
"Трое", "Женщина за столком" и
рисунок "Женщина в шляпе".

**ЗАЛЕТАЕВА
ИРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
(1903–1981),**
детская писательница
Выполняя волю И.А.Залетаевой,
ее муж Михаил Васильевич
Залетаев передал картину художника
Б.А.Такке "Катя" (по мотивам
поэмы А.Блока "Двенадцать") и
три тибетские иконы XIX века.

**УМ-ЭЛЬ-БАНИН,
французская писательница,
родилась в 1905 году в Баку**
Передала в дар Советскому фонду
культуры ксерокопии тридцати
трех адресованных ей писем
русского писателя И.А.Бунина, с
которыми познакомилась в 1936 году
в Париже.

**ЦЫПУЛИНА
ЕВГЕНИЯ
ВАСИЛЬЕВНА,**
писательница, живет в Москве
Передала чернильный прибор из
поддельного камня чешской рабо-

ты, принадлежавший мужу дарительницы – Клементу Михаилу Дмитриевичу.

**НАКОВ
АНДРЕЙ
БОРИСОВИЧ,**
известный коллекционер,
специалист по истории
русского искусства
первой половины XX века,
доктор Парижского
университета
Передал в дар живописную работу
Александры Экстер "Натюрморт с
пейзажем" и архитектурно-пространственную
композицию Симона Лисима. Согласно
воле дарителя произведения
поступили в Государственный
театральный Центральный музей
им. А.А.Бахрушина.

**ПОПОВ
АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ,**
народный мастер, гончар, живет и
работает в г. Одиново
Московской области
Передал авторскую работу –
скопленный глиняный сосуд.

**ФОМИН
ИВАН
НИКОЛАЕВИЧ,**
член Союза художников СССР,
живет в Московской области
Передал 24 авторские графические
работы, выполненные в технике
литографии.

**НАЙДИЧ
ЕВГЕНИЯ,
вдова художника
Владимира Найдича,
живет во Франции**
Передала две картины (натюрморты)
своего мужа, входившего в
группу русских художников
Парижской школы. Работы
В.Найдича экспонировались
в галереях и музеях Франции,
Италии, США.

**МОРЕНО
ХОСЕ
(Испания)**
Подарил ксерокопии семи писем
Марка Шагала и ксерокопию
обложки каталога выставки
художника в г. Тосса де Мар.

**ЕРЕМЕЕВА
НАТАЛЬЯ
НИКОЛАЕВНА,**
живет в Москве
Передала в дар кружево,
покрывало и другие изделия
с традиционной народной
вышивкой конца XIX –
начала XX века.

**ТЕР-КАЗАРЯН
ЭДУАРД
АВАКОВИЧ,**
музыкант, микроминиатюрист,
мастер по изготовлению
и восстановлению музыкальных
инструментов из Еревана
Во время персональной выставки
работ Э.Тер-Казаряна, проходившей
в 1987 году в Московском
Политехническом музее,
Советскому фонду культуры
была передана в дар
микроминиатюра "Цветы
мира".

**БОЧАРОВ
ЗАКИР,
рабочий-строитель, живет
и работает в Баку**
Передал рукописный Коран.

**СМИРНОВ
ОЛЕГ
ЮРЬЕВИЧ,**
член Союза художников СССР
Подарил собранную им коллекцию
живописи, графики и скульптуры
советских художников (177
предметов). Вся коллекция
передана в краеведческий музей
г. Конотопа УССР.

**БЕНЦЕК
АЛЕКСЕЙ
(Чехословакия)**
Подарил подборку гравюр
"Старая Москва" народного
художника РСФСР, лауреата
Государственной премии СССР
Ивана Николаевича Павлова
(1872–1951).

**ТИССЕН-БОРНЕМИСЦА
ГАНС
(Швейцария),**
владелец одной из крупнейших
частных коллекций мира
Передал работу итальянского
художника Алессандро Маньяско
(1667–1749) "Пейзаж с фигурами".
Картина поступила в
Государственный музей
и изобразительных искусств
им. А.С.Пушкина.

**МЕЛЯНЦЕВ
ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ,**
педагог, художник-график
Передал в музей Театра драмы
и комедии на Таганке серию
линогравюр "Родом из детства",
посвященную В.Высоцкому,
и оттиски линогравюр
"Вселенная" из серии
"Мой Пушкин" в библиотеку
им. А.С.Пушкина
2-го Медицинского института.

**МИНАЕВ
ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ,**
народный художник РСФСР,
член-корреспондент Академии
художеств СССР
Подарил свою живописную
работу – портрет американской
учительницы Кристи Макколиф,
погибшей на "Челленджере".
Картина передана
американской общественности
как дар Советского фонда
культуры.

**АНИКЕЕВ
МИХАИЛ
КОРНЕЕВИЧ,**
заслуженный художник РСФСР,
ветеран Великой Отечественной
войны, живет и работает
в городе Балашиха Московской
области
Передал 37 своих графических
и живописных работ. Согласно
воле дарителя 27 произведений
переданы на родину художника,
Тамбовской детской художественной
школы.

**КРОУЛИ П.
(Великобритания)**
Подарил напольные часы
своей работы для музея
"Дерево Дружбы" в Сочи.

IN THIS ISSUE

We begin this issue with a contribution from Academician Ivan Frolov, "For the benefit of Man" (see "Culture Today"). This noted social scientist examines one of the more controversial issues of the day: whether contemporary culture is capable of leading mankind towards a better future, or it has reached a blind alley and is unable to prevent a nuclear holocaust. The balance between the triad "man-science-humanism" needs to be restored, the scholar says, and mutual adaptation is vital as well as close contact between reason and humaneness.

The photoreport "Trust Calls for Action", by Mikhail Talalai and Sergei Vetrov in the section "Face of Our Times", introduces the reader to the people active in the ecological cultural movement of Leningrad. In this city a number of public organizations are working untiringly to save the cultural and historic monuments from demolition, to restore them, to encourage a respect for the country's cultural heritage and a love for its beauty.

In "Donations to the Cultural Foundation" you can read about the hand-written 17th-century manuscript of Apocalypse, of an Aivazovsky painting donated by Armand Hammer, of the earrings which belonged to the Goncharovs (Pushkin's in-laws), and rare jewelry made by Russian masters.

"Cultural Foundation News" brings you up-to-date on the activities of the Cultural Foundation branches in other regions of the USSR, tells how the American financier George Soros initiated joint projects with the Cultural Foundation.

The Collectors' Club set up by the Cultural Foundation held the exhibition in Moscow: "Russian Women in Painting". The exhibition was one of their first endeavours. Art critic Yekaterina Dyogot has contributed a vivid account of women's portraits of the 18th-20th century by the major Russian painters. Her article is illustrated with reproductions of works by Rokotov, Borovikovskiy, Serov, Korovin, Petrov-Vodkin, Serebryakova, and other artists.

"I remember your story of how Vasilenko and Asafyev came to Odessa, how they heard your renderings of their ballets, and how they insisted that you immediately drop everything and go to Moscow to enrol in the Conservatoire. Did you leave right away?"

"I arrived in Moscow in 1937. As no one met me at the station I walked all the way to Samotyoka Street along the full-length of the Sadovaya Circle. Fortunately I knew how to get to where I wanted to go as I had a map of Moscow. I finally located the Lapchinskys, and stayed with them for a year in their large communal flat, until the day when they expelled me from the Conservatoire."

This is one of the reminiscences of the world famous pianist Svyatoslav Richter. In "Yesterday, Today, and Tomorrow" he shares his recollections with music critic Valentina Chemberdzhi. He speaks about music and musicians, and comments on other arts.

The recent fire in the Library of the Leningrad Academy as well as the sorry state of many other book repositories and the poor equipment of our libraries was the subject of the round-table discussion at the Soviet Cultural Foundation. Read the report of this event in "Libraries: Problems and Prospects".

In "Links", there is an essay by Alexander Nezhny, "Redemption". His essay deals with the controversy concerning our common duty towards our country's history, the call to preserve the sites of historical and architectural value and cherish the memories of the past. He also discusses the spiritual health of the nation.

In his article "Herald of the Revolution", Maxim Nenarokomov describes Lev Kropivnitsky's collection of Soviet political posters of the 1918-22 (you will find this interesting article listed under the heading "Collectors").

"Letters to My Son" by Andrei Bolotov, a remarkable 18th-century agronomist, landscape architect, economist, historian, and writer, appears in the section of literary, historical and philosophical publications. Written in 1803 the letters shed a new light on Bolotov's life and adventures, as well as providing vivid

sketches of St Petersburg, the life of its high society, and the centenary celebrations of the then capital of Russia.

There is a great deal of interest in the outstanding Russian philosopher Vladimir Solovyov (1853-1900). This continuing interest in the personality and works of Vladimir Solovyov, the great value and scholarly perfection of his teaching on "Absolute Oneness" comes through in the interview with Alexei Losev, a major Soviet philosopher. This in-depth study is in the section "Russian Thinkers" under the title "Fearless Quest for Truth". Also included are Evgeny Trubetskoi's reminiscences on "Solovyov as a Person", first published in 1911. Pavel Shchegolev's note on "The Events of March 1 and Vladimir Solovyov" illustrates the philosopher's courage in his search for truth, the courage which made him such a distinguished human being, scholar and poet.

For the first time we publish Solovyov's article "When the Russian Way Was Abandoned and How to Return to It", written in 1881. This article is important in understanding the evolution of his ideas and historical views.

"Fyodor Tyutchev's Poetry", written by the philosopher in the later years of his life, is universally considered to be his masterpiece.

The three sketches about war years by poet-soldier Sergei Orlov is another interesting item in this issue.

This issue introduces the reader to the poetry of Vladimir Kemetsky, whose work is not widely known due to a number of tragic circumstances.

"From Old Journals" continues to acquaint the reader with "Russian Archives". This time we publish material from its first issue in 1863 and the last issue which appeared in 1917.

In the section "Memoirs" we draw your attention to the excerpts from Kornei Chukovsky's Diaries devoted to Maxim Gorky, also published for the first time.

In "Homecoming" there is a selection of Vladimir Nabokov's writings under the heading "A Creative Gift". Included are his stories: "Spring in Fialta" and "Offence", "Christmas", and the hitherto unknown letter by Vladimir and Vera Nabokovs to Yuli Aikhenvald.

Our new section "Classics" commemorates the 125th birthday of Konstantin Stanislavsky, the great reformer of the stage art, with critic Vadim Gayevsky's article "The Moscow Hamlet", and excerpts from the well-known Polish director and critic Jerzy Grotowski's notes "Answer to Stanislavsky".

There was a time when Kiev experienced its full measure of historic events, and had its fill of passions and aspirations. Then time seemed to stop for a period, a period lovingly called by lyrical poets and philosophers "timelessness". But it was not by-passed by any of the storms of our apocalyptic age, including the most horrible ordeals inflicted by the now well-known "dark forces". It would take not an article but a whole library to give a full account of it all. "This is how Vadim Skuratovsky ends his excellent essay "Along the Streets of Kiev-Viy..." about the "mother of all Russian cities" (see: "World of the City").

"Nursery in Pushkin's Home in Zakharovo" by Irina Yuryeva and Lev Smirnov is about an estate in the environs of Moscow now turned into another Pushkin museum. (the section: "Penates").

Under the new heading of "Captured Time" we will feature the art of the master photographers. In this issue we feature An. Vartanov's article "Faces of Two Epochs", devoted to the works of a major Soviet portrait photographer, Moisei Nappelbaum.

"At the home of Elena Akhvlediani" (the section "Remembrance") takes the reader into the world of this famous Georgian artist's paintings. We also publish some of the letters she received from noted Soviet cultural figures.

The new section called "Anthology of Folk Crafts" opens with Marina Aristova's feature story: "The Black and Gold of Khokhlova", about the history and techniques of this unique painting on wood.

OUR HERITAGE, No. 2

CONTENTS

- Ivan Frolov
For the Benefit of Man / 1
Michael Talalai
"Trust Calls for Action" / 5
Goncharovs' Earrings / 11
Yekaterina Dyogot
Russian Women in Painting / 12
Tatiana Okulova
George Soros in Moscow / 23
Libraries: Problems and Prospects / 25
"...the divine apocalypse" / 29
Valentina Tchemberdshi
"Bursting into the World Orchestra".
Conversations with Svyatoslav Richter / 30
Alexander Nezhny
Redemption / 36
Maxim Nenarokomov
"Herald of the Revolution" / 40
"New Pages from the Life and Adventures
of Andrei Bolotov" / 45
"Russian Archives" / 56
Sergei Orlov. "War Diaries" / 64
Vladimir Soloviov:
the Fearless Quest for Truth / 67
Alexei Losev
"He Loved Russia Dearly" / 69
Evgeny Trubetskoi
"Vladimir Soloviov as a Person" / 70
Pavel Shchegolev
"The Events of March 1
and Vladimir Soloviov" / 78
Vladimir Soloviov
"When the Russian Way Was Abandoned
and How to Return to It" / 80
Fyodor Tyutchev's Poetry / 86
From the Diaries of Kornei Chukovsky
(about Maxim Gorky) / 91
Poetry of Vladimir Kemetzsky / 100
Vladimir Petrov
"A Creative Gift" / 102
Vladimir Nabokov
"Spring in Fialta" / 104
"Offence" / 108
"Christmas" / 111
Poems / 112
Letter from Vladimir and Vera Nabokovs
to Yuli Aikhenvald / 113
Vadim Gayevsky
"The Moscow Hamlet" / 114
Jerzy Grotowski
"Answer to Stanislawski" / 117
Vadim Skuratovsky
"Along the Streets of Kiev-Viy..." / 119
Cultural Foundation News / 129
Irina Yuryeva and Lev Smirnov
"Nursery in Pushkin's Home
in Zakharovo" / 130
Anri Vartanov
"Faces of Two Epochs" / 140
"At Elena Akhvediani's" / 147
Marina Aristova
"The Black and Gold of Khokhloma" / 153
"Painting Returns to Russia" / 158
Charity is Remembered / 159
In this Issue / 160

NOTRE HERITAGE, No. 2

SOMMAIRE

- Ivan Frolov. Le cap sur l'homme / 1
Mikhaïl Talalaï. Confiance oblige / 5
Les boucles d'oreille des Goncharovs / 11
Ekaterina Diogot. Portrait d'une femme
russe / 12
Tatiana Okoulova. George Soros
sur le boulevard Gogol / 23
Les bibliothèques: problèmes
et perspectives / 25
"...apocalypse divine" / 29
Valentina Tchemberdji. "En faisant
irruption" dans un orchestre universel...
Extraits d'interviews de Svyatoslav
Richter / 30
Alexandre Nejnny. L'expiation / 36
Maxime Nénarokomov. Le héraut
de la révolution / 40
Nouvelles pages de la vie
et des aventures d'André Bolotov / 45
"Les Archives russes" / 56
Serguéï Orlov. Souvenirs de guerre / 64
Vladimir Soloviov: une quête intrépide
de la vérité / 67
Alexéï Losev. "...Il aimait la Russie
de tout son cœur" / 69
Evguéni Troubetskoï. La personnalité
de Vladimir Soloviov / 70
Pavel Tchchogolev. Le régicide du 1^{er}
mars et Vladimir Soloviov / 78
Vladimir Soloviov. Quand s'est-on éloigné
de la voie russe et comment y revenir / 80
La poésie de Fiodor Tioutchev / 86
Corneille Tchoukovski. Extraits
de son journal (sur Maxime Gorki) / 91
Poésies de Vladimir Kémetski / 100
Vladimir Pétrov. Un don créateur / 102
Vladimir Nabokov. Le printemps
à Fialta / 104
L'offense / 108
Noël / 111
Poésies / 112
Lettre à Youli Eichenwald / 113
Vadim Gaïevski. Hamlet moscovite / 114
Erzy Grotowski. Réponse
à Stanislawski / 117
Vadim Skouratovski. A travers
les rues de Kiev / 119
Chroniques de la Fondation
culturelle d'URSS / 129
Irina Youriévna, Lev Smirnov. Pouchkine
à Zakharovo / 130
Anri Vartanov. Les facettes
de deux époques / 140
Chez Eléna Akhvlédiani / 147
Marina Aristova. L'or et le noir de fumée:
peinture sur bois de Khokhloma / 153
Un tableau retrouve sa patrie / 158
Les généreux donateurs ne restent
pas anonymes / 159
Résumé en anglais / 160

UNSER ERBE, Nr. 2

INHALT

- Iwan Frolov
Kreative Persönlichkeit – ein wichtiger
Faktor unserer Zeit / 1
Michail Talalaj
Vertrauen verpflichtet / 5
Ohrringe aus dem Besitz der Familie
Gontscharov / 11
Jekaterina Degot
Die russische Frau in der Malerei / 12
Tatjana Okulowa
George Soros auf dem Gogol-Boulevard / 23
Bibliotheken: Unheil und
Perspektiven / 25
"...göttliche Apokalypse" / 29
Valentina Tschemberdshi
Gespräche mit Swjatoslaw Richter / 30
Alexander Neshny
Die Erlösung / 36
Maxim Nenarokomov
Das Plakat – Verkünder
der Revolution / 40
Neues über Andrej Bolotow / 45
"Russki Archiv" / 56
Sergej Orlov. Aufzeichnungen über
den Krieg / 64
Wladimir Solowjow:
furchtlose Suche nach Wahrheit / 67
Alexej Losew
"...Er liebte Rußland von ganzem
Herzen" / 69
Jewgeni Trubezkoi
Die Persönlichkeit Wladimir Solowjows / 70
Pawel Stschegolew
Der 1. März und Wladimir Solowjow / 78
Wladimir Solowjow
Wann vom russischen Weg abgegangen wurde
und wie man ihn wieder gehen kann / 80
Die Dichtung Fjodor Tjutschew / 86
Kornej Tschukowski
Tagebuchaufzeichnungen
(über Maxim Gorki) / 91
Gedichte von Wladimir Kemezki / 100
Wladimir Petrow
Eine eigenwillige Begabung / 102
Wladimir Nabokow
Frühling in Fialta / 104
Die Kränkung / 108
Weihnachten / 111
Gedichte / 112
Der Brief an Juli Aichenwald / 113
Wadim Gajewski
Der Moskauer Hamlet / 114
Jerzy Grotowski
Antwort an Stanislawski / 117
Wadim Skuratowski
Einiges über Kiev
und seine Geschichte / 119
Chronik des Sowjetischen Kulturfonds / 129
Irina Jurjewa, Lew Smirnow
"Kinderzimmer des Puschkin-Hauses" / 130
Anri Wartanow
Die Gesichter zweier Epochen / 140
Im Hause der Jelena Achwlediani / 147
Marina Aristowa
Schwarz und Gold der Chochloma / 153
Das Gemälde kehrt
in die Heimat zurück / 158
Selbstlosigkeit hat Namen / 159
Resümee / 160

Наше наследие

II · 1988
СОДЕРЖАНИЕ

Современность и культура / 1

Иван Фролов
Направление – к человеку

Лик дня / 5

Михаил Талалай
Доверие обязывает

Дар Фонду культуры / 11
Серьги Гончаровых

Среди коллекционеров / 12
Екатерина Деготь
Образ русской женщины



Хроника СФК / 23

Т.Окулова
Джордж Сорос на Гоголевском
бульваре

Как храним / 25
Библиотеки: беды и перспективы

Дар Фонду культуры / 29
“...апокалипсис дивный”

Вчера – сегодня – завтра / 30
Валентина Чемберджи
Врываясь в мировой оркестр
Из бесед со Святославом Рихтером

Память / 36

Александр Нежный
Искупление

Среди коллекционеров / 40
М.Ненарокомов
Глашатай революции

Литература, история, философия

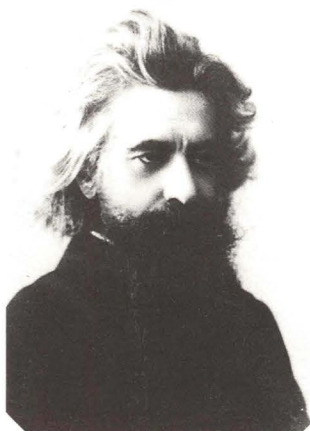
Архив / 45

Новые страницы жизни и приключений
Андрея Тимофеевича Болотова
Публикация В.Лазарева
и А.Толмачева

По страницам старых журналов / 56
“Русский архив”

Публикация А.Зайцева
Из летописи века / 64

Сергей Орлов. Записи о войне
Публикация В.С.Орловой



Отечественная мысль / 67
Владимир Соловьев:
бесстрашный поиск истины

А.Ф.Лосев

“...Он сердечно любил Россию” / 69

Е.Трубецкой

Личность В.С.Соловьева / 70

П.Шеголев

Событие 1 марта и Владимир
Соловьев / 78

Вл.Соловьев

Когда был оставлен русский путь
и как на него вернуться / 80

Поэзия Ф.И.Тютчева / 86

Публикация С.Блинова

Архив / 91

Корней Чуковский
Из дневника. (О Максиме Горьком)
Публикация Е.Чуковской

Возвращение / 100

Стихи Владимира Кемецкого
Публикация Э.Страховой

Возвращение / 102

В.Петров

Дар созидательный



Владимир Набоков
Весна в Фиальте / 104

Обида / 108

Рождество / 111

Стихи / 112

Письмо к Юлию Айхенвальду / 113

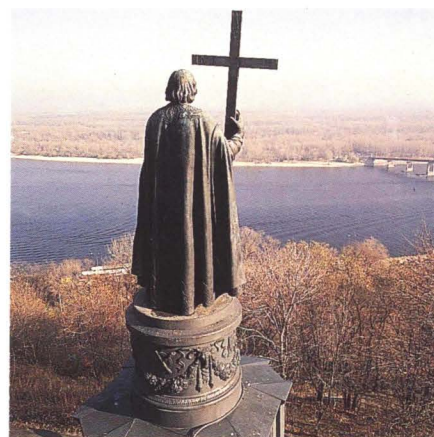
Классика / 114

Вадим Гаевский
Московский Гамлет

Ежи Гротовский
Ответ Станиславскому / 117

Город как мир / 119

Вадим Скуратовский
Как по улицам Киева-Вия...



Хроника СФК / 129

Пенаты / 130

Ирина Юрьева, Лев Смирнов
“Детская пушкинского Дома”
Захарово

Запечатленное время / 140

Ан.Вартанов
Лики двух эпох

Память / 147

В доме Елены Ахвледяни
Публикация Е.Ахвледяни,
Э.Топуридзе

Антология промыслов / 153

Марина Аристова
Золото и сажа Хохломы

Хроника СФК / 157

Дар Фонду культуры / 158
Картина вернулась на родину
У бескорыстия есть имена / 159

In this Issue / 160

В следующем номере:

Л.Бакст, Н.Гончарова, М.Ларионов,
А.Экстер в зарубежной коллекции
русской декорационной
живописи.

Судьба храма Христа Спасителя.

Варлам Шаламов
“Четвертая Вологда”

Владислав Ходасевич
Из литературного наследия.
Новое о Михаиле Булгакове.